Обыкновенная история в необыкновенной стране

Евгенией Сомов

SHOUT
SHARE
IT

- Евгений Сомов
  - Часть первая. В борьбе обретешь ты право своё
    - «Тройка пик» начинает действовать
    - Провал
    - Allegro vivace
    - Следствие ведут знатоки
    - Суд идет — прошу всех встать!
  - Часть вторая. Повесть об остановившемся времени
    - «Приказано выжить!»
    - «Конвой стреляет без предупреждения»
    - «Если враг не сдается — его уничтожают»
    - «Жено, не плачьте обо мне!»
  - Восстание ангелов
    - Этап
    - Вавилонская башня
    - Рассказы о товарище Сталине
    - Игра на бильярде
    - Последняя остановка
    - «Кубанские казаки»
    - Работа кипит. Режим крепчает
    - Начало
    - В осаде
    - «Если завтра война, если завтра в поход»
    - «Только хлебом единым…»
      - Спираль
      - Мор
      - Надежда умирает последней
      - Магия весны
      - По «Дороге жизни» в сибирскую ссылку
  - «Это сладкое слово „свобода“»!
    - Пролог
    - История первая и самая короткая: Ашот
    - История вторая: Бой у озера Карасор
    - История третья и самая длинная: Праздник на молочной ферме
    - Мы звали его Алексис
    - Степь, да степь кругом…
    - «…Сослать навечно»
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19

Евгений Сомов
Обыкновенная история в необыкновенной стране

Сыну моему Себастьяну посвящаю

Часть первая. В борьбе обретешь ты право своё

«Тройка пик» начинает действовать

Блокированный Ленинград остался далеко позади, там, за льдами Ладожского озера. Нас везли на восток. В это утро я проснулся от беспрерывных гудков паровоза. Поезд почему-то стоял. В вагоне было совсем темно. Чугунная печь уже погасла, и от этого стало холодно и сыро. Все вповалку спали, закрывая весь пол, так что только около печки, где стояло ведро с сырым углем, оставалось немного места.

«Вологда, Вологда!» — послышалось снаружи. Неужели мы уже в этой самой Вологде, где был в прошлом веке в ссылке Александр Герцен и где, как написано в поварской книге Елены Молоховец, лучшее в России сливочное масло?

Наконец, массивная дверь вагона растворилась, повалили клубы снежной изморози, люди на полу зашевелились. Вдоль вагонов бежали дружинницы, встречающие эшелоны: «Вологда! Стоянка два часа, обеды на станции по эвакуационным удостоверениям». Началась наша дорожная жизнь. Нужно брать котелки и торопиться на перрон, где уже стоят под навесом котлы с горячим супом, столы с нарезанным кусками черным и белым хлебом. О нас заботятся. «На каждой станции кипяток бесплатно», — прочел я еще довоенное объявление на стене вокзала, и мне стало почему-то смешно. Первый раз смешно за полгода. Это значит, что я прихожу в себя. Но мама всё еще очень слаба, идти по перрону до туалета может только с поддержкой. Выглянуло белесое зимнее солнце, и тут я впервые заметил, что мама стала совсем седой. «Старушка», — кольнуло меня.

Вот он — первый мирный город, по которому война не прокатилась. Тут и люди другие, румяные, и лошади сытые, брюхатые, и белый дым из труб изб валит совсем какой-то другой, мирный. На платформе уже стоят бабы в платках и шубах, держат куски масла в капустных листьях, буханки белого хлеба в косынках — меняют на городские вещи. А вот и те самые шарики белого вологодского масла, только есть их нам, истощенным, пока еще нельзя: они вызывают понос. Но понимают это не все, и от этого вокруг вагонов сплошные темные пятна на снегу.

Ах, уж эти пульмановские товарные вагоны, рассчитанные на сто пятьдесят тонн груза, всю Россию развозят на них: и скот, и зерно, и машины, и оружие, и солдат на фронт, ну, а в тыл —

ссыльных и заключенных. Думал ли немецкий инженер Пульман, что он такое удобство для русских чиновников создаст. И как же это просто конвою раздвинуть массивную красную дверь, подставить мостки и скомандовать «заходи». И люди сами полезут: и пятьдесят, и сто, и сто пятьдесят… Вбрось им туда мешок сухарей с сушеной рыбой, бочку воды, задвинь двери, ставь пломбу на замок и гони их по России, через всю Сибирь, не открывая, можно неделю, а можно и две — русский народ крепок. Ну, а потом распахнуть уже эти двери прямо при лагере и скомандовать: «Выходи строиться!». Кто не сможет выйти — другие вытащат, а кто уже и концы отдал, так, значит, не повезло. Главное, чтобы учет точный был, чтобы все формуляры у конвоя сошлись.

Едем и мы по России на Восток. День едем, два стоим на полустанке: нет для нашего эшелона паровоза. Научиться спать на голом промерзшем полу вагона, подстелив свое пальто, скажу я вам, не просто. Ботинки сначала снять, носки и портянки под себя положить, чтобы за ночь просохли, потом ботинки замотать чем-нибудь, превратить в подушку, лечь на одну полу пальто, а другой накрыться. Но лежать просто на боку нельзя — вся нагрузка пойдет на тазобедренный сустав, который прижат к полу, через час он уже заболит. Нужно лежать или на спине, или боком, почти на животе, согнув в колене одну ногу, так можно и три часа проспать. Проезжаем Вятку, Ярославль, Арзамас, Гусь-Хрустальный (и такой есть), Ижевск, и, наконец, Екатеринбург (Свердловск). Здесь остановка, отдых: нас снимают с эшелона, везут в центр города и размещают в комнатах большого здания городского Дома культуры им. Андреева. Спим уже на военных койках, и, наконец, ведут в баню — мы месяц не мылись, по многим ползают вши. Началась сортировка по группам, по направлениям, нас — через Курган, Петропавловск в Кокчетав. Получаем билеты и садимся уже в нормальный пассажирский поезд.

Вот он, Кокшетау — «горы весенней зелени» — или Кокчетав, так, извратив это казахское слово, назвали его осевшие здесь сибирские казаки. Уже с вокзальной платформы раскинулась передо мной совершенно мне незнакомая панорама степи. Покатые холмы, покрытые ковром зелени, а вдалеке прижался к большому синему озеру городок с невысокими домами, и никаких деревьев или даже кустов вокруг. Но воздух, воздух казахстанской степи, сухой, с кисловатым ароматом полыни, пьянит, и ветерок, который почти всегда здесь, посвистывает в ушах.

Так называемый филиал Ленинградского нефтяного института — это большая группа геологов и ученых, присланных

сюда, чтобы в кратчайший срок разведать на Западно-Сибирской низменности новые залежи нефти, так как угроза потери Каспийского нефтяного бассейна стала реальностью. В трех больших одноэтажных домах были развернуты лаборатории, и в различные регионы были направлены поисковые группы. По многим теоретическим прогнозам нефть в этих районах должна была быть. Ввиду важности поставленной перед институтом задачи геологи-мужчины освобождались от службы в армии, то есть от фронта. К этим двух сотням ленинградцев присоединились и мы. Но кто мы? «Командированные» или все же «административно сосланные немцы»? У мамы в сумке лежат два документа, подтверждающие и то, и другое. Но самое главное, что штампа о ссылке в паспорте нет, мы сбежали из блокированного Ленинграда вовремя. Директором «филиала» была женщина, геолог Спихина, знавшая моего отца. Мама рискнула пойти на открытый разговор с ней, хотя это было и рискованно.

— Вы сюда прибыли на работу как командированная, об остальном я ничего не слышала, — заявила она и добавила, — уничтожьте же свою повестку о высылке!

Мама боится:

— При прописке в милиции увидят, что в паспорте стоит «немка».

— Пусть увидят, из Казахстана вас дальше уже некуда ссылать.

Вот с каким добрым сердцем бывают и советские директора. А ведь Спихину очень многие считали «стервой». Ходила она в кожаном пальто, курила и громко ругалась хрипловатым голосом. Ей было не легко расселять, снабжать и защищать в этой новой стране двести семей сотрудников.

Итак, мама — сотрудница филиала. Прежде всего, нужно найти жилье и как можно скорее. Кто-то из сотрудников указал нам на домик, сложенный из самана с двумя маленькими окошечками и с плоской глинобитной крышей. Это типичный казахский дом, в нем только одна комната с плитой и небольшой крытый дворик. Хозяин этого дома, казах, живет постоянно в степных юртах со своей семьей и только иногда появляется в городе.

Прискакал он к нам на маленькой казахской лошадке, подошел к маме, снял с головы свой малахай из лисьего меха, обнажив гладко выбритую голову, и расплылся в приветливой улыбке. «Касым», — показал он пальцем на себя. Видимо, это было его имя. Мама назвала свое имя и отчество, пожала ему руку и стала спрашивать об условиях аренды дома. Но он молчал,

улыбка так и не сходила с его лица — было видно, что он не понимает, о чем его спрашивают, и вообще не понимает по-русски ни слова. Что же делать? Привели из соседнего дома переводчицу — сибирскую бабу. Наконец, цена аренды определилась. Но вот беда, у мамы совершенно не осталось бумажных денег, а он хочет получить их вперед, так как совсем не уверен, что найдет нас в этом домике в следующий свой приезд. И тут маме пришла в голову одна идея, она вспомнила о своем маленьком серебряном чайнике старинной французской работы с костяной ручкой, который лежал в чемодане. Ведь у казахов, как и у всех степных народов, чаепитие — ритуал, во время которого казах отдыхает, дает волю своим мыслям и ведет неспешную беседу со своими гостями. Мы уже заметили здесь на базарах металлические чайники кустарной народной работы. Но вот сможет ли он оценить эту дорогую антикварную вещь? Мама прикинула цену и видит, что это примерно плата за полгода. Поймет ли он?

Как только наш чайник оказался в руках хозяина-казаха, он замер. Затем с большой осторожностью и уважением стал подробно осматривать его со всех сторон, открывать крышку, заглядывать внутрь и, наконец, прикасаться к нему языком. О, видно было, что он знал толк в этих вещах. Это знание серебряных изделий шло с Востока, от караванов из Китая, когда-то проходивших через эти степи. Мама показывает ему шесть пальцев — шесть месяцев.

— Яхши, яхши, рахмат… — начал повторять он, тряся мамину руку, как будто бы она подарила ему этот чайник. Он отлично оценил эту вещь. Через неделю он снова приехал и подарил нам два мешка отличной пшеницы. И снова: «Рахмат, рахмат![1]». Первое наше общение с коренным населением состоялось удачно.

* * *

Городишко был основан еще в конце XIX века, когда русский царь присоединял страны Средней Азии к своей империи. Тогда-то и были сюда посланы эскадроны сибирского казачества наводить порядок среди «дикого местного народа». Прежде всего, прямо в центре казахского села поставили здание волостного управления, затем управу волостного атамана, казармы для солдат, церковь, пожарную каланчу и тюрьму при полицейском управлении, так они и стоят там до сих пор, правда, превратившись в Городской Исполнительный Комитет, Областной Комитет партии, Управление КГБ и внутренних дел. Во время «столыпинской реформы» сюда были направлены сотни тысяч безземельных крестьян, которые захватили лучшие земли вблизи рек и озер, срубили оставшийся сосновый лес и поставили свои «пятистенники» — большие избы с высокими стенами и крытыми дворами, как крепости. Казахи, которых оттеснили в глубь страны, стали русской администрацией называться «киргизами»: так было проще, чтобы не мешать слово «казах» с «русским казаком». Русские стали называть себя «чалдонами», а казахи получили еще пренебрежительную кличку «колбитов» — откуда пошли эти названия, один Господь знает.

Первые необходимые слова и фразы казахского языка я выучил очень быстро. И хотя казахов проживало в городе немного, но во время поездок на работы, в степь, для закупок продуктов общение с этим народом все углублялось, и постепенно я стал проникаться уважением к их нравам и обычаям. Жить в этой степи не просто: климат Северного Казахстана суров — ветреное, капризное, часто холодное лето и очень морозная зима с весенними буранами, длящимися неделями. Кочевать по такой степи со всем скарбом и маленькими детьми, с большими стадами овец и лошадей, добывая им корм и воду, возможно только благодаря веками выработанным традициям и жизненным навыкам. Каждая деталь их быта, от утепленных сапог и малахаев до огромных бронзовых котлов, «казанов», на ножке, которые ставятся прямо в степи и разогреваются горящим кизяком, — находилась в логическом взаимодействии с природой и требованиями жизни.

Казахи — один из немногих народов Средней Азии, мало затронутый магометанством. Жизнь изолированными кочевыми группами в необъятной степи сформировала национальный характер этого замечательного народа. Степные казахи

дружелюбны, гостеприимны и доверчивы. Грабежи и насилие были не свойственны этому народу. Одинокий всадник может без опаски отправиться в путешествие по этой степи, его никто не подкарауливает с ружьем и кинжалом на дороге. И если он заглянет в казахскую юрту, то будет принят как гость, и никто не спросит его, кто он, откуда и куда путь держит, пока он сам не соблаговолит это поведать. У казахов нет тороватости восточных базаров, в торговле они просты и не запрашивают вначале тройную цену.

На землю, а точнее сказать, на просторы степи, смотрит казах, как на дар Божий, она никому лично принадлежать не может, она для всех одна и собственностью человека быть не может. Собственность — это его любимый конь, юрта с коврами из кошмы, тканые покрывала, казаны из бронзы, передаваемые из поколения в поколение, конечно же, его стада овец и лошадей, точный счет которым часто он и сам не знает. Каждый может пасти свои стада в степи, и для каждого она кормилица. Видимо, поэтому народ этот так безропотно и безразлично воспринял потоки русских переселенцев на свои земли. Из этих-то «мирных переселенцев» создавались царем сибирские казаки, которые и должны были наводить здесь свои порядки.

Нравы же сибирского казачества были нравами захватчиков: презрение к аборигенам, к «колбитам», подозрение к каждому, кто пришел сюда после них, привычка все споры решать силой и брать от природы как можно больше, не задумываясь, что с ней дальше станет. Постучись-ка ночью путник в их толстые ставни «пятистенников» — не достучится, а если днем чужак заявится, так прежде всего донесут в управу — не беглый ли. Ведь за беглых премии платили. Из этого человеческого материала в основном и сформировалось русское население Казахстана. Для них и русский политический ссыльный тоже враг: «против власти шел!».

Степной быт казахов прост и скромен. Основная еда — баранина. Праздничное блюдо — бешбармак, это сваренная без соли в огромном казане туша барана с белыми листьями лапши и разными приправами. Лучший друг его — конь, без него казах в необъятной степи беспомощен. Женщина в семье свободна и равноправна, а пожилая мать — хозяйка всему в семье голова и «большой начальник». Достигая определенного возраста, когда приносить детей она уже не может, остригается она наголо и надевает на голову этакий капюшончик с круглым отверстием для лица, чтобы злые духи не проникли к ее телу, теперь она старшая в семье и ее слово — закон.

Видимо, еще с древних времен завезли восточные купцы чай в

казахстанскую степь, а с ним и сахар. И привык казах к этому напитку, да так, что теперь без него и дня прожить не может: «чай не пьешь — откуда силу берешь?». И ценит он в чае не столько аромат, сколько вкус и крепость, поэтому «кирпичный» чай, тот, что самый дешевый у русских, для него самый любимый. И пьет он его в пиалах по несколько раз в день, и до еды, и после еды, и никакой вопрос без неспешной беседы за чаем не решается. Любит он также и пресные лепешки, «нан», к чаю, и пекут их прямо в горячей золе. И куда бы он ни ехал, берет с собой эти лепешки, завернув в чистый платок и укрепив около седла: «без своего хлеба никуда ехать нельзя».

Самое радостное время для казаха — весна, когда вновь начинает зеленеть ковер степи и истощенные овцы, пережившие на подножном корме зиму, наконец, переходят на зеленые побеги душистой травы. Снимается казах с зимней стоянки и гонит стада к заливным лугам с молодой травой, на «джайлау». Сюда и другие семьи с разных сторон степи съезжаются, и начинаются весенние праздники, «сабантуи». К этому времени и кобылицы уже имеют молоко, из него квасят любимый напиток — кумыс. Это единственный напиток, содержащий алкоголь, который пьет казах. К вину и водке он равнодушен, смеется и удивляется, когда видит в городе, как идет, шатаясь, пьяный русский. Ставят празднично украшенные летние юрты, разводят под казанами костры, варят бешбармак, пьют кумыс литрами, танцуют, здесь и молодые знакомятся, а к осени свадьбы пойдут.

Советской власти удалось расщепить этот народ, создать внутри него партийную элиту, приласкать ее, обучить в Москве в партшколах и институтах, создать так называемые национальные кадры, послушные Москве. Из них и формировался слой партийных секретарей, прокуроров, судей, но при одном условии, что их заместителями оставались русские, часто присылаемые прямо из Москвы. Оторванная от своих народных корней, эта элита быстро превратилась в касту чванливых и беспринципных начальников, которые иногда становились еще более отвратительными, чем русские партийные чины.

Долго прожить нашей семье в саманном глинобитном домике без мебели, прямо на полу, не пришлось: вскоре мама нашла большую комнату в теплом деревянном доме, где жила русская пожилая женщина со своим внуком. Правда, наша комната была проходной и с одним окном, зато в ней было всегда тепло, так как одной внутренней стеной ее была русская печь, которую через день топили. Вершиной маминой хозяйственной инициативы стала покупка коровы Маньки. Манька была уже пожилой дамой, ей шел девятый год, поэтому давала она не больше шести литров

молока в день. Но и это была огромная для нас поддержка. Мама быстро обучилась ее доить, мы же, дети, утром выгоняли ее в стадо, а вечером забирали обратно. Эта сельская жизнь была для всех нас напряженной: воду нужно было носить издалека на коромыслах, весной сажать, а осенью копать картофель, заготавливать корм для коровы, печь хлеб, ходить на базар и всё убирать в доме. После городской жизни с няньками это была для нас суровая школа.

В филиале института маму назначили старшим лаборантом петрологии. Она должна была определять структуру горных пород, полученных из керна при бурении. Её зарплата никак не могла прокормить нашу семью, да и цены все время росли: эхо войны докатилось и до Казахстана. Найти работу в Кокчетаве преподавателем музыки было, конечно, невозможно, это была провинциальная глушь. Сначала мы продавали на базаре наши хорошие городские вещи: костюмы, отрезы ткани, серебро, обувь, но это через год кончилось. Тогда и мы, дети, стали работать в летние каникулы в качестве коллекторов в геологических экспедициях, ездить на сельскохозяйственные работы в районы. Все это кое-как позволяло быть сытыми.

Приближалась осень 1942 года, и я был определен в русскую среднюю школу, которая размещалась в большом старом деревянном двухэтажном доме и считалась лучшей в городе. Видимо, потому лучшей, что многие из учителей были бывшие ученые, математики, преподаватели университетов, а ныне политические ссыльные. Им не доверялось вести такие предметы, как литература и история, дабы «свои вредные идеи они не смогли передать молодежи». Они пользовались большим авторитетом среди учеников, их любили, и часто уроки превращались в дружеские беседы о сущности жизни, о счастье, о природе человека, хотя открытых политических тем они старались избегать и на такого рода вопросы отвечали уклончиво. На их фоне местные, часто партийные, преподаватели выглядели серо. Гуманитарные предметы, которые они вели, часто напоминали политбеседы. Эта пропаганда советской системы «через предмет» многим претила. Дело иногда доходило до абсурда: например, рассказ о жизни поэта В. Маяковского наша преподавательница закончила просто: «Скончался Владимир Владимирович в 1930 году в Москве». Один ученик поднимает руку: «Но ведь Маяковский застрелился!». Ответ: «Нет, ребята, этого никто не знает, и поэтому мы об этом не говорим. Очень может быть, что его убил наш классовый враг!».

Почти сразу по приезде мы заметили, что в городе и окрестных деревнях много немцев. Их еще в самом начале войны

сослали сюда из Республики немцев Поволжья. Хорошо приспособленные к сельскому труду, они довольно быстро сумели здесь обосноваться: построили новые дома, развели скот и, благодаря необыкновенному трудолюбию, вскоре стали жить лучше, чем коренные местные жители. В самом же городе оставляли «культурных немцев», высланных из столичных городов Москвы и Ленинграда. Большинство из них очень нуждалось и жило бедно, снимая лишь комнатки в чужих домах и перебиваясь случайными заработками. Контраст между этими двумя группами был очень заметен. Часто сталкивались они на колхозном базаре в городе, когда по воскресеньям из деревень волжские немцы привозили продавать избытки продуктов, молоко, масло, овощи, а городские немцы приходили их покупать по баснословным ценам. Тут-то и начинались беседы, кто, откуда и почему. Ужасный волжский диалект немецкого языка резал уши, и мама зачастую не могла понять, что они хотят сказать. На нас же, городских немцев, они смотрели с пренебрежением и недоверием, как будто бы в России немцы могли существовать только на Волге. Купить что-либо у них по сносной цене на базаре было невозможно, лишь только к вечеру, видя, что дело с продажей не движется, они цены снижали. Держались они замкнуто, были очень недоверчивы к окружающим, очень скупы и экономны, но самое главное, что отличало их от нас, так это был страх и раболепие перед советской властью. Видимо, работа НКВД в Республике Поволжья сделала свое дело. Но и здесь, в ссылке, в их среде все время органы находили «антисоветские элементы» или «саботажников советской власти», постоянно из их селений тек ручеек осужденных в лагеря заключения. Этот страх был также причиной того, что в их среде легко вербовались осведомители КГБ, с которых потом требовали материалы для новых политических дел. Большинство волжан состояло из женщин, стариков и детей, так как все здоровые мужчины были забраны в так называемую трудовую армию, которая на самом деле была просто лагерем тяжелейшего труда, где смертность за год доходила до пятидесяти процентов.

Мы же, столичные немцы, были воспитаны в совершенно других условиях. Наши предки при царе были военными, предпринимателями, инженерами, чиновниками администрации, так как и сам царский двор был в основном по своему составу немецким. Отличались мы и по происхождению: если «волжане» происходили в основном из штутгарских сектантов-менонитов, наши предки пришли в столицы из Прибалтики и часто по приглашению самого двора, да и многие были прусскими дворянами, хотя частичка «фон» постепенно утрачивалась, так как

столичные немцы стремились не отличаться от русских и никогда не кичились своим происхождением.

Хотя обе эти группы немецкого населения имели общую судьбу, находились под постоянным давлением органов КГБ/НКВД, при встрече говорить им было не о чем, и отчужденность и недоверие постоянно чувствовались, хотя антагонизма и не было.

Медленно, но мы врастали в эту новую жизнь. Постепенно менялся и наш внешний облик: вместо городских пальто и ботинок с галошами появились ватники защитного цвета, шубы, русские сапоги. Атмосфера же духовной жизни в нашей семье не менялась. Через неделю после прибытия сестра отыскала городскую библиотеку и погрузилась в свой любимый мир чтения: пошли романы Стендаля, Бальзака, Виктора Гюго. Я также начал заглядывать в эти книги, хотя их толщина меня отпугивала — читал я медленно и описания природы пропускал. Мама в этой глуши тщетно пыталась найти для себя инструмент, фортепиано, но музыкальными инструментами здесь были лишь баян и аккордеон.

У мамы сложилось впечатление, что в военной неразберихе КГБ потерял нас из виду и что мы теперь как бы просто эвакуированные в Казахстан из блокированного Ленинграда, а никакие не ссыльные немцы. Это оставляло смутную надежду, что по окончании войны мы сможем вернуться вместе с филиалом института в наш родной город.

Шла война. И хотя Кокчетав и находился в пяти тысячах километрах от линии фронта, отзвуки этой народной беды доносились и до нас. Вместе с извещениями о гибели на фронте — «похоронками» в город постоянно прибывали инвалиды войны. Часто с еще свежими бинтами на ампутированных конечностях, с орденами и медалями на гимнастерках. Они сходились вместе на базарной площади, да и распивали вместе по маленькой — что им еще оставалось. На пенсию, которую они получали, прожить было невозможно, а работать они не могли.

Навстречу потоку раненых из городской ротной школы каждые пять месяцев отправлялся на фронт новый батальон. Наспех обученные, молодые совсем парни, шли они строем под духовой оркестр из города к эшелону на железнодорожной станции, а рядом по обочине бежали их матери со своими прощальными гостинцами — мешками сухарей и сала. Они знали, что вернется из них только половина.

Хотя я и не мог себе ясно представить, что такое Германия «Третьего рейха», но по газетным статьям и кинохронике мне становилось ясно, что там такая же тоталитарная власть, как и у нас, и что там так же, как и у нас, никакой демократии не

существует и за любое критическое высказывание против режима могут арестовать. Знал я также и то, что в Берлине живут наши родственники: дядя Шура Майер с тетей Сонатой, семья Мирзалисов, Рихард и Амалия Ратке. Почтовая связь с ними из страха перед НКВД была прервана еще в 1937 году, мама часто нам рассказывала о них. Хотя до конца 1942 года немецкая армия успешно продвигалась по территории России к Волге, я понимал, что принести нашей стране свободу она не может, по всей видимости, один режим в случае победы будет заменен другим, поэтому симпатии к фашизму я не испытывал. Но что точно я ненавидел, так это сталинскую диктатуру. Возникали мысли, что поражение советов в войне с последующим разгромом Германии союзниками может создать в России условия для установления правового государства. Победа же советов еще больше укрепит сталинизм, и государственный террор в стране станет еще сильнее. Поэтому патриотических чувств я также не испытывал. Но самой страшной перспективой для меня было оказаться на фронте и воевать за укрепление сталинского режима.

Так как ленинградская блокада заставила меня пропустить один учебный год в школе, то по возрасту я мог уже сразу по окончании десятого класса быть призванным в офицерскую школу и через шесть месяцев оказаться на фронте. Отсрочка от армии могла быть получена только в том случае, если я окончу школу на год раньше и с «золотым аттестатом», что позволит мне без экзаменов поступить в любой технический «оборонный» институт, учеба в котором временно освобождает от призыва в армию. Это означало, что я должен за один год закончить два класса, восьмой и девятый, да еще получить все отличные оценки. Вначале мне показалось это совершенно невозможным, я мало доверял своим способностям. Но не оставалось ничего другого, как попробовать. И я начал пробовать, получил разрешение посещать оба класса одновременно: один в первую смену, другой во вторую. Но этого было недостаточно, дирекция поставила условие, что я должен уже в первое полугодие выдержать все экзамены экстерном за восьмой класс и второе полугодие учиться только в девятом классе. Началась кошмарная жизнь: мне иногда приходилось писать два литературных сочинения в день в разных классах и вечером до поздней ночи готовиться к следующему дню. Все выходные дни я вынужден был зубрить учебники дома. Особенно трудна была математика, в которой я был не силен, а требовалась только высшая оценка. Больше же всего я любил химию, читал уже учебники высшей школы и посещал лабораторию химии в институте, где работала мама, там я ставил свои химические опыты. Мои знания химии были замечены в

школе, преподаватель отпускал меня домой учить другие предметы.

Эти полгода оказались для меня тяжелейшим испытанием, справиться с которым мне очень помогала моя сестра, отлично разбиравшаяся в математике. Однако в январе я сдал все экзамены за восьмой класс, и учеба во втором полугодии только в одном классе показалась мне просто отдыхом. Это испытание позволило мне на всю жизнь понять, что в основе всякого образования лежит самообразование.

Москва находится где-то бесконечно далеко на запад от Кокчетава, хотя присутствие советской власти здесь ощущается, пожалуй, еще острее. Если в Москве вновь испеченный член партии порой продолжает работать как простой рабочий, то здесь он сразу же взлетает вверх, в какое-нибудь мягкое кресло руководителя, бригадира, председателя колхоза, и после этого все блага и привилегии советской системы открываются для него в виде государственной квартиры, машины, особого распределителя продовольственных пайков и высокой зарплаты. Он вступает в особый клан «партийных товарищей», связанных круговой порукой, и должен всемерно поддерживать их, выполняя все приказы партии без обсуждений. Попасть, конечно, в этот клан можно лишь за большие заслуги или через связи, но уж если попал… Для того, чтобы узнавать «своих», они начинали одеваться в своем «партийном» стиле, беря за образец одежду вождей и иных вышестоящих. Каждый должен носить форму по своему чину и значению: председатель колхоза — гимнастерку с ремнем и простые сапоги, районный секретарь — уже френч и синие галифе, снаружи серый плащ и сталинскую фуражку, а уж если секретарь обкома, тогда он может позволить себе и ослепительно белый френч с золочеными пуговицами, и синие брюки с лакированными ботинками. Конечно же, никто не должен носить обручальных колец или каких-либо пестрых галстуков: «слуги народа» просты и скромны во всем. Почти все они в нашем провинциальном городке знали друг друга в лицо, по-особому здоровались за руку, затем сразу же следовал какой-нибудь вопрос или о здоровье жены, или о сыне, или удобна ли новая квартира, словом, забота друг о друге прежде всего. На праздники приглашаются только свои, и свадьбы между своими, дабы не допустить в стадо волка. Ну уж если кто-либо не по чину хапнул или просто совершил растрату, так прежде чем до суда допустить, дело рассматривается на закрытом бюро, келейно: провинившийся должен покаяться, просить, и тогда простят, в худшем случае на другой стул пересадят, немножко пониже, но все равно руководящий. В этом кругу уже никакого явного

антагонизма между русскими «чалдонами» и казахскими «колбитами» не обнаруживается, тут уже нет национальности, тут родная партия — родина для всех.

Особое положение в партийной элите занимал КГБ: начальник Областного Управления КГБ шел сразу же за Первым секретарем, и секретарь даже побаивался чекиста, так как телефон у начальника с Алма-Атой тоже прямой, да еще и особый, и в аппарате секретаря посажены его информаторы. Кокчетавская область была местом ссылки политически неблагонадежных лиц, и в этих делах КГБ сам себе указ и вершит дела без указаний секретаря. Эта прерогатива давала право сотрудникам «органов» одеваться по-особому: например, зимой черные полушубки с каракулевой папахой и непременными белыми валенками, летом кожаные лакированные пальто или куртки. Войсковая же форма с погонами надевалась лишь в особых случаях, например, при встрече начальства из Алма-Аты. Сотрудники Управления внутренних дел и милиция считались уже рангом ниже: это «сторожа», их дело держать и не пускать, и в высокую политику им доступа нет. Это вызывало постоянный скрытый антагонизм между привилегированным КГБ и униженной милицией.

А что народ? Народ, как обычно, безмолвствовал, терпел: он был не только запуган политическими процессами над «антисоветскими элементами», которые все время проходили, но и раздроблен на чужеродные группы сибиряков, казахов, немцев, просто эвакуированных и политических ссыльных. Среди последних была также большая группа поляков, сосланных после раздела Польши в 1939 году, которая состояла из польской элиты: врачей, писателей, военных, членов сейма. Держались они очень изолированно, так как надеялись, что их освободят, и оказались правы: уже в 1943 году после начала формирования Польской освободительной армии в Иране под руководством генерала Андерса их почти всех туда перевезли. Почти всех… Конечно же, все эти группы были инфильтрированы людьми КГБ, и поэтому все друг друга боялись. Зловеще выглядело и само здание Главного Управления КГБ в центре города на базарной площади. Это был хотя и одноэтажный, но большой каменный дом, с прилегающими к нему внутренней тюрьмой, гаражом и другими вспомогательными зданиями.

Ссыльным можно было передвигаться только в пределах района, для поездок в другие районы нужно было разрешение. То и дело на базарной площади устраивались облавы, чтобы выловить незаконно прибывших в центр ссыльных из других районов. Если кто-либо окажется пойман трижды, то уже

возможен суд по статье о «саботаже советской власти».

Итак, Кокчетав и его область представляли собой одну из «политических свалок» страны, где советская власть имела особые права. Если в Ленинграде я лишь по рассказам взрослых узнавал об этой власти, был лишь наблюдателем, то здесь я сразу же стал чувствовать на себе всю тяжесть рабского положения подвластных ей людей. Я чувствовал, что даже если мы по окончании войны и вернемся в родной город, это рабство будет продолжаться и там, всегда и везде и всю мою жизнь. От этой мысли все сжималось у меня внутри. В то время я уже был знаком с «Общественным договором» Жан Жака Руссо, «Духом законов» Монтескье, понимал, «что человек рожден свободным и только политическая система делает его рабом». Я по-новому уже вчитывался в сталинскую конституцию, где партия провозглашалась единственной руководящей силой в стране, а все статьи о демократических правах граждан звучали как наглая насмешка над действительностью.

Но что можно противопоставить этому насилию? Сопротивление отдельных личностей или групп, какими были декабристы или народовольцы, безуспешно. А может быть, прав анархист Бакунин:

> «Если поднимется сам народ — тираны бессильны»?

Да, но кто такой этот самый народ? Разве он осознает, что он в рабстве?

По Гегелю получалось, что от самих людей это как бы не зависит. Демократия придет сама собой, если она должна прийти, ибо «все действительное разумно и все разумное действительно». Действительна ли советская власть? Ох, еще как! А может быть, «каждый народ достоин своего правительства»? Тогда всякая борьба бесполезна…

А вот К. Маркс в «18 брюмера Луи Бонапарта» призывает к действию:

> «Только разбив старую государственную машину власти, на ее месте можно построить демократическую систему».

Даже при созревших политических и экономических условиях переход к новой формации может осуществиться только в результате политической борьбы. Значит, ждать нельзя, нужно действовать.

Большое влияние на меня оказывали рассказы взрослых о героической борьбе эсеров, заставивших дрожать от страха

каждого царского чиновника, занимавшегося политическими преследованиями. Одна из маминых знакомых, Сперанская, была глазным врачом и рассказывала о том, как к ней обратился за помощью известный деятель русского анархизма князь Петр Кропоткин. «Я не знала, что это Кропоткин, но как только он вошел ко мне в кабинет, все предметы в комнате изменились: столь сильное излучение исходило от него». Я с восхищением читал его «Записки революционера». Эти люди были близки мне, хотя я понимал также, что социалисты-революционеры шли по очень узкому пути и не увидели опасность большевизма, наивно вступив с ним в союз уже после октябрьского переворота.

«Что делать?» — хоть и наивный, но вечный вопрос. Так неужели же я обречен жить до конца своих дней в этой системе насилия и беззакония, без всяких попыток освободить себя и других?

Когда я впервые увидел его, он показался мне болезненным юношей, столь бледно было его лицо, на котором четко вырисовывались большие миндалевидные глаза с покрасневшими веками. Это был Альберт Асейко (Беккер), человек, с которым оказалась трагически связана моя судьба. Он выглядел каким-то особенным, не похожим на других. Природные таланты и интеллигентность его сразу не бросались в глаза, хотя глаза светились умом. После ареста и расстрела его отца органами НКВД в 1938 году он с матерью был выслан из Ленинграда в Кокчетав, где они уже довольно основательно смогли обжиться, купив дом, в котором Альберт имел свою комнату, и обзаведясь коровой, ставшей большим материальным подспорьем. Здесь, в Кокчетаве, он знал все, каждую улицу и каждый двор. Его знания в физике и математике часто поражали меня, хотя он и не любил много говорить и был немного застенчив, так что иногда даже заикался. Но это не мешало ему быть смелым и решительным. Таких товарищей там, в Ленинграде, у меня еще не было. То были дети, этот — философ. Вскоре мы привязались друг к другу и часами бродили вместе по степи или сидели у него в комнате и говорили обо всем на свете. Эти разговоры никогда не были детской болтовней, они всегда проистекали из чего-то прочитанного, затрагивали острые вопросы нашей жизни. Правда, о политике мы вначале говорили мало, натурфилософия, а потом и просто философия нас интересовала больше. О чем бы мы ни начали говорить, он все уже читал: и Канта, и Гегеля, и Маркса, обо всем имел свое мнение. Спорили мы редко, так как, видимо, ценили взаимообогащение во время наших бесед. По своему складу он был реалистом или скорее прагматиком, художественная литература, этика, религия и история как-то не

затрагивали его. Постепенно я узнал, что Альберт и его мама — прибалтийские немцы и настоящая фамилия его — Беккер. Общие судьбы наших родителей еще больше сближали нас. И естественно, что наши разговоры вскоре перешли к вопросам: «По какому праву нас всех здесь держат?» и, наконец: «Кто нами правит и кто нас угнетает?». И здесь больших расхождений во взглядах мы не нашли: советский режим нам обоим был до глубины души ненавистен.

Был у меня и другой товарищ — Юра Федоров. Познакомились мы в филиале института, где работал его отец старшим геологом. Юра был круглолицым высоким блондином с прищуренными маленькими глазами. Он был младше меня на год, имел упрямый и решительный характер. Несмотря на то, что его родители были просто командированные в Кокчетав научные сотрудники, симпатии к советской власти он не питал и высоко ценил политическое анекдоты, особенно про Сталина и Ленина, а их было в то время очень много. Особенно сдружились мы с ним в гидрогеологической экспедиции в Кемеровской области, куда как-то летом вместе отправились в качестве коллекторов геолога Генриха Майера. Мы жили вместе в крестьянской избе и проделывали каждый день огромные маршруты пешком с рюкзаками, наполненными пробами воды из рек и колодцев района. Генрих Майер, также петербургский немец, был к тому же еще и нашим с Юрой учителем бокса, так как сам имел в этом виде спорта разряд. Вскоре я познакомил Юру с Альбертом, и в наших беседах стал участвовать и он. Юра был человеком действия, слушая нас, часто восклицал: «Зачем эти разговоры, когда нужно действовать!».

Для нас с Альбертом тоже было очевидно, что критиковать режим, уютно сидя в комнате, своего рода трусость. То и дело всплывал тот самый старейший вопрос русской демократии — «Что делать?». А, действительно, что могут сделать трое свободолюбивых юношей против гигантской государственной репрессивной машины, да еще в условиях сибирской ссылки? Но, видимо, тем и прекрасна юность, что она не боится таких вопросов. Ну и пусть большинство народа не понимает, что они рабы, рабы кучки узурпаторов, захвативших в России власть в октябре 1917 года и назвавших себя друзьями народа, коммунистами.

Читая работы В. Ленина и анализируя советскую систему, я пришел к убеждению, что ленинизм никакой не марксизм, и даже не коммунизм в классическом смысле этого слова. Это особая разновидность капитализма — государственный капитализм, когда захватившая власть группа, партия, совокупно владеет всей

собственностью в стране, превратив в свою собственность и рабочую силу, то есть самих людей. В первом томе «Капитала» К. Маркса я находил подтверждение этой мысли.

Кто может освободить народ от этого тоталитарного гнета? Только сам народ. Но ведь народ спит рабским сном! Его нужно разбудить, показать ему его положение, показать выход и объединить для борьбы. У Огюста Бланки я нашел, что «только организация людей является основой всякой политической борьбы».

В разговоре об организации Альберт как-то сказал: «Один — всего один, двое это только пара, а трое уже организация». Значит мы трое — уже «организация»? Если это так, то сидеть, сложа руки, — подло и аморально. В русской истории мы искали ответы на наши вопросы. Мне наиболее симпатична была тактика «Земли и Воли»[2], хождение в народ, широкая пропаганда демократического сознания в массах. Для Альберта же образцом тактики была «Народная Воля», по его мнению, «взрыв на канале»[3] разбудил всю рабскую Россию, после чего и началось массовое демократическое движение, родились социалисты-революционеры — эсеры. Тут и возникали споры. Он доказывал, что хождением в народ можно заниматься сто лет и безрезультатно, народ должен видеть, что существует сильная организация и она действует, так что сталинские палачи должны бояться этой организации. Я же доказывал обратное: русская история показала, что все изолированно действующие революционные группы, будь то декабристы, петрашевцы или народовольцы, рано или поздно терпели провал. «Ну и что, что провал, — возражал Альберт — одна группа проваливалась — другая возникала. Это диалектика политического движения». Я возражал: «То есть, создавая организацию, ее члены уже должны рассматривать себя как будущие жертвы? Готовы ли вы все стать такими жертвами?!». Наступила пауза, глаза обоих моих товарищей устремились куда-то вдаль. «Да!» — решительно заявил Альберт, и через несколько секунд, как эхо, послышалось еще одно «да», его произнес Юра. Получалось, что я оставался трусом, не готовым к активным действиям, не готовым к принесению себя в жертву «народной свободе». Я почувствовал, что нужен компромисс. Но какой?

Несколько дней подряд все наши разговоры крутились вокруг вопросов организации и тактики. Я стал понимать, что нужна общая программа организации, с которой были бы согласны все. На одном из наших собраний я предложил компромиссный «меморандум», в котором были сформулированы основные принципы:

«ПОЛИТИКА. В октябре 1917 года в России произошла не народная демократическая революция, а контрреволюционный переворот по отношению к демократической парламентарной системе, возникшей в феврале после падения монархии. Это был военный заговор против молодых демократических институтов и захват власти экстремистским крылом РСДРП, большевиками.

В России установился тоталитарный строй захватившей власть группы, именуемой себя коммунистической партией. Эта власть создала новую тоталитарную экономическую систему — „государственный капитализм“, при котором впервые в истории не только все средства производства в стране принадлежат правящей элите, но так же и сам работник, превращенный в раба и обязанный работать на этот строй, без права покинуть страну.

Правящая партийная элита удерживает власть в стране только благодаря гигантскому аппарату насилия в виде разветвленных органов КГБ и НКВД, которые с помощью показательных репрессий наиболее активной и образованной части населения удерживают в страхе другую его часть. И эта масса остается пассивной, так как она политически дезинформирована и дезорганизована.

ТАКТИКА. Первой задачей организации является создание системы пропаганды среди населения его прав, обличение сущности режима и создание из наиболее сознательной её части групп сопротивления.

Помимо этого, организация допускает и активные действия, направленные против репрессий органов власти по принципу „удар на удар“. Эта активная тактика должна показать репрессивному аппарату и партийной элите, что ее действия не остаются безнаказанными, а население должно увидеть, что существуют в стране силы, стремящиеся защитить его и оказать сопротивление насилию.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Существование групп (организаций) сопротивления может быть только в том случае обеспечено, если внутри них будет соблюдаться строгая дисциплина, бдительность и конспирация всех ее членов. Ни одно действие не может быть предпринято без согласия всех его членов, так как каждый зависит от всех и все от каждого. В случае ареста одного из членов

он должен продолжать считать себя членом организации и мужественно защищать ее интересы и безопасность ее оставшихся на воле членов, какие бы испытания ни выпали на его долю. Оставшиеся же члены должны пойти на любые личные жертвы ради спасения и свободы захваченного в плен товарища.

„Лучше смерть, чем жизнь в советском рабстве!“

„В борьбе обретешь ты право свое!“»

После долгих споров и обсуждений эта программа была принята всеми. Уже позднее в нее были внесены еще два пункта: «Об отношении к текущей войне» и «О геноциде национальных меньшинств России».

К тому времени в Казахстан уже хлынули новые потоки репрессированных народов: ингуши и чеченцы с Северного Кавказа, греки и татары из Крыма. Их везли в товарных вагонах зимой, почти без теплой одежды, гнали пешком во время снежной пурги по снегу в отдаленные села и расселяли часто просто в холодных сараях. После каждого такого эшелона на снежном поле между железнодорожной станцией и городом находили замерзшие трупы. Особенно больно было видеть женщин и детей, которые шли по морозу закутанные в одеяла и обутые в калоши. Особенно жалела их мама. После своей экспедиции с отцом на Северный Кавказ в Ингушетию в 1932 году она прониклась к этому народу большим уважением. Как-то однажды к нам в окно постучали поздним вечером, почти ночью, два чеченца, и мама, несмотря на протесты хозяйки, накормила их и дала ночлег на полу рядом со своей кроватью. Они не знали по-русски ни одного слова.

Вот так в нашей программе появился пункт «О геноциде».

Шла оборонительная война с Германией. Германия была агрессором, Советский Союз — жертвой агрессии. Фашизм для нас был таким же врагом демократии, как и сталинизм. Возникал вопрос, а нельзя ли превратить оборонительную войну русского народа в освободительную войну против советского режима? Но как это сделать? Ведь в случае победы Советской армии сталинизм еще больше окрепнет и приобретет международное влияние (как в воду смотрели!). В случае же победы Германии в войне Россия может на долгие годы стать вассалом «Третьего рейха» и в ней может образоваться другая, но по смыслу такая же тоталитарная партия и система. Решено было в этом пункте ограничиться «нейтральным» лозунгом: «За победу русского народа над фашизмом и советским тоталитаризмом!».

Итак, организация была создана, хотя каждый из нас

понимал, что все это сильно напоминает детскую игру. Роли в организации мы решили не распределять, а считать себя «рыцарями круглого стола» — каждый имел право вето. Хотя все мы подсознательно чувствовали, что в организации каждый играл определенную роль: я — «идеолог», Альберт — «техник», а Юра — «боевик».

Название нашей группе мы решили не давать, хотя кто-то в шутку однажды сказал — «Тройка Пик», понимая под этим три игральные карты в колоде. А когда к нам присоединился еще и маленький Гена Авдеев, я пошутил: «Коронка в пиках до валета», этим самым включив туда и четвертого члена. Но постепенно мы все-таки стали себя называть «Тройкой Пик» и даже подписывали наши воззвания и прокламации к народу этим именем. Так родилась эта «Тройка Пик» — опасная, но честная игра молодых свободолюбивых сердец.

Гена Авдеев был совсем еще юн, ему не было еще и четырнадцати лет. Он был невысок, с острым, довольно длинным носом и с постоянной саркастической улыбкой на губах. Нам сразу же понравилось его природное остроумие: он умел одной фразой превратить сложную ситуацию в смешную историю. Кроме того, он был не по летам умен и серьезен. Мать его после расстрела мужа в 1937 году была выслана как «член семьи изменника Родины» — ЧСИР — вместе с Геной в Кокчетав. Гену привел к Альберту в гости впервые Юра, они жили неподалеку. Он сразу всем понравился, но решено было ничего малышу не доверять. Все наши разговоры и споры при его появлении стихали, но проницательный Гена начинал чувствовать, что находится вблизи большой и важной тайны, и что неспроста здесь собираются и спорят. Его это страшно привлекало, и он следовал за нами, как тень. Постепенно мы и при нем кое-что стали говорить открыто, но поручений ему никаких не давали.

Появился и другой кандидат в члены нашей группы — привлекательная девушка Нина. Она была из местных сибиряков, после окончания школы училась в техникуме. Видно было, что какой-то роман уже существовал в прошлом между ней и Альбертом, но на этот раз она почему-то избрала меня предметом своих ухаживаний: приглашала в кино, в клуб на танцы, на гулянья в парк. Но дальше невинных поцелуев у нас дело не двигалось. По праву старого друга Нина могла явиться к Альберту, когда ей это вздумается. Часто она приходила и заставала всю компанию, разгоряченную после долгих обсуждений. Постепенно ей становилось ясно, что мы все как-то непросто связаны друг с другом и есть у нас что-то скрытое от нее. Она то и дело допытывалась у меня: «А что это вы там такое

затеваете?». Я в шутку как-то ответил: «Государственный банк хотим ограбить!». Она: «Вот здорово-то! Возьмите и меня к себе». Но брать к себе Нину мы не спешили, напротив, решено было строжайше изолироваться от нее: она была легкомысленной, хотя очень смела и во всем правдива.

Итак, нас уже четверо, да еще и с программой. Что же нам теперь делать?

Утром к нам с Альбертом прибежал запыхавшийся маленький Гена:

— Все ясно, — громко заявил он, — прокурор живет по улице Ворошилова, 33!

— Гена, сколько раз тебе нужно говорить, что слово «прокурор» вообще произносить нельзя: нужно говорить только «он».

Тем не менее мы должны были признать, что первое небольшое задание Гена выполнил отлично.

Зачем же «Тройке Пик» потребовался этот адрес?

Все началось с ареста органами КГБ всеми любимого школьного учителя Шнейдера Бруно Ивановича, ссыльного немца. Бруно Иванович до ссылки был ученым-эмбриологом, старшим научным сотрудником Академии сельскохозяйственных наук им. Тимирязева в Москве. Его арестовали в 1939 году после нашумевшего процесса наркома земледелия Чаянова, обвиненного во вредительстве. Сельское хозяйство страны в то время «очищали от специалистов-вредителей», и большинство из них получали большие сроки. Однако Бруно Ивановичу повезло — его только сослали. Повезло ему еще и потому, что главу НКВД Ежова как раз перед этим сняли, после чего наступила временная «оттепель» в репрессиях. Конечно же, в Кокчетаве Шнейдеру ничего не оставалось делать, как пойти преподавать в школу.

Занятия в классах он вел необычно. Сначала он как бы мимоходом рассказывал что-нибудь интересное из истории науки или из своей практики и ставил перед ребятами какой-нибудь спорный вопрос, так что мнения в классе сразу же разделялись и начиналась дискуссия, во время которой ребята учились критически мыслить. Например, однажды он рассказал, как над замечательным французским зоологом Кювье, создавшим теорию признаков в зоологии, решил подшутить его друг. Когда Кювье спал, друг надел маску льва с распахнутой пастью, привязал к рукам копыта лошади, стал его будить и при этом угрожающе рычать. Но Кювье совсем не испугался, он сразу заметил «несоответствие признаков» и холодно заявил: «Съесть ты меня не сможешь, так как копытное животное не хищник!». И сразу после

такого введения Бруно Иванович начинал задавать вопросы и обсуждать, в чем же состоит теория Кювье.

Урок о Дарвине и его теории происхождения видов он превращал в дискуссионный клуб, анализируя аргументы как сторонников, так и противников, причем сам отводил себе роль «несведущего», который только и может, что задавать вопросы. В конце урока все уже четко представляли, на чем основана эта теория и в чем её слабые места.

Почти на каждом уроке он оставлял немного времени, чтобы ответить на так называемые общие вопросы, которые он получал от ребят еще на предыдущем уроке. Вопросы были самые разные, иногда каверзные — те, которые их особенно волновали. В такие минуты он превращался из преподавателя в сокровенного старшего друга. Ребята доверялись ему во всем и распахивали душу, задавая вопросы о любви, верности, о женщине и мужчине, о браке и даже о половой жизни. Бруно Иванович был очень прям и откровенен, и если порой не знал, что ответить, то прямо признавался в этом и говорил, что, дескать, хоть и прожил большую жизнь, но на этот вопрос правильного ответа так и не нашел. «Вы должны сами найти его». Иногда его ответы веселили всех. Голос из класса: «У меня есть знакомая девушка, мы ходим с ней в кино, обмениваемся книгами, я доверяю ей все свои мысли и чувства, но она никаких взаимных чувств ко мне не испытывает, а даже скорее наоборот, все время ядовито шутит надо мной…».

«А менять девушек вы уже пытались?» Общий хохот в классе.

Потом стал вдруг серьезным и рассказал, из чего складываются любовь и доверие, приводя примеры из своей жизни и литературы. Вот уже и звонок, урок окончен, но никто не шевелится: «Дальше! Дальше!» — «О, нет! — успокаивает Бруно Иванович. — Отдыхайте. До следующего раза».

Не любили его только наши комсомольские вожаки из местных и некоторые преподаватели, например, по военному делу: «Вбивает в голову детям всякую чушь!».

Бруно Иванович, видимо, чувствовал, что ходит по лезвию ножа, но изменить свою натуру не мог. То и дело наши активисты-комсомольцы пытались его склонить к политической дискуссии, но он умело уклонялся, при этом сохраняя свое лицо перед ребятами.

— Вот вы немец, Бруно Иванович, а мы сейчас против немцев ведем Отечественную войну…

Бруно Иванович перебивает:

— Фридрих Энгельс и Эрнст Тельман тоже немцы, но я думаю, что таких вопросов вы им не задавали бы. А ведем мы войну не против немцев, а против фашизма. Это тоже прошу вас

не забывать. А теперь вернемся к биологии.

Осенью все старшие классы посылались в колхозы помогать в сборе картофеля. Работа эта была очень тяжелой и грязной, порой под проливным дождем, по колено в жидкой глине. А спать приходилось на сеновалах, неделями не раздеваясь и не моясь. Большинство учителей всеми силами, с помощью разных медицинских справок или «по семейным обстоятельствам», старались избегать этих работ. Между остальными бросался жребий — кому ехать с ребятами руководить работой. Бруно Иванович никогда в этой жеребьевке не участвовал, он был всегда там, где его ученики. И даже там он старался превратить эту трудную работу в забавную игру или интересный урок по биологии и сельскому хозяйству. Это настораживало дирекцию школы: «хочет всюду на учеников оказывать влияние».

Большинство учеников, в классах которых он вел биологию, в нем души не чаяли. Перед всеми школьными вечерами за ним на дом приезжали ребята, чтобы сопровождать на вечер. Ни один прощальный выпускной вечер не проходил без его напутственной речи, причем произносил он ее только после того, как его об этом начинали все просить. И говорил он не много, но умно и правдиво, так что после него казенную речь директора уже никто не замечал. С фронта от бывших учеников ему приходили письма. В одном из них: «Теперь я знаю, за что я воюю — за правду!». Не за Родину и за Сталина, а за правду! Что это еще за правда такая? Правда Бруно Ивановича?

Известие о его аресте сразу же облетело всю школу, у большинства старших ребят это вызвало шок: Бруно Иванович и тюрьма — совершенно не сочетаемые понятия! Первыми нашлись девочки, они собрали авторитетную группу из троих и направились на прием к директору. Директор же был из старых сибирских большевиков, ловко проскочивший через все партийные чистки и до последнего времени возглавлявший местную газету; затем, вместо того, чтобы отправиться на пенсию, был «брошен на фронт народного образования», директором школы. С Бруно Ивановичем был он всегда ласков, да и вообще ни в какие конфликты между учителями не лез, ничего никогда не говорил категорично и все время увиливал от решений: «надо с парторгом посоветоваться», или «время покажет, время покажет…». Словом, слыл он среди учеников «великим соглашателем».

Встретил он девочек ласково, усадил на диван, а сам рядом на стул сел: «Ну, что, девчата, с какими проблемами пришли — выкладывайте». Знал, шельма, обхождение!

— А откуда у вас такие сведения, что он арестован? —

наивно притворялся он. — Ах, жена сказала. Ну, арест это еще не осуждение, это только проверка… Я ведь тоже под арестом в 37-м сидел, а вот, как видите, сейчас с вами беседую. Думаю, что наши чекисты-следователи не допустят ошибки, а вы, если уж так хотите помочь Бруно Ивановичу, учитесь хорошо и следите за дисциплиной. Нарушение дисциплины в школе может только ему повредить. Хорошенько поймите это! — И тут он наморщил лоб, показывая, что и сам очень болеет за Бруно Ивановича.

Ушли девочки ни с чем. Так никто и не узнал, за что посадили Бруно Ивановича. Наступило какое-то оцепенение, апатия, всем стало ясно, что перед ними стена: кричи — не услышат.

Вечером собралась «Тройка Пик». Решено было срочно узнать, какие обвинения предъявлены Шнейдеру, где его содержат и какой прокурор (их было в области два) ведет обвинение и где он живет. Разведать это мог только Гена, он жил неподалеку от Шнейдеров и играл с их сыном. Поэтому Гена и был приглашен на заседание «Тройки», что его очень обрадовало, и он с восторгом принял первое задание. Но выполнить его было не просто: сынишка Шнейдеров тупо, со слезами на глазах молчал или говорил, что «мама и сама не знает, ей ничего не говорят». Наконец, после первого разрешенного свидания в тюрьме она узнала и фамилию прокурора, и статью, по которой его обвиняли, ясно, что это была статья 58–10, «антисоветская агитация и пропаганда».

Юра сразу же заявил, что если по этой статье посадили, то уже без срока не выпустят, так как если признать это ошибкой, то следователь будет сразу же уволен, а в КГБ такого не бывает. Это была очевидная правда. Но как же ему помочь, — ломали мы головы. Кто выдал ордер на арест, и кто поддерживает обвинение?

— Только прокурор по особым делам, — заметил Альберт.

— Как же мы можем повлиять на прокурора?

— Уговорить его, — смеется Альберт, — или просто пристыдить, прийти и сказать, что Бруно Иванович очень хороший и честный человек. Ему стыдно станет, вот он его и выпустит. Совесть его замучит!

Что такое совесть советского прокурора, да еще и по особо опасным делам, всем было ясно. Наступила пауза. Наконец заговорил Юра:

— Поставить ему ультиматум: или-или!

— Или что, Юрочка? Скажи, что «или»? — подшучивал Альберт.

— Мы должны его предупредить, — развивал свою мысль

Юра, — что если он засудит невинного человека, то наш суд вынесет ему также свой приговор. Он может выбирать!

— Какой же это наш суд, Юра? И почему он должен его бояться? — вмешался я.

— Суд «Тройки Пик», — с достоинством заявил Юра.

Вот и договорились! Теперь мы уже не просто «демократическая группа», а еще и суд, своего рода «народные мстители», «робин гуды». «Это как-то все по-детски!» — мелькает у меня в голове.

— Нет, ребята, попробуем сначала вызвать возмущение и протесты со стороны жителей города, в первую очередь, среди родителей и школьников, а может быть, и расшевелим волжских немцев — их тут уже сорок тысяч, — говорю я, а сам думаю: их ведь не расшевелишь.

Альберт опять парирует:

— Волжский немец — трусливый немец! Если им скажут в КГБ, чтобы назавтра с веревками пришли — вешать будут, то придут, причем к точному времени. Поверь мне, я их уже долго наблюдаю.

В общем-то, он прав. Я неоднократно пытался в школе завести с ними разговор на тему о «наших правах и кто нас их лишил», но у большинства из них опускались глаза, прижимались уши так, как будто бы их сейчас ударят, и они молчали. А один парень, прищурясь, заявил: «Ты меня не агитируй!». Слова знакомые.

После долгих обсуждений мы пришли к компромиссному решению: во-первых, распространить в школах листовки с призывом посылать жалобы на имя Генерального прокурора Казахстана, требуя вмешаться в незаконный арест и ложные обвинения учителя Шнейдера. Прежде всего, написать самим такое заявление с сотней неразборчивых подписей учеников и послать его в Алма-Ату.

Во-вторых, если положительные результаты не последуют, начать наблюдение за областным прокурором, ведущим дело, и поставить ему этот самый Юрин ультиматум.

Какой именно? По этому вопросу группа так и не приняла решение.

Легко сказать — выпустить листовки. Если написать их от руки или напечатать на какой-либо пишущей машинке в учреждении, то это значит играть в поддавки с КГБ. В Кокчетаве примерно три тысячи старших школьников, сличить их почерка по школьным тетрадям — дело одной недели. А все пишущие машинки в городе находятся на учете в спецотделах, и образцы их шрифтов сдаются в КГБ. Как же изготовить листовки? Проблему

эту нужно было решать быстро.

Как это бывает иногда в трудных ситуациях, случаи вовремя пришел на помощь. Здание, где разместился филиал института, ранее принадлежало Областному сельскохозяйственному управлению, а в дооктябрьское время — земскому управлению. Все это мне удалось выяснить, как ни странно, в будке институтского туалета, находящегося во дворе. На туалетной полке лежала кипа старой бумаги, среди которой я обнаружил множество старых документов этого управления, напечатанных на машинках с совершенно различными шрифтами, один из которых был, видимо, очень старый, о чем свидетельствовали и даты на документах. Меня заинтересовало, откуда в туалет поступают эти старые бумаги, ведь где-то должен быть и их источник — заброшенный архив. Я заметил, что бумагу в туалет приносит секретарша директора. Значит, архив где-то поблизости от нее. Однажды, когда моя мама была на ночном дежурстве в институте, я стал осматривать комнату секретарей и вскоре заметил, что один из стенных шкафов есть не что иное, как маленькая дверь, ведущая еще в какое-то помещение. Дверь была не заперта, и, открыв ее, я увидел, что она ведет в темное пространство без окон. Посветив фонариком, я увидел, что в этом чулане сложен старый канцелярский хлам, покрытый солидным слоем пыли, среди него были ящики с бумагами, часть из которых небрежно рассыпана на полу. Вот он источник документов в туалете! Наугад вытащив пачку бумаги, я убедился, что это действительно они — отчеты и документы бывшего управления. А что в других ящиках? Бумага, бумага, бумага… Но вот в одном — свалка металлических предметов. Копаюсь, нахожу среди старых замков и ламп каретку от старой пишущей машинки. Если есть каретка, то должен быть где-то и корпус машинки. Ищу дальше и, наконец, натыкаюсь в другом ящике на старый ватник, в котором лежит что-то большое и металлическое — корпус машинки. Размышлять не было времени, я уложил каретку туда же и потащил скорей все домой. Вносить свою находку в дом я не рискнул, спрятал во дворе в сено. Наутро рассмотрел: это был очень старый «Ундервуд» с тем самым шрифтом, что и на бумагах в туалете. Видимо, эту машинку никто в советское время не использовал. Я слабо разбирался в механике, сложил все и потащил к Альберту. Он с видом знатока стал осматривать машинку, попытался собрать, но обнаружил, что трех важнейших деталей не хватает — печатать на ней невозможно — «Ундервуд» был мертв. Но то, что нам, обывателям, казалось мертвым, для Альберта было лишь временно уснувшим. Как он вдохнул жизнь в эту развалину, никому из нас не было известно, но через неделю

он с невозмутимым, но довольным лицом пригласил нас на техническую демонстрацию. Машинка печатала! Не оставалось также и никаких сомнений, что она нигде не зарегистрирована. Это как раз для нас! Однако ведь шрифт наших листовок кто-либо в институте смог бы сличить с документами в туалете, и тогда расследование сразу получило бы правильное направление. Против этого Альберт тоже нашел выход: он спилил некоторые детали у заглавных букв и изменил их положение по горизонтали, после чего шрифт стал совсем «оригинальным».

Но тут же возникла и другая проблема: на какой бумаге печатать наши листовки? Проблема состояла не только в том, что бумага во время войны была большим дефицитом, но еще и в том, что по сорту бумаги могут легко найти и нас. Бумага нигде не продавалась, в школе писали в тетрадках, выдаваемых по счету, а в учреждения она поступала централизованно, по ордерам. Нужен был, по крайней мере, килограмм бумаги.

Нина продолжала мозолить нам глаза. Как-то она зашла к Альберту в самое неподходящее время, когда машинка была перед нами на столе. Только благодаря находчивости Альберта, который, пока Нина замешкалась в прихожей, завернул машинку прямо в скатерть и с грохотом швырнул под кровать, гостья вроде бы ничего не заметила. Сам же Альберт успел еще улечься в кровать и закрыть глаза.

— Что это вы тут такое делаете? — тем не менее подозрительно осведомилась Нина.

— Альберт заболел, — нашелся я. — Мать накормила скисшим молоком.

В подтверждение моих слов Альберт издал легкий стон.

— Ну-ка, ну-ка, дай-ка я посмотрю тебя, — сказала Нина и подсела к нему на кровать, так что ее пятки стали касаться машинки. Альберт тут же вскочил, держась за живот, и со словами «я сейчас» помчался как бы в туалет. Дистанция между машинкой и Нининими ногами значительно увеличилась, она пересела на стул. Чтобы совсем разрядить обстановку, мне пришлось тут же пригласить Нину в кино. Как оказалось, эта моя «жертва» была не напрасной.

По дороге в кино Нина рассказала мне, что ее мама теперь работает в бухгалтерии городского суда и что мы должны сейчас туда зайти, так как в сапогах идти в кино она не может, поэтому срочно обменяет свои сапоги на мамины туфли. Нина оставалась модницей при любых обстоятельствах. Я решил вначале не входить в здание суда, а остаться ждать ее снаружи, но потом передумал и решил догнать ее, чтобы посмотреть, что же такое городской суд. Работа в суде уже была окончена. Бухгалтерия

оказалась в конце длинного коридора, проходя через который я заметил, что дверь в комнату машинисток открыта и там, на полу под столами, лежат огромные листы газетной бумаги форматом в местную газету. Видно было, что их разрезают и используют для каких-то второстепенных работ, поэтому они и хранились так небрежно. Решение пришло сразу: я сложил вчетверо примерно килограммовую кипу бумаги и засунул под рубашку. Вышел в коридор, Нина еще была у мамы. Я быстро выскочил на улицу.

В кино мне приходилось прикасаться к Нине только одним боком, но бумага грела меня с другого.

Теперь бумаги у нас полно. Совершенно ясно, что она из местной типографии. Такой бумаги в городе много, ее «судебное происхождение» предположить трудно. Остается составить текст листовки. Как «идеологу» это поручили мне.

«Дорогие друзья! Областными органами КГБ арестован учитель Бруно Иванович Шнейдер. Он обвиняется в деятельности, направленной против советского строя, — в антисоветской агитации среди школьников. Каждому из вас, кто знал Шнейдера, ясно, что это наглая ложь и клевета, преследующая лишь цель устранить популярного и любимого учителя молодежи, потому что он немец и ссыльный. Шнейдер — кристально честный человек, никакого отношения к политике никогда не имел, он был замечательным педагогом и чутким человеком, сеявшим среди молодежи правду и добро. Уже более двух месяцев как он содержится в холодной камере внутреннего изолятора КГБ, здоровье его в опасности. Если вы хотите спасти его, то каждый из вас, а также и ваши родители, должны написать жалобу-протест Генеральному прокурору Казахстана в городе Алма-Ата и послать его по почте.

Время не ждет. Мы должны спасти его!»

Решено оставить листовку пока без подписи. Теперь необходимо было напечатать ее в пятистах экземплярах — работа не из легких, особенно еще и потому, что печатали мы все только одним пальцем. Альберт сразу же предложил изготовить гектограф по рецепту «Народной Воли». Но это было невыполнимой мечтой, так как, покопавшись, он не смог найти нужных материалов. Наконец, Юра достал пачку копировальной бумаги, с помощью которой можно было сразу печатать пять экземпляров, и работа закипела. Три дня и в три смены мы печатали этот текст, да еще нужно было смотреть, чтобы в нем не было школьных грамматических ошибок.

Итак, листовки готовы, ровно обрезаны по краям, сложены в пачки и запечатаны в четыре конверта. Наши первые листовки! Как же их теперь распространить? Гена предложил разбрасывать

их с крыши школы так, как он это видел однажды в кино, и этим страшно рассмешил всех. Потом пошли другие предложения и, наконец, остановились на одном — распространять листовки, раскладывая их в парты одновременно в трех школах, в один и тот же день и час. И разложить их так, чтобы они не сразу все попались на глаза, а обнаруживались бы постепенно, в отделениях парт для портфелей и в туалетных комнатах на окнах и полках.

Игра началась. Самое трудное было незаметно войти в школу, сразу же после того, как рано утром сторож откроет ее, обойти все старшие классы и затем также незаметно покинуть ее, да так, чтобы никто нас не увидел. Гена тут же предложил нарядиться всем девочками — идея интересная, но трудноисполнимая, артистами были не все из нас. Использовать Гену мы не рискнули, что вызвало у него истерику.

Сначала провели репетицию. Каждому была дана своя школа. Чуть свет утром каждый должен был вбежать в нее без листовок, обежать все нужные классы и туалеты и незаметно выйти. Все получалось гладко, сторожа после открытия дверей сразу же возвращались в учительскую комнату, и школа оставалась некоторое время совсем пустой.

Понедельник считался несчастливым днем — назначили вторник. В семь часов утра было еще совсем темно и мела небольшая снежная метель. Я стоял в отдалении от дверей своей школы за какой-то будкой и ждал, пока лязгнет замок. Есть! Иду быстрым шагом к школе, бесшумно открываю дверь, но деревянная лестница на второй этаж начинает предательски скрипеть, а учительская, где сидит сторож, совсем рядом. В коридоре шаги мои совсем не слышны — я в валенках, а вот двери не хотят открываться бесшумно. После каждого скрипа замираю на секунду — вот сейчас сторож выйдет — ведь появление первых учеников возможно не раньше, как через полчаса. Один класс, другой, туалет, еще класс… Наконец, назад тем же ходом, через ту же дверь, которую удалось бесшумно закрыть. На улице ни души: возможно, все и впрямь чисто прошло. Скорее к Альберту, там должны собраться все.

У Альберта также все гладко прошло, а вот Юру в спину в полутьме уже при выходе видел кто-то из учеников. Узнал ли? Итак, все получилось, теперь оставалось ждать только реакции.

На следующий день, когда я вошел в свой класс, то сразу же заметил трех девочек, сидящих вместе и читающих одну из листовок.

— Иди сюда, почитай-ка, что тут написано! — кричит мне одна из них.

Я как ни в чем не бывало сажусь за свою парту.

— Сейчас приду, — и затем как бы случайно нахожу листовку в своей парте и кричу девчонкам: — Так и у меня такая же!

Начинаю ее как бы читать. С листовкой в руках выхожу в коридор, а там уже чуть ли не митинг, чуть ли не у каждого она в руках.

Звонок, начались уроки так, как будто бы ничего не происходит, только вижу, что большинство сидит, уставившись в листовки. Проходит еще полчаса, и вдруг дверь в класс открывается, и на пороге с красным от гнева лицом появляется заведующая учебной частью школы — дама сугубо партийная. В руках у нее листовка.

— Староста класса! Сейчас же соберите у всех эти листки и принесите мне в кабинет. Кто не сдаст — пусть пеняет на себя! — И дальше, в другой класс.

Началось!

Вижу, что не все сдали. Нашлись смельчаки, что даже на перемене их на доску объявлений наклеили. Слышу, что в соседнем классе проходит какой-то митинг, и спешу туда. Смотрю, глазам своим не верю, сам комсорг класса с листовкой в руках призывает идти в дирекцию и требовать, чтобы Генеральному прокурору Казахстана была послана жалоба от имени всей школы!

В полдень на большой перемене в дирекцию вызвали всех преподавателей. В классах появились почему-то уборщицы, начавшие срочную уборку. В дирекции стопилось столько преподавателей, что дверь невозможно было закрыть. Я смотрю через дверь и вижу, что у стола стоит не директор, а какой-то чужой мужчина. Быстро прореагировали, ведь прошло только три часа!

На следующий день в школе все было так, как будто бы ничего вчера и не произошло. Но я заметил, что листовки у ребят остались, то в тетрадях, то в учебниках. На перемене вижу в коридоре рыжего Борю, стоящего с каким-то листом в руках и призывающего всех проходящих подписаться. А я считал Борю тупым. Незаметно, чтобы кто-либо торопился с подписью, Боря же почти кричит:

— Ну, что вы трусите! Когда с вами был Бруно Иванович, вы все за ним ходили, а как попал в беду, так вы и в сторону…

«Наш человек», — подумал я, но подходить мне к нему было нельзя.

В комнате Альберта я тоже составил жалобу Генеральному прокурору, напечатал ее, и мы все разными почерками поставили под ней несколько десятков подписей и отослали по почте. После

всего этого всем как-то легче стало: что-то для Бруно Ивановича мы сделали.

Через Гену мы знали, что Шнейдеру разрешены передачи, но что, кроме черных сухарей, ничего другого принести ему жена не может, они очень бедны. Приносить ему передачи лично от нас мы опасались, поручено было опять же Гене — приносить тайно свертки с продуктами утром к дверям жены. Главный вклад в передачу делал Альберт, это было сливочное масло, которое продавала его мать на базаре, а он тащил его у нее из погреба. Наши тайные дары жена Бруно Ивановича брала, но вот разрешали ли их передавать ему в передачах, мы не знали.

Прошел еще месяц. Никаких перемен в судьбе Бруно Ивановича, конечно, не происходило, более того, как сообщил Гена, следствие закончено и должен быть уже назначен день суда.

— Ну что? — вопрошает Альберт, стоя посреди комнаты в галифе, гимнастерке с широким ремнем и в хромовых сапогах. — Убедились, что умолять их о пощаде бесполезно?

Все молчали. Вообще-то, он был прав: это было наивно. Но что можно еще было сделать?

— Поставить перед прокурором ультиматум: или он снимает обвинения, или он будет ликвидирован!

Не знаю, как Юру, но меня эти слова Альберта кольнули: борьба переходила в другую фазу, готовы ли мы к ней? А главное, что значит «ликвидировать»? Ликвидировать одного — придет другой, еще более лютый, их же много. Неужели терроризм эсеров ничему не научил?

— Нет, нет, — продолжал Альберт, словно догадываясь, почему все молчат. — Убивать мы их не будем, но земля пусть горит под их ногами, и каждый из них должен знать, что будет отвечать за свои черные дела!

«Земля гореть» — что это означает, мы так и не решили, но все согласились, что письмо-ультиматум должно быть прокурору предъявлено.

Через день на той же самой бумаге было напечатано письмо прокурору. Поскольку мы так и не смогли решить, к какой «каре» мы его приговариваем, то написали, что он будет «ликвидирован как преступник и палач своего народа». Много споров вызвал вопрос, как подписать письмо. Я был против того, чтобы подписывать «Тройка Пик», это смахивало на мальчишество и ослабляло эффект, но я остался в меньшинстве. Так что с этим письмом «Тройка Пик», видимо, впервые вошла в историю областного КГБ. Как знатоки своего дела, и бумагу, и конверт мы брали только в перчатках.

Гене удалось установить адрес прокурора. Оказалось, что

живет он совсем неподалеку от Юры — значит, Юре и опустить письмо в почтовый ящик на воротах. Такое соседство позволило наблюдать за частной жизнью этого партийного вельможи. В отличие от других руководителей области, он, принадлежавший к ведомству юстиции, был в некотором роде «лицом независимым», носил форменный мундир, хотя как член партийного бюро обкома подчинялся все же Первому секретарю. Большинство руководителей области его побаивались, так как «дела» на них открывал он, и назначали его не они, а Генеральный прокурор. Поэтому он мог себе позволить некоторый независимый шик в одежде: белые стеганные кожей бурки, кожаное пальто на меху с белым каракулевым воротником. Дом его был необыкновенно больших размеров, раньше, при царе, в нем жил казачий атаман, так что даже и мебель еще в нем осталась прежняя, дубовая. Зимой каждое утро к дому подкатывали сани с кучером, запряженные откормленной лошадью из обкомовской конюшни. Иной раз кучер подолгу топтался в шубе на ветру, пока хозяин не соблаговолит выйти и бухнуться в сани. После чего кучер еще долго укутывает хозяина так, чтобы его не продуло, хотя и ехать-то всего двадцать минут. По синевато-красным щекам и носу, а также хриплому голосу было видно, что прокурор понемножку пьет. А кто из начальства не пьет в Сибири?

Вдруг однажды мы заметили, что утром к дому его подают сани уже не пустые, а в них еще один человек сидит, в военном полушубке. В дом этот человек не входит, а ждет, пока выйдет прокурор и сядет рядом с ним. Телохранитель появился! Это значит, что наш ультиматум принят всерьез.

Но в судьбе Бруно Ивановича так ничего и не менялось. Как мы узнали, дата суда перенесена на неделю позже, и суд должен произойти не в Кокчетаве, а в городке Щучье, на сотню километров южнее по железной дороге. Неужели они нас боятся?!

Прошло еще две недели, и Гена принес нам весть о состоявшемся суде, и о том, что приговорили Бруно Ивановича по статье УК 58–10, часть вторая, «за антисоветскую агитацию» к семи годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.

Они сделали ход — теперь ход за нами!

Конечно, покушаться на жизнь прокурора мы не собирались: прокуроров много, а вот показать людям и другим сатрапам, что их дела не остаются безнаказанными, было необходимо. Итак, раз уж — «земля гори под их ногами», то, может быть, действительно, поджечь его дом, и «пусть это пламя станет символом нашей борьбы!» — такова была наша романтика. Но потом, поразмыслив, мы пришли к выводу, что дом поджигать нельзя: в нем могут оказаться ни в чем не повинные женщины и дети.

Однако пламя, как предупреждение всем им, должно вспыхнуть. Но где?

Присмотревшись к дому, мы остановились на большом сарае, где, видимо, хранились дрова на зиму. Это было большое бревенчатое строение, стоящее несколько в стороне от дома, причем одна стена его выходила на улицу. Сразу возник вопрос, как можно такую махину воспламенить на морозном ветру. Спичкой его не подожжешь. Целую неделю строили мы разные технические проекты. Конечно, сначала вспомнился «бикфордов шнур», но где его здесь возьмешь. И опять же идея пришла в голову нашему «технику» — Альберту.

«Если взять простой шнурок от ботинок, вывалять его в растворе селитры и затем высушить, то при возгорании он начинает быстро и активно тлеть, и никакой мороз и ветер уже не могут погасить это тлеющее пламя. Если к другому концу его привязать большую связку сложенных головками друг к другу спичек, то, как только огонек достигнет их, сера возгорается яркой и длительной вспышкой. Если этот шнурок привязать к бутылке с горючей жидкостью, а саму бутылку подвесить на тонкой нитке, то в момент возгорания спичек нитка перегорает, бутылка падает вместе с горящими спичками, разбивается и происходит воспламенение всей жидкости».

Просто и почти гениально. Этот устройство было десяток раз проверено в действии и ни разу не отказало.

Ночь выдалась особенно темной из-за сплошного облачного настила. Я, Юра и Гена заняли свои места наблюдателей в значительном отдалении от перекрестка двух главных улиц, где находился дом прокурора. Недалеко от дома прохаживался Альберт со своим «гениальным» устройством. План был прост и разработан до мельчайших деталей: мы все, наблюдатели, были расставлены на расходящихся от перекрестка улицах так, чтобы Альберт мог с перекрестка хорошо видеть нас. В руках у нас были электрические фонарики: фонарик должен быть включен и направлен в сторону Альберта, если в поле зрения каждого из нас нет ни пешеходов, ни автомашин. Расстояние от нас до Альберта было таково, что если даже и появится автомашина, то перекрестка она может достичь не раннее, чем через тридцать секунд — время достаточное, чтобы Альберт смог скрыться. Альберт может действовать только в том случае, если он видит огни фонариков у всех наблюдателей. Как только Альберт даст сигнал нам своим фонариком и исчезнет с перекрестка, мы все немедленно тоже должны уходить со своих постов. Репетиция прошла удачно.

Со своего поста я еле различаю силуэт Альберта на

перекрестке. Других наблюдателей я не вижу, они на улицах, расходящихся лучами от перекрестка. Ветер и темнота не дают гарантии, что какая-нибудь санная повозка не выскочит незамеченной на меня из темноты улицы. То и дело кто-то или что-то появляется на моей улице, и я сразу же гашу свой фонарик. Задача у Альберта сложная, он должен за тридцать секунд вскочить на забор около сарая, привязать устройство к кровле, зажечь фитиль и успеть скрыться в переулке. Стою, жду. Десять минут… еще пять минут… Я знаю, что это время для него почти критическое, так как поджигает фитиль он не спичкой, а от другого фитиля, который уже зажжен, и находится у него под шубой. Но вот Альберт быстро направляется к стене сарая, это значит, что у всех у нас одновременно горят фонари. Отсчитываю секунды. И вот он снова появился и мигает нам своим фонарем — все в порядке, нам можно уходить. Вдруг, в последний момент, я замечаю, что из калитки дома прокурора неожиданно появляется темная фигура, которая чуть ли не сталкивается с уходящим Альбертом. У меня перехватывает дыхание. Еще секунда, и я вижу, что они благополучно расходятся в разных направлениях — значит, это случайность, но случайность, которую мы не предусмотрели. Выходящий мог запомнить лицо Альберта… Я начинаю быстро удаляться в темноту маленьких улиц, бежать нельзя. Все время оглядываюсь в направлении перекрестка — там все пока темно. Еще проходит три-четыре минуты — темно. И вдруг я вижу небольшое зарево. Горит!

Мы заранее договорились, что соберемся вместе только через день, утром в воскресенье. Так что в субботу утром я решил один сходить и посмотреть, что же там произошло. На перекрестке уже стояло много людей и смотрело в сторону дома прокурора. Там же, перед домом — огромная черная площадка с разбросанными пожарниками обгорелыми бревнами, а в центре пожарища стоит скелет легковой автомашины ГАЗ. Забор почти весь сломан. Никто из людей не пострадал.

На следующий день все мы собрались. Каждый из нас видел, что возмездие свершилось. Наконец, хоть что-то удалось.

Нина следовала за нами по пятам. Каждый раз, особенно летом, она являлась одетой во что-то новое и экстравагантное: то какой-то пестрый шарф повяжет на голову и разбросает свои прекрасные золотистые волосы по плечам, то явится в строгом, черном платье. Она привязалась к нашей команде, и мы ее считали своей. Постепенно Нина стала для нас уже не только помехой, но и источником новостей из областного суда. Сами мы ее ни о чем не спрашивали, но она чувствовала, что судебные новости интересуют нас. А новости были печальные. Например, в

селе Константиновка, где население больше чем наполовину состояло из ссыльных немцев, была раскрыта «группа саботажников советской власти», и двое из нее уже находятся под следствием. «Саботаж» состоял в том, что некоторые из ссыльных не смогли выработать в колхозе обязательную годовую норму трудодней, а она равнялась 260 трудодням в год. Или другой случай. Был арестован за «антисоветскую агитацию» инвалид войны, младший офицер, вернувшийся с фронта, который в пьяном виде заявил своим землякам, что «СССР был не готов к войне». Мы все, конечно, уже чувствовали, что бороться против такой силы, как КГБ, нам втроем не под силу, но и сидеть, сложа руки, мы не могли.

Наступила весна, приближались выборы депутатов в местные органы власти. На стендах возле домов и в учреждениях расклеивались агитационные плакаты с фотографиями из года в год одних и тех же кандидатов из партийной номенклатуры области: председателей исполкомов и секретарей горкомов партии, директоров, прокуроров и бригадиров. Лишь в редких случаях, для того чтобы придать выборам оттенок народности, кандидатом выставлялись знатная доярка или тракторист колхоза. Все уже привыкли к этому, и никто не обращал на выборы внимания, брали бюллетени и, не рассматривая, бросали в избирательную урну. Не явиться на выборы тоже было опасно, так как велся строгий учет, и если в учреждение поступит сигнал, что работник не явился на выборы, то это могло рассматриваться как «политический бойкот» — с человеком начинали «работать».

Административно ссыльные, в том числе и немцы, имели формальное право участвовать в выборах. Они должны были являться на избирательный пункт и принимать участие в этой комедии. Все знали, что за этим следят, и поэтому в немецких поселках в отличие от русских явка была стопроцентная.

В нашей группе перед выборами началось обсуждение: как мы можем показать народу, что такое свободные выборы в демократической стране. Можно ли организовать массовый бойкот выборам? Можно ли попытаться внести замешательство, предложив своих кандидатов, а не назначенных сверху? Хотя никто из нас еще не достиг возраста избирателя, но пресловутое «Положение о выборах» мы хорошо знали, в частности, и ту статью, где предусматривается возможность выдвижения нескольких кандидатов на одно место, такая формальная возможность положением была предусмотрена.

Почти одновременно всем нам пришла в голову одна и та же мысль.

— Нужно попытаться провести в кандидаты независимого от

партии кандидата, например, учителя из ссыльных, и если это не дадут сделать, то все увидят, что это не выборы, а комедия, — предложил Юра.

Альберт парирует:

— Твой кандидат не согласится выставить свою кандидатуру, так как это ему будет стоить, по меньшей мере, увольнения или срока за попытку сорвать выборы.

— Тогда обратимся к населению, чтобы люди бойкотировали выборы, — заметил я.

После долгих споров всем стал ясно, что большого успеха мы не добьемся. Население запугано, да большинству и все равно, кого выбирать. Тогда мы просто решили выпустить листовки, и в этих листовках рассказать о праве выдвигать свободных кандидатов и о праве бойкотировать комедию выборов.

«Граждане избиратели! Вас принуждают выбирать одних и тех же, сверху назначенных людей, называя их „народной властью“. Согласно „Положению“ вы имеете полное право выставить действительно своих кандидатов, тех людей, которые будут защищать ваши интересы.

Выдвигайте на предвыборных собраниях своих кандидатов! Тех, кому вы доверяете. Кандидатом может стать любой гражданин, даже так называемый административно ссыльный.

Сибиряки! Не смотрите на ссыльных, как на врагов, часто вина их состоит только в том, что у них в паспорте стоит слово „немец“, но они такой же, как вы, трудовой народ. Только объединившись, вы сможете организовать свою истинно народную власть.

Согласно „Положению“, вы можете на собрании устно назвать любого из вас вашим кандидатом и голосование должно быть проведено. Если же предложенные вами кандидаты не будут выставлены на голосование, бойкотируйте выборы, не участвуйте в этом обмане.

Да здравствует истинно народная власть!»

Листовки опять же решено было не подписывать. На этот раз несколько килограммов бумаги было просто куплено на базаре в соседнем городе, Петропавловске. Застучала вновь наша пишущая машинка. Оказалось, что стук машинки слышен с улицы прохожим, а, может быть, и в соседнем доме. Чего только мы ни придумывали: и на подушки ее ставили, и одеялом накрывались, все равно стук был слышен. Наконец, нашли для нее укромное место — погреб, где мама Альберта хранит молочные припасы для рынка. Для мамы была придумана версия нашего пребывания в погребе: мы занимаемся там фотографией. Но из погреба наша машинка тоже была слышна, так что печатать приходилось, когда

мамы Альберта не было дома.

И вот примерно тысяча красиво напечатанных бумажек лежит перед нами в аккуратно сложенных стопках. Теперь нужно их распространить, хотя нам было понятно, что КГБ уже проснулось и, возможно, кампания выборов взята под особый контроль. Решено было распространять листовки прямо на агитационных пунктах, там, где лежат и официальные материалы о выборах. Эти пункты были расположены в общественных зданиях: кинотеатрах, библиотеках и даже амбулаториях, иначе людей туда невозможно было бы зазвать. В этих пунктах постоянно дежурили агитаторы, которые вели регистрацию избирателей и предлагали им материалы — листки с биографиями выдвигаемых кандидатов. Оценив ситуацию на этих пунктах, мы решили тайно раскладывать наши листовки рядом с официальными так, чтобы люди могли брать и те и другие. От многих пунктов сразу же пришлось отказаться, например, райком партии, милиция, где наше появление было бы само по себе опасным. Гену мы отстранили от этого, так как он совсем не был похож на взрослого избирателя.

Мне достались три пункта: поликлиника, почта и вокзал. В поликлинику я пришел с забинтованной по локоть рукой и с пачкой листовок в правом кармане. Здесь мне ничего не стоило заслонить спиной стол с литературой и спокойно разложить наши листовки. А вот на почте произошла заминка. Агитационный стол располагался вплотную с окошком телеграфистки. Народу кругом оказалось довольно много. Закрыть стол собой было невозможно. Я наклонился над ним, как бы рассматривая литературу, и в этот момент положил туда же три пачки листовок. Задержался немного и стал отходить. Но сразу уходить нельзя. Смотрю, прямо к моей пачке потянулся какой-то военный. Во мне все замерло — засада. Но вот он берет мою листовку, спокойно переворачивает ее, не читая, и начинает что-то на ней также спокойно писать. Потом приклеивает ее к телеграфному бланку и направляется к телеграфистке отсылать телеграмму. Хорошая белая бумага на наших листовках!

У Альберта и Юры все также прошло гладко. На следующий день мы все пошли в кино, чтобы распространить там остаток листовок. Каждый сел в конце ряда у прохода, и, как только закончился сеанс, мы пошли за толпой к выходу, раскладывая по своему ряду на сиденьях листовки: через минуту должны будут впустить сюда людей на следующий сеанс.

Видимо, уже в конце первого дня в КГБ знали о листовках. Однако мы поздно вечером, когда стало совсем темно, прошли по главным улицам на базарную площадь и разложили наши

бумажки повсюду, где только можно.

Пожалуй, никто из нас в глубине души не верил, что наша акция воздействует на людей и они действительно выдвинут независимых кандидатов. Но нам казалось, что листовки произведут на них впечатление, и многие поймут, что выборы эти — настоящая комедия.

Прошел еще один месяц, и была назначена дата торжественной встречи кандидатов с избирателями. Конечно же, кандидатами были названы все те же назначенные сверху лица: начальник почты, заместитель председателя Городского Исполнительного комитета и им подобные. Встреча и концерт после нее должны были пройти в Летнем театре, расположенном в городском парке. Билеты раздавались на предприятиях «лучшим людям», таким образом актеры располагались по обе стороны занавеса. Это была встреча своих людей.

Утром в воскресенье у Альберта плохое настроение, он почти не участвует в наших разговорах, ходит взад и вперед по комнате и вдруг заявляет:

— Нужно как-то помешать этому сборищу!

— Ну как же помешать, когда там они все свои? Разве они будут читать наши листовки? — сказал я, думая, что Альберт хочет там их разбрасывать.

— Сжечь весь театр — он же деревянный!

— Но там же люди!

— Сжечь пустой театр, до того как они там соберутся.

Видимо, «прокурорский костер» уже немного вскружил ему голову. Но постепенно и мы с Юрой привыкли к этой мысли. Действительно, много людей прочли наши листовки и, возможно, в душе все понимают, но сделать ничего не могут, и «костер» театра покажет им, что комедия выборов не всегда проходит гладко.

Началась подготовка. Времени оставалось очень мало. Театр был действительно весь деревянный, по сути дела, это была большая крытая эстрада и зрительный зал под открытым небом. Располагался он в центре парка, обнесенного высоким забором. Летом здесь проходили спектакли местной оперетты или концерты военного духового оркестра. Как это мы легко установили, днем в театре никого нет, и он со всех сторон заперт. Трудность состояла в том, что если снять замки и проникнуть в театр для установки устройства, то на обратный путь потребуется слишком много времени, кроме того, не исключено, что перед началом мероприятия всюду будет установлена охрана. Наконец, осмотрев здание снаружи, мы обнаружили небольшую деревянную дверь, ведущую вроде бы внутрь здания. Сняв

небольшой замочек, мы попали в маленькое складское помещение без окон, из которого никаких дверей в здание театра не было. Оказалось, что это помещение принадлежит обслуге парка и в нем хранится садовый инструмент. Открытие оказалось очень важным — не нужно проникать в театр!

До начала «мероприятия» оставался только один день. Вечером, осмотрев парк, мы удостоверились, что никакой специальной охраны не установлено, хотя через парк то и дело проходят курсанты военного училища, которое расположено рядом. Решено было действовать поздно вечером на следующий день.

Итак, все происходило в том же порядке, как и у прокурорского дома: мы трое стоим в аллеях парка, ведущих к театру, Альберт неподалеку от театра. Он ждет, пока загорятся все три фонарика, — это будет обозначать, что никого поблизости нет. Я включаю свой фонарь и вижу, как Альберт исчезает за дверцей склада. Начинаю отсчитывать секунды, на пятидесятой секунде он появляется снова снаружи и дает сигнал фонариком к нашему отходу. Иду спокойно по аллее и каждую минуту оглядываюсь в сторону театра. Уже прошло пять минут — света пламени нет. Отошел еще подальше, стою и жду, но зарева все так и нет… Неудача?

На следующий день Альберт все нам объяснил. Задуманное было выполнено точно. Когда он выходил из помещения, то увидел, что из открывшейся двери уже повалил дым — устройство сработало, и он стал быстро отходить, но, оглянувшись, увидел, что неожиданно появились два курсанта и быстро бегут к двери. Они-то, видимо, и погасили пламя.

Выборы прошли спокойно и торжественно. Как и всегда, явились к избирательным урнам 96 % избирателей и проголосовали за «блок коммунистов и беспартийных» 99, 6 %. Ну, все как и прежде, но лишь одна небольшая мелочь указывала на то, что власти нервничают: уже с обеда в день выборов стали усиленно работать переносные урны, которые доставляли прямо домой к тем, кто еще не пришел на выборы. Попробуй-ка, откажись голосовать!

Трудно бороться в одиночку, да еще с такой силой, как советская власть. А еще труднее расшевелить людей, задавленных страхом перед властями, заронить в них чувство независимости и волю к сопротивлению. Как говорили древние греки — «для свободы нужно созреть». Уныние охватило нашу группу, мы чувствовали себя как бы на дне бетонного колодца: стучи в эти стены — их не проломишь.

Один Альберт неистовствует:

— Взорвать их всех! Сделать динамит и взорвать!

И я увидел, что это не только фраза, на его столе лежит книга «Химия взрывчатых веществ». Конечно, я и сам уже грешил с этим. Находясь в химической лаборатории института, я уже пытался получить нитроглицерин, но как только дело доходило до введения глицерина в кислотную смесь, благоразумие во мне побеждало — уж слишком много рассказов я слышал от химиков об оторванных руках и поврежденных глазах у детей, игравших в эту опасную игру. Но все-таки угроза Альберта осталась фразой, Бог отвел нас от этой страшной затеи, да, видимо, и технически мы ее не смогли бы выполнить.

Наша общая депрессия длилась долго, примерно полгода. За это время я увлекся боксом и вместе с Юрой ходил на уроки к нашему знакомому геологу института Генриху Майеру. Это был человек исключительной энергии и воли. В 1938 году он оказался под следствием НКВД как «вредитель», да еще к тому же и немец. Но произошло чудо: в 1939 году глава НКВД Ежов был снят и назначен Берия, который для начала, исправляя «допущенные ошибки», выпустил некоторых «невинно арестованных», к счастью, среди них оказался и Генрих Майер. Позднее же о нем, видимо, забыли.

Произошло нечто совсем неожиданное — я влюбился в ученицу 9-го класса Иру Матвееву. Ее никак нельзя было назвать красивой, в ее простом, довольно круглом и розовощеком лице не было ничего особенного. Была она высокой девушкой с длинными вьющимися золотистыми волосами, и весь ее вид выражал какое-то внутреннее достоинство и цельность натуры. В школу мы ходили по одной и той же улице, и я понимал, что мне нужно подойти и заговорить с ней, но как только я приближался, язык прилипал у меня к гортани, и я нес какую-то глупость, разговор не вязался, она отвечала очень лаконично. Вечером я выходил на улицу прогуляться и, конечно, во время этих прогулок то и дело оказывался у ее дома, а если окна были еще и не зашторены, то видел, как она, стоя перед зеркалом, расчесывает свои прекрасные волосы или сидит за столом и читает какой-то толстый роман. Возвратясь домой, я не мог начать заниматься, мечты одолевали меня.

Все переменилось в моей жизни, вся моя политическая борьба как бы отошла на второй план. Я посвящал Ире стихи, составлял письма с признаниями и, конечно, тут же их рвал, изобретал планы, как завоевать ее расположение. Однажды, провожая ее из школы домой, я все-таки решился пригласить ее в кино, но тут же услышал, что «у нее дома слишком много дел».

В то же самое время другая девушка, Нина, только и ждала,

что мы куда-нибудь вместе с ней пойдем, заглядывала в мои глаза, и то и дело приближала свои сочные губы, но я не испытывал к ней большого влечения. Иру же я боготворил, ходил за ней по пятам и все время нарывался на вежливый отказ. Так шли недели и месяцы.

Тем временем «Тройка Пик» и без меня продолжала действовать. В Альберта вселился какой-то бес: он звал к решительным действиям, хотя было ясно, что они безрассудны. Юра почти во всем поддерживал его, и «тройка» как бы превратилась в «двойку». Над моей любовью они потешались и обвиняли меня в мещанстве: «Сейчас для любви нет времени — нужно действовать». Но как? Что мы могли еще предпринять?

Шли слухи о новых арестах в немецких поселениях. Готовился процесс «об антисоветских выступлениях в совхозе им. Кирова», и по этому делу уже были арестованы шесть человек и привезены в Кокчетав. Альберт через своих знакомых на почте узнал, что связь Областного КГБ с Алма-Атой происходит по специальному телефонному кабелю, который идет вместе с другими проводами на столбах. Столбы с проводами сначала идут по городу, а потом прямо через степь к железнодорожной станции. Этого было достаточно, чтобы теперь уже «двойка» приняла решение прервать эту связь. Для этого было изобретено приспособление, состоящее из металлического троса, на конце которого прикреплена гиря. Если ее закинуть за телефонные провода около столба и потянуть, то провода разрываются. Провода отличались по цвету, и, как показалось Альберту, один из них вел в КГБ. Началась борьба со связью: ночью в степи провод КГБ разрывался, днем его ремонтировали, снова ночью он разрывался в другом месте, и так снова и снова. На мой взгляд, это была борьба с ветряными мельницами, и я удивлялся, как это органы не могут организовать засаду в степи. Короче, все это становилось не только бесполезным, но и опасным. Начались споры, я требовал, чтобы игра была немедленно прекращена.

— А что ты предлагаешь еще? Гулять с девушками? — язвил Альберт.

Я тут же бросил первое, что пришло мне в голову:

— Нужно попытаться подключиться к местной радиосети и обратиться к населению.

Альберту идея очень понравилась, и он сразу же потянулся к техническим справочникам. Но по его расчетам осуществить это было очень трудно: найти все детали для усилителя едва ли возможно. Однако попытки создать усилитель все же начались, и кабель КГБ был оставлен в покое.

Нахлынувшие события прервали осуществление этого

проекта.

Однажды я провожал Нину из кино домой, и она вдруг мне неожиданно шепчет:

— Альберт вооружился — у него новый боевой пистолет с патронами.

У меня так все сразу и перевернулось внутри: «зачем?!». Я сразу помчался к нему.

— Да, — не без некоторой гордости подтвердил он. — Мы должны быть готовы и к обороне.

— К какой обороне? Отстреливаться, как Чапаев, из окна дома?

Здесь он бережно выложил на стол новенький пистолет «ТТ».

— С патронами?

— Да, с патронами!

— Глупость и еще раз глупость! Почему не обсудил со всеми?!

— Ну, хорошо, считай, что ты этого не видел. Я владею и мне как член «Тройки Пик», а как частное лицо.

— Альберт, среди нас уже не может быть частных лиц: мы все связаны и все друг за друга в ответе!

Но больше всего меня возмутило, что он не удержался и похвастался пистолетом перед Ниной. Нина хотя и симпатичная девушка, но она к нашему делу не имеет отношения и не нужно ее нагружать таким грузом. «Еще одна свидетельница», — мелькнуло у меня в голове.

Пистолет Альберт похитил в кино, когда рядом с ним в темноте оказался совсем пьяный милиционер.

Итак, теперь мы вооружены. Непонятно только, зачем.

Не успели мы смириться с этой новостью, как пришла другая.

Прихожу однажды к Альберту домой, сажусь в кресло и вдруг взглядом натыкаюсь на большой металлический предмет, лежащий у него под кроватью. Этим предметом оказался уличный почтовый ящик.

— Сам снял?

— Снял!

— Зачем?

— Там могла быть спецпочта КГБ по процессу. Это с центральной почты.

— Почему один действуешь? Почему не обсудил?

Для обсуждений не было времени, все получилось случайно.

Альберт, там никакой почты КГБ быть не может, у них своя почта.

— Не беспокойся, я утоплю его сегодня ночью в озере.

Конечно же, он его утопит, но мать, делая уборку комнаты,

несомненно, его уже заметила. Еще одна свидетельница!

Однажды Нина принесла нам новость. Снят со своего поста начальник Областного КГБ и на его место из Алма-Аты прислан другой. Это неспроста. Уже и так по некоторым признакам было ясно, что розыски «тройки» активно идут. На почте установлен милицейский пост. На базаре, в кино и на вокзале участились облавы, в которых принимают участие не только милиционеры, но и люди в штатском. В одной из школ был неожиданно учинен тотальный обыск, рылись не только в партах, но и в карманах у девочек.

И, наконец, еще одна глупость Альберта.

Ему стало казаться, что вечером в темноте за ним иногда кто-то ходит, и куда бы он ни свертывал, эти шаги следовали за ним. По моим догадкам, причина этому могла быть одна: милиционер в кино был не так-то уж и пьян и мог примерно вспомнить, кто сидел с ним рядом. Однажды Альберт вышел с последнего сеанса из кино и вдруг услышал, что кто-то сзади окликает его в темноте:

— Подождите-ка минуточку, я хочу вас спросить…

Альберт ускорил шаг, но почувствовал, что его догоняют.

Тогда он побежал. За ним тоже побежали, причем уже двое. Пистолет был при нем. Он, не раздумывая, выстрелил в темноту три раза и побежал дальше. Преследование прекратилось.

После этого группа собралась на совещание, и оно оказалось чуть ли не последним. Никаких выговоров Альберту мы не делали — не до этого. Объявили «чрезвычайное положение». Уже заранее было условлено, что в этом случае каждый должен делать. Пистолет закапывается в землю, пишущая машинка с остатками бумаги затапливается в озере, все подозрительные книги сжигаются в печке, проверяются все полки, портфели, карманы, ящики с инструментами и химикалиями. Затем подробно анализируются все наши промахи и устанавливается, с какой стороны могут на нас выйти «органы». Основные потенциальные свидетели: мама Альберта, Нина и пьяный милиционер, ну и, конечно же, любой из нас.

— Можем ли мы поклясться сами себе в том, что в случае ареста одного из нас он не назовет ни одного имени своих товарищей и не даст ни одной новой нити следствию?

— О, да… да… да.

И еще одно «да» мы слышим от стоящего в дверях маленького Гены, он тоже здесь.

— «Тройка Пик» временно прекращает свою борьбу. Она выполнила то, что было в ее силах, — с некоторым пафосом произношу я. — Наши встречи прекращаются, и только в крайнем

случае и с большой осторожностью мы можем что-то сообщать друг другу. Будьте бдительны, друзья!

Провал

Уже отгремела Сталинградская битва, Ленинград уже свободен от блокады, противника теснят с Украины, прошло совещание союзников в Ялте, и вот-вот должен открыться «Второй фронт» — в воздухе запахло окончанием войны, победой. Пришел план возвращения института в Ленинград. «Неужели и нас могут взять с собой?»

Однажды мама приходит с работы совершенно убитая. Вечером она нам с сестрой шепотом рассказывает ужасную новость. Директор института Спихина вызвала маму к себе и под большим секретом сообщила ей, что в институт приходил сотрудник КГБ, что-то спрашивал о маме в отделе кадров и долго рассматривал ее личное дело.

— Это они как-то догадались, что я по паспорту немка и решили проверить.

А у меня же в голове совсем другое: «Они как-то напали на след „Тройки Пик“, и след этот ведет в институт».

Спихина советует маме срочно уехать из Кокчетава, она может перевести ее в другой филиал в городе Коканд в Узбекистане. О командировочном удостоверении, которое она маме выдаст, а также о месте, куда она переедет, никто не будет знать. Спихина — героиня, на такое в то время редко кто из членов партии мог бы решиться.

Пришла весна. Я держу последние выпускные экзамены за среднюю школу и получаю «золотой аттестат» — теперь я могу без экзаменов поступить в технический институт и сразу же переехать к месту учебы. Как это все одно с другим счастливо соединилось!

Я спешу, подаю документы сразу в три института: в Ташкенте, Казани и Саратове. Все эти институты были эвакуированы из Ленинграда, и значит, скоро смогут туда возвратиться. Уже через неделю пришел официальный ответ из Ташкента, что я принят в Ленинградский электротехнический институт и меня ждут. Значит, моя почта еще не находится под слежкой! Моя сестра, уже два года тому назад окончившая школу, также принята в Ленинградский университет, находящийся пока в Саратове. Я узнал, что отец Юры со всей семьей возвращается через месяц в Ленинград. Итак, останутся только двое: Альберт и Гена, у них нет возможности выехать. Встречаться друг с другом мы уже опасались: могла быть персональная слежка.

Время шло, и напряжение росло. Решено было сначала как можно скорее покинуть этот город и переехать в Ташкент, а уж потом разъехаться каждый в свой институт. Штамп в паспорт о переезде в другой город мама решила не ставить, а исчезнуть незаметно.

Вещи складывали мы по ночам и, конечно, брали только самое необходимое, так что у каждого образовался свой чемодан. Директор Спихина не подвела — тихо вручила маме командировочное удостоверение и пожелала удачи. Хозяйке о выезде мы сообщили только за день — мол, срочно приказали выехать в Ленинград. И на следующий день рано утром мы уже садились в поезд, который направлялся в Оренбург, где должна быть пересадка на ташкентский поезд. Теперь мы все находились в настоящем побеге!

Ташкент встретил нас солнечной погодой. Он весь в зелени, на улицах цветы. Восточные базары полны дешевых фруктов. Люди как-то по-праздничному пестро одеты. На головах у стариков чалма, а многие женщины носят паранджу, и их лица закрыты чадрой, сплетенной из тонкого конского волоса, так что только при ярком солнце можно вблизи рассмотреть черты их лиц. В городе много институтов, театров и редакций журналов, эвакуированных из Москвы, Ленинграда и Киева.

Маме удалось разыскать здесь наших дальних родственников, семью Бенуа, высланную из Ленинграда еще в 1937 году. Родство это было очень дальним по линии нашей бабушки Иды-Амалии Майер — одна из сестер ее матери вышла замуж за французского эмигранта в Берлине. Эти Бенуа все были связаны с Мариинским театром и находились в каком-то родстве с художницей Серебряковой и скульптором Лансере. Одного из членов этой фамилии, молодого человека, Жоржа Бенуа, я встречал еще в Ленинграде в квартире бабушки. Большинство Бенуа сослали в Ташкент, и они ютились в двух комнатках маленькой квартиры.

Старшей из Бенуа было уже далеко за семьдесят. Когда она приехала в этот город, ей сразу же удалось начать преподавать, а потом и ставить классические балеты в национальном театре. До нее здесь о классическом балете не имели и представления. Ее дочь, которой в то время было уже сорок, еще долго танцевала ведущие партии в этих балетах. Сын дочери, Сергей, тоже стал солистом балета в новом русском Театре оперы и балета им, Свердлова, а дочка училась в хореографическом училище. Так что семья была в полном смысле балетная.

Когда я вошел в тесную комнатку, передо мной в большом старинном кресле оказалась очень пожилая женщина с морщинистым, землисто-серым лицом и большими

выразительными глазами, внимательно устремленными прямо на меня. Ее седые волосы были взбиты большой копной на голове и закреплены роговыми шпильками, совсем как на старинных фотографиях моих родственников. Одета она была в какой-то шелковый халат с кружевным воротником и манжетами. На груди огромная перламутровая брошка и на пальцах старинные кольца. В руках она держала трость с набалдашником резной слоновой кости, да еще и сидела она на фоне старинного зеркального туалета. Ну, прямо как на съемках кинофильма «Пиковая дама». Продолжая держать трость, не вставая, она протянула мне руку так, как будто делала большую милость, и я не знал, что должен был делать с этой рукой, видимо, поцеловать, но этого я не умел. Мадам Бенуа ничему не научила советская власть, она как бы ее не замечала и продолжала жить еще «той» жизнью. Говоря о представителях советской власти, она называла их «большевиками» или выражалась так: «Я слышала, что у них там…». Пришедшего почтальона или дворника она называла не иначе, как «любезный»: «Ну, что ты там принес мне, любезный?». И сразу же доставала чаевые из своего сафьянового мешочка. Когда ее с группой таких же ссыльных везли в Ташкент в столыпинском вагоне, в туалет их сопровождал конвойный солдат. Если мадам Бенуа нужно было туда сходить, то она стучала по решетке кольцом и как бы приказывала: «Ватерник, пойдемте!» — думая, что при ватерклозете здесь приставлены специальные для нее служащие.

Видимо, она была талантливая балерина и режиссер. По заказу партии первым балетом должен был быть советский балет, поэтому ей пришлось ставить «Красный мак». Постановку балета показали на «Декаде узбекского искусства» в Москве в 1939 году, и спектакль был отмечен премией и орденом Ленина, который получила не ссыльная мадам Бенуа, а совсем к этому не имеющая отношения директриса национального узбекского балета. Когда она надевала этот орден в театре, мадам Бенуа при всех подходила к ней и громко спрашивала: «Не прожжет ли он вам костюм?».

Целую неделю мы все отдыхали в этой гостеприимной семье, хотя спать приходилось на матрацах, расстеленных прямо на полу. За это время я зарегистрировался в институте, и мы с сестрой сняли комнатку в центре города. Мама к тому времени, оставив нам некоторую суму денег, уехала в Коканд; сестра также собиралась двинуться дальше в Саратов, в Ленинградский университет — ее мечтой была английская филология.

Вскоре нагрянувшие события заставили меня срочно бежать из Ташкента.

Однажды сестра увидела на главном проспекте Ташкента нашего школьного преподавателя военного дела, одетого во все штатское. Он стоял около большого магазина и пристально всматривался в толпу. «Послали меня искать», — ударило мне в голову, он хорошо знал меня в лицо. «Видимо, как-то определили, что мы уехали в Ташкент». На следующий день, надев узбекский халат и тюбетейку, я направился также на этот проспект. С другой стороны улицы бросилась мне в глаза знакомая фигура военрука — он был опять там и осматривал прохожих. Сомнений не оставалось — нужно бежать. У меня в кармане лежало еще одно приглашение, от Ленинградского химико-технологического института им. Ленсовета, который временно находился в Казани. Терять времени было нельзя, и уже через неделю я сидел в поезде, увозившем меня в Саратов, откуда по Волге на пароходе я прибыл в Казань.

Еще с пристани я увидел внушительные стены казанского кремля с остроконечными башнями. Укроют ли меня эти стены?

Ленинградский институт располагался в одном здании с институтом казанским. Это было большое монументальное здание по проспекту Карла Маркса, которое сразу же мне понравилось, а когда мне показали и шикарно оборудованные лаборатории для студентов, сердце мое забилось от радости: больше всего любил я химию. Институт уже готовился к возвращению в Ленинград, и это меня вдохновляло. Поместили меня в комнате, находившейся прямо в главном здании. В ней жили еще три студента. Лекции и занятия не показались мне трудными: многое по химии я хорошо уже знал. Меня избрали старостой группы. Из письма мамы я узнал, что и она хорошо устроилась в филиале института в Коканде и надеется вернуться в Ленинград. Чтобы укрепить свое положение, она зарегистрировалась в браке со своим старым знакомым Алексеем Ивановичем Володиным, который находился в чине майора на фронте. Теперь ее «немецкая карта» была покрыта солидной картой «жены офицера-фронтовика»!

Постепенно напряжение во мне стало спадать, и воспоминания о «Тройке Пик» и городе Кокчетаве начали растворяться в химии. Мне показалось, что я ушел от погони и нахожусь в безопасности. Единственно, что еще тревожило, так это прописка в Казани, которую настоятельно требовал от меня комендант студенческого общежития. Я от этого упорно уклонялся, так как надеялся, что вскоре вообще уеду с институтом из Казани в Ленинград. Но комендант ходил за мной по пятам и требовал, чтобы я отдал свой паспорт для прописки в милицию.

Началась уже зима, шел ноябрь, выпал снег. Я любил по воскресеньям бродить по красивым улицам Казани, ходить в кино, толкаться в толпе на базаре. Однажды у ворот базара я обратил внимание на седого старца с длинной бородой, который гадал прохожим по руке. Глазницы его были пусты, он был слеп и гадал ощупью. Я задержался посмотреть, как он это делает, подошел поближе и вдруг слышу, он обращается ко мне: «Знаю, что кто-то молодой подошел ко мне слева. Подожди, дорогой, я сейчас возьму и твою руку. С молодых я платы не беру». Я вздрогнул: как он может чувствовать, что я подошел, да еще что молодой? Сначала я хотел уйти, но потом вижу, он протягивает ко мне свои руки, пришлось и мне протянуть свою. Я никогда не верил гаданиям и не любил гадать, а тут вот черт попутал. Старик стал осторожно пальцами ощупывать рельеф моей ладони и сразу же начал говорить:

— Только ты не пугайся, что я тебе сейчас скажу, все это, в конце концов, пройдет и мхом порастет. Предстоит тебе дальняя дорогая в казенный дом, будут тебя сильно обижать, и мама твоя будет очень горевать о тебе, так как ваши дороги далеко разойдутся. Твоя жизнь переменится, и большие испытания ждут тебя. Будешь ты делать не то, что ты хочешь, а то, что тебя заставят. Под Венерой ты родился, но встретишься с нею вновь не скоро, а только когда станешь уже совсем взрослым человеком…

Голова моя стала кружиться от всех этих слов, и какая-то горечь охватила меня. Заплатил я ему, хотя поначалу он и отказывался брать деньги, и пошел домой. Иду, хочу отогнать все печальные мысли: «казенная дорога» — это, должно быть, дорога в Ленинград, «испытания» — жизнь студенческая не из легких, но чувствую, что это бесполезно — что-то мрачное надвигается на меня. Прошло еще время, и душа моя успокоилась, мало ли что там нагадал старик! Единственная мысль, которая мучила меня, была мысль об оставшихся там, в Кокчетаве, Альберте и Гене. Может быть, все это уже заглохло, и их жизнь протекает нормально, и только я тут один страдаю от плохих предчувствий? А что если послать открытку Гене, он несовершеннолетний, его не должны тронуть. Пусть-ка он мне ответит «до востребования». И дьявол попутал меня: я написал-таки эту открытку с одной лишь фразой: «Привет, как живешь, ответь». Это была одна из самых непростительных ошибок моей жизни!

Жду-пожду, ответа нет. Ну, да и ладно, может быть, уехал Гена в техникум учиться в соседний город, как хотел. И стал я забывать про эту открытку. Тем временем комендант докучал: «Отъезд в Ленинград только после Нового года — вы обязаны пойти и сделать прописку!». Деваться было некуда, с тяжелым

сердцем пошел я в отделение милиции и оформил прописку. А вскоре об этом и забыл. И как-то все успокоилось на душе: «Все это уже в прошлом, и все старое утряслось».

Говорят, что люди в день своего ареста уже с утра предчувствуют беду. В понедельник 2 декабря 1944 года у меня не было никаких предчувствий. День начинался с лекции по общей химии в большом зале. И вдруг в перерыве подходит ко мне комендант общежития и просит меня зайти в мою комнату по делу. Я уже привык к таким вызовам, мне как старосте то и дело приходилось принимать и размещать новых студентов или решать какие-либо хозяйственные дела. И на этот раз, оставив свой портфель в зале, я поспешил в свою комнату. Открываю дверь и с удивлением вижу, что все три мои товарища по комнате уже там, а ко мне из глубины комнаты направляются двое в штатском, причем один даже не снял свое полупальто и держит руки в карманах. Подошедший попросил меня назвать свою фамилию, после этого он показал свое удостоверение, на котором я сразу же увидел зловещие слова: «…государственной безопасности». Внутри у меня что-то сжалось комком, и в ушах начался пронзительный звон. Вот оно!

Он попросил паспорт и, внимательно рассмотрев его, вручил мне синий небольшой листочек с напечатанным на машинке текстом, который я уже не мог от волнения прочесть, только заметил вверху документа опять: «…государственной безопасности…» И затем он мне тихо сказал:

— Вы арестованы. Покажите, где находятся ваши вещи, и сядьте на этот стул.

Психологически я давно готовил себя к аресту, в мыслях рисовал себе разные сцены: на улице выскакивают из машины двое в кожаных куртках и направляются быстро ко мне, я бегу через подворотни, они с пистолетами за мной. Или они стучатся в дом, затем разламывают топорами дверь, а я тем временем выскакиваю в окно и бегу в темноте по морозу… Но проза жизни далека от романтики, и мой арест был тому подтверждением — он происходил обыденно и тихо. Только на лицах остальных ребят, присутствующих в комнате, можно было прочесть ужас и удивление. Смотря на них, я почувствовал, что мы уже находимся в двух разных мирах, и какая-то невидимая завеса протянулась между нами. Меня больше уже ни о чем не спрашивали, я был как бы уже отделен ото всех, и моя личная «вольная» жизнь уже закончилась. Обыск происходил быстро: всех вещей моих было — только один саквояж. Особо тщательно просматривались записи и книги, в записях нашли мой маленький детский дневник, в котором в день празднования годовщины Октябрьской революции

была и такая запись: «Боже мой, уже двадцать пять лет, как эти бесы захватили власть в России и продолжают угнетать народ!». Подозрительным показалось также и православное Евангелие с моими пометками, а также старый штамп Нефтяного института, припрятанный мной на всякий случай. Сколько лекций ни читали мы друг другу на наших собраниях о бдительности и конспирации, наивная мальчишеская небрежность была налицо: уже только за то, что они сейчас нашли у меня, суд спокойно мог бы вынести солидный приговор за «антисоветскую агитацию». Странно, что меня почему-то не посадили в тюремную машину, а просто повели по городу, заставив нести свой небольшой вещевой мешок с некоторыми захваченными на всякий случай вещами, кожаную же сумку с «вещественными доказательствами» несли они сами. Идти пришлось недолго. В центре города Казани есть живописная площадь, которую народ символично называет «Черным озером», на ней-то и располагалось Управление КГБ с внутренней тюрьмой. Прием арестованного прошел как-то быстро, и все мои предчувствия об унизительном осмотре перед помещением в камеру, о которых я столько слышал, оказались напрасными, меня просто повели по коридору, открыли большую, зеленую, обитую железом дверь и сказали: «Размещайтесь». Было видно, что я «не их клиент», я транзитный.

Ну, что ж, вот моя первая тюремная камера. Как говорили каторжники, «она плакала по мне», и вот мы, наконец, вместе. Конечно же, я видел картины «передвижников» о жизни заключенных в царских тюрьмах, слышал рассказы моего дяди о тюрьмах НКВД, но моя камера показалась мне не очень уж и страшной. Во-первых, в ней было тепло, во-вторых, по бокам стояли две железные кровати, покрытые солдатскими одеялами, и даже с подушками. Никаких столов не было, а только две табуретки, и если не считать «параши» в углу у дверей, то это была вся моя мебель. Окно? Ну уж, как полагается, продолговатое под самым потолком, снаружи прикрытое «намордником», так что можно видеть лишь небольшой кусочек неба. Четыре с половиной шага в длину, измерил я, и три шага в ширину.

Тишина в коридоре. «Совсем как в больнице», — подумалось мне. Молодость хороша своей беспечностью: буря прокатилась над моей головой, и я почувствовал некоторое успокоение, даже начал тихо насвистывать какую-то мелодию, а потом и вообще потянуло ко сну. Почти не раздеваясь, я лег на кровать, укрылся шершавым одеялом и закрыл глаза. Но уже по прошествии нескольких минут в дверь раздался тихий стук, открылась с некоторым скрипом «кормушка», и в ней показалось лицо седого старика, одетого в форму внутренних войск, это был надзиратель.

«Лежать днем нельзя! Читайте правила на стене», — вежливо и тихо произнес он и закрыл кормушку. Я, конечно, вскочил, слова «лежать нельзя» покоробили меня. Но что же тогда делать? Сидеть весь день на табурете?! Оказалось, что именно так. На стене висели эти самые «Правила», в одном из параграфов которых указывалось, что арестованный не может ложиться на кровать до «отбоя». Так вот в чем состоит одна из пыток одиночного заключения! Представьте себе, что вы сидите несколько часов на своем чемодане в ожидании поезда. А теперь представьте себе, что это длится по четырнадцать часов в день и так неделями, а может быть, и месяцами! Нет, теперь мне тюрьма уже не казалась больницей. Книг нет, лежать и спать нельзя, только ходить и сидеть, какой простор для обдумывания своей судьбы! Слава Богу, что хоть тепло! Я начинаю блуждать глазами по стенам, они окрашены зеленой масляной краской, свет на них падает из углубления в стене, закрытого решеткой, в нем электрическая лампочка. Наконец, я убеждаюсь, что все стены были когда-то исцарапаны, и эти царапины не что иное, как слова и фразы или цифры, представляющие собой календари с перечеркнутыми, проведенными здесь днями. Вижу, что томились здесь и по два месяца, и по три — перспектива омерзительная. Читаю четко и крупно на стене: «Мама, мама, мама…». И действительно, где же моя мама? Знает ли она, чувствует ли? Ох, как заскребло на душе: «Я же ведь мамин сын, куда же они меня везут?».

И, наконец, слышу почти шепотом в коридоре: «Отбой», это значит, можно, наконец, лечь. Боже, как это прекрасно! Я засыпаю, как убитый.

Утром снова тихий стук: «Подъем!». Через несколько минут камера открывается, и надзиратель жестом мне показывает, что я должен идти по коридору в общественный туалет, захватив с собой «парашу». Наконец-то хоть какое-то целенаправленное действие! Почти бегу по коридору и чувствую, что я молодой, сильный и крепкий — оптимизм молодости. Туалет оказался очень приличным, большим и чистым, вот только задерживаться в нем можно не более пяти минут, так как водят в туалет поодиночке: арестованные не должны видеть друг друга.

Еще через полчаса завтрак: кормушка открывается, и на ее столике оказывается железная кружка с желтоватой водой — чай, с кусочком сахара и куском черного хлеба, граммов четыреста — это паек на весь уже день. Закончилась и эта процедура, теперь до конца дня, до «отбоя», единственными событиями будут обед — миска горохового супа и соленая рыба с пюре — и снова чай, а потом и оправка, то есть бег в туалет.

Но распорядок этого дня был нарушен еще одним событием. Кормушка в двери неожиданно открылась, и чья-то рука протянула мне сверточек: «Возьмите». Оказалось, что это мой шерстяной шарф, оставленный в комнате общежития при аресте. Мои милые, добрые товарищи, они не побоялись найти здесь меня и принесли мне мой шарф!

Утром следующего дня дверь в камеру отворилась, и в нее ввели человека. Им оказался худой и дряхлый старик-татарин, в длинном, черном, стеганом ватном халате. Своей седой длинной бородой он напоминал восточного волшебника из детских сказок. Как оказалось, это был мулла, бывший преподаватель медресе в Казани. Господи, пусть такой, но наконец-то у меня есть товарищ по камере! Однако моя радость была преждевременной: он оказался почти глухим, а громко разговаривать в камере строго запрещалось. Неужели и таким может быть противник советской власти? Он был совершенно безразличен к окружающему, в том числе и ко мне. В руках он держал четки и, видимо, был весь погружен в молитвы. Хорошо ему — с ним Бог, а со мной кто?

Я не прекращал своих попыток заговорить с ним, и, наконец, он ответил на русском языке. Оказалось, что его арестовали в небольшом провинциальном городке, где большинство населения татары. Там вокруг него собиралась группа верующих мусульман, и он читал им и объяснял тексты Корана. «Антисоветская агитация налицо», — заключил я. Однако общение наше длилось недолго, уже не следующий день окошечко в дверях открылось, и последовала команда: «Собраться с вещами». С какими вещами, они ведь на складе тюрьмы, со мной лишь мой носовой платок.

Ведут снова по коридору, затем во двор к машине. Не проходит и полчаса, как она останавливается, и меня выводят. Вижу, что нахожусь во дворе еще какой-то тюрьмы: справа огромная крепостная стена, а еще подальше видна башня со шпилем. Так ведь я в казанском Кремле!

Действительно, это была казанская пересыльная тюрьма, старейшая в городе, построенная еще в царское время. Она находилась не в Кремле, а у наружной его стены. В ней, как я потом узнал, некоторое время содержался Владимир Ленин в конце XIX века за участие в студенческих волнениях. Была она двухэтажной с большим прогулочным двором, огражденным стенами.

Люди КГБ сдали меня охране тюрьмы, так что теперь я в распоряжении тюремщиков. Снова обыскивать меня не стали, лишь подробно убедились по документам, что это именно я. Старый седой надзиратель с добродушным лицом повел меня на второй этаж по коридору. Мне уже сразу стало ясно, что это не та

привилегированная тюрьма КГБ, в которой я только что был, это «общее место заключения», сейчас меня сольют с уголовниками. Подходим к огромной двери камеры, надзиратель с каким-то сожалением смотрит на меня:

— Ты бы, сынок, мешок-то с вещами оставил здесь, да и пальто тоже, там, в камере, они тебе только мешать будут.

Его речь намекает на какую-то опасность. Вещи оставляю, но пальто с каракулевым воротником беру с собой.

Распахнулась дверь, и оттуда на меня пахнуло тяжелым и жарким запахом человеческого пота. Жара! Я смог сделать только шаг вперед, как сразу же мои ноги натолкнулись на кого-то, лежащего у дверей. При слабом свете электрической лампочки в стене, сквозь дымку я увидел, что вся большая камера с ординарными сплошными нарами наполнена голыми человеческими телами. Они лежали всюду: на нарах, под нарами и в проходе. Боже, это же совсем как на одной из иллюстраций к «Божественной комедии» Данте, которую я так любил рассматривать. Шум в камере стих, и много глаз устремились на меня. «С воли?» — «Нет!». И вся эта масса снова зашевелилась и загалдела. Кто-то мне снизу кричит: «Ну, чего встал, ищи место, да садись». Вижу, что от двери я не могу сделать ни одного шага — всюду лежат. Кто-то мне показывает, что под нарами около него еще есть место. Я лезу туда. Этим «кто-то» оказывается кореец, бухгалтер, совершивший растрату и теперь с пятилетним сроком отправляемый в лагерь.

— Табак есть? А бумага? — Ничего такого у меня, конечно, не было. Я лег на свое пальто и из-под нар стал осматривать камеру. Из зарешеченной рамы окна была вынута часть стекол, и оттуда белыми клубами валил в камеру морозный воздух. Но жара была страшная, я разделся до трусов и рубашки и все это скрутил и положил под голову. Лег и стал размышлять, а кореец мне все про свою жизнь на воле рассказывает.

Тюрьма эта была пересыльной, то есть в нее свозили со всей Татарской республики осужденных и затем направляли в лагеря. Уже на следующий день половину людей отобрали по спискам и куда-то отправили. Здесь я впервые услышал это слово «ЭТАП», что значит дальняя дорога в тюремных вагонах. Дышать стало легче. Тут и на прогулку пустили — целый час ходить кругами по морозу в тюремном дворе. Большинство людей одеты в какое-то серое тряпье, у некоторых даже ботинки на деревянной подошве, стучат по замерзшему грунту. Смотрю через стену — видны дымки на солнечном морозном воздухе, слышны гудки автомашин: там город, там «воля», а здесь другой мир и я в нем, и, видимо, очень надолго. Можно ли с этим смириться, к этому

привыкнуть?

В обед дают крупяной суп с картофелем в больших глиняных мисках. Смотрю, у всех в руках появляются ложки: алюминиевые, деревянные, пластмассовые, а у меня никакой ложки нет, я пью этот суп через край и затем уже коркой хлеба вылавливаю гущу. Где же можно достать в тюрьме ложку?

Недолго мне пришлось жить в «ленинской» тюрьме, однажды поутру вызвали на этап. Построили всех во дворе, и началась передача конвою. Передача эта происходит по формулярам, то есть по специальным документам для каждого заключенного, напечатанным на плотной бумаге, часто с фотографией и отпечатками пальцев. В этом формуляре все данные о заключенном: когда, за что и на какой срок. Принимает нас отряд железнодорожного конвоя, под командой старшего сержанта. Много я был наслышан о таком конвое, а тут впервые увидел. Одеты они с лоском: меховые шапки, белые валенки, широкие кожаные офицерские ремни. Видимо, на эти вольности начальство смотрит сквозь пальцы, уж слишком большая ответственность на них лежит. Допустят побег — их судят. Зато и права у них во время следования неограниченные.

Сержант в офицерском полушубке выходит вперед из оцепления, в руках те самые формуляры:

— Иванов!

Отклик из строя:

— Иван Иванович!

— Год рождения?

— 1929-й!

— Статья?

— 59, часть первая.

— Срок?

— Десять лет и пять «по рогам»!

— А ну, правильно отвечать!

— Пять лет поражения в правах.

— Проходи в машину!

И так почти час, пока всех не опросили. Наконец, запихали в машины и тронулись. Началось мое тюремное странствие по Сибири.

Каждый заключенный в России хорошо знает, что такое столыпинский вагон. И откуда только повелось это название? Говорят, что впервые эти вагоны появились в начале нашего века при царском министре внутренних дел Столыпине, когда было объявлено чрезвычайное положение, работали полевые суды, и появилось большое число арестованных, гнать которых пешими этапами, как прежде, было уже невозможно. Вот тогда-то и были

переделаны пассажирские вагоны в тюремные. На окна снаружи надевались решетки, и вдоль всего прохода шла решетчатая стена. Такой вагон изображен на знаменитой картине Ярошенко «Всюду жизнь», где старик и мальчик через решетку окна кормят прилетевших голубей. В советское время такую вольность уже невозможно было совершать: окна в купе были закрыты не только решеткой, но и сплошным железным листом, да и грузили в каждое купе не шесть человек, как раньше, а двенадцать, а иногда и все пятнадцать. И почему это сухой паек в дорогу в этом вагоне выдают всегда именно соленой рыбой и сухарями? А потом, когда у всех разыграется страшная жажда, то воды больше чем две кружки в день не дают. Есть, конечно, и преимущества для заключенных в этом вагоне: через окно в коридоре можно видеть Россию, куда везут. А так ведь и не узнаешь, конвой ничего не сообщает.

По первым станциям мне сразу стало ясно, что везут на восток и, видимо, куда-то через Екатеринбург (Свердловск). Теснота — нас тут пятнадцать: и на вторых, и на третьих полках. Внизу можно только сидеть, встать нельзя, так как полка раскрыта через проход; вверху же можно только лежать и спускаться на пол можно только через небольшое отверстие у решетки двери. Единственно, что выдают, так это воду, и то по кружке два раза в день. Пить ее тоже опасно, так как в туалет выводят только два раза в день, а там хоть умри.

Со мной на полке лежит старый казах, совсем дикий, но, видно, добрый и мудрый человек, и везут его на повторное следствие: это значит — или добавят, или убавят срок. Он был чабаном, и вина его заключалась в том, что во время бурана у него в стаде погибла сотня овец. Хотя по-русски он говорит плохо, рассказ о его жизни я понял. Узнав же о моей неведомой судьбе, достал он горсть камешков из-за пазухи, каждый камешек величиной со спичечную головку, это камни для гадания, по-казахски «кумалак». Дал потрясти мне их и стал раскладывать на своем халате. Долго рассматривал он, как они расположились в пяти кучках, и, наконец, говорит:

— Везут тебя к нам, в Казахстан. Там встречают тебя злые люди. Мама плачет твоя. Ты сильный, ты будешь долго жить.

И все, больше ничего этот оракул сказать мне не мог. Это для меня не было новостью. Я знал, что везут, конечно, в Кокчетав.

Уже вечером на следующий день вагон наш почему-то отцепили на какой-то маленькой станции и стали всех выводить из вагона. Я вышел и увидел, что вся платформа окружена солдатами в шубах, с автоматами в руках. Было еще темно, нас построили и повели строем через замерзшее озеро. Вели долго,

наконец, появились многоэтажные дома, оказалось, что это Свердловск. Уже стало рассветать, когда нас подвели к большому старинному кирпичному зданию с железными воротами. Как я потом узнал, был это знаменитый «Екатерининский централ», пересыльная тюрьма для каторжников, построенная во времена императрицы Екатерины Второй. Открылись ворота, и мы оказались в большом дворе, окруженном тюремными зданиями. Снова пошла перекличка по формулярам, но теперь нас сортировали. Меня определили в 33-ю камеру. Ведут, а я уже готовлю себя к тому, что попаду в такую же до предела набитую камеру, как в Казани. Но камера оказалась не плохой: это было просторное помещение с железными кроватями, хотя, видно, не всем их хватило: некоторые расположились прямо на полу. Человек этак тридцать, но большинство хорошо одеты, видно, что недавно с воли.

Ба, да ведь это следственная камера, и я ведь тоже «следственный». Стали знакомиться, оказалось, что сидит здесь интеллигенция: врачи, инженеры, большинство из них обвиняется в антисоветской агитации. Вечером инженер Иванов читает для желающих лекцию: «Принцип двигателя внутреннего сгорания», карандашом что-то рисует на газете, прикрепленной к стене. Вокруг сидят внимательные слушатели. Ну, просто университет!

Но почему же это я в Свердловске, а не в Кокчетаве? Уже буквально на следующий день мои сомнения были разрешены — меня вызвали на этап. Уходить от интеллигентных людей было очень тяжело — мы уже перезнакомились.

Итак, снова столыпинский вагон, уже хорошо мне знакомый. И направляется он, конечно же, на восток. Снова соленая рыба и сухари, снова пятнадцать человек в купе, так что пошевелиться невозможно. Теперь состав заключенных уже совсем другой — большинство уголовники, «блатные», или «цветные», как они себя называют. Эту публику я еще не знаю, но уже ненавижу. Уже слышен и справа, и слева беспрерывный мат. Справа от нашего купе сидят женщины.

— Начальник! — шепчет одна конвою в коридоре. — Смотри, что я тебе сейчас покажу…

Слева, в дальнем купе, я слышу, то и дело раздаются странные звуки, как будто кто-то открывает консервную банку и никак открыть не может. Звуки затихают, как только конвойный проходит по коридору. Среди ночи, наконец, и конвой их услышал. Оказалось, что блатным уже удалось оторвать железный лист от окна камеры, и теперь они работали над перепиливанием креплений внешней решетки. Конвой сбежался в коридор. Всех блатных из купе вытащили в коридор, раздели догола и стали

бить сапогами и массивными ключами от камер. Удары и удары, крики и стоны. Казалось, что их не бьют, а убивают. Наконец, все стихло, только редкие стоны слышны от лежащих в коридоре.

Доехали до города Курган. Там вагон отцепили, поставили на запасной путь, и через час приехал «воронок» забирать беглецов. Некоторые из них еще смогли сами выйти, других же вытаскивали за ноги. Теперь мне стало ясно, что такое конвойный отряд, и почему его так боятся.

Только наутро нас снова прицепили к поезду. Женщин из соседней камеры заставили швабрами отмывать пол в проходе от крови. Утром никому не дали воды: «Поди, слышали — а молчали!».

Поезд прибыл в город Петропавловск, и всех по формулярам стали выводить из вагонов, оставили только меня одного: «За тобой не приехали!».

Значит, за мной кто-то должен специально приехать. Пролежал я полдня один, а к вечеру, к моему удивлению, в вагон опять стали загружать заключенных. И вот поезд тронулся. Обратно, в Свердловск! Бог ты мой, да что же это?

Еще одна ночь, и снова нас всех ведут по тому же замерзшему озеру к Екатерининскому централу. Господи, хотя бы опять в ту же «интеллигентную» 33-ю камеру! Но нет, на этот раз почему-то в «Малую Индию», это камера для блатных, только для тех, которые не могут сидеть вместе с «людьми» из «Большой Индии» — будет резня: идеологические разногласия!

В «Малой Индии» бетонный пол, ни нар, ни кроватей. Вдоль стен лежат на своих вещах люди. Я сразу же заметил, что в центре у стены разложены ватные одеяла и цветные подушки, и на них сидят молодые ребята в жилетках и незаметно играют в карты — «цветные»[4]. По центру камеры ходят взад и вперед такие же двое в жилетках и тапочках тюремного образца, их шьют сами из кожаных пальто или шерстяных одеял. Замечаю, что тут их целая «семья»: «пахан»[5], его «дружки»[6], «малолетки»[7] и «шестерки»[8]. Пайки хлеба, куски сахара, «бацилла»[9] — все лежит открыто — бояться некого — все свои. Пахану подносят кушать на салфетке из носового платка. Другой сидит, диктует письмо для своей бабы в соседней камере, его передадут через надзирателя, который уже подкуплен, регулярно получает от них «капусту»[10] Лежит и гитара в углу — видимо, без музыки шикарной жизни не получается. Придворный музыкант и певец из «шестерок».

— Косой, спой-ка «Мамочку»!

Поет он фальшиво, высоким голосом:

— …Ах, мама-мамочка, сыночек ваш не жив! — пищит он в

припеве, смотрит куда-то вдаль, на глазах слезы. Он явно сентиментален. «Сентиментален, как и нильский крокодил», — думаю я.

Я ложусь в угол на свое пальто, каракулевый воротник которого сразу же привлекает внимание.

— Малый, зачем тебе это пальто, все равно конвой отберет, — шепчет мне на ухо подсевший малолетка. — Иди, с тобой пахан будет говорить.

Я продолжаю лежать на своем драгоценном пальто, хотя понимаю, что угроза нависла. На следующий день домогательства повторяются. Сам пахан пожаловал. Подсел ко мне, толстый, весь в наколках, с омерзительным рябым лицом. Шепотом спрашивает, за что меня, за политику или как дезертира. Но я-то знаю, что интересует его только мое пальто. «Умру — не отдам!»

— Ну зачем тебе оно, ведь в лагерях все равно нельзя такое носить, а я тебе военный бушлат дам, да еще и капусту. Мне оно необходимо — я на волю иду.

Но все доводы бесполезны, я продолжаю спать на своем пальто, а открытый разбой в камере невозможен. Проходит еще день. И вот однажды утром я вдруг чувствую, что меня кто-то крепко держит и прижимает к полу, а пальто из-под меня уже вытащили. Хочу кричать — рот заткнут какой-то рубашкой, и шея чем-то перетянута. Так проходит несколько минут, я не в состоянии пошевелиться, слышу только, что двери лязгают, и какая-то суета в камере. Оказывается, за это время пахана вызвали и увели, с моим пальто, конечно.

— Ты посмотри, какой он тебе совсем новый бушлат-то оставил, он тебе «личит», да еще и «бацилла», и табак…

Итак, пальто мое ушло на волю.

Через день из «Малой Индии» меня опять вызвали на этап. Снова в столыпинский вагон. На этот раз вагон почти пустой, я один в купе, лежу, обдумываю свою судьбу. Пахан был прав — в лагере мои гражданские вещи мне не пригодятся. Тут и пришла мне в голову конструктивная идея предложить этим бандитам-конвоирам обменять кое-что из моих вещей на продукты питания, которые могут мне пригодиться в следственной тюрьме, ведь голодаю я страшно — 450 граммов хлеба в день.

— Гражданин начальник, — шепчу я через решетку в коридор молодому солдату, — у вас там вещевой мешок с моими вещами лежит, так я хотел бы вам хромовые сапоги предложить за хорошие продукты.

Ничего он мне не ответил, прошел дальше. А через час подходит другой, сержант:

— Что у тебя там за сапоги, сынок? — уже ласково

спрашивает он.

— Из отличной кожи, почти новые, — торгуюсь я.

— А сколько и чего ты хочешь? — продолжает он.

— Так это уж что дадите: сахар, сало…

Еще прошло несколько часов, и вдруг камера моя открывается, сержант жестом показывает, чтобы выходил. Ведет в дежурное отделение, где лежат вещи:

— Найди сам свои вещи, и вынь, покажи.

И вот я роюсь в своих вещах, а он и не смотрит даже, в отдалении, в коридоре стоит. Вдруг я вижу, что к моему мешку привязана еще какая-то сумка. Открываю, в ней мои «вещественные доказательства» и протокол обыска. План созрел молниеносно. Я вынимаю из сумки свой дневник и печать, а оставляю там Евангелие. Все засовываю в карман. Затем достаю сапоги из мешка и передаю сержанту.

Весь день до вечера я разрывал свой дневник на мелкие кусочки и складывал в карман. Вечером в туалете выбросил все это и тем самым облегчил работу своему следователю — читать мой дневник ему уже не придется. Продукты, которые принес мне сержант, меня уже мало интересовали.

Мы приближались опять к Петропавловску. Ночью в вагон почему-то стали сажать чуть ли ни на каждой станции арестованных. Подсадили и в мое купе. Со мною оказался молодой железнодорожник, который, отбыв шесть месяцев принудительных работ за какую то мелкую служебную оплошность, ехал на освобождение в Петропавловск. Такой-то человек мне и был нужен: я решил с ним послать письмо на волю в Коканд к маме. Карманы моего военного бушлата оказались заполнены махоркой — видимо, пахан был «человеком слова»! Я с радостью отдал это ненужное мне сокровище железнодорожнику, он остался очень доволен. Оказалось, что у него есть записная книжка, из которой мы сразу же вырвали двойной листик бумаги, и я огрызком карандаша стал писать свое первое письмо из неволи маме. Это, конечно, была только маленькая записка из двух фраз, что-то вроде: «Арестован в Казани, везут в Кокчетав на следствие по статье, какая была и у Сергея Ивановича». Мама знает, что у Сергея Ивановича была политическая статья. Я, конечно, совсем не верил, что такое, заклеенное хлебом и без почтовой марки письмо может дойти до мамы. Но оно дошло!

В Петропавловске меня, наконец, вывели из поезда, посадили в «воронок», в машину для перевозки заключенных, и куда-то повезли. Я оказался в железнодорожном КПЗ, в камере предварительного заключения, вместе с мелкими ворами, пьяницами и хулиганами. Не прошло и часа, как меня снова

вызвали и повезли уже в большую тюрьму города. Она опять оказалась творением «матушки императрицы» — огромная, кирпичная и холодная. Вели по коридорам очень долго в самый дальний угол здания, наконец, камера открылась, и я вошел в большое мрачное помещение. Электрического света в нем не было, как и не было ничего, на что можно было бы сесть или лечь, — бетонный пол, и, о ужас, покрытый ледяной коркой. Первые десять минут я был занят ощупыванием стен камеры, но в ней действительно ничего кроме пола не было.

Еще через несколько минут я почувствовал, что в камере стоит мороз и что окно под потолком почти без стекол из него валит морозный пар. «Видимо, это только на время — меня сейчас переведут в нормальную камеру». Но шли часы, а дверь все не открывалась. Тогда я стал стучать в дверь, и через некоторое время кормушка отворилась:

— Чего стучишь?

— Я замерзаю, тут мороз, окно без стекол!

— Не замерзнешь, завтра заберут.

Кормушка закрылась. Начиналась борьба за выживание. Я понимал, что нужно ходить, если я свалюсь и усну, я погибну. Время от времени я садился на пол, снимал ботинки и начинал рукавицами оттирать пальцы ног, пока чувствительность не возвращалась к ним. Затем опять вставал и опять ходил. Так шли часы. Наконец, меня начало пошатывать, я стал натыкаться на стены. Если я упаду, утром меня найдут мертвым. Опять стучу в дверь.

— Чего стучишь?

— Гражданин начальник, я погибаю, я боюсь упасть, здесь мороз…

— Будешь стучать — посадим в карцер, вот там точно замерзнешь.

О, Господи, да неужели же меня еще до суда приговорили к смерти! Я опять начинаю ходить кругами, но в ушах чувствую какой-то странный звон или что-то вроде музыки. Натыкаюсь на стены, то руками, то плечом, то головой… И, наконец, я куда-то проваливаюсь.

Очнулся я на деревянном полу в коридоре тюрьмы. Видимо, в какой-то момент охранник заглянул в глазок и вытащил меня с ледяного пола в коридор.

— Вот, выпей-ка чаю, скоро за тобой приедут.

Все-таки человеколюбив ты, русский человек: и помереть не даст, и жить не разрешает.

Наутро действительно за мной приехали двое.

— Чего это с тобой, что это тебя шатает?

— Они заморозили меня на бетонном полу…

— Вот скоты! Раз не свой, так и убить готовы! Ну, мы на них еще протокол с тобой составим.

На этот раз меня посадили в легковую машину и повезли прямо на главный вокзал. Оба моих конвоира одеты в меховые полупальто и совсем незаметно, чтобы они были вооружены. Они с пристальным вниманием рассматривали меня, и было видно, что они многое уже знают обо мне.

— Пойдем-ка в ресторан — кислых щей покушаем. Если в туалет захочешь — скажи.

И вот я сижу с ними за столом в ресторане вокзала и ем горячие щи, как будто бы я совсем не арестованный. Затем идем вместе к поезду, садимся в обычный пассажирский вагон вместе с другими, но в купе мы оказываемся только втроем. Значит, я все-таки арестованный. На вагоне я прочел, что поезд следует через Кокчетав в Караганду. Узнаю, что мои конвоиры — люди из кокчетавского КГБ, один казах, лет тридцати, другой — русский, совсем молодой. Меня сводили в туалет и затем показали на верхнюю полку:

— Захочешь еще в туалет — скажи. Если побежишь — застрелим. Понятно?

— Понятно.

— Ну, тогда спокойной ночи.

За окном зима. Началась ночь. Поезд чуть ли не каждые полчаса останавливается на станциях, слышно, как на платформе разговаривают люди. Вольная жизнь совсем рядом. Я смотрю вниз, мои конвоиры сидят уже без пальто, о чем-то шутливо болтают — у каждого пистолет на портупее. Один лег спать на полке, другой сидит, дежурит, меня стережет. На столике — кожаная сумка с моими «вещественными доказательствами», формуляром и паспортом. После всего пережитого прошлой ночью я моментально проваливаюсь в сон.

Поезд толкнуло, он остановился, слышу, как кто-то снаружи сообщает, что это станция Петухово. Значит, еще четыреста километров до Кокчетава. В вагоне тишина. Смотрю вниз и вижу, что мои конвоиры оба спят крепким сном, сумка продолжает лежать на столике, а дверь в коридор открыта, и поезд продолжает стоять. Чтобы все это взвесить, потребовалась одна секунда: свобода близка, да еще и паспорт рядом. Я быстро, лежа на полке, надеваю свои ботинки и натягиваю бушлат. Они продолжают спать. Я слезаю с полки и чувствую, как сердце отчаянно стучит в моей груди. «Боже, куда же я побегу, ведь вся страна — тюрьма!» Однако рука уже тянется к сумке. Еще секунда — и вдруг я вижу, как глаза молодого резко открываются,

и он порывисто вскакивает, как будто бы его кто-то толкнул. Я замер.

— Гражданин начальник, я хотел бы в туалет сходить, — как можно спокойнее пролепетал я. Глаза наши встретились, видимо, он прочел в них только усталость и печаль, и отпустил руку с кобуры. Я вижу, что он в шоке.

— Ну, пошли, пошли…

Это была единственная попытка в моей жизни совершить побег, слава Богу, что она была неудачной: бежать в советской стране было некуда.

Рано утром в Кокчетаве была сильная метель, автомашины не ходили. Эти двое меня сдали почему-то в участок милиции, а сами исчезли. Примерно через час за мной явились два милиционера, закутанные в огромные тулупы с капюшонами, и в валенках. Одним из них оказалась румяная баба, лет сорока, причем к руке у нее был привязан револьвер системы «наган». Они взяли меня под руки и вывели наружу, где продолжалась сильная метель, так что за пять шагов ничего нельзя было разглядеть. Сразу же я догадался, что нужно будет идти через большое поле по снегу в город, примерно час — я наверняка отморожу ноги! Об этом я сразу же сказал, но мне только и ответили:

— Арестованный, предупреждаем, что при попытке к побегу конвой применяет оружие без предупреждения. Следуй вперед!

Повели, держа под руки. Защитить лицо от снега невозможно, с него то и дело спадают ледяные корки. Но ноги! Через полчаса я перестал их чувствовать! Конечно же, ноги обморозились: через месяц загноились и стали сползать все ногти на пальцах.

Путешествие мое по России подходило к концу. Вот уже и знакомые очертания главного здания Областного Управления КГБ, та самая внутренняя тюрьма, в которой сидел Бруно Иванович, теперь становилась и моей квартирой. Круг замкнулся — я снова в Кокчетаве.

«И возвращается ветер на круги своя!»

Allegro vivace

Как только меня втолкнули в подследственную камеру, я сразу почувствовал, что там сыро, холодно и темно. Но рассматривать ее у меня уже не оставалось сил. На деревянном топчане лежали маты из камыша, и это, видимо, должно быть моей постелью, а у самой стены я обнаружил свернутый ватный коврик — одеяло. Сейчас же это всё не важно, сейчас нужно спать и забыть обо всем. Ковриком я накрыл маты, сам же укрылся бушлатом и к своему удивлению вскоре согрелся. Мысли снова стали тесниться в голове. Но теперь я улетел с ними куда-то в детство.

* * *

Как же это прекрасно — проснуться в светлой детской комнате, когда еще не пришла няня, чтобы начать тебя одевать, и лежа рассматривать на обоях бордюр с симпатичными кошечками или закручивать свои пальчики в веревочную сетку стенок кроватки. Окна покрыты рисунком изморози, слышно, как уже потрескивают поленья в кафельной печи гостиной, и от этого по всей квартире начинает пахнуть горящей смолой. А вот и няня пришла. «Уже не спишь! Ну, давай одеваться». И тут тебя берут под мышки и переносят на небольшой детский диванчик. Стаскивается ночная рубашка, от чего становится сразу же зябко, и начинается процедура одевания: рубашечка, лифчик с резинками для длинных чулок, штанишки с лямочками. А потом ведут тебя в ванную комнату, где ты сначала сам должен как бы мыть себе лицо и руки, а потом уже няня с необыкновенной интенсивностью станет все это повторять. И вот ты готов. Завтрак уже с сестрой, которая старше меня и уже встала. Завтрак тоже «добровольно-обязательный», сначала ты себя сам как бы кормишь овсяной кашей с молоком, а потом уже няня впихивает в тебя все, что ты оставил на тарелке. Следующая часть программы — прогулка. На улице, видимо, мороз, так как помимо мехового воротника на шею и голову закручивается огромная шерстяная шаль, ноги запихиваются в валенки с галошами. И, наконец, берутся с собой еще большие санки.

Гуляем в садике ровно два часа, но так как у няни нет часов, она то и дело посматривает на окна пятого этажа большого серого петербургского дома, где в форточке в положенное время должно быть вывешено белое полотенце: сигнал к отбою прогулки. Дома

игры на ковре до мертвого часа, который, как правило, разбивает все планы моих игр. Дворцы из кубиков остаются недостроенными или вражеские крепости неразбитыми. После принудительного часового лежания, которое взрослые почему-то считают укреплением здоровья, ты снова оказываешься в столовой, где тебя зачем-то еще чем-то кормят. Так приближается вечер. Во всех комнатах уже тепло. Стрелка часов приближается к шести. И, наконец, раздается звонок в дверь. Это пришел папа из института. Мы бежим в прихожую с сестрой сломя голову, а там уже мама целует заиндевевшие, покрасневшие щеки отца. Он иногда приветственно гладит нас по головам и почти сразу же направляется в свой кабинет, чтобы покурить и переодеться. А в столовой в это время няня и мама уже накрывают на стол. С шести лет нам с сестрой разрешают сидеть вместе со взрослыми за обедом, однако без права разговаривать. Няня же только подает, а потом уже отдельно обедает на кухне. Что говорят взрослые, мне не совсем понятно, они всегда говорят что-то неинтересное и несмешное. Но по интонации и выражению лица я понимаю, что произошло у папы в институте и какое у него настроение.

Спать нас укладывают очень рано, мы каждый раз протестуем и в награду за послушание требуем, чтобы нам читали некоторое время вслух. Это делает обычно мама. Сначала это были сказки, потом рассказы из «Задушевного слова», а потом и романы Чарской о гимназистах. Когда же чтение заканчивалось, и мама уходила, мы с сестрой еще пытались тихо перешептываться, рассказывая что-нибудь страшное. Но как только наш шепот становился достаточно громким, дверь в детскую распахивалась, зажигался свет, и появлялась возмущенная мама. И, наконец, мы засыпали сладким сном детей, которые даже и не подозревали, что случилось с Россией в октябре 1917 года и что случится с ними, когда власть большевиков окончательно окрепнет.

В этот день с самого утра шел беспрерывный дождь. Осень в Петрограде началась необыкновенно рано, уже в сентябре почти все листья пожелтели. В послеобеденное время на извозчике моя мама была доставлена в родильный дом Петроградского района. Схватки начались еще с утра, но отправку из Дома все откладывали — решали, куда лучше везти рожать. Настроение у мамы было очень подавленное: после рождения моей сестры молодая пара не хотела вновь обременять себя заботами, да и мама боялась, что опять родится девочка. Но родился я, мальчик. И роды прошли очень легко. Когда к ней поднесли меня и показали, она долго всматривалась в мое красное распухшее личико и торчащие вперед белые волосы и, наконец, сказала:

«Это, видимо, не мой, проверьте». На двух соседних столах в это же время тоже произошли роды. Проверили, и все сошлось. Уже когда я был взрослый, она рассказала мне, что, забеременев, много раз пыталась вызвать выкидыш, принимая различные лекарства, включая ртуть, и распаривая себя после этого в ванне. Но ничего не помогло, а аборты в то время были строго запрещены. Она как бы подсознательно чувствовала, что этот ребенок принесет ей в жизни много страданий. Так оно и случилось.

Мой вес был 3 кг 700 граммов, и рос я удивительно быстро. Был прожорлив, так что материнского молока не хватало и приходилось докармливать меня чужим женским молоком, которое выдавали в специальной женской консультации района. Ребенок оказался плаксивым и очень чувствительным к шуму, свету и холоду. В дом пришлось взять еще одну няню, Наташу, молодую красивую крестьянскую девушку с длинной косой. Она должна была убирать квартиру, топить печи, ходить за продуктами и во всем помогать другой няне, Дуне. Дуня же была большая грудастая девушка из Псковской губернии, которая покинула свою деревню, так как там с приходом советской власти начался голод. Дуня была очень ласковой и прямодушной, она прослужила у нас долго, пока мне не исполнилось шесть лет. Мама доверяла ей во всем, и практически она вела все хозяйство, хотя была почти неграмотной. Уйти от нас ей пришлось лишь после того, как она вышла замуж за отставного матроса. Они поселились в его маленькой комнатке на окраине города, где у нее родился ребенок. Наташа же нравилась мне больше Дуни, так как она, по моим детским понятиям, была красавицей. Когда она подметала в комнатах, я с наслаждением смотрел на ее красивое лицо, красно-каштановую копну длинных волос. Вечером все в доме стихало, сквозь закрытые двери кухни, через коридор можно было слышать тихое пение, это пели Дуня и Наташа свои русские деревенские песни, протяжные и печальные.

Это был большой пятиэтажный петербургский дом на гранитном основании по Лахтинской улице, 25, на углу Гейслеровского проспекта. В нем наша семья прожила до зимы 1942 года, пока нас как немцев не выслали в Сибирь. Этот дом был построен в самом начале века и принадлежал моему деду и его компаньону. Конечно, сразу же после переворота большевиков в октябре 1917 года дом был конфискован, и моему деду удалось в нем отстоять только одну квартиру № 25 на пятом этаже, которую он потом передал своему сыну, моему папе, а сам переселился в небольшой дом по Эсперовой улице Елагина острова. Квартира наша состояла из пяти комнат и казалась мне в

то время очень большой. В детские праздники в ней можно было играть в прятки, бегать наперегонки по периметру комнат или прятаться от няни и мамы так, что они по полчаса не могли нас найти, чтобы вести укладывать спать. Больше всего в раннем детстве я не любил ложиться спать: чем становилось позднее, тем интереснее становились наши игры.

Это может показаться невероятным, но я помню себя в годовалом возрасте. Помню, как меня запеленывают в ватное одеяло и большой шарф, оставляя лишь клапан для лица, чтобы нести гулять в садик на мороз. Помимо всего еще и ноги поверх одеяла завязывают какой-то лентой, так что я совсем ими пошевелить уже не могу. И вот меня «гуляют», мороз щиплет мне щеки, и няня то и дело смотрит на них и трет рукой. Иногда она кладет меня на скамейку, чтобы что-то в моем снаряжении поправить, и тогда я вижу небо, серое петербургское небо и сходящиеся к нему стены домов. Но больше всего мне запомнились руки мамы с широкими пальцами и коротко подстриженными ногтями, чтоб не мешали играть на фортепиано. Эти руки всегда теплые, энергичные и крепкие.

В гостиной стоял большой рояль фирмы «Ратке», на котором мама занималась по много часов в день, так как после окончания Петербургской консерватории еще мечтала о карьере пианистки. И эти пассажи этюдов, повторяемые бессчетное число раз, доносились в нашу детскую комнату каждый вечер. Под них мы с сестрой засыпали. Иногда они были для нас хорошим прикрытием, и мы могли болтать, лежа в темноте, не опасаясь, что нас услышат. Но иногда одни и те же повторяемые такты вызывали чувство тревоги, будто нечто хочет продвинуться вперед, но все время вновь и вновь возвращается к началу. Однако наступали и чудесные моменты, когда музыкальная вещь была уже готова и проигрывалась вся до конца. Тогда из гостиной вдруг неслась волшебная музыка, которая переплеталась с наступающим сном и уносила куда-то далеко в сказочный мир.

Мама училась у профессора Бариновой. В то время директором Консерватории был композитор Глазунов, а на композиторском отделении учился Дмитрий Шостакович. Уже тогда Шостакович был знаменит своими первыми авангардными произведениями, о которых было много споров среди студентов. Однажды Глазунову в классе задали вопрос о музыке Шостаковича, он на минуту задумался и вдруг просто оперся локтями на открытую клавиатуру рояля, сказав: «Вот что это за музыка». Мама полюбила музыку Шостаковича, уже будучи в зрелом возрасте.

Школа Бариновой была продолжением немецкой

музыкальной традиции на русской почве. Баринова училась в Берлинской консерватории у великого Бузони и до своей кончины в 1962 году оставалась приверженцем его интерпретацией Баха и Гайдна. Мама восприняла от неё особую постановку рук на клавиатуре и так называемый сухой удар, которым отличался Бузони.

В то время, в 20-е годы, в Петроградской консерватории шла борьба партий. Профессора Баринову относили к русской партии. Другая же партия возглавлялась профессором Блюменфельдом и брала свои начала от братьев Рубинштейн. Спор или даже борьба шли вокруг интерпретации произведений, выбора репертуара, метода концертного исполнительства. Баринова и ее последователи утверждали, что только «внутреннее содержание вещи является ключом к ее интерпретации», «никаких украшений, простота и ясность темы», «скромность подачи и никакой игры на публику». Блюменфельдовцы же рассматривали музыку как «предмет эстетического наслаждения», где сама виртуозность техничного исполнения может доставлять радость публике. Мама вспоминала, как во время концерта учеников класса Блюменфельда Баринова с тяжелым вздохом поднялась и, сказав: «Так сладко, что пойду запью чем-нибудь», удалилась из зала. Этот спор так ничем и не закончился, так как приход «красных директоров» в Петроградскую консерваторию положил ему быстрый конец, но на протяжении почти всего советского периода это противостояние в среде петербургских, и не только петербургских, музыкантов-исполнителей осталось. Мама же до конца жизни была приверженцем заветов Бариновой, и игра таких исполнителей, как Гольденвейзер, Нейгауз, Рихтер, Мержанов, была для нее образцом интерпретации произведений немецких композиторов — Баха, Бетховена, Гайдна, Генделя. Она недолюбливала Листа, Мендельсона, Сен-Санса, Берлиоза. В шутку она говорила: «Они признаются в любви, но я им не верю!». Считала она также многие произведения С. Рахманинова поверхностными, с налетом внешней красивости.

В детстве я был очень ленив, особенно не любил сидеть и часами что-то разучивать на рояле. Если у меня не получалось сразу, я тут же бросал. Конечно же, и меня, вслед за сестрой, решено было учить музыке. Первой музыкальной учительницей была моя мама. Эту ошибку потом быстро заметили и перевели меня в музыкальную школу к строгой преподавательнице. На приемных экзаменах в школе я отличился своей музыкальностью: мне исполняли на рояле мелодии из знаменитых балетов Чайковского, и я дважды правильно ответил, а может быть, просто случайно отгадал. Кроме того, я спел сложную мелодию

песенки, которая только что мне была проиграна. Все маму поздравляли — сын станет пианистом. Но не тут-то было. Упражняться меня никто дома заставить не мог. Мама уже работала как педагог музыки, и моей надзирательницей стала новая няня, Настя. Она садилась в точное время около меня у рояля, ставила часы и наблюдала, как я занимаюсь. Я отбывал это время как можно проще для себя, играя что-нибудь из того, что было уже выучено, но не разучивал новое. Няня же ничего в музыке не понимала. Но и она иногда вскрикивала: «Что это ты там такое опять играешь, ведь ты это уже давно играл!». Все это привело к тому, что на втором году обучения в школе я с треском провалился на экзамене, не сыграв с листа ни единой строчки. Таким образом, я снова оказался учеником моей мамы, и опять пошло все по-старому. Музыка мне нравилась, я очень хотел играть, но не хотел ничего учить. Так тянулось еще два года, пока мама не объявила, что с моим музыкальным образованием все закончено. Как сейчас вижу ее поднятый палец: «Пожалеешь. Ох, как пожалеешь!». И тут наступил внезапный перелом; я сам начал просить ее давать мне уроки, сам стал подбирать для себя пьесы, которые мне нравились, и по-настоящему заниматься к бесконечному удивлению всех домашних. Пошла Первая сонатина Прокофьева, трудные этюды Черни, «Март» из «Времен года» Чайковского. Но наступил 1941 год, война, блокада, высылка в Сибирь… Мама была права, погрозив мне пальцем, я всю жизнь жалел, что не смог научиться играть на фортепиано, много раз принимался опять, уже будучи взрослым. Но было поздно, осталась только большая любовь к музыке, особенно к фортепианной, которая, как детская греза, возвращала меня в волшебный мир маминой гостиной.

Долгое время наша семья продолжала жить так, как будто бы никакого Октябрьского переворота в России и не происходило. Дети завтракали и обедали отдельно от взрослых под наблюдением няни. И лишь только в 6 часов вечера, когда папа был уже дома, накрывали ужин для всех в столовой, тогда и детям разрешалось сидеть за общим столом. Обе же няни подавали и уже потом обедали у себя в кухне. Мама до конца жизни питала большое уважение и интерес к простым деревенским людям. Ей нравились в них простота и открытость. Видимо, поэтому она часто сидела с прислугой вечером на кухне, и мы с сестрой слышали, как они там вместе пьют чай и мама слушает их рассказы о деревенской жизни.

Однажды мы два лета подряд провели в глухой деревне Псковской губернии недалеко от станции Плюса. Жили мы в большом крестьянском доме у реки. Коллективизация еще не

началась, и крестьяне имели своих лошадей и участки земли. Мы с сестрой, которой тогда было уже семь лет, смотрели, как хозяйка печет в русской печке душистый хлеб, как запрягают лошадей в дрожки, как жнут серпами и как молотят рожь. Все это было необыкновенно. Этот запах свежеиспеченного хлеба, парного молока и сена, простая и ласковая речь крестьян, вид их мозолистых рук, лапти, онучи, иногда подстриженные волосы «под горшок» запомнились мне на всю жизнь. И уже позднее, когда я читал «Охотничьи рассказы» И. Тургенева, я мог себе легко представить, о чем он пишет. Тогда мы еще не понимали, что крестьянский труд очень тяжел и что самое трудное время в деревне — лето.

Чаще всего наша семья снимала дачи на берегу Финского залива, в таких местах, как Тарховка, Лисий Нос, Горская (д. Каупилово). Часто в соседних дачах поселялись и наши родственники, семьи сестер моей мамы. Под этими общими крышами порой собирались все родственники: бабушка, Эльза Боде (Никитина), Вольдемар и Мария Геллер и их дети Вова, Борис, Андрей, моя сестра Майя (старше меня на два года) и я. На дачу к нам приезжали и другие родственники: Анатолий Майер, Альфред Берне, Амалия Ратке (из Берлина). Днем все дети играли вместе, ходили купаться на море, вечером начинался волейбол — сначала для детей, потом для взрослых, играли в крокет и другие игры. С весны в садиках дач разбивались клумбы цветов, развешивались гамаки, за домом вскапывали огород для овощей. Если была плохая погода, детей собирали на веранде и читали им вслух. Это был Вальтер Скотт, Майн Рид, Дюма и стихи для детей.

Большой любительницей чтения была моя сестра. У отца была большая библиотека художественной литературы, практически вся русская классика и поэзия, кроме того, Большая энциклопедия Брокгауза и Ефрона на немецком языке. В свои школьные годы сестра читала книгу за книгой, роман за романом. Все шло подряд: Писемский, Мамин-Сибиряк, А. Островский, Мельников-Печерский, Куприн, а затем и западная литература: Бальзак, Стендаль, Мопассан. Ее все время можно было видеть с книгой. Она любила рассказывать мне о прочитанном, и иногда еще раз уже вслух читала отрывки из романов. Благодаря ее пересказам, я как бы тоже, без затраты сил, приобщился к мировой литературе. Сам же читать я не любил, так как для этого нужно было напрягаться. Позднее она по вечерам часто читала мне вслух, особенно романы Дюма. Это было прекрасно. Я постепенно тоже втягивался в чтение сам, и первой моей самостоятельно прочитанной книгой была «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле в детском изложении. В наше читательское

общество втянулась и няня Настя. Она научилась быстро читать и полюбила Пушкина и Лермонтова, два больших тома этих писателей постоянно находились у нее в кухне.

Когда мне было пять лет, я тяжело заболел воспалением легких с экссудативным плевритом. Это был так называемый детский первичный туберкулезный комплекс, после которого дети становятся иммунными к туберкулезу. У меня то и дело поднималась температура, появлялся сухой кашель, одышка: я худел и таял на глазах. Первый наш визит к знаменитому профессору вверг маму в панику, так как он, послушав меня, сказал ей, что сомневается в моем выздоровлении. Бросаясь от одного врача к другому, мама дошла, наконец, до лучшего в городе детского врача того времени, Знаменского. Это был приват-доцент Военно-Медицинской академии. Как сейчас помню наш визит к нему в огромную квартиру, где в приемной на полу была раскинута шкура медведя, а вдоль стен расставлены старинные кресла и диван, обтянутый кожей. Знаменский носил бороду. Слушал он мои легкие без трубки, так что борода его страшно колола меня. Он обнадежил маму, сказав, что если создать «режим», то все постепенно «зарубцуется».

Моя жизнь резко изменилась. Несколько раз в день мне давали различные лекарства, растирали грудную клетку сильно пахнущими маслами, прогревали синим светом, но самое неприятное было ночью, когда меня укутывали огромным мокрым компрессом, а перед этим еще ставили горчичник, который не снимали, несмотря на мои крики, пока кожа под ним не становилась пунцово-красной. Спать с этим огромным компрессом я почти не мог, не мог даже повернуться в нем на другой бок и каждый час звал маму. Лишь утром из компресса вытаскивали еще влажную прокладку, и только тогда я засыпал. Вечером же все повторялось снова. Но мука состояла не только в этом. По представлениям того времени, усиленное питание и прибавка в весе должны способствовать излечению. Началась пытка едой. Кормили шесть раз в день, причем особо концентрированной пищей: овсянкой на масле, яйцами, творогом и медом. При этом еще давали рыбий жир и тертую морковь. Каждая процедура такого кормления была настоящей пыткой. Меня старались отвлечь, читая мне что-либо в этот момент или показывая. Но ничего не помогало, меня распирало и тошнило. Так продолжалось месяцами. Это усиленное питание на долгие годы лишило меня всякого интереса к еде. Лишь после голода во время ленинградской блокады аппетит вернулся ко мне.

Наконец, по заключению Знаменского, необходимо было откачать воспалительную жидкость из плевральной полости

легкого. Мне ничего о надвигающейся операции, конечно, не говорили. Но вот однажды вечером пришел доктор и не один, а со своей ассистенткой. Из соседней комнаты слышен был перезвон металлических инструментов, который пугал меня. Наконец, вошла в детскую мама, и по ее ласково-озабоченному виду я сразу понял, что предстоит что-то страшное. Она взяла меня на руки, надев при этом новую длинную рубашку, и понесла в гостиную. Гостиная преобразилась, так как вся мебель в ней была покрыта чем-то белым, и на столе лежали какие-то блестящие инструменты. На электрической плитке что-то кипело в металлической ванночке.

Увидав все это, я начал попросту вопить. Помню, как кто-то крепко держал мои ноги и поднятые вверх руки. Боли я так и не почувствовал, хотя плевра была проколота и жидкость откачена. По виду мамы и бородатого доктора я понял, что все остались довольны.

Знаменский навещал нас примерно каждую неделю. Он внимательно осматривал меня, простукивал и прослушивал и затем рисовал на моей коже сбоку линии чернильным карандашом, наблюдая, как уменьшается воспалительная зона в легком. Лишь потом мне стало известно, что Знаменский был учеником и ассистентом основателя российской педиатрии, профессора Маслова и был виртуозом так называемой пальпаторной перкуссии, позволяющей лишь прикосновением пальцев к грудной клетке точно определить границы здоровой и больной ткани легкого. Это искусство впоследствии было вытеснено рентгеновским методом, но в то время им владели лишь немногие.

Каково же было мое удивление, когда через 25 лет, будучи студентом третьего курса медицинского института, я обнаружил, что профессором кафедры педиатрии является Знаменский. Он пережил ленинградскую блокаду и войну и еще в возрасте семидесяти восьми лет продолжал преподавать и читать лекции. Как только я пришел на его первую лекцию, сердце мое сильно забилось, я увидел ту самую бороду и те самые добрые круглые глаза. Когда он начал говорить с характерным пришепетыванием, я почувствовал себя как бы опять в детстве. Меня так и подмывало подойти к нему после лекции и сказать: «А ведь я ваш бывший пациент, профессор». Но потом решил, что сделаю это только после окончания курса, чтобы такое признание не могло бы смахивать на заискивание. Экзамены принимали двое, он и его доцент. Но судьба свела меня именно с ним. Отвечаю тему «Детские лейкозы», а сам смотрю на его бороду, вспоминаю детство, так и кажется, что он сейчас скажет: «Ну, дорогуша,

подними руки, и мы тебя прослушаем». Я получил у него высшую оценку, глаза наши встретились, и мне на секунду показалось, что он, прищуриваясь, словно бы что-то вспоминает. У меня так и не хватило духа сказать в заключение: «А знаете, профессор…». Но ощущение какого-то благословения в этом взгляде я получил. Через два года его не стало.

Именно доктор Знаменский посоветовал маме находиться в летнее время в районе города Луга, в ста пятидесяти километрах от Ленинграда. Здешний сосновый бор на песчаных дюнах имеет особый климат и считается лечебной зоной для легочных больных. Воздух там напоен ароматом сосновой смолы и всегда исключительно сух. Три года подряд мы жили всю весну, лето и часть осени в Луге. Высокие мачтовые сосны, леса с их сухим седым мхом и песчаные откосы притягивали меня к себе на протяжении всей моей жизни. Почти через 40 лет лужские леса стали постоянными моими пенатами, где из года в год в деревне Шалово, в 6 километрах от города Луги, мы постоянно летом жили на даче. Там, в безопасном покое, я написал свою книгу «Государственный капитализм», там сделал первые свои шаги мой сын, там же скончалась моя мама.

Отец мой был необыкновенно талантливым человеком. Знаток и собиратель художественной литературы, он сам писал неплохие стихи, играл в театре, имел необыкновенную память на все прочитанное. Мама познакомилась с ним в «Гребном клубе» на Елагином острове, где они вместе участвовали в соревнованиях по гребле. Это был популярный вид спорта у молодежи того времени. На вечерах клуба он выступал с мелодекламациями, а мама на рояле аккомпанировала ему. Потом они играли вместе в любительском театре в драме «Таланты и поклонники» А. Островского. Мама играла Кручинину. Через два года он сделал ей предложение, и они поженились. Папа в то время посещал драматическую студию знаменитого артиста Юрьева, при Большом Драматическом театре. В театре он уже выходил на сцену в незначительных ролях, мечтая о карьере артиста. Но брак с мамой смешал все его планы. Актерская семья казалась легкомыслием, и мама уговорила его пойти в Горный институт, который он через пять лет блестяще закончил и стал со временем выдающимся геологом по разведке нефти.

В Нефтяном геолого-разведывательном институте (ВНГРИ) он быстро продвинулся в ведущие сотрудники и не раз возглавлял геолого-разведывательные экспедиции: сначала в Туркестане, затем на Северном Кавказе в Ингушетии и, наконец, на полуострове Камчатка. В экспедицию на Кавказ он взял с собой

как-то и маму. Она научилась ездить верхом на лошади и совершала с ним большие переезды по горным тропам в сопровождении проводника-ингуша. Без местных проводников ездить русским людям по тем местам было опасно: рядом, в Чечне, то и дело возникала перестрелка между местными группами кавказцев и представителями советской власти, которая заменила там царских чиновников. Чтобы не шокировать местное мусульманское население, маме пришлось переодеться в мужчину и остричь коротко волосы. Те короткие два месяца, проведенные вместе в горах, были, пожалуй, самой счастливой порой их совместной жизни, о чем мама всю жизнь вспоминала.

Изучая дневники ранних экспедиций на полуострове Камчатка и некоторые геологические карты, отец пришел к мысли, что на Камчатке должны быть месторождения нефти. Преодолевая большое сопротивление, ему удалось убедить руководство и получить средства для организации поисковой экспедиции.

Входить в комнату отца, когда он там работал, нам, детям, было запрещено. Но иногда эта запретная дверь открывалась прислугой, которая то и дело подносила туда очередной стакан с крепким чаем в серебряном подстаканнике, и тогда мы, дети, могли на одну секунду увидеть, что же там происходит. В моей памяти навсегда запечатлелась такая картина: в клубах табачного дыма на полу кабинета разложены карты, это были геологические карты Камчатки, на полу лежит отец в белой рубашке с подтяжками и что-то там, на картах, чертит. Видимо, это шла разработка маршрутов экспедиции.

Для гипотезы залегания нефти на Камчатке были не только теоретические основания, как, например, наличие геологического разлома мантии земли по меридиану Японского моря, но и наблюдения местных жителей, камчадалов. То и дело они находили огромные глыбы битума, загустевшей нефти, в обнажениях рек. Эти маслянистые комки легко возгорались, распространяя черный дым, тянущийся на километры по ветру. Первая экспедиция 1933 года принесла много надежд, она уточнила районы поисков и собрала много косвенных доказательств. Необходимо было продолжить поиски. Однако в Нефтяном институте работала группа ученых, которая считала, что нефти на Камчатке быть не может. Это были сторонники органической теории образования нефти на земле, по их представлениям, нефть, как и уголь, могут образоваться только там, где существовали массы древней растительности. Отец придерживался другой точки зрения, по которой нефть может образоваться также и в результате неорганического синтеза

внутри мантии земли в условиях высоких температур и давления. Благодаря тому, что Камчатка располагалась в зоне вулканов, такие условия были там весьма вероятны. После длительных дискуссий решено было все-таки снарядить еще одну экспедицию, начальником которой был назначен отец, а его заместителем старший геолог Федор Двали. Началась подготовка. Необходимо было наметить маршруты и точки опытного бурения. В случае неудачи научный авторитет отца мог сильно пострадать. Ему в то время было всего лишь 33 года.

Дорога на Камчатку длилась почти месяц: две недели ехали на поезде до Владивостока, а затем пересаживались на пароход и плыли до порта Петропавловск, откуда уже на вьючных лошадях по бездорожью следовали по восточному побережью Тихого океана к дельте реки Войамполки, где разбивался лагерь. Шли порой пешком, преодолевая разлившиеся весной реки, оборудование везли на лошадях. Тридцать человек экспедиции жили в палатках и питались лишь тем, что взяли с собой или смогли добыть на охоте в тайге. За шесть месяцев удалось обнаружить доказательства существования залежей нефти на больших глубинах. К началу октября экспедиция вышла на берег Тихого океана и расположилась лагерем в ожидании прихода ледокольного судна, которое должно было принять на борт экспедицию. Уже выпал снег, люди продолжали жить в палатках, все время уменьшался дневной рацион питания. Чтобы не люди не замерзли, им выдавали из запасов разведенный спирт и рыбий жир.

Как мне рассказывала мама, у отца было слабое сердце: он не мог долго идти в гору, одышка останавливала его. Иногда после волнения он становился совсем бледным и не мог выговорить ни слова. На одном из собраний в главной палатке отец был задумчив и грустен. Вдруг он встал, как вспоминал Ф. Двали, и, глядя куда-то вдаль, процитировал стихотворение А. Пушкина: «День каждый, каждую годину, готов я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж них пытаюсь угадать…». Это было так неожиданно, что все притихли и стали смотреть на него. В один из этих дней он пытался оседлать ретивую лошадь, и она, извернувшись, лягнула его прямо в грудь, так что он упал, и когда его подняли, долго не мог прийти в себя.

В начале ноября стало уже совсем по-зимнему холодно, а ледокол всё еще не приходил. Однажды, находясь на совещании в общей палатке, отец, как и все, выпил немного разведенного спирта. По прошествии нескольких минут он побледнел и почувствовал себя плохо. Его пришлось провожать до палатки, он еле шел. На ночь в палатке остался дежурить один из

сотрудников, он при керосиновой лампе что-то писал, то и дело наклоняясь к отцу. Под утро он заснул. Рано утром сотрудники пришли проведать отца, он лежал на спине с закрытыми глазами и уже не дышал. Он был мертв.

Несколько дней спустя прибыл в бухту и ледокол. Решено было тело везти вместе со всей экспедицией во Владивосток, а затем в цинковом гробу в Ленинград. Но капитан оказался суеверным и наотрез отказался брать покойника на борт, предвидя трудный и опасный обратный рейс. Споры и уговоры ни к чему не привели. Отца похоронили на мысе, уходящем в океан, в устье реки Войамполки, опустив гроб в вечную мерзлоту. Федор Двали отрезал прядь его белокурых волос, чтобы передать их жене, моей маме. Они и до сих пор хранятся у меня.

Так мы с сестрой навсегда остались без папы. Последствия этой утраты я, как и моя мама, испытывал всю свою жизнь. Научные предвидения отца оправдались — нефть на Камчатке была обнаружена. Через год из скважин, пробуренных в местах, указанных отцом, пошла нефть. Но, к сожалению, она оказалась слишком густая и имела слишком малый процент жидких летучих фракций, так что промышленного значения иметь не могла. Теоретическое же значение его открытия до сих пор остается всеми признанным.

Мама знала, что возвращение экспедиции задержалось. Вот уже приехали многие из сотрудников, сообщили ей, что «отец заболел, прибудет позднее». Мама сразу почувствовала что-то неладное. Помню, сидит она, грустно задумавшись, и шепчет: «Его нет… Его нет…». Наконец, вернулся и его друг Двали. Он явился к нам не такой как всегда, а весь в черном. Нас, детей, сразу увели в детскую комнату, из которой я услышал через стенку приглушенный голос мамы: «Нет! Нет! Нет!» — и тишина. Прошли недели две, но нам, детям, еще ничего не сообщали. Особенно охраняли сестру Майю: отец особенно любил ее и делал приписки для нее в каждом своем письме. К нам в квартиру на несколько дней приехала жить бабушка. Вечером печальную весть сообщили сестре. Она была безутешна, весь день была в слезах, но мне ничего не говорила, хотя я уже обо всем догадывался. Наутро мама позвала меня в свою спальню, мне было уже шесть лет. Сначала она долго говорила со мной о чем-то постороннем, и только потом сказала, что «папа наш уже не вернется… его уже нет… он умер». Она ожидала, что я зальюсь слезами, но я стоял молча и продолжал рассматривать свои пальцы. Это был шок, охранительный шок. Комок поднялся и перекрыл мне дыхание, и так этот «комок» я чувствовал всю свою жизнь. В душе я всегда гордился своим отцом и старался подражать ему.

Эта трагедия перевернула жизнь всей нашей семьи. Вскоре нам пришлось из пятикомнатной квартиры на пятом этаже переехать в трехкомнатную на третьем этаже, окна которой выходили на двор. Мама вынуждена была идти работать. Она стала преподавать в детской музыкальной школе, а также прирабатывать еще и лаборанткой в Нефтяном геологическом институте, куда устроили ее папины товарищи, так что мы теперь видели ее только по вечерам, и всеми делами дома стала заправлять наша няня Настя.

Настя, Анастасия Васильева, числилась у нас, детей, в старых девах, так как ей шел уже третий десяток, а замужем она так и не побывала. Это была простая русская девушка, убежавшая со своей сестрой в город из деревни под Псковом, где в тридцатые годы разразился голод. Она закончила лишь пять классов приходской школы, но имела природный ум и сильную волю. Зачитывалась книгами из нашей домашней библиотеки.

К этому времени у нас осталась только одна няня, и трудно было себе представить, как она одна могла управляться со всем хозяйством: прибирать в комнатах, готовить обеды и следить за нами. В квартире царил порядок и дисциплина.

Я рос непослушным мальчиком и делал все наоборот, не терпя никаких приказов, и если бы не твердая рука Насти, трудно сказать, что бы из меня получилось.

Как ни старались захватившие власть большевики ликвидировать все, что напоминало о процветающей царской России, когда «калач стоил копейка штука», уклад и традиции Петербурга были еще сильны и они исчезали медленно. Во многих семьях продолжала держаться атмосфера еще «той жизни». Еще не все художественные ценности в квартирах были конфискованы, не вся мебель сожжена в каминах, не весь кузнецовский и мейсенский фарфор продан и не все костюмы и платья из бостона и коверкота сношены или перешиты. На улицах еще можно было встретить дам в шляпах с вуалькой и соболиной муфтой в руках, мужчин в пенсне и в пальто с черными бархатными воротниками и собачкой на поводу. Еще можно было побывать в домах, где почти все осталось на своих местах: с потолков свешивались хрустальные люстры, стояла ампирная мебель от Гамбса, на стенах в бронзовых рамах висели картины Клевера и Маковского и текинские ковры, в углах красовались ломберные столики со скульптурами псевдоклассики и застекленные шкафы с собраниями книг в тисненных золотом переплетах. Как ни активны были органы ЧК, домовые комитеты, комиссии по уплотнению и огромная свора завистливых добровольных доносчиков этих органов — ограбить и уплотнить

всех петербуржцев за протекшие со времени красного переворота десять лет было непосильной работой.

Но на улицах уже заметно чувствовалось, что наступили другие времена. Все парадные двери были наглухо заколочены, входить нужно было через дворы по вонючим черным лестницам, идя вдоль помоек с бродячими голодными кошками и бегающими крысами. Барские квартиры превратились в огромные коммуналки, с общей кухней на много семей и единственным туалетом. В таких квартирах иногда еще сохранялись мраморные камины и художественная лепка на потолках. Но со стен уже исчезли картины в бронзовых рамах. Их заменили убогие фото в бумажных украшениях. И если отдельные предметы старинной мягкой мебели еще и сохранялись, то шелковая обивка их уже была изодрана домашними кошками и закапана кашей. Старинным паркетом топились железные печки, установленные прямо в старых гостиных.

Домовые комитеты и районные советы расселяли в эти барские квартиры своих новых советских чиновников, партийных активистов, вернувшихся с фронта красноармейцев. Высшие партийные работники, как Киров, Жданов, жили также не в новых советских, а в старых больших квартирах из 5–7 комнат в центре города.

Дворники в домах еще оставались прежними, и хотя они остригли свои традиционные бороды и сняли форменные сюртуки с двумя рядами бронзовых пуговиц и медной бляхой, но огромные фартуки еще красовались на них. По городу еще ездили городские петербургские извозчики, но знаменитых «троек» уже не было. Извозчикам уже было запрещено появляться в центре города, они размещали свои стоянки в периферийных районах, на площадях около рынков или садов. Запомнилось, как я первый раз с мамой поехал на таком извозчике. Сначала мама немного с ним поторговалась о цене, это было традицией. Затем возница в шубе, подпоясанной красным сатином, и в меховой шапке «пирожком», взял меня, посадил на сиденье экипажа и заботливо укутал мне ноги в меховой полог около сиденья, помог маме сесть и поднял складной задник. Сам же он сидел спереди, закрывая мне своей фигурой весь обзор спереди. Лошадь тронулась легкой рысцой с приятным ритмическим цокотом подков о булыжную мостовую. Она помахивала головой, иногда брызгала пеной, а от запаха ее пота у меня щекотало в носу. Сверху, с высоты экипажа, весь вид улиц изменялся.

Извозчики просуществовали в Петрограде недолго: кормить лошадей стало нечем, да и налоги задушили. То и дело в гостях и дома я слышал рассказы о «старом времени», об императорской

семье, о Русско-японской войне 1905 года, об ужасах Гражданской войны и только шепотом «о застенках ЧК». Избежать этих тем в гостях было невозможно, начиная от дворника и водопроводчика и кончая бывшими русскими офицерами, все были недовольны, но как-то наивно верили, что это все продлится недолго. Беседы то и дело переходили на сравнения, «как оно раньше было». Большое впечатление на меня производил Вячеслав Викторович Трояновский, второй супруг нашей родственницы Тамары Петровны Обуховой (Алексне), бывшей балерины Петербургского Мариинского театра. Это был бывший гвардейский кадровый офицер, окончивший Императорский Пажеский корпус. Держался он прямо, с какой-то торжественностью, был всегда коротко на пробор причесан и носил небольшие усы и пенсне. В движениях его была удивительная легкость и естественность. С дамами он здоровался, низко склонившись, прикасаясь губами к их руке и при этом по-особому щелкая каблуками. Его появление среди гостей привлекало всеобщее внимание, и хотя он был немногословен, весь его вид источал атмосферу какого-то торжества. Восхищаясь властным темпераментом моей мамы, он часто в шутку говорил ей: «Ах, Евгения Федоровна, вам бы в хорошие времена помещицей надлежало быть!». Офицеры его полка до революции время от времени несли караул в Зимнем дворце. Он вспоминает: «Однажды утром выстроились мы в зале караула. Неожиданно вместе с разводящим появился и сам император. Идет он вдоль ряда, всматривается в лица офицеров и с каждым за руку здоровается. Доходит до меня, жмет руку и вдруг спрашивает: „Как чувствует себя сейчас твоя мама?“. Я бодро отвечаю: „Бог милостив, Ваше Величество, оправилась“. — „Ну, так передавайте ей привет от меня“. Моя мама действительно перенесла только что тяжелое воспаление легких. Узнать же об этом император мог только от полкового командира перед разводом караула во дворце. С мамой моей, конечно, император не был лично знаком, но он как полковник гвардии был также членом офицерского корпуса, а офицерский корпус — одна семья. Иногда перед разводом он отводил некоторых офицеров в сторону и там с ними беседовал. Однажды после такой беседы мы подошли к одному из таких счастливчиков и поинтересовались, о чем они там так долго беседовали. Он, нимало не смущаясь, ответил: „Что же здесь удивительного, господа. Император наш дворянин и я дворянин, мы просто поговорили“. Наша любовь к императору была безграничной, каждый из нас был готов умереть по первому его слову».

Как мог затеряться гвардейский офицер Трояновский в советское время и не попасть в ЧК? История его такова. В русско-

германскую войну 14-го года он был адъютантом генерала при штабе северных войск. Во время Октябрьского переворота оба они оказались в войсках генерала Юденича, а затем в эмиграции в Эстонии. В Петрограде осталась возлюбленная генерала — балерина Императорского Мариинского театра Тамара Алексне (Обухова), наша родственница. Трояновский вызвался спасти ее: пробраться в красный Питер и вывезти нелегально через границу. И вот он появился в Петрограде, нашел Тамару и стал готовиться к сложному переходу финской границы. Во время этой подготовки молодой офицер и балерина влюбились друг в друга, так что возвращение к генералу им ничего хорошего не сулило. Они решили остаться и подождать, пока большевики не сгинут. Время шло, а власть не менялась. Кто-то достал ему фальшивый паспорт, где значилось, что он происходит из крестьян, так что в поле зрения НКВД он не попал. Они счастливо вместе прожили все тридцатые годы, он смог устроиться на работу бухгалтером, она преподавала балет. В 1941 году во время ленинградской блокады он умер от голода, и могила его, как и многих, осталась неизвестной.

Его жена и наша родственница, Тамара Алексне, была типичным продуктом кулис Мариинского театра. Она никогда не танцевала заглавные партии, а была так называемой «корифейкой» — в четверках, в двойках классики, а иногда и в характерных танцах. В то время в балете, особенно в кордебалете, танцевали и довольно полные девушки, главным было, чтобы они приятно смотрелись. Такой была и Тамара. Небольшого роста, с округлыми формами, с приятным прищуром на миловидном лице. Попав в труппу театра, ей удалось сразу же выйти замуж за премьера театра Михаила Обухова, и у них вскоре родился сын. Но брак продержался недолго: Обухов уехал один за границу и стал солистом в европейской труппе балета Дягилева в Париже. Тамара осталась одна.

За кулисами Мариинского театра постоянно толпились молодые офицеры и сынки знатных петербургских дворян. Молодых балерин все время куда-то приглашали, то на бал во дворец, то на прием в посольство. Кто только, по ее рассказам, ни ухаживал за ней в то время — и японский посол, и сын эфиопского негуса. Часто на следующее утро после спектакля в ее квартире появлялись корзины цветов с записочками. Самым влиятельным её поклонником был Великий Князь Николай Николаевич (Романов), дядя царя Николая Второго и Военный Министр. Благодаря своей подруге, балерине Кшесинской, любовнице Николая Второго, Тамара приглашалась на вечера в знатные дома, где однажды ее представили и самому императору.

Трудно сказать, насколько близкими были ее отношения с Великим Князем, эта тайна до ее кончины так и осталась не раскрытой.

Однажды с ней произошел забавный случай. Они с подругой после посещения Лютеранского кладбища возвращались Домой через Литовский проспект. Однако улица оказалась оцепленной нарядами жандармерии и полиции и перейти ее не разрешали, так как ожидался проезд правительственных особ. Тамара не захотела ждать и попыталась прорваться на противоположную сторону, он была грубо схвачена усатым жандармом и оттеснена назад. В это время мимо них уже проезжала кавалькада открытых экипажей, и в одном из них сидел Великий Князь Николай Николаевич. Он сразу же заметил Тамару, приподнял фуражку, сделал знак рукой и потом, уже оглянувшись, вынул цветок из букета и бросил ей. Жандарм оторопел от ужаса. Он кинулся к ней с мольбами: «Сударыня, оплошал… не погубите…». — «Да, нет же, нет. Вы выполняли свой долг», — успокаивала его она.

В нашем доме, в соседней квартире под номером 15, жил Михаил Платонов. Раньше он был совладельцем, как и мой дед, этого большого пятиэтажного дома по Лахтинской улице, 25. Происходил он из российских богатых купцов первой гильдии. Воспитан был в богатой семье, но по традиции семьи прошел тяжелую школу от простого рабочего-грузчика при деле своего отца до мастера-строителя. При этом он окончил реальное училище, дома с преподавателями изучил иностранные языки, был по делам в Париже и Лондоне, участвовал в двух войнах. В молодости занимался он классической борьбой, где и познакомился с Иваном Поддубным, а затем стал председателем борцовского клуба. Был он статен, носил большую, уже совсем седую, бороду. Лицом походил на доброго Деда Мороза. Его страстью была русская история, которую он знал до мельчайших подробностей. Большевики отняли все, что было накоплено его семьей: дома, кирпичные заводы и банковские капиталы, но, учитывая его крестьянское происхождение, оставили его в маленькой квартирке ранее принадлежавшего ему дома. Жил он в ней со своей женой, сестрой моей бабушки.

Как-то одно лето он снимал дачу неподалеку от нашей и то и дело заходил к нам по вечерам. Ко мне он был очень внимателен и забавлял меня русскими шутками и прибаутками. На все случаи находил он нужную пословицу или цитату из басен Крылова. Как-то речь зашла с ним и о России, о князе Игоре, варягах, о которых я уже кое-что слышал. Когда он говорил о русской истории, глаза у него загорались, он необыкновенно интересно рассказывал об Иване Калите, о Куликовской битве, о том, какие на Руси обычаи

в старину были. Так и пошло: как только он приходит, я прошу его опять мне что-либо рассказать. Эти рассказы раскрывали для меня новый, незнакомый, «русский мир». Разговоры об истории России никогда не велись в наших семьях, да и книг таких не было. Он открыл мне все это впервые. Рассказывал он также и о династии Романовых. А в заключение сказал: «Многих царей свергали, а Россия все живет. Терпелив наш народ, и этих бандитов перетерпит». Умер Михаил Платонов в блокадную зиму 1942 года от голода.

Пришла пора идти в школу. Из домашней теплицы я должен был войти в новую для меня среду — в советскую школу. По сути дела, это было мое первое общение с советской системой, к которому я не был подготовлен: семья воспитала во мне чувство независимости и право на свободу высказывать свое мнение. Тираноборцы и правдолюбы — герои романов Вальтера Скотта, А. Дюма, Фенимора Купера, Луи Жаколио были для меня примером. К тому времени я уже знал, что в 17-м году в стране произошла катастрофа; власть захватила партия большевиков, или, как говорил мой дядя, «шайка беспринципных негодяев, разогнавших народное собрание и заставивших всех работать на себя». Я морщился, когда видел в газетах портреты руководителей партии. Часто видел, как мама, просмотрев газету, отбрасывает ее со словами: «Что-то опять там затевают!». Смысл речей И. Сталина и других руководителей мне не был еще понятен, однако по интонациям и произносимым словам, я чувствовал, что это грубые, некультурные и вместе с тем хитрые и жестокие люди, которым все мы должны подчиняться. Ну, и, кроме того, они постоянно врут. «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!» (И. Сталин) А людей по-прежнему арестовывали по ночам, сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря…

Мы, дети, то и дело слышали политические анекдоты, хотя их от нас старались скрывать. Приносил их Сергей Иванович, второй муж тети Эльзы, работавший инженером на Охтинском химическом комбинате. Например: телефонный разговор: «Как же я вас узнаю при встрече на вокзале?» — «О, это не трудно: я без орденов и в галошах»[11].

Когда меня привели в школу, а она размещалась в здании бывшей Константиновской гимназии по улице Плуталова, сверху, с парадной мраморной лестницы, возвышаясь на красном пьедестале, на меня смотрел огромный бронзовый Сталин с протянутой рукой. Но если раньше вожди вызывали у меня усмешку, то теперь по всей атмосфере, окружившей меня в этой школе, я понял, что здесь их царство, и здесь они будут Управлять мной. Как чуть раньше написал Николай Гумилев:

Кончилось время игры —
Дважды цветам не цвести,
Тень от гигантской горы
Встала на нашем пути.

Широкие коридоры школы и большие классы со светлыми полуовальными окнами придавали всему еще большую торжественность. Все школьники должны были носить синие сатиновые халаты с белыми отложными воротниками. Каждый день «санитарная тройка» осматривала всех перед входом в класс. Школьные сумки допускались только стандартной формы. На парту перед собой можно было положить только разрешенные предметы: ручку, карандаш, резинку, тетрадь и учебник. Все должны были сидеть прямо, смотря на учителя, руки положив на парту. Разговаривать во время урока, даже шепотом, было категорически запрещено. Во время перерыва все должны были выйти в коридор, где бегать и кричать запрещено, а при встрече с другими учителями нужно было застывать на месте и пропускать их.

Первые уроки были посвящены тренировкам — как правильно входить и выходить из класса, а также правилам сидения за партой. Входить в класс нужно было сразу после первого звонка, после второго — появлялся учитель, и все должны были встать: «Здравствуйте, ребята! Садитесь». Садиться полагалось совершенно бесшумно. «Саша Иванов, ты так и не научился тихо закрывать парту. Всем быстро опять встать и выйти из класса!»… «Входите! Садитесь!.. Ну вот, я еще не сказала „садитесь“, а Коля Рябин уже сел! Опять всем придется выходить…». И снова все повторяется. Наконец, гробовая тишина: учительница идет по рядам и всматривается в каждого. «Вова Никитин и Саша Заборонин подойдите ко мне после урока». Значит, что-то заметила.

Плохая успеваемость считалась большой бедой, но нарушение дисциплины — преступлением. Шкала наказаний была разнообразной: стоять у доски до конца урока, оставаться после уроков на час в закрытом классе, записка родителям с предупреждением, вызов родителей в школу, вызов к директору школы, вызов к директору школы с родителями и, наконец, исключение из школы. Последнее грозило помещением в детский дом для трудновоспитуемых детей.

После домашней вольницы все это вначале показалось мне пыткой, но я до конца жизни остался благодарен советской школе за то, что она выработала во мне самодисциплину.

Уже через месяц в классе была организована пирамида власти, по образцу советской системы. Выбран староста класса. Слово «выбран» сюда не подходит. «Давайте выберем Толю Родионова старостой класса», — предлагает учительница. Неважно, сколько рук поднялось: «Выбран единогласно!». Как потом выясняется, он сын работника райкома партии. Затем весь класс был разбит на звенья по три-четыре человека со звеньевым во главе. Звено вызывает другое звено на «социалистическое соревнование за отличную учебу и дисциплину». Также развертывается соревнование и между классами. Пишутся договоры и вывешиваются на красную доску в классе. Потом всех автоматически зачисляют в октябрята — это, так сказать, «юные ленинцы». Выдаются значки октябрят с изображением юного Ленина, для чего каждый из дома приносит по 60 копеек. Значок нужно непременно носить, многие даже носят его в красном обрамлении из материи. «Теперь все вы октябрята! Учиться, учиться и учиться, как наказывал нам Ленин».

Появился и командир отряда октябрят с помощниками. Потом редактор классной газеты, санитарное звено, звено цветоводов по уходу за цветами на окнах, и много еще других должностных лиц. Каждый должен был иметь какую-нибудь общественную нагрузку. Так выковывались советские люди.

Посадили меня рядом с девочкой, которая уже через день подняла руку и громко донесла на меня: «Фаина Афанасьевна, а Леня заглядывает в мою тетрадь!». Учительница ее похвалила.

Каждый день одно из звеньев несло дежурство по классу: осматривали все парты, вытирали доску и никого до звонка в класс не впускали. Портрет Ленина, висящий над доской, вытирать детям не разрешалось — это ответственное дело выполняли уборщицы.

Уже в первый день Фаина Афанасьевна тихим торжественным голосом, делая большие многозначительные паузы между фразами, поведала нам о главном:

— Кто может мне ответить, чей портрет висит над нашей доской?

Поднялся лес рук: «Это Ленин!».

— Да, ты прав, Коля. Только никогда так не называй. Ты должен был сказать Владимир Ильич Ленин. Это великий вождь всего человечества! — И покатилось. В этот же день на уроке нам была прочитана биография Ленина и рассказано, как он прилежно учился и всегда помогал отстающим ученикам.

Однажды на уроке русской речи нам был прочитан рассказ И. Тургенева «Му-Му». После чего был задан смутивший всех нас вопрос: «А кто, ребята, в нашей стране лучше всего знает русскую

литературу?». Сначала гробовая тишина. Затем кто-то решился: «Ушаков»[12].

— Молодец, Коля. Ушаков действительно хорошо разбирается в русской литературе. Ну, а кто все-таки знает ее лучше всех?

Посыпались разные ответы: «Гайдар», «Маршак», «Вы, Фаина Афанасьевна!». Жестом руки учительница призывает всех затихнуть:

— Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин!

И вслед за этим учительница прочитала нам отрывок из рассказа знатной стахановки, посетившей вместе с другими передовиками Кремль. В кабинете Сталина им был показан стол, на котором лежали стопы новых книг. «Каждый день товарищ Сталин прочитывает несколько книг, а если времени не хватает, то он и ночью читает. Он знает все, что пишут наши советские писатели».

Учителя наши были очень разными. Часть из них состояла из уцелевших педагогов царских гимназий, хотя это были единицы, в основном же люди уже советской выучки. Такой была учительница истории: коренастая пожилая женщина в больших роговых очках с вечно растрепанными волосами. Она была из старых коммунистов-подпольщиков. Маленькие глаза вспыхивали, когда она рассказывала о братьях Гракхах в древней Греции, а однажды, когда дело дошло до казни Спартака на Аппиевой дороге, она прослезилась, замолчала, сняла очки и платком стала их вытирать.

Но самым выразительным типом среди учителей был Павел Иванович Александров, или «Павлуша Красный Нос». Нос у него действительно был большим и постоянно красным, но главное заключалось не в этом. В 20-е годы он был воспитателем в домах для беспризорников и малолетних преступников. Там, видимо, он и выработал свою авторитарную педагогическую систему. Он обладал каким-то магнетизмом и одним взглядом наводил на учеников страх. Преподавал он математику и, видимо, отлично её понимал и любил, обладая при этом феноменальной памятью и способностью устного счета. Так, например, он знал все квадраты чисел до ста, мог в уме перемножать трехзначные числа на трехзначные. Необыкновенной силой воздействия обладал также его голос — низкий грудной бас, которым пользовался он очень умело: или говорил очень тихо, создавая в классе цепенящую тишину, или неожиданно громко вскрикивал, да так, что его голос разносился через длинный коридор по всем другим классам. Он был очень строг и требователен, но не мелочен, и было видно, что внутри его живет, вообще-то, добрая

человеческая натура.

Иногда на уроках он делал магические паузы: вдруг внезапно замолкал и смотрел куда-то отстраненно поверх голов. Помню, как однажды он подошел к окну, где беспомощно о стекло билась муха. Задумчиво уставился на нее, потом осторожно взял пальцами и стал рассматривать. Наступила мертвая тишина, в классе все застыли, так как знали, что он видит и затылком. Наконец, он приоткрыл окно и разрешил мухе лететь на волю, потом оглянулся на класс, осмотрел всех, как будто бы только сейчас заметил наше присутствие, и громко задал риторический вопрос: «Ну, что?!». Это было как бы сигналом к отбою тревоги, и напряжение сразу спало.

В нашем классе были два хулигана, переведенные в школу из детских домов. Они были посажены на первые парты, хотя были старше нас года на три. Эти двое терроризировали весь класс, отнимая деньги и завтраки. Классная руководительница совладать с ними не могла. На первом же уроке математики профессиональный глаз Павла Ивановича сразу же их заметил. Он приблизился к одному из них, Дорохову, и молча остановился напротив него. Дорохов, как загипнотизированный, медленно встал и опустил глаза, как будто бы в чем-то был виновен. Наступила долгая пауза.

— Да, ты сиди, Дорохов, сиди, — тихим голосом сказал Павел Иванович.

После этого авторитет этого хулигана в классе был навсегда подорван, его перестали бояться.

Погиб Павел Александров на фронте в 1941 году, куда ушел ополченцем.

Уже с первого класса были введены уроки пения. Мы все уже знали, что нам песня строить и жить помогает. Вел эти Уроки в огромном зале с черным роялем Евгений Евгеньевич, учитель старой гимназии. Он носил черный китель с высоким наглухо закрытым воротником, из нагрудного кармана которого свисала золотая цепочка от часов. Был он страшно мягок и тих. Сквозь пенсне на всех поглядывали добрые и немного усталые глаза. Видно было, что он уже давно смирился с новой властью, и ему уже все равно, что петь. А петь нужно было, как само собой понятно, новые советские песни. Сначала пел он, сам себе аккомпанируя, а затем уж мы все хором. Забавно было видеть, как он, поглядывая через пенсне в ноты, поет: «О самом большом, дорогом и любимом — о Сталине песню споем!».

Сначала он прочитывал текст песни и затем раздавал нам листы с этим текстом. Однажды он, читая, дошел до строчки: «Человек всегда имеет право на ученье, отдых и на труд…». И

вдруг, к нашему удивлению, он прекратил читать и задумался. Видимо, впервые обратил внимание на смысл этой строки и сравнил ее с действительностью. Но потом спохватился. Пауза могла ведь обозначать его сомнение в правдивости этих слов. И вдруг он, смотря на нас, с какой-то уверенностью в голосе произнес: «Да-да, человек всегда имеет право», — и принялся читать дальше.

Конечно, большинство гуманитарных предметов были построены по принципу «пропаганда через предмет». На уроке литературы учительница задает вопрос: «К какому классу принадлежал Евгений Онегин?». Ответ ученика: «К помещичье-дворянскому классу». Вопрос: «А к какому классу принадлежал отец Павлика Морозова?». Ответ: «К классу деревенской буржуазии, к кулакам».

Особенно забавны были пионерские линейки в большом зале по праздничным советским дням. У всех должны быть в этот день белые рубашки и красные галстуки.

— Пионер, к труду и обороне нашей советской Родины будь готов! — выкрикивает вожатая перед строем. Все хором в ответ: «Всегда готов!». Вожатая: «К выносу знамени отряда приготовься! Смирно!». Раздается дробь барабанов. Три лучших пионера отряда выносят красное знамя и проходят перед строем. Все застыли с поднятой в приветствии рукой. Затем начинались речи.

Но в пионеры меня сразу вместе со всеми не приняли. На первом собрании класса, когда готовился список кандидатов, у меня вдруг вырвалась строчка из стиха, который я слышал от мальчишек на даче:

— Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные — черти окаянные!

Донос последовал на меня сразу же. Моя соседка с косичками была начеку. Она все расслышала, подняла руку, подошла к классной руководительнице и что-то стала нашептывать ей в ухо, от чего глаза у учительницы расширились.

Из списков меня вычеркнули и объявили, что мне дается еще год, чтобы я заслужил это почетное звание.

Легко было заметить, что у учителей существует таинственная иерархия. Руководящую роль в школе играли какие-то незначительные по должности лица: учительница физкультуры и преподаватель военного дела. Эти двое входили в любые классы без стука во время занятий, шептали что-то учителям, передавали какие-то бумажки. Преподаватели при этом сразу же вставали и делали приятные лица. Директор школы им первым протягивал руку. Они всегда присутствовали на всех пионерских линейках. Впоследствии нашлась и разгадка этому: первая была секретарем

партийной ячейки школы, состоящей только из пяти человек, второй же — её заместителем.

В городе существовал Дворец пионеров, попасть туда на вечер, как правило, могли только отличившиеся в школе пионеры. Конечно, я и не мечтал попасть в этот храм, но представился случай: кто-то заболел и передал мне билет. И вот я подхожу к роскошному зданию бывшего Аничкова дворца на Невском проспекте. При входе на фронтоне с классическими колоннами развернут красный плакат: «Мы — советской страны пионеры — нет на свете счастливей ребят!».

Сначала повели нас смотреть залы дворца, в которых были развернуты выставки детского искусства и техники. Потом всех собрали в большой колонный зал. На сцену вышел известный каждому школьнику поэт Маршак, на шее которого был повязан красный галстук. Я был разочарован, впервые увидев его: поэт был мал ростом и толст, говорил картаво и тихо, так что я почти ничего не услышал. Аплодисменты, букет цветов, и он удалился. Затем вышел чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник в больших очках и тоже в пионерском галстуке. Снова цветы и снова аплодисменты. Вслед за ним вышел корреспондент, побывавший в «освобожденной Западной Украине», и рассказал нам, «как голодали там украинские крестьяне под игом польских панов». Когда он раздавал им куски сахара, то они даже не понимали, что это за «сладкое вещество», так как никогда его не пробовали. Потом поведал о польских коммунистах, «которых томили в тюрьмах», и для убедительности вынул из кармана металлические наручники и стал ходить по Рядам и показывать. Это вызвало всеобщий восторг, каждый хотел их надеть. Всем стало ясно, что освободить наших украинских братьев было совершенно необходимо.

И, наконец, вышел артист, который, видимо, постоянно работал во Дворце пионеров, так как по всей его манере было видно, что он-то знает, как управлять массой ребят. Одет он был, как пионер, в белой рубашке с красным галстуком, и с челкой на лбу. Говорил он громко и отчетливо, почти кричал:

— Давайте, ребята, запустим пионерскую ракету!

— А как ее запускать? — загалдели все.

— А вот я сейчас научу. Делайте только все то, о чем я вас буду просить, и посмотрите, ракета взлетит в этом зале.

— Итак, все вместе! — закричал он, поднес пальцы к губами, двигая ими, стал издавать звук «Рррррррр…». И весь зал последовал за ним.

— Рррррр… Рррррр… Рррррр… Рррррр… — понеслось по залу.

— А теперь Уууууу… Уууууу… Уууууу… Уууууу…

— А теперь Аааа… Аааа… Ааааа…

— А теперь топайте по паркету ногами, как я! — И он стал, прыгая, стучать ногами. И зал содрогнулся от топота сотен детских ног.

И вдруг у него в руках появились таблички с крупными словами.

— Все читают и говорят громко за мной!

«Спасибо… товарищу… Сталину… за наше… счастливое… детство!»

И сразу же откуда-то из-за сцены влетела в зал ракета с фейерверком и рассыпалась с шипением около люстры на тысячу красных искр. Бурные овации восторга.

В стране появились герои. Много героев. То три девушки летчицы — Гризодубова, Осипенко и Раскова — совершают беспосадочный перелет через всю страну на Дальний Восток. То летчики Чкалов, а затем Громов летят через Северный полюс в Америку. А затем и Папанин, Кренкель и Ширшов высаживаются на льдине прямо на Северном полюсе, плывут на ней в Атлантику, пока советские ледоколы и самолеты не примут на борт героев. В классе повешена большая карта, и на ней ежедневно отмечают флажками, куда сносит льдину с Папаниным, и где находятся наши ледоколы. Все дети тоже хотят стать героями. Ведь даже в песне поется: «У нас героем становится любой…». Но вот как им стать? Многие мальчики переходят в военное летное училище. Но и там уже огромный конкурс. Преимущество имеют дети участников Гражданской войны и отличники-комсомольцы. Я, конечно, об этом и не мечтаю. Тем более что со мной произошла скандальная история.

А дело было вот как. В четвертом классе мы проходили уже русскую историю, так сказать, от Рюрика до Сталина. Был уже издан новый учебник с многочисленными иллюстрациями. Вот эти-то иллюстрации, особенно портреты, меня и привлекли. Скучая на уроках, я стал разрисовывать эти портреты и начал с Ленина и Сталина. Ленину я подрисовал рога, а у Сталина появились страшные клыки. Все получилось бы очень смешно, если бы опять же не моя соседка по парте, которая тут же на перемене донесла об этом учительнице. Учебник был тут же торжественно изъят у меня и передан на «проверку» в дирекцию. Шли дни, я уже и забыл думать об этом. Как вдруг на уроке физкультуры учительница, секретарь партийной ячейки школы, со строгим, серьезным лицом обратилась к стоящим в строю ребятам:

— А знаете, ребята, среди вас есть враг!

Полная тишина.

— Не догадываетесь, кто он?

Опять тишина.

И тут вдруг она называет мое имя и фамилию. Я так и оторопел, комок подкатил к горлу: я уже знал, что делают с врагами народа.

— Он, наверное, ненавидит нашу советскую Родину, наш народ: он изуродовал в учебнике портреты наших любимых вождей!

Я был тут же выгнан с занятий и должен был назавтра явиться в дирекцию с мамой.

Мама была занятым человеком, пришлось ей отпрашиваться с работы. Мы вместе явились в указанное время в дирекцию. Там за столом уже восседал «партийный суд» в полном составе: директор, учительница физкультуры и военрук. На столе — мой учебник как вещественное доказательство. Мы, как обвиняемые, были посажены на специальные стулья перед столом.

Но мама была настроена по-боевому. Она парировала все обвинения, объясняя мою вольную графику, как детские несознательные шалости, политически не адресованные к вождям народа.

— Посмотрите, — говорила она, — портрет Петра Великого тоже разрисован, у него такие же клыки!

Все стали рассматривать случайно обнаруженный мамой портрет царя. А она тем временем бросила свой последний защитительный аргумент:

— Вы руководили политическим воспитанием моего сына! И если в вашей школе могут вырастать враги народа, то нужно разобраться сначала, кто и чему учит детей в этой школе. И это должна сделать инспекция обкома партии!

Наступила гробовая тишина. Аргумент сработал. Если нагрянет комиссия из обкома, то врагов быстро найдут не среди детей, а среди руководителей школы!

Дело было тут же закрыто. Маму любезно проводили до дверей школы, а мой учебник на следующий день был заменен новым, а старый исчез.

Так закончился мой первый политический процесс, адвокатом на котором удачно выступила моя мама.

Следствие ведут знатоки

Утром, открыв глаза, я не сразу смог сообразить, где я. Ах, да! Это следственная тюрьма Управления КГБ Кокчетавской области.

Советская власть почти не строила новых тюрем, она строила лагеря: это выгодно и дешево. Использовались старые царские тюрьмы, которые стали известными на весь мир: Бутырская и Лефортовская в Москве, тюрьма предварительного заключения на 190 камер на Литейном проспекте, знаменитые «Кресты» в Ленинграде, Екатерининские централы в Екатеринбурге, Иркутске и Красноярске. Как ни набивали в них сверх всякой нормы заключенных, все-таки камеры, коридоры, туалетные комнаты и прогулочные дворы оставались с царских времен относительно просторными.

Страшны были тюрьмы в провинциях, приспособленные на скорую руку из каких-либо других зданий: монастырей, конюшен, заводских цехов или даже церквей, тут уж никаких санитарных норм и в помине не было: «буржуазный гуманизм» отвергался советами. Такой-то вот тюрьмой и оказался Внутренний областной следственный изолятор КГБ, расположившийся в бывшей каменной конюшне казачьей сотни при Доме атамана. Это было кирпичное одноэтажное здание в самом центре города, примыкавшее к Областному Управлению КГБ. Внутри там бетонные полы, положенные прямо на грунт; камеры для заключенных, штук этак пятьдесят, расположены вдоль коридоров, по которым, видимо, в свое время водили лошадей. В этих коридорах были на скорую руку сложены небольшие печи, примыкающие к стенам камер, но главное тепло от них шло, конечно, в коридор, где дежурила охрана, так что в камерах в морозные дни температура падала до 8 — градусов и изо рта шел пар. Камеры с высокими потолками в виде арок: атаман, видимо, заботился о своих лошадях. Окна в камерах были под потолком и столь малы, что пролезть через них было бы невозможно. Кирпичные стены наспех оштукатурены и побелены. Около них поставлены деревянные топчаны, застланные матами из камыша, на них двойной половик из ватной ткани: понимай, «простыня и одеяло», и подушка, набитая сеном. У стены один единственный, который можно двигать по камере, — табурет. С особым старанием и предусмотрительностью была сделана дверь камеры: из толстого стального листа с огромным внутренним замком и «кормушкой»: как видно, на свою безопасность начальство не скупилось. Вначале эта камера мне показалась даже приветливой

и просторной, и лишь позднее я понял, что она медленно убивает сыростью и темнотой. Теперь это моя квартира надолго. Здесь будет развертываться спектакль, название которому — следствие.

Очнулся я уже вечером от легкого стука. В открытом окошечке в двери появился кусок хлеба и кружка с кипятком — это ужин. Странно, что меня за все это время никто не поднял, ведь я пролежал на нарах уже несколько часов. Видимо, режим в провинциальной тюрьме слабее, чем был в Казани. Прежде всего, я начал рассматривать пальцы ног, которые уже сильно ныли. Стало ясно, что они отморожены, но до какой степени, установить было трудно.

Проходили дни, и складывалось впечатление, что обо мне забыли. Я заявил дежурному в коридоре, что у меня отморожены ноги, хотя он долгое время не мог понять слово «отморожены», так как оказался казахом в чине сержанта. Наконец, меня повели на врачебный осмотр. Но это был не только осмотр моих несчастных ног, это оказалось еще и «врачебное освидетельствование арестованного», предписанное Процессуальным кодексом РСФСР. Я раздет догола, и двое людей в белых халатах рассматривают меня. Вскоре им удалось установить, что я здоров и могу участвовать в следствии. На мои распухшие и посиневшие пальцы ног была наложена повязка. Пока я крутился голый в кабинете, мой взор упал на лежащую на столе бумагу: это был какой-то список. Всматриваясь еще и еще раз в него, я отчетливо смог прочитать среди других фамилию «АСЕЙКО». Значит, Альберт уже здесь!

Утром следующего дня дверь моей камеры растворилась, и я услышал: «Собраться без вещей!». Меня вывели в коридор: «Руки за спину и следуйте вперед!». И вот я в большом теплом кабинете начальника следственного отдела, за столом и вокруг стола сидят люди, чуть сбоку машинистка. Картины, ковры, в окнах зима и видно, как ходят по улице вольные люди. Меня усаживают в глубокое мягкое кожаное кресло. Из-за стола подходит ко мне высокий блондин в чине капитана КГБ:

— Ну, что же, дорогой, давай знакомиться, капитан Сычев! Где это так тебя нарядили? Где твое пальто?

Я молчу, рассматриваю узоры ковра.

— Как в камере? Знаю, знаю, что холодно, я дал указание, чтобы хорошо топили. Как твои пальцы? Болят, конечно. Эти «менты» уже посажены на десять суток на гауптвахту! Есть какие-либо к нам претензии или просьбы — постараемся их выполнить, только вот на свободу без следствия выпускать не можем, — глупо пошутил он. — А вот твои следователи: лейтенант Баймашев и его помощник лейтенант Пирожков.

И здесь я заметил, что Пирожков — это один из двух, которые везли меня сюда из Петропавловска. Однако я молчу: нет у меня ни жалоб, ни просьб. Вижу, что человек пять в комнате с любопытством рассматривают меня. Мне же они не интересны. Я вижу, что в их ласковых речах есть что-то недоброе, театральное. А Сычев продолжает:

— Вот подпиши-ка протокол о начале следствия.

Читаю и, конечно, подписываю.

— Если будешь помогать следствию, создадим для тебя хорошие условия, письма можешь писать, посылки от мамы получать. Ты должен знать, что нам все, — и тут капитан Сычев сделал многозначительную паузу, — ты понимаешь, ВСЕ подробно известно. Да и цель-то у нас общая: поскорее следствие закончить. А там уж суд решает: кто прав, а кто и виноват. Ну, а теперь иди, дорогой, а то в камере обед твой остынет.

И действительно, обед в этот раз подали необыкновенный: борщ и каша с мясом, видимо, все из своей столовой заказали. Ем, а мысли так и скачут: «Спектакль начался, а у меня и роль не выучена».

Я, конечно, хорошо себе представлял, что следствие в органах КГБ — по сути дела чистая формальность: если я арестован, то выпустить меня, не доказав вины, они не могут: «КГБ ошибок не допускает». Значит, нужно принять эту реальность и привыкнуть к ней. А в мыслях то и дело всплывает пушкинская фраза: «Я знаю, путь уж мой измерен…». Неужели покориться следствию, принять их правила игры и есть борщи в теплой камере? Возможно, если бы я был один, то можно было бы капитулировать и довериться судьбе, но нас было четверо, и я не знаю, кто, кроме Альберта, уже арестован, да и какую линию на следствии принял Альберт — тоже не знаю. Я не имею права давать ни одного показания, которое могло бы затронуть других моих товарищей — мы все поклялись в этом. А какие еще показания я мог бы давать, ведь совершенно ясно, что речь идет о действиях группы и в «Предварительном обвинении», которое я только что подписал, стоят два параграфа статьи 58 УК: пункт 10, часть вторая — это «антисоветская агитация в военное время» и пункт 11 — «создание антисоветской группы». Таким образом, они ведут следствие против группы и выделить себя одного из нее совершенно невозможно, а это значит, что любое показание, которое я мог бы дать против себя, сразу же распространится и на всю группу. И если Альберт все отрицает, а он должен все отрицать, то тогда я становлюсь предателем. Нет, нет, борщи есть в камере мне не придется! Я не имею права ничего признавать, хотя я и догадываюсь, что это не сильно отразится на моем

приговоре, осужден я, безусловно, буду.

Анализирую дальше. Они смогли получить ордер на наш арест у прокурора по пунктам 10 и 11, это значит, у них есть улики и показания, указывающие на существование группы. Что это за улики? Просматривая всю историю «Тройки Пик», я выделяю потенциальных свидетелей: мать Альберта, видевшая сорванный почтовый ящик под кроватью и, возможно, что-то слышавшая из наших разговоров. Но ведь она мать, неужели она сможет давать показания против сына?! Нина, видевшая пистолет в руках Альберта. Пьяный милиционер в кино, у которого Альберт выкрал пистолет, но тогда здесь нет никакой «антисоветской агитации». Маленький Гена, где-то кому-то что-то рассказавший. Маловероятно, на мой взгляд, он крепкий малый. Может быть, за нами уже долгое время велась слежка органов, которую мы не замечали, и им удалось собрать важные улики, хотя для этого нужно поверить в высокую оперативность органов, в чем я сильно сомневался. Откуда пришли улики, где первоисточник? Совершенно неясно. Ясно лишь одно: нужно придерживаться тактики полной блокады следствия, так как каждое признание улики или показания свидетеля может отразиться на судьбе других членов группы. Выдержу ли я эту блокаду? Сил у меня уже немного. Петр Кропоткин, Софья Перовская, Вера Засулич, где вы? Научите меня стать сильным!

Утром дверь камеры растворилась, и дежурный жестом показал, что я должен идти. Идти нужно было не далеко: в боковом коридоре начинались уже следственные кабинеты. На пороге одного из них стоит мой следователь, лейтенант Баймашев. На лице искусственная улыбка, как будто бы ему предстоит что-то очень приятное. Следственная комната оказалась маленькой, на окне решетка, перед окном стол с зеленой лампой, а в углу покрасневшая от жара железная печка. Меня посадили уже не в кресло, а на обыкновенный стул, отставленный в угол метров на шесть от стола. Баймашев торжественно занял место за столом и углубился в бумаги. Наступила тишина, так что было слышно, как горит в печке уголь, Баймашев маленький человечек, с рябым лицом, лет тридцати. Казахов в КГБ брали не часто, хотя без них было нельзя обойтись, ведь это все-таки Казахстан. Видно было, что человечек волнуется и поэтому роется в своих бумагах просто так, для душевного равновесия: видимо, следственные дела доверялись ему не часто. Но вот, наконец, с казахским акцентом он тихо произнес:

— Фамилия?

Мне показалось, что он рехнулся, ведь не на улице же он меня поймал. Но я ответил. И пошли все пункты анкеты…

И, наконец: «Подойди распишись!». Понимаю, что тыкает, но, видимо, только из-за плохого знания русского языка. Подписываюсь. И здесь, к моему удивлению, меня уводят обратно в камеру — первый допрос закончен. Это, конечно, была разминка.

На следующий день я опять оказался сидящим на том же самом стуле, и опять весело потрескивала горящая печка. Баймашев был уже другим: он не садился, расхаживал взад и вперед перед своим столом, останавливался, строго всматриваясь в меня, и снова начинал прохаживаться. Его до блеска начищенные сапоги, белоснежный воротничок гимнастерки, аккуратно зачесанные назад длинные волосы говорили, что мое следствие для него — решающий экзамен, и он очень и очень в себе не уверен. Наконец, он сел и тихо, смотря на лист бумаги, прочитал:

— Расскажите о своей антисоветской деятельности.

Наступила пауза. Я соображаю, какой же мне дать ответ на это предложение.

— Какой деятельности? — весьма нелепо отвечаю я.

— А вопросы тут задаю только я! — уже довольно уверенно и без бумажки произносит дежурную фразу следователей Баймашев. И снова по бумажке:

— Расскажите о своей антисоветской деятельности.

И снова пауза. И снова он читает, не глядя на меня. Причем вижу, что и читать-то ему как-то трудно, ударения он делает на второстепенных словах:

— Если вы окажете следствию помощь и чистосердечно во всем признаетесь, то «органы» будут ходатайствовать перед судом о смягчении наказания.

Теперь я, наконец, понял, что все вопросы и его высказывания уже напечатаны на бумажке, остается только вставить в определенные места мои ответы. Но ответов, нужных для следствия, не получается.

— Ни о какой моей антисоветской деятельности мне не известно.

Но Баймашев как бы не слышит моего ответа: он снова задает один и тот же вопрос. Я то выдерживаю паузу, то повторяю свою нелепую фразу. Время идет, печка весело потрескивает, за окном мороз, и слышно, как где-то кричат дети, катаясь с горки на санях, и Баймашев то присаживается, чтобы прочитать свой один и тот же вопрос, то прохаживается по комнате. Создается впечатление, что мы оба разучиваем какую-то пьесу, произнося одни и те же реплики, но с разными интонациями. Так длится несколько часов, правда, паузы между ответом и вопросом все

время увеличиваются. Мне начинает казаться, что я в сумасшедшем доме, ведь он же понимает, что другого ответа не последует. Но, видимо, в бумажке другой вариант был не предусмотрен, а рабочее время, отведенное для допроса, нужно было выдержать. Так прошло примерно шесть часов, «рабочий день» закончен, меня уводят в камеру. На пороге Баймашев мне бросает:

— Вот, дурак, совсем плохо будешь себе делать! — Теперь уже без бумажки и от себя, и со своей русской грамматикой. Оказывается, и у него есть эмоции!

Понеслись дни. Каждый день меня вызывают на допрос и сажают на тот же самый стул. И каждый день все тот же Баймашев задает мне все тот же вопрос, непременно заглядывая в бумажку. Но теперь уже вопрос произносится только один раз и затем, после моего стандартного ответа, в комнате наступает тишина, и каждый занимается своим делом. Я сижу на стуле и смотрю в окно, где играют дети, а он сидит за столом, что-то читает или открывает ящик стола, отрывает куски от спрятанной там лепешки и, таясь от меня, как школьник, жует. Если ему или мне нужно в туалет, он звонит охране в коридоре. Меня уводят.

Уже по прошествии нескольких часов снова открывается дверь камеры: «Соберись!». И так каждый день. Что это, сознательная тактика следствия, так называемая «выдержка», или бедный Баймашев должен «работать» каждый день и другого сценария ему пока не дали?

В камере стало еще холоднее, я лежу и дрожу всю ночь под своим половиком, покрытый бушлатом. Ногти на ногах уже сошли, под ними гнойные язвы, перевязки я делаю себе сам. Четыреста граммов черного хлеба, суп из капусты и три ложки ячменной каши — вот весь мой рацион. Постоянное чувство голода и кружения в голове. На бетонном полу стоять долго невозможно, приходится сидеть на нарах. Каждый день эти глупейшие допросы, похожие на издевательство.

Но вот что-то изменилось. На одном из допросов Баймашев делает вид, что он страшно чем-то разгневан:

— Как сидишь?! Так на следствии не сидят! Встать! — выкрикивает он, как плохой актер. Подходит к моему стулу, кладет на него большую книгу, так что свободным на сиденье местом остается небольшой уголок в ладонь.

— Вот теперь садись на это вот место!

Я сажусь. Места на стуле хватает только для моего крестца, и он уже через двадцать минут начинает ныть. Значит, следствие перешло в новую фазу: от пряника к кнуту. И снова тот же самый дурацкий вопрос, но теперь уже я не смотрю в окно, я считаю

минуты — боль в крестце все усиливается. Первая пытка, какая же будет последняя. В камере боль в крестце продолжается всю ночь. Мне приходит в голову идея положить скрученное полотенце в трусы, когда пойду на следствие. Это мне удается: сижу уже на мягком, но все равно крестец и вся спина от неудобного положения начинают страшно болеть. Еще день и еще один день.

Наконец, в следственную комнату врывается капитан Сычев, вижу, что он пьяный, лицо совсем другое, злобное. Мутным взглядом смотрит на меня, затем обращается к Баймашеву:

— Ну, что, он не признается, бойкот следствию объявил?!

Через секунду я почувствовал страшный удар по груди, от которого я свалился на пол. Это Сычев, подпрыгнув, ударил меня ногой в грудь. К счастью, нога была в валенке. Я на полу. Удары и удары. Я закрываю лицо руками, но это бесполезно, так как удары идут и по голове, и по животу. Наконец, я перестаю что-либо понимать и чувствовать.

Очнулся я на полу, слышу, как потрескивает все та же печка. Стараюсь приподняться и чувствую страшную боль в ребрах. Сломали? Одним глазом ничего не вижу, он успел уже весь затечь. Сажусь на стул. Сычева уже нет, ко мне подходит Баймашев:

— Вот видишь, начальника рассердил! Я тебе говорю, рассказывай, все рассказывай.

До камеры я дошел, придерживаясь за стенки.

На следующий день в следственной комнате у Баймашева появился и лейтенант Пирожков. Но сидит он не за столом, а как-то безучастно в стороне, как наблюдатель. Вспоминаю, как он вез меня в Кокчетав и заснул на дежурстве на станции Петухово. Видно, что лейтенантом он стал совсем недавно: вся форма на нем совсем еще новенькая, и держится он, как ученик, никаких вопросов не задает, а только что-то иногда записывает. «Практикант», — подумал я.

Баймашев перед ним разыгрывает роль уже опытного следователя:

— Вот с тобой из Казани по этапу следовали в отдельной сумке конфискованные у тебя вещи, где они? Тут только одна эта «божественная книга» осталась. — «Божественной книгой» оказалось Евангелие.

Посмотрев в какую-то бумагу, он добавил:

— А где же твой дневник?

— Эти вещи были не со мной, их везли отдельно сами конвоиры, — отвечаю я, а у самого на душе радость: дневник мой им читать уже не придется.

— А что вы знаете по поводу того, куда они могли деться?..

— Ничего я не знаю. Украли, наверное.

Баймашев, бросив Пирожкову: «Отведешь потом», куда-то с этим протоколом уходит, мы остаемся вдвоем. Пирожков как-то странно смотрит на мой заплывший глаз, а я смотрю на него и чувствую, что где-то я уже его видел. Видимо, та же мысль и у Пирожкова. И вдруг он совсем мальчишеским тоном:

— Какую школу-то кончал?

— Вторую, среднюю…

Ну, так вот, я тебя и знаю, ты из десятого «б».

— Точно.

— А Толю Качанова знал?

— Ну, как же! Мы одно время дружили.

Толя был, как и я, круглый отличник, сын секретаря райкома партии.

— Как же это ты угодил-то? — с нотой сожаления продолжал Пирожков.

Ну, что я ему отвечу на этот вопрос, в голову пришла русская пословица:

— От сумы и от тюрьмы не зарекайся.

Наступила пауза.

— Ну, ты им хоть что-нибудь-то говори, — советует мне Пирожков, и видно, что от всей души. И это «им» показало мне, что он в этот момент на моей стороне и из него еще не сделали Железного Феликса. Но разговор не вязался: он побаивался перейти границу, и я тоже. Пришло время вести меняв камеру. Уже в дверях, пока еще не подошел сержант, он сует мне в руки пакет из газеты: «Вот возьми». Это оказались сибирские шанежки, деревенское печенье из белой муки. А обрывки газеты я весь вечер читал и впервые узнал, что советские войска уже движутся по территории Польши. Видимо, война скоро закончится.

Мои следователи изменили тактику.

— Знакомы ли вы с Альбертом Асейко? — бормочет по бумажке Баймашев.

— Знаком. — Другого ответа не может быть.

И посыпалось: «когда», «где», «при каких обстоятельствах», «знали ли, что его отец» и т. д. Мои ответы не могли ему повредить, отрицать наше знакомство вообще было глупо и даже вредно. Однако я признал лишь отдаленное знакомство, которое, мол, позволяло брать книги из его домашней библиотеки. Но и эти ответы очень порадовали Баймашева:

— Чем начальство сердить, лучше бы так и отвечал на все вопросы. Ну, как там, в камере холодно? Я распоряжусь, чтобы топили.

Получилось, что я заработал награду.

На следующий день Баймашев встретил меня весело, видимо, ему показалось, что лед тронулся. Начал он с нравоучений:

— Ты должен умным быть. С нами воевать — пропадешь. Зачем? Кто ты такой? Ну, кто ты такой? Тебя сотрут тут в порошок, у нас права большие.

И вдруг уже отеческим тоном:

— Кушать хочешь? — с ударением на «а» произнес он. — На вот хлеба, поешь, — и из ящика стола достал кусок той самой лепешки, которую он жевал чуть ли не на каждом допросе. Я опять заработал награду.

Однажды вместо Баймашева в комнате за столом оказался капитан Сычев. Было видно, что после воскресных дней голова у него несвежая и голос особенно хриплый.

— Ну, что? Я тогда погорячился. Ты сам меня до этого довел, — примирительно начал он. — А вообще-то, ты должен знать, что права нам даны большие. — И после паузы:

— Мы можем и без суда тебя здесь навсегда оставить, у нас и кладбище свое для таких идиотов есть. Спишем, как хромую лошадь, и все.

На его веснушчатом лице просияла самодовольная улыбка, и стали видны ряды металлических коронок на боковых зубах. Эта пасть показалась мне омерзительно хищной.

И тут он, как бы в подтверждение своих слов, достает из ящика небольшую книжечку в мягком переплете.

— Если ты будешь саботировать следствие, то у нас есть меры привести тебя в полный порядок! Права такие нам даны! — торжественно произнес он и на вытянутой руке приблизил ко мне обложку этой книги, на которой я прочел заглавие: «АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СЛЕДСТВИЯ» и наверху петитом: «строго для служебного пользования».

— Ты уж на нас не обижайся, если мы будем использовать наши права.

И здесь капитан Сычев достал из ящика две фотографии лица одного и того же человека и показал их мне.

— Вот тоже был такой же идиот, как ты. Видишь, что с его глазом-то произошло?..

И тут я вижу, что на второй фотографии у человека вместо одного глаза уже дырка, лицо изуродовано шрамами.

Шок у меня довольно быстро проходит: «Нет, не может быть. Фото специально изготовлено. Это все, видимо, иллюстрации из этой самой книги. Психологический прием», — успокаиваю я себя.

И тут в дверь кто-то постучал. Сычев резко вскочил и

приоткрыл дверь. Оттуда кокетливый женский голос:

— Сашенька, это я тебя беспокою, — слышу я. Это он-то «Сашенька»?!

Сычев несколько растерян: оставить меня одного в комнате нельзя и вызывать охрану тоже, видимо, нехорошо для такого случая. Но все-таки пошел на риск, оставил меня одного, правда, дверь не плотно прикрыл, так чтобы можно было видеть, если я встану с места.

— Мы тебя там ждем, и все уже накрыто, — продолжает женский голос.

— Ну, еще полчаса вот с этой сволочью разбираться нужно, — бормочет Сычев.

Допрос продолжается: — Кто такая Софья Семеновна?

— Это ленинградская подруга моей мамы, которая была эвакуирована в Кокчетав.

— Правильно! Оказывается, ты и правильно отвечать умеешь! Это хорошая и добрая женщина, она тебе передачу принесла. — С этими словами он из-под стола вытаскивает ящики выкладывает на стол копченую ветчину, сало, белые сухари, конфеты. Я смотрю на это богатство и глазам своим не верю, что это все мне. А он продолжает:

— Ну, так вот, все это в камере тебе мешать будет, пусть лучше у нас хранится. А там мы посмотрим, если на допросах будешь себя хорошо вести, то будешь понемногу получать все это.

Но ведь я-то вести на допросах себя «хорошо» не буду! Значит, я это все не получу никогда! В камере я не мог прийти в себя: шок был очень сильным. Уж лучше бы они меня просто били. «Господи, дай ты мне силы вынести все это! Укрепи и помилуй!» Я в первый раз попытался вспомнить молитву «Отче наш», которую знал лишь приблизительно. И эта молитва успокоила меня.

Утром меня вызвали на допрос почему-то на два часа позднее и повели по коридору в другой конец здания. С чего бы это? Распахнулась дверь, обитая черной искусственной кожей, и передо мной открылась картина большого помещения, чуть ли не зала, с кожаными креслами, диваном, двумя столами с телефонами, огромным фикусом у окна и, конечно, портретом Железного Феликса — это был кабинет начальника Областного КГБ майора госбезопасности Тенуянца.

— Давайте знакомиться, моя фамилия Тенуянц.

Передо мной стоял лощеный, плотный, круглоголовый человек с черными усиками, совсем как у Микояна, подумал я, и с орденом на синем френче. Он вел себя как полный хозяин всей этой конторы, указывал жестами, кому, где сесть, а сам

продолжал прохаживаться по ковру, заложив руку под пуговицу френча, совсем, как Сталин.

— Ну, что же вы саботируете следствие? Ваша тактика обречена на провал! — начал он с заметным кавказским акцентом.

Я молчу: понимаю, что это риторическое введение к главному. А вот и главное:

— Что вы можете рассказать об антисоветской организации «Тройка Пик», членом которой вы являлись!

Вот это уже по делу. Что ответить? Молчать? Но и признать такую организацию я не могу, так как, не зная, какие факты им известны, сразу же стану свидетелем против моих товарищей.

— Такое название мне неизвестно.

— А как же тогда еще называлась ваша организация?

— Мне непонятно, о какой организации идет здесь речь.

— Ах, непонятно, так сейчас вам напомнят.

Ко мне подошли два военных и посадили меня лицом к стене, на которой под стеклом была развернута карта Кокчетавской области, и отражение в этом стекле, хотя и смутно, но позволяло мне видеть, что происходит в комнате. Я увидел, как майор сделал жест рукой, и в комнату кого-то вели и посадили у противоположной стены на стуле лицом ко мне.

— Теперь вы оглянитесь.

Я оглянулся и увидел, что у противоположной стены сидит не кто иной, как Альберт. Он совсем даже не изменился: те же сапоги и гимнастерка, хотя и без ремня, бледное лицо с покрасневшими веками, но, что самое удивительное, он не острижен, как стригли всех подследственных, — длинные темно-каштановые волосы аккуратно зачесаны назад. Видно только, что он напряжен. На секунду бросил он взгляд на меня и затем, несколько сощурившись, стал смотреть перед собой на пол. Я знал, что он здесь, в тюрьме, и встреча с ним не вызвала у меня шока. Только вот почему он не острижен?

Майор обратился ко мне:

— Известно ли вам это лицо?

— Да, известно, это Альберт Осейко.

После этого меня сразу же снова повернули лицом к стене.

— Альберт Адамович, расскажите следствию, что вам известно о совместной деятельности сидящего перед вами арестованного? Когда и где вы познакомились?

Наступила пауза, и напряжение во мне стало расти. Как опытный режиссер, майор поспешил прервать эту паузу:

— Ну, вспоминайте быстрее, или мы вам дадим прочесть ваши собственноручные показания.

«Собственноручные показания, — мелькает у меня, — значит, есть уже и такие».

И вдруг я услышал, как глухим голосом и с некоторой растяжкой Альберт стал говорить. Я хорошо знал Альберта и сразу почувствовал, что каждое слово для него, как удар ножа по самому себе. Но он говорит, говорит! Он говорит, что мы составили подпольную антисоветскую группу «Тройка Пик», поставившую себе задачей бороться с советской властью всеми имеющимися у нас способами. Назвав всех членов группы, он начал перечислять все её акции: попытки вызвать бойкот выборов, угрозы прокурору города, поджог, срывы связи, распространение листовок. По ходу этого перечисления он вдруг замедлил речь, и голос его стал совсем тихим, как будто бы ему не хватает дыхания. И, наконец, совсем, замолк, не закончив фразы.

С первых же его слов мне стало понятно, что он раздавлен следствием. По самому его виду можно сразу было догадаться — он хорошо питается, видимо, получает от мамы передачи. Заслужил!

Негодование и отчаяние охватили меня, и в какой-то момент я чуть было не выкрикнул громко: «Предатель!», но благоразумие удержало меня: это слово для следствия было бы ясным подтверждением всего того, что он говорил. Майор, как видно, был достаточно опытен, он сделал еще один жест, и Асейко моментально увели.

— Ну, что вы можете к этому добавить? — торжествуя, что спектакль прошел удачно, обратился ко мне Тенуянц.

Только теперь я очнулся, и сознание мое заработало. Во-первых, показания Альберта — показания одного из членов группы, оно для суда играет только вспомогательную роль. Видимо, никаких других свидетелей у них нет и им позарез нужен другой свидетель, то есть я! Вот почему они меня «раскатывают по полу»! Признай я хоть что-нибудь, двое других моих товарищей будут сидеть с нами вместе. Да и потом, с меня никто еще не снял клятву, которую я дал всем. Итак:

— Все это ложь, — тихим голосом выдавливаю я из себя.

— Что, сволочь?! Повтори еще раз!

Я ничего больше не повторяю: для протокола, который, как я заметил, ведется, этого достаточно.

— Сычев! Ты что с нами дурочку-то валяешь! Закатай ты его покрепче и держи, пока сам к нам не запросится!

Я понял эти слова, как приговор, который может быть страшнее, чем предстоящий судебный. Меня тут же увели. Но ведут куда-то не в мою камеру, а в противоположный конец коридора, где уже нет никаких окон. Какая-то дверь открылась, и

меня ввели в полную тьму.

Это был, конечно, карцер, или то, что должно быть им в этой под тюрьму приспособленной конюшне. Слабый свет шел только из глазка в двери. Постепенно глаза привыкли, и я увидел, что стою на бетонном полу в небольшом помещении с высокими сводчатыми потолками. В одну из стен вделана узкая доска, на которую можно только присесть, и расположена она очень высоко, так что ноги с трудом достают до пола. Видимо, остатки от кормушки для лошадей. Но что меня больше всего испугало, так это холод: уже через час я стал дрожать, меня привели сюда без бушлата, в тонком старом свитере. Мне вспомнилась камера в Петропавловской тюрьме, откуда выволокли меня за ноги в коридор. Выйду ли я на своих ногах отсюда? Отсчет времени начался. Стоять на полу совсем невозможно, сидеть тоже удается очень недолго, так как ноги болтаются и спина прижимается к ледяной стене. Шла вторая половина дня, это значит, что все они очень скоро разойдутся по домам. А что будет со мной?

Час, еще час, и еще один час. Больше не могу: руки и ноги стали деревянными. Буду ходить кругами, пока не упаду! То хожу кругами, то боксирую с темнотой.

Вдруг кормушка в двери отворилась. Лицо Сычева:

— Мы уходим. Ты как хочешь, здесь ночевать, или что-нибудь нам скажешь?

— Что я должен еще сказать?

— «Тройка Пик» была или нет?

— Я все сказал…

— Ну, тогда спокойной ночи.

Кормушка закрылась. Час, еще час, и еще один час. Все кругом затихло. «До утра я не доживу!»

Но я дожил! Ах, уж эти резервные силы молодого организма! Видения окружили меня. Я стал представлять себе, что я Руаль Амундсен и иду к Южному полюсу, таща за собой по снегу нагруженные вещами и продуктами сани. Цель уже близка, это появление светового пятна в дверном окошечке, обозначающем, что наступило утро. Изуродованные пальцы ног моих я опять перестал чувствовать. Двадцать кругов по камере, «двадцать миль», и потом небольшая передышка на доске и потом опять «двадцать миль»…

Вот он свет в окошечке, утро нового дня. Но я-то уже другой, я совсем другой: мне как-то уже ничего не страшно, за ночь я перешел ту грань, которая называется инстинктом самосохранения. Я даже заметил, что стал говорить сам с собой. Но вот окошко снова открылось:

— Доброе утро. Ты еще жив? Крепкий ты! — слышу я голос

Сычева.

Я молчу. Мне кажется, что его голос доносится откуда-то издалека, и он меня как-то уже и не волнует.

— Ну что, признаваться-то будем? Была «Тройка Пик»? Да или нет?

Я молчу, он мне безразличен. Меня здесь вообще нет. Это не я!

Окошечко закрылось! Это значит — опять к «Южному полюсу»? Нет, я уже дошел до него, теперь мне идти больше некуда. Я впервые сел на холодный бетонный пол и не почувствовал холода. Одна мысль: «Сейчас я куда-то улечу»… «Так я же ведь, наверное, умираю…». Не знаю почему, но я поднялся с пола, встал посреди камеры и вдруг стал громко, очень громко петь песню «Крейсер „Варяг“»:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступа-а-а-ет!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»…

Я не знаю всех слов, но все повторяю и повторяю этот куплет…

За моей спиной открывается дверь камеры. Но мне-то все это уже безразлично!

Вдруг я чувствую, что на меня кто-то выливает целое ведро ледяной воды, отчего я падаю на пол. Песня оборвалась… И потом, уже на лежащего — еще одно ведро воды… «Теперь конец, — мелькает во мне. — Мама, мамочка, где же ты?» И я, лежа, вытянулся, прижал руки по швам, как солдат.

Видимо, как говорили в советских фильмах, «я нужен был им живым». Кто и как меня вытащил из этой ледяной могилы, я не помнил. Очнулся я в какой-то другой камере, маленькой и довольно теплой. Кто-то положил меня на нары и укрыл моим же бушлатом. Но я весь насквозь мокрый. Начинаю, лежа, стаскивать с себя все мокрые вещи и остаюсь голым. Слышу, что глазок в двери скрипнул — кто-то наблюдает. Мне принесли кипяток, сахар и кусок хлеба. Ночью меня стало страшно знобить, а потом, под утро, я обливался потом. Так прошло дня три, меня никто никуда не вызывал. Я продолжал лежать на нарах, и жар все усиливался, появился кашель, странно, что и есть совсем не хотелось.

Наконец в камеру вошел все тот же казахский военный врач или фельдшер. Он, ничего не говоря, прослушал меня, и после этого два раза в день вместе с едой в окошечке появлялись какие-то еще таблетки, которые я должен тут же на глазах у дежурного

проглотить. Это, видимо, был сульфидин.

В один прекрасный день дверь камеры широко растворилась, и ввели небольшого человека в военной гимнастерке с узелком в руках. Это был, как он мне представился, старший лейтенант Александр Тараканов. Для меня началась новая жизнь, теперь у меня появился товарищ, с которым я мог говорить. Тараканов рассказал мне свою историю.

В боях под Старыми Луками он был ранен и оказался в плену. Затем его привезли в оккупированную Польшу в один из лагерей для военнопленных, из которого ему удалось бежать и даже перейти линию фронта. Но при допросе СМЕРШ ему не поверил, так как он не был сильно истощен и к тому же был прилично одет — «шпион». Доказать такое обвинение было нельзя, тогда его судили за «измену Родине» по статье УК 58— 1–6 и приговорили к 10 годам лагерей. Срок отбывал он в 11-й колонии около Кокчетава, но дело медленно расследовалось дальше и, наконец, его опять взяли под следствие, теперь как бы уже за шпионаж. Много мне он рассказывал и о войне, и о немецком плене, и эти беседы меня очень сблизили с ним. Мне стало легче — я был не один. Вопросов мне он никаких не задавал, так что о себе я ему рассказал очень кратко, и, конечно, только в рамках того, чего я держался на следствии. На допросы вызывали его каждый день, причем в одно и то же время — сразу же после обеда. Он мне пожаловался, что ему все время угрожают на следствии и что передачи, которые якобы приносит ему его подруга с воли, ему не выдают, требуют признаний. Все это вызывало к нему симпатию.

Однажды после его возвращения с допроса я заметил несколько маленьких белых хлебных крошек на краях его губ. Сомнений не было — его там подкармливали. И еще одно: если он из лагеря, да еще и из-под следствия, почему у него не острижены наголо волосы?

Меня же никуда не вызывали, ознобы и кашель продолжались. Я страшно исхудал и ослаб. Он заботился обо мне. Однажды он мне сказал, что у него сменили следователя, и этот новый разрешил ему свидание с подругой — я могу написать, и он передаст мое письмо на волю. Из осторожности я сказал, что писать мне некому, да и нечего. Он говорил мне, что как только мой кашель прекратится, допросы начнутся снова. Да это я и сам знал. Не зная совсем ничего о сути моего дела, он как-то странно мне советовал: «Ты держись, не давай им никаких шансов».

Утром нас выводили по очереди в туалет. Это было грязное помещение с бетонными стенами. Раковины низко, и когда моешься, необходимо сильно наклоняться. Однажды,

наклонившись, я вдруг заметил на стене надпись карандашом — этой надписи раньше не было — «ТАРАКАН» и рядом нарисована сидящая птица, что-то вроде утки. «Тараканов — наседка»[13], — быстро перевожу я и затираю эту надпись ботинком. Это, несомненно, Альберт. Пришел в себя! Но уже слишком поздно!

В камере я стал уже другими глазами смотреть на моего соседа. Объяснение крошкам на губах и волосам на голове нашлось. А что, если он тоже видел эту надпись? Тогда бы стер, наверное.

А нельзя ли использовать Тараканова против следствия? Мысль интересная.

Я как бы невзначай стал ему то и дело рассказывать о своей жизни в Кокчетаве и о знакомых, конечно. Рассказал, за что меня тут пытают, за какую-то «Тройку Пик», сами следователи, мол, придумали и довели Альберта до отчаяния, и он в этой выдумке признался. Но на суде-то он наверняка откажется от своих вынужденных показаний!

Через неделю Тараканова в моей камере не стало.

Снова потянулись дни. Согласно Процессуальному кодексу, следствие должно быть закончено за 60 дней, продление возможно лишь после разрешения прокурора. Конечно эти параграфы — чистая формальность, особенно если речь идет о следствии в КГБ. Но нужно учитывать и то, что Альберт сидит уже, по меньшей мере, два месяца. Во всяком случае они торопятся. Видимо, я теперь единственное препятствие для окончания следствия.

Пальцы ног моих за эти два месяца затянулись новой кожей, но ногти все еще не росли. Ознобы и кашель по вечерам стали реже, и, видимо, этого было достаточно для тюремных врачей, чтобы разрешить вести дальше следствие. И вот однажды послышалась знакомая команда: «Собраться без вещей», и я оказался в следственной комнате, где меня уже ждали Баймашев и Пирожков. При Пирожкове Баймашев старался показать особо мягкую дипломатию следователя: он обращался на «вы», не позволял никаких грубых слов и даже часто интересовался, не утомился ли я от допроса. В этот раз он мне поставил только один вопрос: «Какие антисоветские анекдоты вы слышали от Гены Авдеева?». На что, естественно, последовал мой ответ, что никаких анекдотов я не слышал. Видимо, он и ждал от меня именно этого ответа, так как моментально торжествующе заявил:

— Ну вот, тогда послушаем, что сам о себе расскажет Авдеев!

И через минуту в комнату ввели Гену и посадили на отдельный стул поближе к столу следователя. Вид Гены меня очень расстроил: на его старом пиджачке не было ни одной

пуговицы, на колене одной из брючин дырка, под пиджаком какой-то потрепанный свитер. Худое и бледное лицо его было сосредоточенно-серьезным, чего я раньше никогда не замечал, и лоб наморщен, как будто бы он был чем-то раздосадован. Он посмотрел на меня и, вероятно, мой вид потряс его, так как только после большой паузы он сочувственно кивнул мне.

Я стараюсь догадаться, арестован он или нет. И убеждаюсь, что нет, так как он пришел со свежей газетой и с хозяйственной сумочкой, в которой что-то лежало.

— Гражданин Авдеев, известно ли вам сидящее перед вами лицо?

— Да.

— Отвечайте: да, известно.

Молчание.

— Ну да ладно, как зовут сидящего перед вами человека?

После некоторой паузы:

— Вы же сами отлично знаете.

— Если вы будете препятствовать следствию, то мы составим протокол.

Снова пауза.

— Гражданин Авдеев, повторите еще раз, какие антисоветские анекдоты вы лично рассказывали сидящему перед вами лицу и какие от него слышали.

— Никаких не рассказывал и никаких не слышал!

Я слышу и ушам своим не верю. Вот это Гена! А Баймашев выпучил глаза и даже встал из-за стола.

— Гражданин Авдеев, за ложный отказ от своих собственных показаний вы будете привлечены к уголовной ответственности по статье 92 УК!

— Все эти показания из меня выбили!

— Пирожков! Уведите свидетеля!

Пирожков медленно поднимается с ироническим выражением лица. «Ну, пошли», — обращается он к Гене. Гена, проходя мимо меня, сует мне в руки свою сумочку.

— Никаких передач! — уже вопит Баймашев. — Пирожков! Уводите же его.

Пирожков берет Гену за плечи и мягко толкает к двери. В этот момент Гена достает из кармана еще большой белый бублик и старается бросить его мне, но так с этим бубликом его и выталкивают в дверь.

У меня прекрасное настроение — в нашей организации есть еще Люди!

На следующий день опять очная ставка, на этот раз с матерью Альберта. Когда ее ввели в кабинет, она была вся закутана в

шерстяной платок. Ее посадили так же, как и Гену, и я заметил, что она стала почти совсем седой. На меня она даже не посмотрела, как будто бы меня здесь и не было.

— Итак, повторите еще раз, как и когда происходили сборища «Тройки Пик» на вашей квартире, — вопрошает Баймашев.

Молчание. Она смотрит в окно остекленевшими глазами и продолжает молчать.

— Тогда повторите, какие слова вы слышали из комнаты собравшихся.

Снова молчание.

— Гражданка Асейко, должен вас предупредить: вы очень усугубляете положение вашего сына!

Видно, что Баймашев хорошо подготовился — он оперирует грамматически правильными русскими фразами. Но театра не получалось.

Мать не шелохнулась, и стало видно, как из ее широко раскрытых глаз, устремленных в окно, начали течь слезы.

— Подумайте, что вы сейчас делаете, вы препятствуете следствию!

И тут голова ее рухнула на колени. Она закрыла лицо руками и стала громко, истошно рыдать, затем просто вопить.

Минута, две, три… Рыдания только усиливаются. Баймашев в растерянности. Наконец он идет к двери и зовет дежурного, чтобы ее увели. Ее уводят, и тогда Баймашев, успокоившись, после паузы, бросает фразу:

— Больная женщина. Мать все-таки. Но она придет в себя.

После этих двух очных ставок мне стало ясно, что, видимо, других свидетелей у них нет, и от меня они не получили показаний, это значит, что нажим усилится. Но где же Юра, какая же мы «Тройка Пик» без него? Неужели ему удалось бесследно скрыться?

Несмотря на то, что я оставался все еще больным, на следствие меня продолжали таскать ежедневно. Снова началось: «Как сидишь?!», и крестец мой начал снова болеть.

Однажды вечером я услышал из соседней камеры плач и стоны женщины, они то стихали, то возникали вновь. Никаких слов, только стоны. По ним нельзя было понять, сколько лет этой женщине и кто она. Отчего стонут и плачут в КГБ, я уже знал, и поэтому сердце мое разрывалось. Плач почему-то начинался утром, но что меня больше удивляло, так это некоторая театральность этих стонов.

Как-то утром, перед тем как вызвать меня на допрос, я отчетливо слышу за дверьми голос Баймашева, он обращается к

разводящему сержанту:

— …смотри, только очень осторожно, чтобы он с матерью не встретился!

«С матерью!» — пронзило меня, с моей, значит, матерью, она здесь! Нет, не может быть, моя мать не плачет и тем более не рыдает. Я этого никогда в своей жизни не видел. Значит, это опять «театр», специально для меня!

На следствии в этот день Баймашев лукаво спрашивает, не соскучился ли я по своей маме? О да, я, конечно же, соскучился. А не хочу ли я повидаться с ней? О, конечно! Ну, тогда нужно хорошо сначала «поработать» на следствии!

Смех разбирает меня, но я этого не показываю. До чего же все-таки они идиоты!

Вернувшись в камеру, я обнаружил там еще одного человека, лежащего у противоположной стенки на нарах. Это был крупный рыжеволосый человек с довольно большим животом. По первым же его словам легко было понять, что он из волжских немцев. Начались беседы, из которых мне стало ясно, что он никакой «наседкой» быть не может, просто, видимо, тюрьма переполнилась. Зовут его Отто Ган, он из села Константиновка, где работал конюхом, под следствием сидит уже давно по статье 58–10, «антисоветская агитация и пропаганда». В чем могла заключаться у такого человека эта пропаганда, сказать было трудно, ничего подробно о себе он не рассказывал. Однажды его притащили с допроса в камеру под руки и посадили на нары, где, скорчившись, он долго продолжал оставаться неподвижным. Когда он, наконец, лег, я увидел, что все лицо его в синяках.

— Колотили?

Молчание.

— Ну что было-то?

После паузы:

— Да нет, это я сам упал в коридоре.

Как же запуганы эти несчастные люди! Ведь их НКВД/КГБ пугает уже десятки лет.

Однажды он спрашивает у меня, могут ли арестовать и его жену, если он не будет «помогать» следствию. «Они пугают тебя, не верь им, держись».

Как-то приходит он с допроса чем-то очень довольный. В руках мешочек с белым печеньем. Меня угощает. Передачу разрешили.

Не долго же продержался Отто Ган!

Ах, только маленькая серая мышка — моя подруга в камере. Совершенно в точное время, примерно через полчаса после обеда, когда звоны котлов в коридоре стихают, она появляется из

небольшой дырочки в углу. Становится на задние лапки и очень смешно шевелит усиками. Ждет своей порции. А порция уже припасена: это или кусочек мякиша хлеба или лапша из супа. Я кладу все это на обрывок газеты и несу в угол, она сразу же исчезает. Но как только я опять ложусь, она появляется и начинает обедать и, как правило, какую-то часть уносит с собой. «Для семьи», — предполагаю я.

Дни медленно текут. Чувство голода особенно мучает меня, когда ложусь, чтобы заснуть. Закрываю глаза и вижу кусок копченой свинины из моей передачи. Он издает предательски вкусный запах! Передачу же мне не выдают, а только время от времени показывают — кладут на соседний столик на допросе, чтобы я все это видел, и иногда спрашивают, когда же я «умным стану»? А я все умным не становлюсь. Отвечаю односложно и никаких протоколов не подписываю. У Пирожкова, который часто, как практикант, сидит сзади Баймашева, все время грустные глаза, и когда мы остаемся одни, он говорит мне что-нибудь от себя, например: «Все это ты бесполезно делаешь, только свою жизнь расходуешь, на суд это влияния не окажет». Я и сам это понимаю, но изменить себя и не могу, и не хочу. Лучше погибнуть, чем предать свою суть, капитулировать перед этими выродками. А чувствую я себя все слабее, когда утром встаю с нар, меня шатает, не могу сразу идти. Нажим на меня все усиливается, теперь я уже должен сидеть на каком-то полене, которое они кладут на стул, а оно врезается в меня за шесть часов сидения. И все время одни и те же вопросы о существовании «Тройки Пик». Видимо, на них тоже нажимают, чтобы кончали следствие.

Однажды после шестичасового допроса подходит ко мне Баймашев, глаза у него страшно злые, в руках какая-то бумажка.

— Вот возьми и читай громко!

Я ее сначала рассматриваю и убеждаюсь, что это наше предупреждающее письмо прокурору. Конечно, его вслух не читаю, молча передаю обратно.

— Читай вот эти два последние слова! — тычет Баймашев в строчку в конце текста. А там подпись: «Тройка Пик».

— Скажи эти два слова громко… Не скажешь? Сейчас я тебя поджарю, шашлык сделаю!

Я вижу, что он в истерике, так как чувствует, что следствие не движется и наступает конец его карьере.

И вдруг он берет железную кочергу, которой мешают уголь в печке, и сует ее прямо в пламя. Что-то дрогнуло во мне. Не сошел ли он с ума и готов натворить что угодно. Когда били, как-то было все ясно, а сейчас что-то новое.

— Ты враг! Ты враг советского народа! Тебя нужно к стенке поставить и без суда расстрелять! Это ты, ты создал подпольную террористическую группу! Ты идеолог и руководитель!

Снова хватает со стола бумагу, тычет мне в лицо:

— Будешь читать эти слова?! Будешь читать?! Будешь читать?!

Я и не заметил как, но только в его руке оказалась докрасна раскаленная кочерга!

Еще секунда, и я увидел что-то ярко-багровое совсем близко от своего правого глаза. Чувствую сильный жар и что есть силы откидываюсь назад.

— А-а, боишься! Глаз твой пропал, если ты не скажешь громко эти слова! А ну сядь на место!

Он толкает меня вместе со стулом к стене, так что голова моя оказывается прижатой, дальше отклоняться мне некуда. Мелькает в уме изображение того человека с выбитым глазом, которое мне Сычев показывал. Ужас охватывает меня: ведь они все могут, сволочи! А Баймашев в каком-то трансе:

— Будешь говорить? Будешь говорить?! Будешь говорить?!

Он размахивает раскаленным концом кочерги перед моим глазом, так что я чувствую ее жар, и кричит при этом все те же слова. Я замер, стиснул зубы и сильно сощурил глаза. Еще секунда, и вдруг что-то горячее и страшное коснулось моей кожи на нижнем веке! Нестерпимая боль. Пропал глаз! Я теряю контроль и начинаю вопить, и, видимо, очень страшным голосом, а ногой при этом пытаюсь оттолкнуть его от себя.

Вдруг замечаю, что его уже нет около меня. Я зажимаю обеими руками мои глаза и нагибаюсь к полу. «Глаза нет, глаза нет!» — мелькает в голове, и от этой мысли я опять начинаю истошно вопить. Падаю на пол. Слышу, как открылась дверь кабинета, кто-то вошел. Чувствую, как оттаскивают мои руки от лица. Я сопротивляюсь и перевертываюсь на живот, так как мне начинает казаться, что они хотят ослепить и второй мой глаз. В правом же глазу чувствую боль и вижу лишь яркий синий свет. В истерике я воплю еще громче и ничего не понимаю, что кругом происходит. Наконец, слышу над ухом какой-то чужой голос:

— Успокойся ты, ничего не произошло.

Меня сажают. Левым глазом вижу, что около меня стоит незнакомый сержант, видимо, из коридора. Баймашев же сидит за столом и как-то странно положил голову одной щекой на стол.

— Пошли в камеру. Пошли, пошли…

Я ощупываю свой глаз: что-то мокрое под глазом на нижнем веке — ожог. Но глаз цел, хотя видит все мутным вокруг.

— Давайте врача! — не успокаиваюсь я.

— Врачи уже ушли. Ну-ка покажи, что у тебя там, — тянется к моему глазу охранник. — Ну, небольшой ожог, — успокаивает он. — Чем это ты себе так угодил?

Дверь в камеру закрылась. Несколько часов я не могу прийти в себя, рана мокнет и болит, она в полусантиметре от зрачка, но глаз, хоть и плохо, но видит.

Утром пришел врач, ничего не спросив, смазал рану отвратительно пахнущей мазью. В этот день меня никуда не вызывали. Лишь к вечеру пришел я в себя и стал обдумывать, что я могу предпринять. Стало ясно, что у Баймашева это получилось случайно, и он сам до смерти напуган. Видимо, инструкция предусматривала только пугать, но не жечь. А раз так, то нужно атаковать их, гадов!

Я отказываюсь от завтрака, возвращаю хлеб, сахар и чай и прошу охранника принести карандаш и бумагу. Через несколько минут вместо бумаги в окошечке появляется лицо капитана Сычева. По лицу я вижу, что он тоже напуган.

— Зачем тебе бумага?

— Требую прокурора по надзору или я объявляю голодовку!

— Голодовка — это саботаж, за нее тебя к вышке приговорят!

Окошко закрывается.

Я отказываюсь от обеда. Лежу на нарах и обдумываю свои шансы: Баймашев может заявить, что это я схватил кочергу и бросился на него — свидетелей нет.

Меня никуда не вызывают, и я не принимаю пищу уже второй день. Становлюсь совсем слабым, голова при всяком движении кружится. Наконец, на третий день дверь камеры растворяется: «Собраться без вещей».

— На допрос я не пойду!

— Не на допрос, к прокурору!

За столом передо мной сидит стройная молодая девушка, лет двадцати пяти. Она в форме сотрудника юстиции и при погонах. Рядом со мной на стуле сидит «добрый» Пирожков.

— По какому поводу вы потребовали свидания с прокурором? Я заместитель областного прокурора по надзору, — говорит она ученическим голосом и смотрит при этом на свои руки, сложенные на столе.

Я рассказываю, что меня бьют, «жгут», угрожают. Требую медицинского освидетельствования и расследования. Она, не глядя на меня, что-то записывает.

— Кто может это подтвердить? — спрашивает она, и я по голосу слышу, что она сильно шокирована самим моим видом. Видимо, я выгляжу ужасно.

— Вот мои свидетели, — дотрагиваюсь я до раны под

глазом. — Мне хотели выжечь глаз, а до этого показывали фото человека с выжженным глазом.

— А какие свидетели могут все это подтвердить?

Мне ясно, что сговор со следователями уже произошел.

— Какие свидетели, гражданин прокурор, могут быть в кабинете у следователя? Я же содержусь под арестом.

— А почему вы не даете чистосердечных показаний?

— Я имею право давать любые показания, и пусть суд разберется, чистосердечные они или нет.

Наступила пауза. Было видно, что она совсем еще зеленая и попала в этот ад случайно. Видимо, была отличницей в институте, активной комсомолкой, папа — член партии, оказалась по особому набору прямо из института направлена в Областную прокуратуру и теперь должна все это наблюдать и как-то реагировать. Она и глупа, и, кажется, труслива. Прокурор!

Разговор окончен, мне предписано снять голодовку, а она расследует дело.

На следующее утро голодовку я снял: в первый раз за четыре дня позавтракал. «Неужели и теперь мне не отдадут передачу?» Нет, не отдают.

Лейтенант Баймашев исчез, куда его дели, непонятно. Допрос ведет какой-то совсем другой следователь. Он мне даже и не представляется. Но теперь уже Пирожков постоянно в кабинете. Видимо, прокурор предписала вести следствие при свидетелях. Как видно, новому следователю на все наплевать: я не его клиент. Я сижу, развалясь на широком стуле, хотя от слабости при каждом движении начинает кружиться голова, и я чуть не валюсь на пол. Следствие изменило тактику — «пробить» меня не удалось. Но что от меня осталось!

В руках у следователя увесистая пачка розоватой исписанной бумаги.

— Вот я вам сейчас тут кое-что почитаю. Юрия Александровича Федорова вы, конечно, хорошо знаете. (Это Юру-то!) Так вот, он дает по вашему делу (по моему делу, это значит, что он по этому делу не проходит!) показания. Если хотите, я вам их прочту, они очень подробные.

Я становлюсь терпеливым слушателем. А следователь читает безразличным голосом и лишь делает небольшие паузы, когда я восклицаю: «Ложь!». И читает дальше, как будто бы его мое дело совсем не касается. Юра не просто дал показания, но прибавил еще и много того, чего вообще не было. Все было написано так, будто бы он оказался случайным свидетелем создания группы «Тройка Пик» и ни в чем не принимал участия, а только наблюдал. Сообщать в «органы» он не мог, так как якобы Альберт

пригрозил ему пистолетом, а я приказал за ним следить! В конце он пишет: «Я всегда был преданным Родине, советским патриотом и честным комсомольцем, мой папа — старый член партии, при знакомстве с членами группы мне не было известно, что все они дети врагов народа».

Подлец, конечно, и к тому же еще и свинья! Но дело-то не в нем: как же я наивен был и не проницателен, доверяясь таким типам! Вот это-то и есть моя вина! По юридическим формулировкам было видно, что показания составлены при участии опытного защитника. Это значит, что он на воле и пытается перевалить все на нас, даже и то, чего не было.

Закончив свое длинное чтение, следователь встал и стал ходить по кабинету, как будто чем-то возмутившись.

— Ясно, что врет и сваливает на вас двоих.

«Так, значит, „двоих“ — Гена только свидетель, ему пятнадцать лет», — быстро соображаю я.

— А почему бы вам не сесть и не опровергнуть всю его ложь? Сядьте и напишите все по порядку, — закончил он.

Пауза. Я обдумываю ситуацию. Это, конечно, новый хитрый ход следствия! По мере того, как я буду опровергать Юрины показания, я должен буду писать, как же это на самом деле все было. Это-то и будут мои показания. Что же делать? Сейчас нужно выиграть время: я погибаю, слабея с каждым днем, я не доживу до суда! А разве обязательно нужно до него дожить? Что такое советский суд, я знал. Но, может быть, просто выиграть время?

— Хорошо! Дайте мне бумагу, и я письменно отвечу на эти показания.

Следователь, а за ним и Пирожков даже встали от удивления или восторга.

— Ну, конечно же, дорогой, вы должны себя защитить, кто же, как не вы? Вы можете садиться и писать и здесь, в кабинете, или в камере. Даже меня тут не будет, только с дежурным будете, и обед сюда приносить вам будут…

Слушая, я думаю: «Обед — украинский борщ со свининой! Вот такими-то борщами, наверно, и купили Альберта!».

— А еще я прошу выдать мне, наконец, мою передачу, в таком состоянии я не могу ничего писать.

— А что, вам была передача? Сейчас же выясню, и вам все будет выдано.

В камере меня стали одолевать тяжелые мысли. Собственно, кого еще, кроме себя, мне осталось защищать? Если я опровергну ту часть Юриных показаний, где он действительно врет, то тем самым как бы признаю всю оставшуюся часть. Если же я начну

опровергать все его показания, то в ярости они доведут меня до «естественной смерти», ведь воспаление легких у меня не закончено, я продолжаю обливаться потом по ночам, кашлять и худеть. На что решиться, может быть, лучше просто никак до суда не реагировать и отсиживать свои шесть часов в день на стуле, тем более что бить пока перестали. Но какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что затяжка времени спасет меня: их лимит времени уже исчерпан — они не могут больше тянуть. Итак, писать и отрицать все при этом! Я понимаю, что если я буду им показывать ежедневно написанное мною, то это будет длиться не более трех дней, они всю эту канитель остановят. Значит, я должен писать и им до окончания не показывать!

На следующий день в кабинете уже стоит маленький столик для меня, а на нем аккуратно сложенная пачка бумаги и три ручки. Выбирай любую, только пиши и пиши. Я удобно усаживаюсь. Что же я могу написать? Ах, вот что! Начну-ка с биографии моих родителей, опишу-ка я жизнь своего папы, какой он был умный и хороший. Важно, чтобы время шло. И стал я писать как бы классное сочинение: «Мои родители родились в городе Петербурге, впоследствии переименованном в Ленинград…». К обеду уже накатал четыре страницы, уже мой папа открыл залежи нефти на Камчатке, а мама героически участвовала в обороне Ленинграда, как вдруг приносят обед и ставят прямо на мой стол. Это был не борщ, а кислые щи, да еще с мясом. А тут и новый следователь подоспел: нет ли каких-нибудь специальных желаний? И мне на стол сверточек небольшой кладет: «Это из вашей передачи. Врачи разрешили только понемногу каждый день выдавать, вам нельзя такое сразу есть». Вот это забота о человеке! Раскрываю сверточек, а там белые сухари и немного сала ломтиками. «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!» И дальше пишу о том, как мне удалось так хорошо в школе учиться, что я два класса за один год окончил…

В конце своего «рабочего дня» слышу:

— А вы разве нам уже написанное сегодня не передадите?

— Ну, что вы, это все еще в камере дорабатывать надо. — И я унес все с собой.

Прошло еще два дня. Ох, и вкусные же обеды пошли! И из передачи конфеты и печенье. Пишу и пишу — о том, как познакомился с Альбертом через Юру, какая у него прекрасная библиотека, как было с ним приятно о Платоне и Аристотеле поговорить. Странно, что Юра в своих показаниях пишет об «антисоветских разговорах и анекдотах» в доме Альберта, да еще о создании тайной организации. Вероятно, к нему были

применены те самые «активные методы следствия», о которых мне хвастался следователь Сычев. По себе знаю, что выдержать их могут не все. Только этим можно объяснить такой наговор на себя и всех остальных. И здесь я начинаю подробно перечислять, что они со мной творили на следствии: и били, и водой обливали на морозе, и глаз чуть не выжгли. В конце дня опять:

— Да что же вы нам так ничего и не покажете?

— Это все нужно еще обдумывать и дорабатывать, любая ошибка может ложно оклеветать людей.

Пошел четвертый день! Сколько дней я еще могу продержаться на этой писанине? Пишу, а самому все страшнее становится, ведь если только прочтут — убьют. На пятый день я немного уже окреп, откормился. Да и темы все мои уже исчерпаны. Господи, как же я им все это теперь передам! И тут мне пришла в голову одна спасительная мысль: а что если передать это все прокурору, будто бы я боюсь, что после моих показаний и разоблачений следователи уничтожат эти документы, так как они не соответствуют их целям. Прошу прокурорской защиты.

На следующий день я пришел и заявил, что показания все готовы, но передать их смогу только через прокурора! Следователь остолбенел: «Почему?!».

— Потому что до вашего прихода расследование вели не следователи, а криминальные элементы, которые тут окопались в органах! Я требую переследствия!

— ???

Удивительно, но я, кажется, попал в самую точку! Я и раньше знал, что в «органах» идет страшная борьба за чины и места. Мой старший лейтенант подсел ко мне, понизил голос и дружелюбным, но заговорщическим тоном спросил меня:

— У вас есть данные?

— Конечно! — и я просто показал на мой шрам под глазом. — Они пытали меня раскаленным железом. Было обследование врачей, они подтвердят.

— Прокурор завтра встретится с вами! Готовы ли вы? — и тут старший лейтенант перешел на шепот. — Готовы ли вы подтвердить все это следственной комиссии КГБ из Алма-Аты?

— Ну, разумеется…

— Тогда сейчас никому, вы слышите, никому об этом ни слова!

«Заговор» против Сычева и Баймашева рос, как на дрожжах. На следующий день в кабинете следователя уже сидел посторонний мужчина.

— Я заместитель областного прокурора по особо важным

делам.

Я немедленно передал ему все свои бумаги и сказал, что верю в справедливость прокурорского надзора. По торжествующему взгляду следователя я понял, что машина заработала.

Как это ни странно, но меня перестали куда-либо вызывать. Уже пять дней я лежу на нарах в камере, куда мне принесли остатки от моей передачи. Я явно шел на поправку, мой молодой организм крепчал. Единственно, что меня пугало, так это то, что меня могут отослать на переследствие в Алма-Ату и там вся «прокрутка» начнется сначала: «органы не могут быть не правы», это я твердо знал.

Ни Сычева, ни Баймашева я больше так и не видел. Неужели же они теперь подследственные, а я свидетель — роли поменялись? Ах, нет, таких чудес в советской следственной системе не бывает.

И вот однажды дверь моей камеры открылась, и меня повели по коридору совсем в необычном направлении. Вводят в уже знакомый мне кабинет начальника Управления. Вижу сидящего за столом нового следователя. Он по-новому подстрижен и одет не в гимнастерку, а в новый синий френч, который по чину могут носить, лишь начиная с капитана. Он встает, приглашает меня сесть. Здесь я замечаю, что за большим горшком с цветами сидит Сычев. Глаза у него отекшие, на лице кислое и брезгливое выражение глубоко обиженного человека. Сидит как побитый.

— Ну вот, могу вас поздравить, — обращается ко мне новый следователь. — Следствие ваше закончено. Вот тут все ваше дело, — и показывает мне увесистую папку. — Если желаете, то можете с ним вкратце ознакомиться, а потом подписать вот здесь 206-ю статью, об окончании следствия. Если будут замечания, сразу же занесем их в протокол.

Наконец-то я дополз до этого самого конца, живым дополз! Чисто для формальности и из некоторого любопытства я взял эту папку и начал рассматривать. Сразу же почувствовал, что такую вольность тут не все себе позволяют. Следователь, видимо, думал, что я не буду этим заниматься. Однако перелистывание этих страничек порадовало меня — почти нигде на протоколах не было моих подписей. В папку были вшиты показания Альберта на очной ставке, Юрины розовые странички, моя писанина, а также разные документы: образцы листовок, показания матери Альберта, справка из пожарной команды о пожаре в театре и в доме у прокурора и т. д. — словом пищи для суда достаточно. Я подписал 206-ю.

Неожиданно вошел в комнату и сам начальник, майор

Тенуянц. Он был торжественно вежлив со мной.

— Ну, что, поздравляю с окончанием! — и затем к следователю: — А чистую рубашечку и пиджачок вы для него найдите.

И потом опять ко мне вполголоса, как бы доверительно:

— Вы молодец, нам во многом помогли у себя разобраться.

И еще после паузы:

— Теперь уже дело за судом, он должен выяснить истину!

А у меня в голове мелькает строка из Н. А. Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит!».

Сычев так и продолжал сидеть за цветком. Уже в камере я понял, что он уже снят, наверное, и Баймашева тоже снимут.

А Тенуянц, по всему видно, вовремя сумел вывернуться, примкнуть к победителям. А победил-то, конечно, «новый», он теперь начальник следственного отдела.

«А ведь в „органах“ действительно не просто работать!» — подумал я.

Суд идет — прошу всех встать!

Какие сны видят люди в ночь перед судом? Я, например, никаких снов в эту ночь не видел. Суд меня не пугал, он был как бы освобождением от ада следствия. При этом я знал, что советский политический суд — чистая формальность. Следователь Сычев как-то объяснил мне: «Приговор выносим мы — судьи лишь его подписывают». Точнее не скажешь.

Я много читал о политических процессах XIX века, речи выдающихся адвокатов Плевако, Скабичевского, Афанасьева восхищали меня. Особое впечатление произвел процесс Веры Засулич, когда, несмотря на ее выстрел в царского сановника, русский суд присяжных вынес оправдательный приговор. Понятно, что все это было тогда, а сегодня это не имеет никакого отношения к советскому суду. О нем я знал лишь по рассказам бывших узников, которых на свободе можно было встретить очень редко, или по таким книгам, как «Протоколы процесса по делу правого троцкистско-бухаринского блока». Эту книгу я как-то случайно обнаружил в местной библиотеке и прочел от корки до корки. Этот процесс был большим театральным представлением для иностранной прессы, миру хотели доказать, что и в Советском Союзе происходит объективное и независимое судебное расследование. Главным государственным обвинителем на нем был Вышинский: ренегат из бывших русских присяжных поверенных, одна из самых омерзительных фигур советской номенклатуры. Вслед за кровавыми судьями Французской

Революции 1789 года он был создателем так называемого советского классового правосудия, по которому самооговор обвиняемого принимается судом как важнейшее и достаточное для обвинения свидетельское показание. Таким образом, следователям КГБ достаточно было с помощью «активных методов» добиться от своей жертвы подписи под обвинительным протоколом, и для суда этого оказывалось достаточно, чтобы вынести суровый приговор.

Майор Тенуянц как-то мне заявил, что гражданский суд для меня есть еще большая милость, так как такие дела, как наше, рассматриваются обычно военным трибуналом или вообще заочно и без свидетелей Особым совещанием при Верховном Суде СССР. Нас же собиралась судить выездная сессия Областного Суда Кокчетавской области Казахской ССР. Почему это еще «выездная»? Дело в том, что суд должен был быть закрытым, то есть проходить в тайне от народа. Обеспечить эту тайну в здании самого суда было, вероятно, трудно, поэтому суд «выехал» из своего помещения метров на двести в сторону, в здание Главного Управления КГБ. Да уж лучше бы сами следователи под председательством Тенуянца и судили, чем устраивать эту комедию!

Но все-таки само слово «суд» на меня как-то влияло. Теперь это был мой суд! Хватит читать и рассуждать о судах: «Здесь Родос — здесь прыгай!». Можно, конечно, было этот суд использовать как агитационную трибуну для разоблачения советского режима, стать как бы советским Петром Алексеевым. Но это совсем бессмысленно: закрытый суд — это маленький спектакль для своих людей, и моя речь стала бы важнейшей уликой обвинения и только. Но тогда какую же вообще роль я играю в этом процессе? Конечно, никакой, я статист. Так, может быть, бойкотировать этот суд, как я бойкотировал следствие? Притащат меня тогда туда, конечно, силой, но я могу сесть и молчать.

Вскоре размышления мои были нарушены. Дверь в камеру отворилась, и чья-то рука передала мне какую-то белую рубашку и потертый пиджачок. Майор Тенуянц оказался человеком слова, хотя, как я догадывался, вовсе не из чувства гуманности: это был мой театральный наряд для комедии суда, в которой мне отведена роль клоуна. Ничего не оставалось делать, как принять эти правила игры.

Морозное, но солнечное зимнее утро 23 февраля. Моя «дорога на эшафот» была очень короткой, всего в один коридор, соединявший здание тюрьмы со зданием Главного Управления КГБ. Я ждал, что увижу нечто подобное залу для судебных

заседаний, но ошибся: это была просто большая комната в два окна, совсем неподалеку от кабинета Тенуянца. Было заметно, что в нее принесли из других кабинетов много стульев и столов, один из которых застелили красной материей, поставили для чего-то горшки с цветами и в угол комнаты все тот же фикус. «Кабаре!» — мелькнуло у меня. Но что они забыли сделать, так это снять большой портрет Железного Феликса. Он как бы показывал, что судят тут не судьи, а все тот же КГБ.

Когда меня ввели, в зале уже сидела «публика»: следователи из других отделов, охранники и еще какие-то в штатском, в общем, человек двадцать. Скамьей подсудимых были два стула, для меня и для Альберта, расставленные почему-то далеко друг от друга — видимо, для того, чтобы я его не мог во время суда задушить своими руками. Справа от главного стола располагался стол для обвинителя, слева для защиты, в центре столик для секретаря-машинистки. Все, кроме судей и Альберта, были уже на своих местах. Я заметил в самом углу, вдалеке, Сычева, Баймашева и Пирожкова, главный же режиссер, майор Тенуянц, почему-то отсутствовал. Через минуту ввели и Альберта. Он был все в той же военной гимнастерке и с волосами на голове, лицо его выражало что-то среднее между смущением и удовлетворенностью, меня он сначала не заметил. Неожиданно ко мне подсел еще какой-то человек, долговязый, с худым и бледным лицом: «Мултабаев, — тихо, с еле заметной ухмылкой, как будто извиняясь, произнес он. — Ваш защитник». Боже мой, еще и защитник! «Доверяете вы мне поддерживать вашу защиту на суде? С делом я ознакомлен». — «Ну да, конечно!» И он отсел.

Вдруг прозвучал колокольчик (и его тоже припасли!), и секретарша писклявым голосом тихо произнесла: «Суд идет, прошу всех встать!». И в этот момент из боковой двери вышли три человека, двое мужчин и одна женщина. Первый из вошедших мне показался совсем стариком, это был главный судья Боянов, казах или татарин по национальности. Лицо его было все в морщинах и совершенно безучастное. Одетый в синюю суконную гимнастерку, какие носили партийные работники в провинциях, шел он, несколько согнувшись. После долгого усаживания в центре красного стола достал он, наконец, из портфеля увесистые папки наших дел и тут же поспешно стал листать их, будто бы что-то отыскивая. Справа от него заняла место женщина: было видно, что чувствует она себя не совсем удобно, да и в руках у нее никаких бумаг нет. Слева — довольно молодой мужчина, как потом оказалось, начальник почты. Воцарилась тишина. Скрипучим и тихим голосом на чистом русском языке судья стал говорить, все время поглядывая в бумагу: «Выездная сессия

Областного Суда под председательством Боянова, и народных заседателей…».

Машина заработала.

— Будут ли отводы суду? Да уж какие отводы — крути быстрее! Некоторое время я с интересом вслушивался в то, что говорилось на суде, но потом внимание мое стало рассеиваться, и я то и дело уходил в свои мысли. Это только в романах и в кинофильмах судьбоносные события происходят на каком-либо драматическом фоне, в жизни же все это просто и обыденно. Вот эти собравшиеся здесь, под портретом Дзержинского, люди, исполняющие роль судей, должны нас осудить на много лет лагерей. Понимают ли они, что они делают? Нет, конечно. Можно было заметить, что для них все это привычное дело. Они время от времени поглядывают на часы, видимо, поскорее хотят уйти домой, где, вероятно, их ждут уже к ужину их жены или мужья и дети, и процедура суда для них просто работа.

Чтение обвинительного заключения, составленного следователями, закончено.

Начинаются допросы обвиняемых. Альберт, конечно, признает себя виновным. Как хорошо заученный и уже, наверное, надоевший урок, он подтверждает все вопросы судьи и не только говорит «да» или «нет», но еще и старательно повторяет текст вопроса в обратном порядке: «Да, мы организовали подпольную антисоветскую группу „Тройка Пик“, которая ставила своей целью…». Было видно, что он уже много раз прежде это все повторял и сейчас его уже не волнует, что собственно он говорит. Тяжелейшей уликой против него был найденный во время неожиданного обыска пистолет, который он так и пожалел закопать в землю, а держал при себе в доме. Видимо, с этого пистолета-то все и началось: его просто выследили. Нина оказалась вообще ни при чем, она в следствии не участвовала. Мать Альберта, хотя и сидела в зале как свидетельница, но ей вопросы не задавали, а просто прочли ее показания: «Видела случайно… слышала случайно…». Бедная мать, как же это, видимо, страшно — убивать своего родного сына!

Затем зачитали выдержки из показаний Юры Федорова, так называемые розовые бумажки. Они были присланы из Ленинградского КГБ, в них Юра представлен как случайный свидетель, но не соучастник. Видимо, эти бумажки и были той самой откупной данью — он оставался на свободе. Гену на суде также ни о чем не спрашивали, хотя он сидел тут же в зале, но не как обвиняемый — ведь он имел те самые спасительные пятнадцать лет.

Наконец принялись за меня, а у меня никакой тактики и не

заготовлено.

— Признаете ли вы себя виновным?

— Нет.

Я не врал, я действительно считал, что перед своим народом, находящимся в руках советского террористического режима, я не виновен. Виновны те, кто создал эту систему. Я — не арестованный и обвиняемый, а «военнопленный». И это не суд, а расправа, перелицованная в комедию суда.

— Почему вы отрицали на следствии ваше участие в группе «Тройка Пик», когда следствием собраны неопровержимые улики против вас?

— Улики состоят лишь из показаний обвиняемого Асейко…

— Не только, — перебивает меня судья, — но и из собственноручных показаний свидетеля Федорова!

— Свидетеля Федорова на суде нет, и я не доверяю подлинности этих показаний!

Кусаться так кусаться.

— Вами был составлен текст вот этих здесь лежащих листовок, подтверждаете ли вы это? — задавая вопросы, судья как-то странно пощелкивает во рту языком, как бы прочищая зубы. Видимо, это застарелая его привычка от употребления «насса»[14].

— Нет, не подтверждаю!

— Известно ли вам, что вашим отказом от чистосердечного признания своей вины вы ужесточаете решение суда по вашему делу?

— Я прошу суд принимать мои показания такими, как они есть, и не делать до окончания процесса заключений об их якобы неискренности.

Последовало еще несколько подобных вопросов, и наступила тишина.

— Какие вы хотите сделать дополнения к судебному следствию? — прозвучала дежурная фраза. И тут я нашелся:

— Прошу суд учесть, что в процессе следствия в «органах» я был подвергнут жестоким пыткам, противоречащим статьям советского Процессуального кодекса, поэтому я требую расследования этого должностного преступления. Кроме того, я предполагаю, что показания обвиняемого Асейко были вырваны у него подобными же пытками, и требую нового расследования всего дела.

Наступила опять пауза, но, как видно, для судьи мое заявление не было шокирующей новостью, это был старый степной волк, давно верой и правдой служивший советской власти.

— Суд учтет ваше заявление.

Поднимается прокурор. По лицу его можно было заметить только одно — что пьет он безбожно: оно было красным, с отеками под глазами, и ничего, кроме желания прочесть без запинки написанный на бумажке текст, не выражало. Видно было, что этот маленький и полный человечек — демобилизованный военный, даже свои орденские колодки он надел перед заседанием на свой ведомственный френч, видимо, полагая, что без них он утратит свою значительность. Хриплым голосом он принялся читать, заметно было, что читал он этот текст до заседания не более одного раза, так как шел он у него плохо. На слове «конспиративной», он запнулся: «конс-кера…», «конс-тера…», но, наконец, одолел. И вот финал: он просит у суда «высшей меры» для вооруженного члена антисоветской группы Асейко, десять лет лагерей строгого режима для меня как для «идеолога» и направления в специальный интернат на перевоспитание для Гены Авдеева.

И вот дается слово защите. У Альберта, как видно, свой нанятый защитник. Он долго читает по бумажке, я как-то не вслушиваюсь в это монотонное чтение и замечаю, что, и судьи его тоже не слушают — они оживленно переговариваются между собой. Наконец, очередь доходит и до моего государственного защитника. Он вяло встает, на бледном лице его извинительная улыбка. Я приготавливаюсь внимательно слушать.

— Граждане судьи, я, конечно, присоединяюсь к благородному гневу государственного обвинителя, но прошу учесть молодость моего подзащитного…

Смысл слов дошел до меня, я не выдержал и завопил:

— У меня заявление к суду!

Этот мой выкрик сразу разбудил всех, уже задремавших в зале и за судейским столом. Заскрипели стулья, все глаза с какой-то опаской устремились на меня, как будто бы я сейчас брошу в них бомбу. Судья делает знак защитнику, и я продолжаю:

— От такой защиты я отказываюсь и буду вести защиту сам.

Все-таки чтение этих самых книжек о процессах кое-чему меня научило, я даже сам удивился своей прыти. Я почувствовал себя легко и свободно, как будто сбросил свой шутовской наряд и больше в комедии не участвую.

Все трое судей, как заговорщики, придвинулись друг к другу, и после перешептывания:

— Суд принял ваше заявление. Что вы можете сказать в свою защиту?

— Я могу сказать, что после сделанного мною заявления о примененных ко мне пытках считаю, что судебный процесс

должен быть прекращен!

Снова шепчутся.

— Вы ничего не хотите к этому добавить?

— Нет, этого достаточно.

— Тогда прения сторон продолжаются.

Оказывается, это были «прения сторон»! Хотя эта часть спектакля явно не удалась.

Я посмотрел на стенные часы — от начала процесса прошел только час.

— Обвиняемый Асейко, вам предоставляется последнее слово.

Альберт поднялся. Лицо его выглядело, как маска. Он начал совсем тихо и невнятно, я понимал только некоторые фразы из того, что он говорит:

— … я прошу предоставить мне возможность своей кровью искупить свои преступные действия и послать меня на фронт Отечественной войны…

Да, его все-таки окончательно сломали! Лишь потом мне стало известно, что после ареста ему сразу же стало понятно, что за кражу пистолета он так или иначе будет строго осужден, а тут еще ему стали то выдавать мамины передачи, то запрещать. Наконец, он рухнул, что-то признал. Тогда ему разрешили получать передачи от матери, оставили даже прическу и содержали в теплой комнате. Тут-то он весь вывернулся наизнанку. Это был «халиф на час».

Подняли и меня для последнего слова, а я ничего для этого не подготовил. Стою, молчу, наступила пауза, и я вижу, что все от меня чего-то ждут.

— Я немедленно подам жалобу в Верховный Суд! — умнее я ничего не мог придумать. Мне стало вдруг стыдно своих слов: ведь я как бы признал этот Верховный Суд как орган справедливости. Сел, а в голове: «Как низко и как все глупо!». Слышу, как объявляют, что суд удаляется на совещание. Это совещание происходило в соседней маленькой комнате, где обычно сидели машинистки. Ждать пришлось не очень долго — о чем совещаться, когда сценарий уже написан заранее. Буквально через пять минут все трое судей появляются снова в зале. Теперь уже все встают, приближается «оркестровая кода», приговор:

— Именем Казахской Советской Социалистической Республики…

Альберт получил по трем статьям, включая еще и статью за кражу оружия, десять лет лагерей строгого режима с пятью годами поражения в гражданских правах. Несмотря на мои бойкоты следствию и суду, меня приговорили только к восьми

годам лагерей строгого режима, без поражения в правах. Однако КГБ не забывает своих личных врагов: в моем лагерном деле были сделаны особые пометки, указывающие, что я остался «не разоружившимся врагом», что послужило основанием последние четыре года содержать меня в специальных лагерях, где были сконцентрированы особо опасные политические заключенные.

Уже через день меня опять с вещами повели по морозу на пересылочный пункт заключенных в Кокчетаве. Это была 11-я исправительно-трудовая колония — деревянные, довольно просторные бараки, сохранившиеся еще от каторжной тюрьмы царского времени. Примерно пять сотен заключенных должны были пилить лед на замерзшем озере и транспортировать его на склады городских холодильников, а летом сажать картофель и овощи. Встреча с людьми обрадовала меня, пошли разговоры, расспросы. Тут я впервые услышал, что меня величают «контриком», кличкой, введенной ЧК еще с двадцатых годов. Прежде всего я написал письмо маме, где радостно сообщил ей, что следствие закончено и я остался жив. Затем составил кассационную жалобу в Верховный Суд Казахской ССР, о которой я заявил на суде. Конечно, как потом оказалось, она была отклонена. Я знал, что эта исправительно-трудовая колония предназначена для местных заключенных с короткими сроками и я в ней лишь случайный гость, меня ждет другая страна: «Архипелаг ГУЛАГ» — лагеря строго режима.

Уже в конце первого дня меня вызвали на медицинский осмотр. В пылу битвы со следователями я и не замечал, что я совсем еще больной. Здесь, когда напряжение спало, я вдруг почувствовал, что еле волочу ноги: у меня беспрерывный кашель, озноб и постоянные боли в ногах. Меня обследовала пожилая женщина-доктор с выразительно-добрыми глазами. Были обнаружены двустороннее воспаление легких и септические поражения пальцев ног, после чего я оказался в больничной палате, на мягком и удобном матраце. Врач принесла лекарства, села рядом, положила мне ладонь на лоб и стала расспрашивать. Впервые я почувствовал человеческое тепло и участие, вспомнил маму, а она далеко-далеко… Мне стало страшно жалко себя, я не смог сдержать слез и стал рыдать, как ребенок, а врач все гладила меня по голове и молчала…

Часть вторая. Повесть об остановившемся времени

«Приказано выжить!»

Тачка не хотела слушаться, она то и дело соскакивала с деревянных мостков, и колесо утопало в мокрой и вязкой глинистой жиже. Поднять ее одному вновь на мостки совершенно невозможно: нужно сначала весь драгоценный грунт выбрасывать, тащить ее к соседним мосткам и потом гнать назад пустую к забою.

В этот день забой нам на двоих дали на новом участке. Бригадир отмерил квадрат два метра на два и крикнул плотнику, чтобы проложил мостки от главной магистрали. Всегда трудно начинать с поверхности, грунт в начале марта еще на полметра остается промерзшим, так что сначала мы с напарником должны вырубать его киркой по сантиметру, чтобы дойти до мягкого слоя. Да и тот-то не мягкий, это мертвая глина, ее штыковой лопатой сразу не возьмешь, нужно опять киркой. А норма — четыре кубометра на двоих: раздолбить, погрузить на тачку и отвести на 300 метров по мосткам до сброса в тело плотины. Ну, как тут эту норму выполнишь? А если не выполнишь, то дадут тебе не 650 граммов хлеба, а только 550, не дотянешь до 50 % нормы, то только 450, ну, а если еще меньше, то составят акт об отказе, и тогда загремишь ты в карцер на три дня, на 200 граммов хлеба с водой. Это, считай, конец: оттуда не выходят, выползают.

Хорошо, если попадется участок не на глине, а на прибрежном песчаном гравии, тогда только накидывай его подгребной лопатой и вози. Да так уж эти нормы хитро рассчитаны, что стоит только вначале дня замешкаться, как выполнить ее станет уже невозможно. Мы, конечно, с напарником все время меняемся: то я стою в забое и набрасываю грунт в тачку, а он отвозит, то он через три-четыре возки переходит в забой. Только сами тачки сколачивают тут на участке из мокрых досок, так что весит она, подлая, более 50 килограммов, даже пустую-то ее еле катишь, а иногда так и она тебя на спусках катит и норовит все в сторону, в мокрую глину. А уж если везешь ее полную, да еще по узкому участку тела плотины, где мостки проходят вдоль крутых отвалов к реке, круча метров пятьдесят, так и вообще дух захватывает, а что, если туда потащит… Мы уже один раз видели, как там, далеко вниз по течению, трупы из воды баграми доставали. Спасать-то никого не торопятся, да и на

стремнине реки это невозможно. Считай, что не повезло.

В первую неделю я совсем упал духом. Хотя я считал себя выносливым, тренированным парнем, боксером, но здесь мне показалось, что бригадир просто шутит. Этот мерзлый грунт невозможно разбить, да еще отвезти черт знает куда, да по четыре куба в день и так каждый день…

Наш этап в 200 человек прибыл сюда, в это Котурское отделение, прямо с пересыльного пункта, с Карабаса, и сразу же без всякого карантина был брошен на восстановление плотины. Слава Богу, что нормы с нас первую неделю не требовали, а хлебный паек по 650 граммов выдавали. Но пришел день, когда эта привилегия кончилась, и сразу норма выработки стала нашим врагом, тираном. Хорошо еще, что у меня сохранились те кирзовые ботинки, что мне блатные в Свердловской пересылке подкинули, а то пришлось бы бегать в тех, которые тут всем выдают, на деревянной подошве. Поэтому свои кирзовые я спасал, как мог, чтобы не украли: спал на них, как на подушке, покрыв мешком, и в сушилку никогда не сдавал. Не дай Бог, в этих деревянных: не гнутся, скользят и стучат, окаянные, на деревянных мостках, так что по всему участку разносится: «так-так-так-так…». И носки из ваты, те, что выдавали, я не взял, они, как намокнут, в глину превращаются, а как в просушку отдашь, то и вообще в кусок древесины. Хорошо, я портянки свои сберег, они на ноге сидят легко, и сушить их проще.

В этот день еще до перерыва удалось нам углубиться в забое более чем на полметра: неужели норму сможем выполнить?! Пищу привозят прямо на стройку, ставят котлы под открытым небом и разливают в глиняные миски. Сегодня жидкий суп из пшена и кусок соленой рыбы, так называемый балхашский сазан, с кашей. Пайку хлеба выдают утром на весь день.

Посидели мы на бревне минут двадцать, дождь не перестает, и еще ветер усилился; чувствую, что в плечах начинаю промокать, а тут и снова забили по висящей рельсе, все потянулись к забоям.

Огромная территория близ реки окружена конвоем, который мокнет в своих плащах, не спасают и зонтики на шестах из камыша: житье у них тоже не сладкое. Куда ни бросишь взгляд, всюду видны головы людей из забоев, их тут около двух тысяч, а над ними по лабиринту деревянных мостков бегут тачки, все туда, туда, к створу размытой плотины.

Как я ни берег свои руки, подкладывая в брезентовые рукавицы разные куски тряпок, на третий день появились красные пятна. Я уже знаю, что это — пузыри будут. Если они загноятся, то я пропал, а освобождения от работы все равно не получишь. Иду на последнюю жертву, разрываю свой старенький

шарфик и обматываю им руки — может быть, спасу.

Где-то надо найти силы, чтобы еще углубиться на полметра и вывезти грунт. Начал возить я, а напарник мой долбит и набрасывает. Интересные звуки издает колесо тачки: когда ее пустую тащишь — угрожающий бас, а обратно, порожнюю, — баритон. Как дотяну до съема? Ведь когда по магистральным мосткам везешь ее, то нужно бежать. Все время подгоняют за спиной другие: «пошел, пошел же!» — и матом, и матом. Я уже два раза падал с мостков в жидкую глину, ботинки стали мокрыми. Мой напарник недоволен, сидит курит в забое: «Где был-то?! Давай становись набрасывать, я повезу». Но я и бросать грунт-то уже быстро не могу. Сил нет.

Наконец, и ночную смену ведут, значит скоро съем, конец работы. Подошли к забою бригадир с учетчиком — старые лагерные волки, с малыми сроками, ходят уже без конвоя — не то, что мы, за тройной проволокой в бараке. Всматриваются в нас, в новичков, что с нас спросить можно, потом измеряют забой. В нем еще на один штык лопаты углубиться осталось.

— Ладно, ребята, записываем сто, завтра тут еще подчистите.

Стемнело. На наши места пришли другие бригады, факелы и прожектора уже загорелись. Нас строят по пятеркам в ряд. До зоны два километра.

— Колонна, внимание! — орет сержант, начальник конвоя. — При невыполнении законных требований конвоя конвой применяет оружие без предупреждения! Взять руки назад! Шагом марш!

Скорее в барак, снять с себя все, сдать в сушку и залезть на свой нары. Тепло! Страшный шум и галдеж вокруг. Я кладу голову на свои ботинки, и все это постепенно куда-то исчезает — я уже сплю. Меня будят, так как уже в проходе прямо из котла раздают ужин — это жидкая болтушка из гороховой муки. Снова нужно слезать с нар, хлебать ее, а потом идти за кипятком в тамбур и уже на нарах доедать оставшийся от обеда хлеб. Перед сном тут никто не моется. Засмеют. Да и умываться-то нужно идти на улицу, на дождь и ветер, там стоят большие деревянные умывальники.

Неприятная мысль перед сном приходит мне в голову: «Неужели и завтра я должен идти туда же и снова вырубать под дождем эту норму? Сегодня я не смог это сделать, а завтра будет еще хуже!». Я натягиваю край мешковины, которую нам выдали как одеяло, поворачиваюсь на бок на камышовом мате и проваливаюсь тут же в сон.

В центре Казахстана, в самой пустынной его части, раскинулся огромный лагерь заключенных, Карагандинский

исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа НКВД, сокращенно КАРЛАГ. По своей территории, от города Караганды до озера Балхаш, он равен Бельгии. Ведь пришло же кому-то из высших чинов НКВД в голову в засушливой степи с солеными озерами и голыми холмами построить руками заключенных «цветущий сад социализма», создать гигантский сельскохозяйственный край, который бы снабжал продуктами питания не только прилегающие области, но и крупные города Сибири.

«Сказано — сделано», все это степное пространство, протяженностью в 500 километров было разделено на лагерные отделения, получившие свои названия от прилежащих казахских сел, озер и рек. Так и появилось здесь Котурское, за ним Самарское, Чурбайнуринское, Джезказганское и другие отделения.

Главное управление всего этого гиганта расположилось недалеко от Караганды в старом переселенческом русском селе Долинка. Уже в тридцатые годы там возник небольшой городок НКВД с великолепным белым зданием с колоннами, где и расположилось первое строительное начальство. По представлению лагерных чиновников, сеять пшеницу и разводить скот — дело легкое и сытное, поэтому с самого начала лагерь этот по понятию ГУЛАГа стал именоваться не иначе как «курорт». Сюда из северных лагерей, с угольных шахт и лесоповала, стали присылать на излечение больных и истощенных заключенных, так называемых доходяг, которые, по мудрой идее руководства, должны были тут поправиться и затем снова вернуться на север. Таким образом, создавался «великий кругооборот», и ценный человеческий рабочий материал все время должен был бы восстанавливаться. Входными воротами, своего рода чистилищем этого лагеря, стала железнодорожная станция Карабас, где был создан большой пересылочно-сортировочный лагерь. От него-то и шли все дороги в разные отделения «государства КАР ЛАГ». Рассказывают, что в тридцатые годы заключенных по 200–300 человек просто завозили на подводах к какому-нибудь озеру или реке, выдавали лопаты и другой инструмент и приказывали вкапываться в землю, строить бараки и зону из колючей проволоки. Первую неделю люди жили просто в этих выкопанных ямах, затем начинали месить и сушить из глины кирпичи, «саман», и строить бараки. Привозили только хлеб и вяленую рыбу с озера Балхаш: кто выжил, тот и выжил. Деревянные колышки с номером на могиле сохранялись не более года, пока не начиналась вспашка полей, для которых этот человеческий материал служил как удобрение.

Дальше — больше, начали не только распахивать и засевать

поля, но и разводить скот. В этом, как мог, помогал и НКВД: с политических процессов 37–38 годов потекли в КАРЛАГ «агрономы-вредители», «ученые-антисоветчики» и просто колхозники. Возникали лагерные участки — обширные села с тракторными парками, скотоводческими фермами, с большими бараками, обнесенными колючей проволокой. Уже через пять лет КАРЛАГ стал давать стране зерно и мясо. А людей все везли и везли, и отделения лагеря все расширялись и ползли на юг к озеру Балхаш.

В начале 40-х годов лагерь стали механизировать, в Караганде построили даже специальный завод сельскохозяйственной техники, на необъятные поля пошли трактора. Появилось и электричество от заработавших на карагандинском угле электростанций. По мнению начальства, КАРЛАГ становился «реальным прообразом социализма». Здесь создавалась научная база сельского хозяйства. Из заключенных, бывших ученых-генетиков, зоотехников, агрономов, ветеринаров, биологов, был создан научный центр. Здесь им разрешалось продолжить развивать и внедрять свои проекты, часто те же проекты, за которые они были осуждены как «вредители». Ученые принялись за дело: вначале были изучены почвы степного Казахстана, внедрена система двенадцатипольного севооборота, по Докучаеву, затем созданы засухоустойчивые культуры, улучшена структура глинистых почв, разработаны удобрения и, наконец, принялись за животноводство. На основе местных пород были выведены особые, устойчивые к суровым зимам, но высокопродуктивные породы. Начальство стало ездить по полям на своих карагандинских рысаках, дарить их республиканскому начальству в Алма-Ате. Вся территория постепенно покрылась дорогами, по которым стали ходить уже грузовые автомашины, а не только повозки.

Но вот одна острая проблема так и оставалась не разрешенной — засушливые казахские степи нуждались в воде. Узкие, пересыхающие летом реки и озера не могли обеспечить полив столь необъятных полей КАРЛАГА. Жарким летом желтели посевы, степной ветер поднимал желтую пыль и уносил ее с полей, почва теряла плодородие. У пересыхающих степных колодцев скапливались стада, через час вода там уже кончалась.

Снова из Москвы стали поступать заключенные-специалисты, но теперь уже гидротехники и ирригаторы. Им-то и пришла в голову счастливая идея использовать воду талых снегов. Степные горные цепи, сопки, зимой покрывались толстым слоем снега. Весной этот снег быстро начинал таять, рождая бурные потоки, которые, переполняя реки, уносили воду совсем не туда, где в ней

так нуждались. Эту-то воду и решено было собрать, создав огромную систему плотин, каналов и водохранилищ.

КАРЛАГ на время превратился в земляную стройку, потребовались еще много тысяч здоровых людей, способных разбивать лопатами казахский глинозем и возить на жаре тачки. Постепенно вокруг сопок образовались валы, на реках плотны, а в долинах сопок огромные водохранилища. Из них вода все лето поступала на посевные поля. Она, эта вода, и эта ирригационная система стали залогом благополучия всего лагеря.

Что в переводе с казахского языка обозначает «Чур-Бай-Нура» — мы так и не узнали, но для нас это слово звучало угрожающе.

Ранней весной после неожиданной оттепели стал таять снег, скопившийся на окружавших равнину сопках, и бурные потоки талых вод прорвали плотину на реке Чур-Бай-Нура. Вода уже не шла в гигантские водохранилища в долине, которые должны снабжать все лето водой бескрайние посевы Котурского и Самарского отделений. Теперь эта драгоценность, пресная вода, уходила, убегала по своему старому руслу куда-то к пустынным соленым озерам.

В Главном управлении лагерного «государства Карлаг» эту угрозу почувствовали сразу же: если плотина через месяц не будет восстановлена, талые воды уйдут, летом высохнут поля, миллионы тон зерна будут не поставлены государству, и тысячи голов скота нужно будет перегонять куда-то на север за сотни верст, туда, где колодцы летом еще содержат воду.

К начальнику Котурского отделения в селе Тасс-Заимка, полковнику Донченко от «Главного» пришел телеграфный приказ:

> «перекрыть плотину к 15 апреля тчк ответственность возлагаю лично на вас тчк разрешаю получить дополнительный контингент из отделения карабас тчк о принятых мерах доложить тчк никаноров».

Так долго и так трудно старый чекист Донченко полз по служебной лестнице, пройдя суровую школу на Севере, сначала на Колыме, а потом в Норильске, прежде чем он не выхлопотал себе это лакомое место в «курортном» лагере КАРЛАГ. И вот теперь все это начинает пошатываться. Не перекроет он в срок плотину, упустит воду, не получит урожая, наверняка снимут его с должности, и в его только что отстроенный уютный дом с двумя каминами и баней въедет другой счастливчик, который уже давно дожидается этого кресла. В какие руки попадет его любимица кобылица Вента, на которой он каждую неделю охотится в степи, куда он денет своих трех гончих собак, которые так ловко только

что научились догонять лисиц? А еще совсем недавно нашел он, наконец, себе отличного домашнего повара-корейца из заключенных, садовника из немцев и няньку для детей! Только-только жизнь пошла как надо, как он мечтал. А теперь надо всем этим нависла угроза. Но больше всего его терзала мысль о Нине, его новой личной секретарше, белокурой красавице, которой он неделю назад подарил белый мерлушковый полушубок. Неужели вся зря?.. Все рухнет?.. Не исключено, что и в звании понизят, продолжал он мрачно размышлять, или в другой лагерь переведут, да еще и опять на Север. Ведь в этот сельскохозяйственный лагерь смог он пробраться лишь только потому, что в его послужном списке, в первой графе стоит: «после окончания семилетней школы окончил техникум сельского хозяйства и работал трактористом в совхозе». Звали его все в совхозе просто «Сашей», а не так, как теперь «гражданин начальник» — звучит хоть уважительно, но все же как-то не по-человечески. Там-то, в этом совхозе, его по комсомольскому набору и взяли в училище НКВД, сам он ту-да не напрашивался. «Да, большой путь прошел! — шептал он сам себе. — А вот теперь с этой плотиной!»

На следующее утро проснулся он с решительной мыслью бороться. «Нет уж, нет уж! — стучал он кулаком по своему столу в кабинете. — Нет! Так меня не возьмешь!»

Трудно сказать, таков ли в действительности был ход мыслей начальника отделения, или все это были лишь слухи, рассказы, бродившие среди заключенных и приправленные изрядной долей воображения, но так или иначе, а Донченко сам лично поехал на пересылку в Карабас набирать команду «спасателей», понимай, этап в 300 человек первой рабочей категории. Сам сидел в комиссии, осматривал голых людей, стоящих в очереди к столу, сам расспрашивал. Брал молодых, старался из колхозников или солдат, а еще лучше крестьян из Прибалтики, уж эти работают, себя не жалеют.

«Один день отдыха и всех на плотину!» — командовал он в управлении. И когда начальник строительства пытался убедить его, что нельзя при такой погоде на проливном дожде без плащей рабочих держать, то он начинал багроветь и кричал: «Нет уж, нет уж, себя жалеть не буду и других тоже!». И действительно себя он не жалел. Ночью с большим фонарем, под проливным дождем в кожаной куртке и без плаща, метался по строительной площадке от забоя к забою, так что прораб и десятники не успевали за ним. Или сам под конец смены вместе с учетчиком обмерял выполненную работу:

— Сто восемьдесят процентов? Как фамилия? Записываю,

сегодня вечером от меня двести граммов сала получишь!

Знал он, что таких вещей делать «по режиму» нельзя. Его враг, лейтенант, начальник режима все это фиксирует. «Ну да черт с ним — сейчас нужны кубометры». Или если видит, что работяги сидят в забое:

— Почему сидишь, гад!? — Ругаться «гадом» он на Севере научился.

— Не могу, начальник, руку повредил…

Донченко щупает руку.

— Ну, врешь же, гад! Саботажник! Семенов! (Это надзиратель.) Запиши фамилию!

И дальше, и дальше бегом по забоям.

Во время ночной смены территория строительной площадки преображалась: прожектора охраны пронизывали лучами все ее пространство, и в них становились видны косые линии дождя и летящие хлопья снега. А в середине — сотни коптящих огней от расставленных чуть ли не у каждого забоя факелов — консервных банок, наполненных соляровым маслом от тракторов. Копоть к концу смены оседала на лицах людей, и они становились черными. Начинало казаться, что все это какая-то огненная феерия, и люди не работают, а совершают какой-то таинственный ритуал.

Охраны явно не хватало. К концу одной из смен двух человек не досчитались, не смогли их найти и в забоях, среди лежащих там ослабших людей. Сбежали два вора-рецидивиста, недавно присланные к нам с Севера. Режим все крепчал. Начальник режима, рябой лейтенант по прозвищу Пёс, перед началом работы предупреждал стоящую колонну:

— Бригады, внимание! Приближение к цепи охраны более чем на десять метров считается попыткой к побегу — конвой применяет оружие без предупреждения!

Только бригадиры могли еще что-то понять в этой движущейся серой массе с тачками — куда везут грунт и куда его сбрасывают. Совсем уже трудно было заметить человека, который, ослабев, падал в пустой забой и лежал там до конца смены. Если его напарник вовремя не сообщит, то два-три часа пролежав под мокрым снегом в телогрейке, он тихо «заснет» и найдут его, уже окоченевшего, только при пересчете, в конце смены.

Конечно, почти каждому сразу же приходила мысль в голову, что долго так работать он не сможет, от силы две недели. Не спасет его ни большая пайка в 850 граммов хлеба, ни сало, выданное начальником: или он заснет в забое тихо и спокойно, или запишут ему «отказ от работы» и загремит в карцер. А если заболеет, простудится, то отвезут в лазаретный барак с

воспалением легких. Последний пункт всех этих дорог — маленький бугорок замерзшей земли с деревянным колышком. Блатные на плотине часто подходили к работягам, всматривались в лицо и пророчествовали:

— Ох, смотри, батя, тебе четыре дня осталось! — Опыт северных лагерей научил их ставить точный прогноз. И действительно, при своем спуске в небытие работяга проходит как бы три фазы, три круга смерти. «Отечный круг» — отеки ног и отеки лица. В этой фазе он еще продолжает бороться за жизнь: старается найти дополнительную пищу или норовит спрятаться от работы, но затем наступает второй круг — «восковой», когда лицо его как-то вытягивается, кожа становится восковой, а глаза несколько вылезают из орбит и почти не двигаются. Удивительно, что в этом состоянии человек уже не пытается скрываться от работы, он движется как механический робот. И, наконец, третий круг, «круг куклы». Обреченный то и дело ложится и лежит с открытыми глазами, иногда поднимается и пытается работать, затем падает и опять лежит.

Ах, нет же — нет, не все так страшно, не все же обречены умереть на этой плотине! Конечно же, не все. Но тогда нужно научиться «бегать от работы», «заправлять тухту», «делать мастырки» и многому, многому другому. Как можно меньше работать, как можно больше быть в тепле и как можно чаще находить что-то поесть. «Работа не волк — в лес не убежит!» — старая мудрость северных лагерей. Но ведь наш-то лагерь — «курорт», вот только эта плотина подвела…

Я работаю в паре с молодым бледнолицым парнем лет двадцати трех. Зовут его Петя, Петя Лещенок. Даже не помню, как мы оказались вместе у одной тачки, кто нас подвел друг к другу. Видимо, при раздаче лопат и тачек судьба как-то свела нас. Роста он был не большого, но было по всему видно, что физически он крепок и его как-то не пугает ни сам лагерь, ни эта работа. Пятьдесят тачек отвозит он, а я разрубаю грунт и набрасываю, а потом я пятьдесят. Каждый день в одном забое, мокрые и голодные, ну как тут не узнаешь все о человеке! А история его такова.

Отец Пети еще в 30-е годы был советским разведчиком, понимай, шпионом, в одной из стран Западной Европы. Сумев остаться невредимым во время чисток и процессов в те годы, он был определен преподавателем разведывательного училища РККА под Москвой. Петя жил при нем и ходил в среднюю школу. Но вот началась война, и встал выбор: или идти на фронт, а он был уже призывного возраста, или, как советовал отец, поступить в это училище. Петя выбрал последнее. Он считал, что война могла

победоносно закончиться еще до того, как он выйдет из училища. Но она не закончилась, Пете присваивают звание младшего лейтенанта и дают первое испытательное задание: проникнуть на территорию противника в районе Белорусского фронта и связаться с партизанским отрядом, действующим под Витебском.

Выполнил он это задание, можно сказать, с легкостью: он был хорошо тренирован, смог пройти пешком 40 километров по заснеженным лесам и болотам, передать важный пакет командиру отряда и невредимым вернуться назад. Помогало ему знание белорусского языка, которым он владел с детства, так как родился под Минском. По возвращении Петя был награжден первым боевым орденом и повышен в звании.

Отдых длился недолго, его вызвали для получения нового задания, которое оказалось очень сложным и опасным. Он должен был вместе с еще одним офицером проникнуть на территорию Западной Польши под видом белорусского подростка, возвращающегося на родину. По его легенде, он был из-под Минска направлен на работы в Германию, но там заболел и как инвалид был отпущен домой, о чем при себе у него имелась почти подлинная справка из немецкого ведомства по труду — «Арбейтсамта». Само задание было сложным: им следовало сначала разыскать домик в одном из сел под городом Позен, где под видом польских крестьян жила семейная пара советских разведчиков. Это была их база для дальнейших действий. А действия эти состояли в том, что лично Пете надлежало найти два лагеря советских военнопленных в этом районе и попытаться установить, в каком из них под видом рядового пехотного офицера содержится советский генерал госбезопасности. После этого он получит особые указания и, видимо, будет присоединен к «группе освобождения», выброшенной в этот район. О задании своего напарника он ничего не знал.

Операция началась совсем не так, как предполагал Петя. В маленькой резиновой лодочке под прикрытием темноты их обоих спустили на воду с советской подводной лодки неподалеку от города Данциг. Ребята быстро преодолели двенадцать миль на веслах и вползли на крутой лесистый берег. Оставалось закопать лодчонку и переодеться. Петина одежда состояла из грязной телогрейки, порванного свитера, стеганых брюк и кирзовых ботинок. Под машинку подстриженный, он действительно выглядел как «ребенок войны». Но это было еще не все: к левому коленному суставу был привязан немецкий медицинский корсет, шарниры которого хотя и позволяли сгибать сустав, но только очень ограниченно. На коже сустава хирургами были созданы искусственные шрамы, имитирующие ранение. А в металлической

трубке этого протеза содержался большой запас немецких денег — в скупости советскую разведку обвинить было нельзя. Кроме того, была при нем и старая польская монетка, зашитая в телогрейке, эту монетку с секретными насечками он должен был предъявить хозяевам базы как пароль. Он мог говорить по-польски, так как мать его была польских кровей. Немецкий он учил в школе и в училище, так что мог кое-как объясниться. Никакого личного оружия ему выдано не было, это в его ситуации считалось ненужным и опасным.

Теперь предстояло двигаться по ночам вдоль дорог на юг.

Карты не было, он должен был выучить наизусть еще в Москве каждый ее сантиметр до самого Позена. Шли вместе, еду покупали в селах на крестьянских базарах-толкучках. Была осень, ночевать старались в заброшенных хатах или просто в соломе на поле. Приходилось иногда и стучаться в крестьянские дома, объяснять, кто они, просить помыться в баньке и отогреться. Их иногда пускали переночевать, за что они рассчитывались немецкими марками и чуть свет уходили дальше. Использовать попутный транспорт им было запрещено, так и шли пешком. Лишь только на вторую неделю добрались до района «базы», а уж найти ее не представляло труда. Наконец-то можно было расслабится, лечь в нормальную постель, отогреться. Уже на следующее утро его напарник распрощался с ним и ушел на свое задание. Хозяева были уже пожилые люди, бойко говорящие на польском. Никаких вопросов им задавать было нельзя. В хлеву стояла корова, на дворе бегали куры, за перегородкой хрюкал поросенок, — словом все было настоящим. Хозяева каким-то образом передали в Москву сообщение: «Прибыли на место». Нужно было начинать действовать.

Оба лагеря найти было не трудно, их местонахождение знали хозяева. Петя сначала выбрал ближайший и два дня подряд из перелеска наблюдал, куда выводят на работы пленных. Оказалось, что одна группа, около ста человек, собирает остатки картофеля на поле, неподалеку от лагеря. Подойти к ним было опасно, стояла круговая охрана. Наконец Петя придумал. Встав очень рано, он пошел с ведром на это поле, также искать остатки картофеля. Привели пленных, охрана стала свистеть парню и показывать, чтобы он уходил, но Петя прикидывался, что не понимает. Наконец охрана жестами показала ему, что он может тоже собирать, но только в дальнем углу поля. Петя опять стал прикидываться, что не понимает. Тогда один солдат на чистом польском языке объяснил ему, чтобы он убирался к черту. Это удивило и обрадовало Петю. Он также заметил, что некоторые солдаты насвистывают польские народные песенки. Постепенно

все прояснилось: это были «фольксдойче» из Силезии, по сути дела поляки, но получившие немецкое гражданство, так как проживали на исконно немецкой земле.

На следующий день солдаты уже привыкли к тому, что паренек тоже копается в земле, и даже стали что-то кричать ему. Но на этот раз у Пети за пазухой уже были горячие лепешки, испеченные «хозяевами», которые он как бы в благодарность за разрешение стал протягивать солдатам. С некоторой опаской они начали брать эти лепешки и делить между собой. Иногда Петя их о чем-нибудь спрашивал по-польски и они отвечали. Игра началась.

Еще через день Петя уже попросил разрешения передать махорку «землякам белорусам». Солдаты заколебались, но на следующий день к границе оцепления подошел в засаленной гимнастерке пленный и на белорусском языке поприветствовал Петю. Петя передал пачку махорки для всех земляков и сразу же отошел в сторону. Еще прошел день, и передача повторилась, теперь уже Петя стал расспрашивать «земляка», как там в зоне. Слово за слово, удалось установить, что в лагере содержатся около ста офицеров, но на работу их не выводят. Это затрудняло дело. Действовать через посредника опасно. Но работы на поле заканчивались, и нужно было спешить. Петя принес четыре пачки махорки: «Нет ли там среди офицеров моего родственника, Сафронова?». На следующий день ответ: «Есть такой, у него отморожены пальцы ног, он плохо ходит». Наконец пошла пачка махорки к Сафронову с запиской, из которой он должен был понять, что его нашли свои, и он должен быть готов к побегу. В последний день Петя получил письмо от Сафронова к «родным в деревню». Это было окончательным подтверждением, что он действительно там. Первая часть задания была выполнена, и так, казалось бы, просто. В тот же день от «хозяев» в «центр» пошло сообщение. Петя отдыхал, теперь нужно ждать указаний.

Ничто не предвещало беды. Для безопасности Петя спал на сеновале. Однажды перед рассветом ему послышалось, что кто-то тихо стучит в наружную дверь дома, которую самому Пете открывать было запрещено. «Связь пришла», — подумалось ему. Но еще через несколько секунд он услышал тихую возню в сенях, выглянул сверху и увидел, что «хозяин» уже лежит ничком со скрученными руками на полу. Накрыли! Через секунду Петя кубарем скатился с сеновала на другую его сторону в коровник, разыскал в темноте отверстие для выброса навоза, выполз в огород. Затем через мокрое поле к перелеску, через ручей и дальше. «Кто сдал?! Кто сдал?!» — стучало у него в голове.

Было еще темно, когда он добрался до железной дороги и

спрятался там в кустах. По этой узкоколейной линии подвозили рабочих на строительство аэродрома: каждый час мимо него проползал старый локомотив с тремя вагонами. Наконец Петя решился — на ходу впрыгнул в тамбур последнего вагона и уже через полчаса оказался на маленькой железнодорожной станции. Местность эту он знал по карте — отсюда рукой подать до Позена. Протез остался на сеновале, но деньги, спасительные деньги, были при нем.

Да, это был старинный немецкий город Позен с большой рыночной площадью перед собором. Нужно было прежде всего подумать о каком-то укрытии, наверняка в городе его будут искать. И хотя это было опасно, он заглянул в небольшой трактир, который содержал поляк, поляков в этой местности было много. «Сначала отсидеться, все обдумать», — вспоминал он наставления своих инструкторов. Обдумав все и сытно поев, он по рекомендации хозяина трактира направился на постоялый двор, где останавливаются крестьяне, приехавшие на рынок. Это тоже было опасно, но, к счастью или к несчастью, мест свободных там не оказалось, шел какой то праздник. Смеркалось. Петя опять вышел на рыночную площадь, где еще шла продажа разных вещей с рук, и вдруг сообразил, что одет он очень подозрительно для города: нужно изменить свой облик. Он купил старую шинель польской армии — «в ней будет легче общаться с местным польским населением». И он в этом не ошибся.

Совсем уже смеркалось, а он так и не придумал, куда определиться на ночлег. Остановился около освещенного окна какой-то пивной и вдруг почувствовал, что кто-то осторожно берет его под правую руку! Он отпрянул, но увидел, что это была женщина, и довольно симпатичная и молодая, с ярко накрашенными губами и в меховом боа. «Проститутка», — отлегло у него от сердца. Она что-то ласково говорила по-польски, а он в это время обдумывал, как ему поступить дальше. «А что если переночевать у этой женщины? Ведь не оставаться же на улице!»

Так Петя оказался лежащим на узкой постели в небольшой комнатке под самой крышей. Лежал он, не раздеваясь, и старался объяснить своей новой знакомой, что должен был бы уже сегодня вернуться в свою деревню, где он живет после ранения с отцом. На столе появился патефон, затем бутылка испанского портвейна, зазвучал писклявый фокстрот — женщина явно хотела устроить ему маленький праздник. Звали ее Ванда, работала она в немецкой гарнизонной столовой официанткой. От этого сообщения Петя стал подниматься с постели: «Сразу убегать невозможно, слишком подозрительно. Ждать». Он сел, обнял ее,

посадил на колени, выпил стакан портвейна, положил на стол отсчитанные немецкие купюры: «Отец дал прогулять в городе». И вдруг почувствовал необыкновенную сонливую усталость, так что даже не помнил, как снова он оказался с ней рядом в одной постели. «Ах, будь что будет — где-то нужно переночевать», — и с этими мыслями Петя провалился в сон.

Сколько прошло времени, он не представлял, но вскоре почувствовал, что кто-то тормошит его со словами: «Вставай! Вставай скорей!». Это будила его она. И здесь он услышал шум внизу на лестнице, стучали в наружную дверь. Стук не громкий, как бы просящий. Ванда поднялась на подоконник и выглянула в форточку:

— Это он!

— Кто он?

— Мой знакомый офицер. Он не должен был сегодня приходить. С чего бы это он?

Дальше объяснять было не надо. Петя был уже одет.

— Есть другой выход?!

— Нет. Иди тихо вниз и там спрячься под лестницей, я проведу его наверх, а ты уходи…

Лестница была деревянной и страшно скрипела при каждом шаге. В двух нижних этажах находились другие квартиры, стук разбудил, видимо, и этих жильцов: одна дверь приоткрылась, и на темную лестницу брызнул свет. Стук продолжался. На нижнем этаже Ванда запихала Петю под лестницу и пошла открывать наружную дверь, громко приговаривая:

— Du hast mir gesagt — Ubermorgen, Liebling… Warun so spat? (Ты сказал мне, что послезавтра… Почему так поздно?) Наружная дверь открылась и буквально через секунду распахнулась дверь соседней квартиры, так что яркий свет залил стоящего под лестницей Петю.

— Wer ist da?!

— Ach, unserer Nachbar…

— Nein!

Раздумывать было нельзя — Петя бросился к наружной двери, чуть не свалил с ног стоявшего там офицера и бросился бежать в темноту на противоположную сторону улицы.

— Halt! Halt!

И затем загремели выстрелы. Один, второй, третий. И уже находясь на противоположной стороне в кустах палисадника какого-то дома, Петя почувствовал, как что-то ударило его в голень. Он смог сделать еще шаг и пополз по траве в гущу кустов. Слышно было, что его не преследуют: офицер, вероятно, был пьян. Но что с ногой! Сильной боли он не чувствовал, но мышца

голени стала не чувствительна, а брюки в этом месте мокрые. «Ранен! Этого еще не хватало!»

Боль постепенно нарастала, и опереться на ногу он уже не мог. Одна мысль: «Вызовет ли офицер сейчас наряд на розыски? Скорее всего, что нет, он пьян. Но все равно нужно уходить! Но как уходить, куда уходить?».

Рассвет уже начинался, а он все лежал в своем укрытии. Сейчас ведь люди начнут ходить, его увидят. Опять попробовал — нет, ступить на ногу невозможно. Теперь он разглядел, что брюки его в крови. Он снял свой шарф и замотал им ногу, не рассматривая, что там под красным кровавым комком на икре. Обтер платком брюки: теперь кровь была не так заметна. Что же дальше?

Взгляд его остановился на заборе из старых реек. Продолжая лежать, он выломал одну рейку и, держась за забор, медленно поднялся. Опять попытался опереться на ногу: «Кость цела, значит, только боль». Вспомнил, как их учили в училище волей подавлять боль: «Нет ее, нет ее, иди, иди, ты можешь, ты все можешь…». Вдруг он заметил, что если наступать на пятку, а не на носок, то боль значительно меньше. Рейку, как костыль, — под мышку, шаг… еще один шаг… В глазах становится темно. «Главное, отойти от этого места, ведь прямо из окна он меня может увидеть». Еще шаг: «Нет боли, нет ее!». И он поковылял по улице в направлении вокзала: «Сяду там где-нибудь».

Смелому человеку Бог протягивает вовремя руку — навстречу ехала пустая крестьянская повозка, на ней сидел заспанный старик, видимо, поляк, как показалось Пете.

— Доброе утро! Куда так рано направляетесь? — постарался спокойным дружеским тоном завести он разговор.

— В Гересхайм, — на чистом польском ответил старик.

— Так и мне туда же, — нашелся Петя. — Вчера на празднике меня подбили… Как теперь доберешься, идти-то не могу…

— А вы откуда? — прищурив глаза, вежливо поинтересовался старик.

— Да я по набору был в Германии, сейчас вот, как инвалидом стал, отпустили.

— А-аа…

— У меня и справка есть, — видя сомнения старика, продолжал он.

Наступила пауза.

— Подвезите, я заплачу хорошо, вот они мне и марки на дорогу выдали. — И он, порывшись, вынул из кармана пачку денег. Вид денег, видимо, решил дело, старик еще раз осмотрел с ног до головы Петю, слез с подводы и помог ему забраться в

короб. Поехали!

Старик, конечно, хорошо знал всех на селе, и Петя стал сочинять дальше, что, мол, ему посоветовали дружки найти в Гересхайме угол у хозяйки, пока нога болеть перестанет, а то в городе снимать очень дорого. Видно было, что старик не очень-то во все это верит, но все же Петя вскоре оказался в чистой и теплой избе, у одинокой сестры старика. Они быстро сошлись в цене за недельный постой, и она, как за ребенком, стала ухаживать за ним, ничего больше не спрашивая.

Донесут эти люди на него или не донесут? Ведь за укрытие беглецов и дезертиров — расстрел. Теперь уж только на судьбу надеяться.

Но люди оказались людьми. В тепле, на картошке и сале, Петя воскресал на глазах. Рана хоть и гноилась, но медленно заживала, хозяйка прикладывала к ней какие-то листья, которые срезала тут же из горшков на окне. На шестой день он встал и смог пройтись по хате. Долго задерживаться было нельзя, соседи могли что-то заподозрить, нужно спешить на восток, к своим.

О своем пути на восток Петя рассказал только вкратце.

Счастливые случайности все время сопровождали его: то на старом грузовике довезли его чуть не до Варшавы, то на каком-то полустанке ему удалось уговорить машиниста локомотива подбросить его до Бреста, но самое главное, военные патрули замечал он всегда первым. Польскую шинель свою, всю перепачканную в угле, он выкинул и купил на местной барахолке старый полушубок и валенки — наступила зима. Но самым большим везением для Пети был удачный переход линии фронта. А получилось так.

Искать партизан ему было по инструкции запрещено. Долго бродил он по полуразрушенным деревням, пока не сориентировался. И, наконец, ночью приблизился он к району Великих Лук. Он предполагал, что это был немецкий укрепленный район. Так что идти пришлось по замерзшему болоту. Скоро он стал проваливаться через тонкий лед, пришлось ползти. Он лег на какую-то доску и скользил на ней, подтягиваясь на руках. Камыш, торчащий из-подо льда, хлестал его. Так полз он всю ночь, пока не добрался до больших деревьев, которые, как ему показалось, были уже на твердом берегу. Теперь можно было уже брести через прибрежные кусты. Но он ошибся. Лед под ним треснул, и он ушел по пояс в воду. Был уже морозец, он снял все, что было мокрым, отжал, как мог, надел снова, ноги замотал тряпками, оторвав их от края рубахи, надел мокрые валенки, которые уже стали обледеневать.

Когда наконец он вышел из леса на широкое пахотное поле,

сердце его радостно забилось: он увидел линию дымков на востоке метров в двухстах от себя. Наши!

Раздумывать было нельзя — светало. Линия немецких окопов осталась где-то позади, по бокам болота. Он встал во весь рост и, размахивая шарфом, пошел прямо к линии блиндажей. Но оттуда начали стрелять. Тогда он поднял руки и лег ничком на снег. Когда к нему подошли и перевернули, он увидел людей в форме советских солдат и потерял сознание.

Очнулся он в какой-то землянке, кто-то уже снял с него мокрую одежду, и он лежал лишь в гимнастерке и кальсонах. Советский офицер в зеленых погонах наклонился над ним:

— Фамилия? Номер части? Где документы?

Петя ничего не ответил, попросил бумагу и ручку. Все по инструкции! Написал печатными буквами:

«В. Ч. 004026 МАЯК НАХОЖУСЬ В РАСПОЛОЖЕНИИ ЧАСТИ НОМЕР … КИРОВ».

Протянул бумагу офицеру со словами: «Проставьте номер вашей части и передайте срочно. Больше ничего не имею права добавить».

Офицер все понял: «Будет немедленно доложено».

Через час его перевели в блиндаж к командиру части на чистое постельное белье. Кормили супом, тушенкой и выдали новое обмундирование без погон. Наконец-то все позади! Ему во многом повезло и здесь: уже два месяца на этом участке никаких боевых активных действий не велось. Только тут он узнал, что на юге идет битва за Сталинград.

Видимо, сообщение дошло очень быстро, уже на следующий день за ним приехала машина с двумя офицерами связи, и он оказался в штабе дивизии. Его никто ни о чем не спрашивал, все разговаривали с ним тихо с серьезными понимающими лицами. Еще через день на самолете он был доставлен под Москву, и здесь-то и произошла его первая встреча со своими из Главного Разведывательного Управления. Сначала он прошел медицинское освидетельствование: его рану осмотрели и перевязали. Затем его поместили в отдельную комнату на верхнем этаже здания, окна в которой почему-то было невозможно открыть. Утром, к его удивлению, погулять на воздух его не выпустили: «Врачи еще пока не разрешили». Офицерскую форму ему так и не выдали. Наконец, вызвали на доклад. Он рассказал все, все до каждой мелочи. Его слушали с безразличными лицами и вопросов не задавали, а только записывали. Прошел еще день, и уже совсем другой человек в штатском появился перед ним:

— Как случилось, что база была обнаружена противником? —

И затем тихо добавил: — И люди погибли.

Петя понял, что речь шла о хозяевах.

— Где вы находились последние три месяца на территории противника? Кто вам оказывал помощь? Мы просим откровенно во всем признаться…

У Пети от последней фразы все поплыло перед глазами: ему не верят, его подозревают! Еще и еще раз он повторяет все до мельчайших подробностей. Следователь в штатском молчит, а секретарь все печатает на машинке.

Уже через неделю его посадили в тюремную автомашину, «черный ворон», и переправили в Лефортовскую следственную тюрьму в Москве. Так он стал подследственным по делу «об измене Родине и связи с разведкой противника».

— Нам известно, что вы, изменив Родине, выдали базу и были завербованы разведкой противника. Где проходили вы переподготовку, назовите фамилии тех, кто с вами работал. Какое задание вы получили перед переброской через линию фронта?

Началось обычное следствие в изоляторе КГБ с избиениями, вымораживанием в карцере и угрозами расстрела без суда. Петин отец узнал обо всем этом не сразу, но когда узнал, начал ходить и умолять о помощи и милосердии всех тех, вверху стоящих, кому он верно служил всю свою жизнь. Ему из милости обещали только одно — сохранить жизнь сыну. Важную роль сыграло и то, что никаких свидетелей или других доказательств невозможно было представить, их просто не было, поэтому судило его Особое совещание и заочно. «Пятнадцать лет лагерей строгого режима!» Отец все же через свои связи добился, чтобы его не посылали на Север, а в качестве великой милости отправили в КАРЛАГ.

Так он и очутился рядом со мною на постройке Чур-Бай-Нуринской плотины, которая, как говорили старые лагерники, оказалась «покруче Колымы».

Когда качу тачку, уже не обращаю внимания на подгоняющие крики сзади: на все стало наплевать, стараюсь только не упасть с мостков в заснеженную глину. Норму в этот день мы не выполнили: Петя захромал — старое ранение дало о себе знать. Он то и дело садится, скручивает махорку и кашляет. Со мною тоже происходит что-то непонятное, все суставы начали ныть. Бью киркой по грунту и не смотрю, куда попадаю, мокрый снег залепляет глаза, и я его уже не сбрасываю с лица, мне стало как-то все равно, что будет со мною.

Утром пайку выдали только 550 граммов. Весь день у меня горели щеки и ныли суставы. «Это что же с тобой такое?» — всматривается в меня Петя.

Вечером я не спустился с нар, чтобы получить вечерний суп.

В висках стучит, начался озноб, а ночью весь промок от пота.

Рано утром, за час до развода, в барак приходит летом, так называемый лекарский помощник, чтобы зарегистрировать больных. Это огромный детина из санитаров лазарета. К нему выстраивается очередь. В ящике у него несколько больших бутылей с красной, синей и желтой жидкостями — это растворы салициловой кислоты, хинина и чего-то еще — почти вся его аптека. Обычно дневальный помогает ему.

— Ну, что там у тебя? Открой-ка рот… Температуры нет, поработай еще. Никифор, дай желтой воды!

И дневальный наливает этот «препарат» из огромной бутыли в небольшую стопочку.

Мне повезло, сегодня пришел другой лекпом. Это была пожилая, совсем седая женщина, Зоя Федоровна. За доброту и обходительность все называли ее мамой. Была она старая лагерница, уже ходила без конвоя, срок отбывала с 37-го года по статье «ЧСИР» — член семьи изменника Родины. «Изменником» был ее муж, заместитель наркома внутренних дел, давно расстрелянный.

Большие выцветшие глаза Зои Федоровны источали одновременно печаль и ласку. Для каждого она находила какое-либо утешающее и подбадривающее слово. Ее уважали: как только она появлялась в проходе между нарами, суета и гомон стихали, ее провожали к окну, ставили перед ней единственную скамейку в бараке. Но она не садилась, а сажала на нее больных из огромной очереди. Прав она никаких не имела, ей разрешалось отобрать из этой массы только тяжелобольных и показать их вольному военному фельдшеру. Больными считались только те, кто имел или температуру выше 37.5, или серьезное ранение, или был уже настолько слабым, что не мог стоять.

Когда я подошел к Зое Федоровне, она как-то особо внимательно стала всматриваться в меня. Потом обо всем расспросила и сказала, что у меня ревматизм. Температура была высокой. «У тебя есть свитер?» — спросила она. «Нет», — ответил я, и к глазам моим подступили слезы: я почувствовал, что меня жалеют. «Оставайся. Как твоя фамилия?»

Итак, я в пустом бараке и только теперь рассмотрел это огромное помещение, приспособленное, видимо, из старой овечьей кошары. С двух сторон ряды узких, уже замерзших окон, в центре ряд столбов, поддерживающих крышу, и от них по обе стороны сплошные ряды двухэтажных нар. Нары покрыты сплошными рядами плетеных матов из камыша, на которых аккуратно разложены старые одеяла, мешки, шинели и бушлаты. В изголовье — ряд из мешочков, ящичков или подушек из сена.

Такие ценности, как хлеб, сахар, сало, в бараке оставлять было нельзя — все будет украдено. Умываться можно только на небольшом дворе перед проволочной зоной, там стоят ряды деревянных умывальников, вода в которых быстро замерзает. В баню водили под конвоем один раз в неделю: порция жидкого мыла намазывалась на локоть, за двадцать минут нужно было помыться и одеться.

Барак не отапливался, да в этом и не было необходимости: в него набивали столько людей, что ночью все лежали голые от духоты и с окон в проходы текли потоки талой воды. Днем же помещение начинало промерзать, и окна покрывались снегом. Кроме больных, в бараке днем оставались только дневальные, это были обычно старики или инвалиды. Стать дневальным считалось большой удачей, спасением, так как дневальные не только убирали барак, но еще и приносили утром хлеб в корзинах, нарезанный «пайками», помогали затаскивать вечером котлы с супом, и при этом им все время что-то перепадало. И, конечно, самое главное, они не стояли в мокром забое и не возили тачки.

По неписаному правилу, введенному комендантом зоны, все оставшиеся больные, если они могли передвигаться, должны были помогать дневальным убирать бараки, таскать бачки с супом и кипятком, смазывать глинобитный пол и подметать территорию зоны. Вся жизнь в лагере была до мелочей расписана, и никто не мог остаться незамеченным.

Конечно, таблетки аспирина, которые получил, принимать я не стал, они могли снизить мою спасительную температуру. На следующий день подхожу я к Зое Федоровне, и она протягивает мне небольшой сверток, а в нем старый заштопанный шерстяной свитер! «Кто она тебе?» — спрашивали соседи по нарам. «Никто», — отвечал я, но сразу почувствовал, что я теперь не один, у меня есть Зоя Федоровна.

Я лежал на верхних нарах в почти пустом бараке и с любопытством рассматривал свои руки, которые теперь казались мне чужими. Уборка в бараке была уже закончена, и наступила необычная тишина. Я знал, что сейчас прямо подо мной сидит на нижних нарах старик дневальный в старой стеганой жилетке и пьет морковный чай из своей керамической кружки, закусывая припасенным сухарем. Зовут его Семеном Никаноровичем.

— Слезай! — не дает он мне покоя. — Сейчас за песком пойдем!

Песком посыпались коридор и передняя площадка барака, через которые вечером должна пройти вся масса усталых после работы людей и притащить на ногах килограммы глины. Глина прилипла бы к полу, если бы не этот песок. Я слез, и Семен

Никанорович стал меня обо всем расспрашивать, а потом и я его.

Он был московским дворником, начинал еще при царе, носил тогда картуз и медную бляху на белом фартуке. Профессия эта была почетной, и все дворники Москвы были объединены в одну гильдию, связанную круговой порукой, и все они отличались особой верностью службе, своим жильцам, и место это передавалось от отца к сыну.

Охватив меня своим опытным взглядом, Семен Никанорович сразу, видимо, понял мое состояние и промолвил:

— Ты не спеши, сынок, ни в чем тут не спеши. Здесь нельзя горячиться. За лопату первый никогда не хватайся!

Только значительно позднее оценил я глубокий смысл этого лагерного завета.

Арестовали его еще в начале войны, и дело, по тем временам, было простым. Любил он, убрав дом, присесть на скамеечке под деревом, раскрыть этак газету «Известия», да и поразмышлять вслух, куда это политики нас ведут. Тут же, на скамеечке очень часто оказывался один из жильцов этого дома, заслуженный пенсионер, участник Гражданской войны. Он-то и донес в НКВД на Семена Никаноровича: мол, читая газету «Известия», тот громко смеялся и приговаривал: «Ну, какой он Верховный, он же ведь даже не военный…». В газете же сообщалось, что Иосиф Виссарионович Сталин назначен Верховным Главнокомандующим! Кроме того, читая эту же страницу, Семен Никанорович якобы три раза громко произнес: «Вот идиот! Вот идиот! Вот идиот!».

Время было суровое, враг подходил к Москве, и НКВД не церемонился — следствие по делу об «антисоветской агитации», по статье 58–10, часть вторая, началось. На вопрос следователя, что он имел в виду, когда называл так великого вождя, Семен Никанорович сразу не ответил, он был тертый калач, а потребовал, чтобы ему предъявили газету за это число. На следующий день, подробно ознакомившись в камере с газетой, он заявил:

— Это я о Гитлере так выразился! Вот тут в статье ведь говорится, что он Москву-то хочет к концу октября захватить. Ну, верно, что идиот!

— А что вы про Верховного сказали?

— Так ведь Гитлер-то себя Верховным Главнокомандующим назначил! А про товарища Сталина как же я могу, он ведь во как в гражданскую войну воевал, беляков теснил.

Аргумент был настолько сильным, что следователь приказал арестованного тут же отвести в камеру, а сам пошел совещаться с начальством.

На следующий день Семен Никанорович вежливо спросил следователя:

— А кого же сосед по дому имел в виду, обзывая идиотом, если не Гитлера?!

Он попал в цель. Сосед был арестован через неделю, и Семен Никанорович выступал уже как свидетель. «Бумеранг, да и только!» — веселился он, рассказывая все это мне.

Но недаром говорили в НКВД: если уж мы тебя арестовали, то дело на тебя всегда найдется! И оно нашлось. Были с пристрастием опрошены все жильцы дома, и один подлец и его жена все-таки вспомнили, что Семен Никанорович в самом начале войны сказал: «Сначала страну разорили, а теперь и воевать нечем!». Схлопотал он за это, по той же статье 5 лет лагерей — срок минимальный, «детский».

В царское время в доме, где он служил дворником, проживал знаменитый ученый, академик Вернадский, геолог, создатель космогонической теории земли. Семен Никанорович о нем вспоминает:

— Этот работяга был, как ни посмотришь в пять часов утра на окно в его кабинете, уже свет, уже работает. Уважительный человек был. Как выходит из парадной утром к извозчику, видит, что я стою, сразу вопрос какой-нибудь. А после Февральской так и первый здороваться, руку подавать стал. Как-то подошел ко мне и спрашивает: «А что, Семен, царя-то сняли, теперь и жизнь будет посвободней?». А я ему в ответ: «Никак нет, Ваше Превосходительство, без царя русскому человеку никак нельзя!».

Рассказав эту историю, Семен Никанорович после паузы добавил:

— Хороший человек был, с понятиями, но без представлений!

Три дня отдыха прошли быстро. Как я ни старался сохранить в себе болезнь, температура перестала подниматься выше 37, хотя суставы продолжали болеть. На следующий день меня выгнали на работу в ночную смену. Вся строительная площадка ночью преображалась: сотни коптящих факелов по обеим сторонам реки, прожектора создавали фантастическую картину. Конвоя пешего и конного нагнали столько, что они стояли чуть ли не в 20 метрах друг от друга. По самой строительной площадке с фонариками в руках ходили надзиратели. Почти каждые два часа по сигналу всех собирали и пересчитывали.

Снег валил мягкими хлопьями, под ногами слякоть, и люди то и дело падали.

Работа кипела, но постепенно всем становилось ясно, что сброшенный грунт пропадает впустую, так как он сразу же подхватывался течением и уносился по реке, а позади плотины

образовывались огромные отмели. Невозможно было без грусти смотреть на этот бессмысленный круговорот.

Наконец, начальник нашего отделения из Долинки привез какого-то заключенного инженера-гидротехника, который «строил Днепрогэс». Донченко надоел высшему начальству своими просьбами, и ему нашли этого специалиста где-то в другом отделении. Инженер Беспалов стал его надеждой: хотя он и сидел как «вредитель», но Донченко сразу же пустил его без конвоя, поселил в отдельный домик с мебелью, приставил к нему дневального и приказал, чтобы ему носили обеды из офицерской кухни.

Беспалов был одет в старое, изношенное форменное пальто инженеров царских времен, с бархатными черными лацканами, носил темные роговые очки, а в руках почти все время держал трубку. Почувствовав послабление, он тут же начал отращивать бороду, которую, видимо, и носил всегда на воле.

Уже на следующий день он принялся с блокнотом в руках ходить по плотине и что-то записывать, а за ним, как тени, следовали сам Донченко и начальник строительства. С подобострастием они смотрели на него, не задавая никаких вопросов, теперь только он может спасти. «Спаситель» вел себя странно, он ни с кем не разговаривал, почти всю ночь что-то писал и чертил у себя в домике и, наконец, о ужас, попросил, чтобы ему нашли скрипку! Все продолжали напряженно ждать и не обращали внимания, что теперь по вечерам из домика раздавались таинственные звуки скрипки.

Через неделю он объявил, что идея проекта готова. Она состояла в том, чтобы выше по течению реки, в предгорье, создать обводной канал, по которому можно было бы отвести большую часть воды в сторону, понизить уровень в прорыве и, перекрыв его, затем опять пустить воду в плотину, направив ее в водохранилище. Единственным способом отвести быстро воду в этот канал мог стать мастерски произведенный взрыв верхнего скалистого берега реки. Место взрыва он уже наметил.

По своей простоте проект выглядел находкой. Полковник Донченко воспрял духом. В том же домике, в соседнем помещении, было срочно организовано маленькое проектное бюро, где день и ночь, сменяя друг друга, трудились чертежники и расчетчики. Уже через неделю на двух пролетках, запряженных лучшими лошадьми, начальство с инженером Беспаловым тронулось в Долинку, в Главное управление, чтобы утвердить проект.

Но Донченко, однако, не было известно, что в его управленческой команде засел его враг и завистник, начальник

режима, старший лейтенант Седых, по кличке «Пёс», который делал все, чтобы срок пуска плотины был сорван и Донченко был бы отстранен от должности. Не успел полковник выехать за ворота лагеря, как тот по телефону связался со своим начальством в Долинке и предупредил, что посылает важное письмо: мол, только рассмотрев его, следует принимать решение по проекту. Со служебной почтой пошел особый пакет от Седых. Это был донос. В нем он писал начальнику Управления, что «Донченко, идя на поводу у заключенного инженера, осужденного за вредительство, хочет произвести взрыв в верховьях реки и пустить воду в неизвестном направлении, угрожая затопить лагерь и вызвать хаос. Он как начальник режима видит в этом хорошо спланированный вредительский замысел. Кроме того, ввезенный в расположение лагеря динамит может стать средством и для других диверсий со стороны заключенных».

Донченко в Управлении был принят ласково. Его и инженера терпеливо выслушали, задали много вопросов и сказали, что решение будет на следующий день.

На следующее утро всех их вызвали в Управление и объяснили, что проект, в общем-то, не плох, но вот выполнять его нужно без взрыва.

Но ведь там же скала! — кипятился Донченко.

— Советские люди крепче скал, товарищ Донченко!

— Но ведь перекрыть плотину иначе невозможно в срок!

— Это вам невозможно, товарищ Донченко, найдутся другие, которые это выполнят!

От неожиданности он без разрешения сел на стул, потом встал, с его лица лил пот. Наконец он собрался с силами:

— Разрешите идти, я сделаю все, чтобы выполнить ваши указания.

Ночью у полковника Донченко начались боли в левой половине груди, до самого утра они не проходили. По настоянию врачей его утром снова повезли в Долинку, но теперь уже в центральный госпиталь. Руководство лагерем и работами принял его молодой заместитель по производству, старший лейтенант Мостовой. Он был простым инженером и попал в лагерь по распределению из Военно-инженерной академии. Пропитаться цинизмом и лицемерием лагерных старожил он еще не успел. В проект он верил, верил, исходя из своих профессиональных знаний. Медлить было невозможно. Никому ничего толком не сказав, он взял с собой проект и вылетел рейсовым самолетом из Караганды в Алма-Ату в Главное республиканское управление внутренних дел. Жаловаться? Да, жаловаться и объяснять. Он понимал, что это крайне опасно для всей его карьеры.

Жалобщиков на начальство в Алма-Ате не любили, они нарушали ту сложившуюся иерархию, которая гарантировала спокойную жизнь каждому из начальников. Но ведь Мостовой был молод.

Целую неделю тысячи людей под проливным дождем со снегом продолжали возить и сыпать грунт в речной поток. «Пес» торжествовал, узнав об исчезновении Мостового, он почувствовал себя как бы начальником отделения: давал прямые указания, снимал бригадиров, запретил вести забои вблизи реки, где грунт был мягче. Но, прежде всего, он извлек инженера Беспалого из его уютного домика и поселил в общий барак, а также заставил его сбрить бороду: «Проект закончен, да и по инструкции заключенный должен отбывать свой срок на общих основаниях».

Если бы в советской системе все были бы такими закоренелыми карьеристами и подлецами, как «Пес», или такими трусами-чиновниками, как начальник Главного управления в Долинке, то эта система не смогла бы просуществовать так долго. Пробыв три дня в Алма-Ате, Мостовой возвратился совсем незаметно. Утром в здании Управления никто его еще не ждал. Войдя в кабинет начальника отделения, который сейчас временно был его кабинетом, он, к своему удивлению, застал там начальника режима. «Пес» расположился в его кресле за столом и что-то читал в открытой папке. Сейф с документам был открыт. Увидев Мостового, он сразу же засунул куда-то папку и вскочил. Немая сцена длилась не долго.

— Как вы проникли в мой кабинет и почему вскрыт сейф?! У вас есть полномочия от Главного управления?

«Пес» тут же нашелся:

— Отделение не может работать без руководства, это опасно. Вы куда-то уехали, я должен был принять меры безопасности!

— А разве вы не знали, что моим заместителем перед командировкой в Алма-Ату я назначил лейтенанта Чернова?

— Н-нет! Вы меня не поставили в известность…

— А вы должны читать приказы.

«Пес» обмяк, рябое лицо его стало серым. Мостовой развивал успех. Снял трубку телефона.

— Линкевич, вызовите срочно Чернова и приходите ко мне сами!

Младший лейтенант Линкевич был заведующим канцелярией отделения. В эту минуту Мостовой заметил, что «Пес» намеревается что-то незаметно положить в сейф.

— Положите бумаги на стол! — теперь уже скомандовал Мостовой.

В кабинет вошли Чернов и Линкевич.

— Кто выдал ключи от сейфа и впустил в кабинет лейтенанта

Седых?

— Старший лейтенант Седых приказали мне… он старший по званию…

И тут Мостовой сделал решающий ход.

— Старший лейтенант Седых, вы отстранены от должности! Линкевич, составить протокол о случившимся!

«Пес» засуетился, сник, перешел на другой тон:

— Ну, погоди ты, Саша… я тебе сейчас все объясню… пойдем, вдвоем потолкуем…

И в этот момент взгляд Мостового остановился на бумагах, которые Седых незаметно старался положить в сейф: ими оказались старые акты о хищении старшим лейтенантом Седых двух мешков пшеницы со складов отделения. Год тому назад, в разгар уборочной кампании, два надзирателя ночью случайно натолкнулись на подводу около зернового склада, а в ней — два мешка пшеницы. Был составлен акт о хищении. Завскладом, заключенный с малым сроком, объяснил, что он только что эти мешки выдал Седых, который приказал ему это сделать, обещая, что оформит все в бухгалтерии позднее. Надзиратели не поверили, обыскали все вокруг и в кустах обнаружили своего спрятавшегося начальника. Если бы обнаружил это только один надзиратель, то дело можно было бы замять, но три свидетеля — уже слишком много. Дело дошло до Донченко. Он долго тянул с этим, не хотел сор из избы выносить, да так и оставил дело нерешенным. Но акты, акты оставил у себя в сейфе «до выяснения».

Факт хищения актов из секретного сейфа был зафиксирован в протоколе. Мостовой знал, что вырвись Седых из этого капкана, он будет подло мстить.

— Вы свободны, старший лейтенант Седых!

Наутро из центрального госпиталя примчался сам Донченко. Убежал от врачей. Он уже знал обо всем.

— Линкевич, — радостно зовет он, — иди сюда и составляй срочную бумагу в Управление. Вызываем следственную бригаду!

Но главного еще Донченко не знал. В кабинет вошел Мостовой, бережно достал и молча положил перед своим начальником бумагу. Это было разрешение Республиканского управления из Алма-Аты на производство взрывов. А в конце было добавлено: «Под личную ответственность начальника отделения Донченко». Слово «личную» было подчеркнуто красным карандашом. Полковник торжествовал. Это победа! Прежде всего, он пошел в общий барак и извлек оттуда инженера Беспалова. Тот оказался цел и невредим. На своем фаэтоне Донченко отвез его обратно в домик, созвал все руководство

строительством и открыл заседание.

Инженер снова стал отращивать бороду.

В единственный выходной день в неделе, когда все бригады оставались в бараках и их по очереди выводили в баню, измученные и голодные люди, как правило, спали весь день на нарах в нижнем белье, а остальные вещи отдавали в просушку. Только в одном углу барака, на верхних нарах было оживленно, там расположилось блатное «кодло», то есть избранное общество блатных: им вместе было уютнее. То они начинали играть в карты, которые мастерски изготовляли сами, то парами прохаживались по проходу в длинных носках и знаменитых блатных тапочках, которые шили им «малолетки», или начинали грустно петь под гитару. Чаще всего все это заканчивалось ссорами и разборками, которые в нашем лагере до крови не доходили: страх перед возвращением в северные лагеря был велик. Говорить, или «ботать», старались они «по фене», то есть на блатном жаргоне. Но «фению» — именно так произносили это слово в прежние времена — толком уже не знали. Как мне жаловался однажды старый вор: «Шпана покурочила нашу фению», дескать, городские хулиганы начали говорить на ней и извратили ее.

В годы советской власти было принято считать, что в лагерях, колониях, тюрьмах бывшие уголовники успешно перевоспитываются в настоящих сознательных граждан. На самом деле, за редким исключением, это было не так.

Начинающих воров нередко приговаривали к небольшим срокам, да и то часто условно. Для некоторых короткое пребывание в лагере было своего рода передышкой от постоянной беготни. Тут вор встречался со своей братвой и неплохо проводил время, его воспитывала КВЧ[15], учили писать и читать, показывали фильмы, привлекали к самодеятельности и обучали какой-нибудь профессии. Что касается профессии, то настоящий вор, конечно, свою воровскую ни на какую другую менять не хотел.

Тут и создавалась эта самая фения, или феня, — жаргон, который не должен быть понятен окружающим: например, один вор говорит другому: «Сними лопатник и пусти на пропуль!» — это должно обозначать: «Вытащи у него бумажник и передай через своих рядом стоящих по цепочке». Конечно, в основе этой фени продолжали оставаться и выражения из жаргона царских времен, который состоял из многих иностранных слов: например, «атанде», «шухер» (тревога), «вассер» (опасность). Согласно старой фении, вор никогда не назывался «вором», а только «человеком», во множественном лице — «люди». «Вор» было

словом оскорбительным, ведь в старой Руси это слово выжигали на лбу каторжников. И в старой блатной песне, рассказывающей о суде, это слово остается ругательным:

«Вот выходит прокурор, прокурор,
По лицу он чистый вор, чистый вор!».

В царское время в блатную касту вообще входили только карманные воры высокого класса, те, которые появлялись в обществе на балах, в отелях, в купе вагонов поездов. Часто они носили даже котелки, пенсне, иногда и фраки. Никаких грабежей и насилия. Назывались они «щипачи», только эта элита была «в законе», то есть признавалась воровским сообществом полноправными членами, все остальные воры были для них «бандитами». Уже в советское время эта структура сломалась: в элиту попали или причислили себя к ней все грабители периода разрухи, а также воришки, выращенные в советских трудовых колониях. Постепенно воры в смокингах исчезли, новая «братва» их не хотела признавать: одновременно с Октябрьским переворотом произошел и переворот в блатном мире России. Мне приходилось, уже будучи лекарем, сталкиваться с остатками этой догорающей элиты. Один старик заключенный, работавший теперь на складе, был из таких. Он воровал только в двух гостиницах Петербурга — в «Англетере» и «Астории».

Показал мне свою фотографию тех времен, где он в смокинге с белой хризантемой на лацкане. «Разве теперь это люди! Это же мужики-грабители, — восклицал он и сплевывал, — они и бутылку шампанского правильно открыть не смогут!»

Уже в тридцатые годы к «законным» стали себя причислять вообще все грабители, за исключением может быть «колхозных воров», то есть помимо «щипачей», и «скокари» (квартирные), «майданщики» (вокзальные), «медвежатники» (банковские), а уже в сороковые годы так и просто бандиты. Слово «вор» стало уже почетным, в «фению» проникли новые слова из бандитского и цыганского лексикона, например, «Мариана» (девушка), «дать дуба» (умереть), «качать права» (требовать, доказывать), «кначить» (выпрашивать), «бацать» (танцевать), «тухта» (фальшивка, брак) и другие. Эта каста перестала быть «интеллигентной», насилие стало ее главным методом. Интеллигентные «щипачи» из столиц попали к ним под подозрение, их присутствие в бараке унижало новую «братву». Изменились и законы, теперь уже вор мог работать на общих работах, раньше он не имел права даже лопату и в руки брать. Стало возможным быть бригадиром, если в твоей бригаде

«кантуются» (то есть бездельничают) два-три блатных. Раньше же такого бригадира сразу же за это «ссучивали», то есть лишали воровских прав.

В нашем КАРЛАГе не было засилья блатных, сюда они попадали с воли с маленькими сроками или прибывали из дальних лагерей, с лесоповала, как инвалиды, часто «саморубы» с отрубленными пальцами, а то и кистями рук. Ближайший от нас город, Караганда, состоял наполовину из ссыльных, но не был средой для воровского мира. Нашим блатным было трудно выяснять, кто из них в «законе», а кто «самозванец». Все время возникали разборки, однако не доходящие до больших конфликтов. То и дело кого-то из них «разблачивали» (не разоблачали, а «разблачивали»), то есть определяли, что это «самозванец», и отбирали все его «вольные вещи», аксессуары блатных: кепочку с маленьким козырьком, шелковую подушечку, жилетку, белую рубашку, ну а если повезет, то и хромовые сапоги на тонкой подошве. Мне рассказывали, что в соседнем бараке таких «самозванцев» определили слишком много, так что их число превысило число остальных блатных. Этот цирк с выяснением прав происходил постоянно, шла все время борьба за «авторитеты». Денег больших у них не водилось, да и что такое деньги во время войны. Играли на вольные вещички в «буру» и «штосе». Как у них в песне пелось:

В «буру» и «штосе» я не играю
И карты я в руки не беру,
Тебя, моя крошка, вспоминаю,
Ах, милую, ах, нежную мою…

Было очевидно, что многие из них — «самозванцы», а то и еще хуже — «суки». Выяснение шло каждый вечер:

— Толик, — ядовито вопрошал один. — А ты в Каргопольлаге знал «Толстика»?.. «А Мишаню Косого?»… А вот ведь интересно-то, в Каргополе тоже такой же «Толик Рыжий» до меня был, так он ведь в суках ходил… — И начиналось…

Если приходил новый этап, то многие «цветные» уже стояли недалеко от вахты и просматривали, кто из новых блатных приехал. Могут ведь приехать и такие, что этим и бежать будет некуда. Так уже и случалось, что после этапа два наших «законных» уже оказывались на вахте, прося защиты и перевода их в другую зону. Оказывалось, что они были ссученными ворами.

Я много наслышался о «святых законах», которые были крепки до 30-х годов, да, мол, вот теперь все пошло кувырком. На самом же деле в этой среде есть только один закон — закон

страха одного перед другим. Лишь только этот страх заставляет их выплачивать карточный долг. Хотя фраерам его часто не выплачивали: «Подождешь, мужик, сейчас нет». Взаимная озлобленность и подозрительность царила во всем. «Закон о святой пайке» тоже есть блеф. Если нет рядом других воров, так он спокойно отбирает последние пайки хлеба у работяг: «Делиться, батя, надо!». Если же видит, что появились сильные и смелые работяги, то сразу стихает и жмется в угол: «Я вас не обижу, мужики!».

Да и вообще, кто присваивает им это «рыцарское» звание «вор в законе», как не они себе сами. Если сколотили группу бывшие хулиганы, накололи себе на груди и руках: «Не забуду мать родную», то и объявили себя в «законе». Кто ведет на них картотеку? Все решается силой, авторитет в силе, как в стае волков. Один на другого давит и загнать в угол хочет, если может.

Вначале у нас в бараке роль «пахана» взял на себя Володька-Ключ — огромный детина с одутловатым лицом и глазами-щелочками. Его вроде бы «люди» на Карабасе знали еще «по воле в Ростове». Он только один получил право у всей этой своры не работать в забое, он кантовался у своего бригадира, стоял у костра и ветки подкидывал. Остальные все вкалывали, то есть работали. Работа изматывала не только нас, но и блатных, только по выходным они приходили в себя, начинали играть или петь, а то и танцевать.

— Комар! Сбацай! Просим все тебя… — призывал Ключ.

Выходил в проход Саша-Комар, молодой полуцыган, натягивал свои хромовые сапожки со специально для танца наклеенной подошвой и начинал сначала прохаживаться, как бы собираясь, настраиваясь. Затем застывал и принимался медленно, нехотя пощелкивать по полу. А потом и трели пошли. Самым трудным «степом» считался вальс, там нужны повороты.

Цыгане не могли быть «ворами в законе», хотя воровство и было их действительной профессией. Но они, как и воры других народностей Азии, относились к «полуцветным», и большинство из них почему-то получали кличку «Юрок». К ним «законные» были снисходительны, не препятствовали их промыслу, но заставляли прислуживать. Вообще же, все работяги из Азии назывались просто — «зверь». Расовые законы у блатных — вещь святая!

Вечером, когда становилось в бараке темно, начинала звучать гитара, и кто-либо немного фальшиво напевал слегка переиначенные слова старого романса:

Мы ушли от проклятой неволи,
Перестань, моя крошка, рыдать,
Нас не выдадут верные кони,
Вороных уж теперь не догнать!

Внизу под моими нарами я заметил пожилого человека с седой щетиной на голове и с большими остановившимися глазами.

— Фаворский, — как-то странно, по фамилии, представился он.

Сразу вспомнился знаменитый русский химик, а также известный уже в советское время график В. А. Фаворский. Оказалось, что он родственник и того, и другого и тоже химик, работавший в двадцатые годы в Германии, за что, видимо, его и посадили. На плотину его не выгоняли, он был в инвалидной бригаде, которая чистила туалеты на улице и убирала в зоне. Я заметил, что каждый выходной он бережно доставал из мешочка под головой какую-то книгу, уходил в угол к окну и там, сидя на пожарном ящике с песком, погружался в чтение. Библия? Нет, оказалось, это был «Декамерон» Боккаччо. Вообще-то, книг в бараке ни у кого не было — не до книг! Но эта склонившаяся над новеллами итальянского Возрождения фигура напоминала что-то мирное и домашнее, с чем было уже давно покончено.

Однажды поздно вечером сосед по нарам попросил его рассказать, что он там читает. После неоднократных отказов и повторных просьб, вдруг я сверху услышал, как полился плавный и выразительный рассказ. Говорил Фаворский негромко, но художественно, видно было, что это человек большой культуры. Когда он окончил, то оказалось, что в проходе около нар скопились работяги, пара цветных и напряженно слушали.

— Батя! Тебя Ключ зовет, он тоже хочет послушать. Пойдем к нему наверх. Вот он тебе сахарок и хлеб прислал.

Так Фаворский оказался в гостиной у короля, в блатном углу на нарах, среди разбросанных шелковых подушечек. Я услышал, что он начал пересказывать новеллу Проспера Мериме «Кармен». Сначала тихо и бесстрастно, но потом, когда он ощутил всеобщее внимание, голос его стал крепче и он даже принялся жестикулировать. Весь блатной мир барака собрался вокруг него и молча слушал. Лишь только в самых драматических местах возникали реплики, например, в сцене, когда Кармен соблазняет офицера Хозе: «Чинно клюет легавого!» — что должно было обозначать «умело соблазняет полицейского».

А в финальной сцене, когда он закалывает ее, и сам Ключ не

выдержал:

— Ну что ж она, падла, сама-то нарывалась!

Теперь уже сразу после рабочего дня блатные отправляли к Фаворскому посланника с гостинцем и с нетерпением ждали концерта. Меня поражало, сколько литературных драматических сюжетов во всех подробностях хранилось в голове этого незаметного человека, вдруг ставшего кумиром всего барака. Некоторые его рассказы были слишком длинны для одного вечера, и он, как Шахерезада, доходил до драматического места и вдруг сообщал, что продолжение последует завтра. Блатные называли его рассказы «романами», с ударением на «о».

Однажды в «репертуаре» шла «Дама с камелиями» Александра Дюма. Как это часто бывает у жестоких людей, блатные были очень чувствительны к мелодрамам. Даже Ключ то и дело с воплем ударял кулаком по нарам, когда отец Альфреда Жермон уговаривал Виолетту оставить его сына: «Ну, гад! Ну, поди же ты, сука какая!». Лица блатных на время преображались, в них сквозило что-то детское: ведь и они были же когда-то Детьми! В финальной сцене с умирающей Виолеттой Фаворский перешел на шепот, и Ключ снова не выдержал: «Скажи, батя, сразу — она, что, дуба даст?».

Еще через три недели стало видно, что Фаворский иссякает, он уже пересказал «Графа Монте-Кристо» и перешел к «Анне Карениной». Рассказывать он стал только по выходным, а потом и совсем, сославшись на больное горло, перестал. О нем вроде бы и забыли. И теперь снова, как и прежде, по выходным, его можно было видеть у окна с «Декамероном» в руках. Блатные начали ревновать:

— Батя, что же это ты книгу читаешь, а нам ее не рассказываешь, — уже язвили вокруг него.

Прошло еще несколько дней.

Никогда не следует заблуждаться относительно «законов великодушия и благородства» блатного мира. В один прекрасный день книга Фаворского исчезла из мешочка, хранящегося под головой. Старик Фаворский униженно стоял в проходе у блатного угла и просил Ключа ее отдать.

— Так ты же ее уже прочел — теперь мы читаем! — под злорадный хохот своей своры сострил Ключ. И тут же один из «шестерок» показал пачку оторванных страниц и начал скручивать махорочную сигаретку.

— Уж ты извини нас, батя, — деланно стал кривляться Ключ, — я вот тебе и поклонюсь… — начал он свою клоунаду под общий хохот. — А теперь скорей-ка иди отсюда! — прошипел он.

Но Фаворский присел тут же внизу на краешке нар, согнулся,

положил голову на ладони, и все тело его начало вздрагивать. Он рыдал, рыдал от унижения.

А ведь предупреждал его, что никакого «закона» у блатных нет, кроме одного: «Ты умри сегодня, а я завтра!».

На воротах вахты в нашей зоне, на морозном ветру, трепыхалась красная истрепанная лента плаката: «Только через честный труд ты сможешь войти в семью трудящихся!»

Но входить в эту семью было очень трудно. Ни один человек не мог выполнять норму несколько дней подряд, как бы крепок и тренирован он ни был. Выработка его начинала снижаться, а с ней и норма хлеба, возникал дьявольский круг: норма снижает питание, а затем питание норму. Блатные хорошо этот «круг» знали, они переделали известный афоризм Фридриха Энгельса, и теперь он звучал так:

«Труд тебя породил — труд тебя и погубит!»

Морозы, несмотря на приближающуюся весну, все крепчали. Мои руки в обмотках постепенно превратились в две клешни с огрубевшей, потрескавшейся кожей. Не помогал и солидол, банки с которым для смазывания осей тачек находились в бригаде. Норму выполнять нам уже больше никогда не удавалось. Получая по 550 граммов хлеба, мы шли ко дну. Никакие бригадиры и десятники этой нормы от нас уже и не требовали: они видели, во что мы превратились. Однажды в соседнем забое в конце работы мы обнаружили уже замерзшее тело нашего соседа, с которым мы еще утром разговаривали. Он оставил своего напарника и пошел за кипятком, да так и не вернулся. Поискал его напарник, да и сам присел покурить. Нашли его через два часа, он лежал, аккуратно положив свои рукавицы под голову, и был мертв.

Рядом с нами работали также два буддийских монаха из Бурятии. По их рваным стеганым халатам было видно, что их взяли недавно. Они то и дело садились и принимали свои традиционные позы моления и, несмотря на ветер и снег, невозмутимо смотрели вдаль. Лица их выражали совершенное спокойствие, видно было, что все внешнее совсем не проникало в их внутренний мир. Объясняться с нами они могли только жестами, так как не знали никакого другого языка, кроме тибетского. На снегу один из них написал нам: «58–10», это обозначало, что сидят они за «антисоветскую агитацию». Уже на второй день они начинали работу с того, что стаскивали прутья и корни на свой участок и разводили небольшой костер. Они сидели и ждали, пока он прогорит, затем раскладывали золу по всему периметру забоя и опять ждали. Мы же в это время, как окаянные, долбили мерзлый грунт. Еще через два часа мы

заметили, что, несмотря на их долгое сидение, они углубились больше, чем мы. Секрет заключался в том, что грунт в их забое оттаял, и они брали его не кайлом, а простой лопатой. Мы сразу же переняли их опыт, и у нас в забое тоже запылал костер, и оттаяла земля. Весть о новом способе разнеслась по всему участку, и зажглись костры всюду, но никто не знал, что это открытие сделали два буддийских монаха.

У блатных мы тоже учились, но другому — учились «заправлять тухту», то есть жулить. Мы старались продолжать работу в старых забоях, а не открывать новые. Продолжая забой, мы в конце дня «освежали» некоторую часть примыкающих стенок, так что создавалась иллюзия, будто бы мы его выработали и вывезли именно сегодня. Тачки мы стали накладывать неполные, но счет их был прежним. При замере выполненной нормы мы показывали свежие стенки, по ним шел замер и получалась норма. За нашу «тухту» мы стали получать уже 650 граммов хлеба и дополнительную кашу! «Не обманешь — не проживешь!» По лицу учетчика, молодого интеллигентного румына, можно было предполагать, что он чувствует что-то неладное, но молчит, он такой же заключенный, только с небольшим сроком. Но долго так продолжаться не могло, нас переводили на новые участки, где уже не было старых забоев, и мы, несмотря на все старания, выполнять норму уже не могли. Снова начинался голод.

Ботинки мои стали разваливаться, так как ноги стали почему-то отекать, отеки пошли и под глазами, я знал, к чему это ведет.

Уже 500 человек, около десяти бригад, работают на другой стороне реки, в двух километрах выше по течению. Они строят обводной канал, по которому после взрыва начнется сброс части воды из реки. Об этом взрыве все только и говорят.

Целую неделю Донченко нет на месте: он ищет опытного специалиста-подрывника в других соседних отделениях — от опыта этого человека теперь все зависит — он решит судьбу плотины.

Поздно вечером к зданию Управления подъехала пролетка начальника, там, кроме Донченко, сидел еще какой-то очень с виду старый, седой человек — это был он, подрывник. Нашли его на одной из шахт в Караганде, и сидел он, как и инженер, за «вредительство». Его и поместили также рядом с инженером, в том же домике.

На следующий день этот специалист провел рекогносцировку на месте. То он стучал по скалистому грунту молоточком, держа свое ухо прижатым к земле, то измерял что-то с помощью теодолита и чертил на своей схеме. В некотором отдалении

стояла группа руководства строительством и в каком-то оцепенении следила за его действиями. Соверши он ошибку, с ним ничего особенного не случится — он ведь заключенный, а вот с ними…

Днем ему прямо к реке привезли на пролетке горячий обед из офицерской столовой, поставили стол и стул на грунт под открытым небом, накрыли стол чем-то белым и пригласили его откушать. Он сел в какой-то задумчивости, пригласил рукой еще кого-нибудь присоединиться к его трапезе — никто не шевельнулся, так как оцепенение еще не прошло — и он один с аппетитом пообедал. Затем встал, достал баночку с белой краской и, карабкаясь по прибрежным скалам, стал чертить на них какие-то кресты. Наконец он закончил это колдовство, подошел к стоящей в отдалении группе начальников. Донченко с осторожностью спросил:

— Ну, что?

— Пойдет, — последовал ответ.

И это слово, передаваясь от одного к другому, полетело от начальства к бригадирам, а от бригадиров к работягам: «Пойдет… Пойдет… Пойдет…».

Работягам тоже нужен был этот взрыв: он приблизит окончание работ, и многие будут спасены.

Уже на следующий день в отмеченных местах начали бурить породу особым буром, который был привезен вместе с подрывником. Потом мастер сам бережно завертывал большие картонные гильзы с динамитом и закладывал их в проделанные отверстия.

Все было готово. Еще через день нас всех сняли с правого берега и перевели на левый, где находился канал, мы должны быть готовы защитить берега канала, если вода начнет перехлестывать через них.

Это утро было особенно пасмурным и холодным. Никто не работал, все сидели и ждали. И вдруг в тучах, примерно в том самом месте, где была наша стройка, образовалось отверстие, через которое брызнули лучи солнца и на какое-то время осветили всю огромную панораму стройки и рассеянную массу людей с бледными лицами, повернутыми в направлении предстоящего взрыва. Вероятно, это было благоприятным знамением. И буквально через несколько секунд послышались свистки — сигнал, по которому мы все должны были спрятаться в забоях. Прошло еще немного времени, и в толще земли возник какой-то рев, и через несколько секунд раздался оглушительный взрыв, за ним второй и третий. Со стороны реки в воздухе возник коричневый столб клубящегося дыма, который, достигнув

определенной высоты, начинал плоско стелиться, двигаясь в сторону строительной площадки. Наступила тишина, запахло «химией». Было видно, как Донченко, а за ним вся свита, бегут вверх к месту взрыва, и, наконец, оттуда донеслись радостные крики. Это пошла вода из реки в канал. Наконец, и мы эту воду увидели, она, как гигантская коричневая змея, неслась по каналу, подхватывая забытые там тачки, доски и кусты. В этот день нас всех сняли с работы раньше и увели в бараки, где мы и получили обед. Хотя это и был тот же кусок соленой рыбы, но он нам показался вкуснее, ведь взрыв удался.

На следующий день, когда мы подошли к плотине, река уже обмелела, берега обнажились, и напор воды спал. Но облегчение к нам не пришло, для нас начиналось самое трудное — смыкание последнего узкого проема плотины.

Все надзиратели и охрана уже были на участке и орали на каждого, кто хоть на минуту садился. Донченко без шапки в какой-то брезентовой куртке метался по гребню плотины: «А ну, братцы, не подведите — никто обижен не будет!». Вдруг все мы стали его «братцами».

Из здания Управления были выгнаны на земляные работы все «придурки», то есть служащие из заключенных. Люди со складов и мастерских тоже были здесь. Тачек всем не хватало, выдавали носилки. «Давай, давай, давай!» — только и слышалось всюду.

Донченко пошел на должностное преступление: приказал выпечь хлеб сверх нормы и раздавать его всем работающим как дополнительный паек. Кашу выдавали без ограничений. Лучшим, выполнявшим больше нормы, он давал по 50 граммов сала, причем, как оказалось, он заколол для этого свою свинью. Но ничего не могло оживить истощенных людей, они начинали суетиться, однако работы от этого не прибавлялось. Благодаря тому, что воды шло уже во много раз меньше, сантиметр за сантиметром сближались стороны плотины. Кто-то еще дал совет сплетать из веток кустов маты и класть их к кромке воды: они задерживали смыв грунта. Камней на участке для забучивания не было, как и технических средств, чтобы доставить их на плотину. Работа продвигалась очень медленно, хотя работали в две смены.

Охрана стояла у мостков и подгоняла, люди с тачками пытались вести их бегом, но это уже не получалось. Если кто-либо останавливался с тачкой на мостках, то охрана сбрасывала его в сторону, в жидкую глину, чтобы он не мешал проезду других. Но настоящего штурма реки не получалось.

Петя мой совсем сник, его уже несколько раз сбрасывали с мостков. На мои вопросы он не реагирует. В обед кашу не доел. Все время садится и курит. Я стал тачку возить один, а он только

набрасывать. Поработав так до обеда, я почувствовал, что до съема так не выдержу, о выполнении нормы и речи не могло быть. Когда везу тачку на последнем участке, вдоль обрыва к реке, каждый раз дух захватывает и уверенность, что дотащу ее до сброса, покидает меня. Слева пропасть, крутой земляной обрыв метров пятьдесят, а там бегущая вода. Каждый раз ноги становятся ватными, а сзади только и слышно: «пошел, пошел, пошел»!

Вернулся в забой, вижу: Петя сидит, опустив голову, а над ним вольный десятник кричит что-то ему в ухо, но я не слышу что. Пока Петя принялся медленно набрасывать, я сижу, отдыхаю. Ступни ног перестали чувствовать твердость почвы. С чего бы это?

Что и говорить, есть у человека чувство наступающей беды. Повез я ее, эту нагруженную грунтом тачку, а внутри что-то говорит: «Оставь, оставь ее!». А вот и эти последние метры, тут нужно быстрее… И вдруг я чувствую, что тачка сама тащит меня. Но куда? В сторону от меня, налево! И вот что-то твердое и большое прижимается справа с огромной силой, это рукоятка тачки. Она валит меня вниз под откос плотины, туда, к реке. Я ничего не вижу, все лицо в глине, чувствую, что перевертываюсь и перевертываюсь, катясь вниз. На секунду все оценил, и что-то сжалось в безумном страхе внутри живота: «Это же конец!» Вдруг падение прекратилось, но мои ноги погружаются в холодную жидкую глину, на краю потока, я хватаюсь за тачку, а она уходит в глубину, перевертываюсь ничком и начинаю куда-то плыть…

Холодно, очень холодно! Очнулся я на дне забоя. Надо мной наклонились два незнакомых человека и очень спокойно смотрят на меня. «Носилки»! — скомандовал один, и я понял, что меня сейчас унесут.

В госпитале для заключенных тепло. Лежу я на брезентовом матраце под тонким одеялом из мешковины, на мне холстяная рубаха. Тишина. «Я спасен, спасен!» Здесь спасали редко. Мне дали выпить разведенного спирта с какой то таблеткой, и я заснул.

Петя мне потом рассказал, что меня заметили и вытащили из потока те самые тибетские монахи. Они вошли в ледяную воду!

А что с плотиной? Ее перекрыли уже в конце той рабочей смены, и вода, достигнув нужного уровня, пошла заполнять старое водохранилище. Вход в новый канал был перекрыт еще одним взрывом. Теперь огромные посевные поля двух лагерных отделений получат летом воду и не пересохнут. Человеческий баланс этого успеха был печальным: из 1800 человек, поступивших в отделение с Карабаса, погибло 750.

Начальство торжествовало. Заключенных три дня не выводили на работу: «Пусть отдохнут ребята!» — приказал полковник Донченко, а сам ходил по поселку пьяный и с каждым встречным в Управлении обнимался: «Ну, ты на меня сердишься? Ну, дай я тебя…».

А я? Я выжил. Видимо, так было приказано свыше.

«Конвой стреляет без предупреждения»

Это романтическая история, но, к сожалению, она с печальным концом.

На колючей проволоке сидят грачи. Они то и дело слетают вниз, чтобы что-то схватить со свежераспаханной полосы перед зоной.

Белесое солнце. От земли поднимается пар. Степь уже начала освобождаться от снега, и на ее белом покрывале появляются большие желто-коричневые пятна прошлогодней травы. Легкий ветерок приносит запах оттаявший земли. Весна.

Люди выходят из бараков, рассаживаются прямо на земле вдоль стен и застывают так, греясь в солнечных лучах. На ярком свету уже невозможно не заметить бледность их небритых лиц, прожженные дыры от костров на телогрейках и неровно стертые по бокам деревянные подошвы ботинок. Большинство из них сидят молча, не тревожа соседа, наслаждаясь этой тишиной и покоем. Зиму они пережили.

А за проволочным ящиком зоны, в кристально-чистом воздухе развернулась панорама казахстанской степи: холмы и холмы, уходящие за горизонт, и кружащие в воздухе стаи уже прилетевших птиц.

Площадка зоны так мала, что когда вечером людей выстраивают на проверку, с боков остаются лишь проходы для надзирателей. Земля на ней оттаяла и превратилась в жидкую грязь с протоптанными тропинками между бараками, ведущими к деревянным будкам туалетов, к воротам вахты, ну, а больше никуда пути нет. На сторожевых вышках видны красные от ветра повеселевшие лица солдат. Они тоже рады весне.

В стеклах зарешеченных окон бараков я вдруг замечаю себя, остриженного наголо с провалившимися щеками и усталыми мешками под глазами. «Как же все это могло случиться? И что еще дальше будет? Неужели я здесь навсегда?» И вспомнилась реплика из чеховской пьесы «Иванов»: «Пропала жизнь!».

Сегодня никто не работает. Сегодня у них праздник, 1-е Мая. За зоной в лагерном поселке ходят принарядившиеся люди, в чистых ватниках, меховых шапках, цветных платках и валенках с

галошами. Это не только «вольные» — жены охранников, но и те счастливчики-заключенные, которым разрешают жить без конвоя, так называемые расконвоированные. Человеческий ад многоэтажен.

Кто-то крикнул мне, чтобы я шел на вахту. В дверях вахты появилось заспанное лицо надзирателя: «Распишись вот здесь и получи», — протягивает он мне какой-то мешок. Беру его и с удивлением замечаю почерк моей мамы, которым написан на холсте мой лагерный адрес. И, наконец, письмо, в котором она пишет, что была в Главном управлении лагеря, в Долинке, но ее ко мне не пустили, так как я считаюсь опасным преступником. В конце письма: «Все будет хорошо. Я обжаловала решение суда. Держись, родной!».

Уже год как я ничего не слышал о маме. Я ложусь ничком на нары и закрываю глаза. «Там на воле все живут, как и прежде, а я один здесь. Что же ты с собою сделал?!»

В мешке я нахожу белые сухари, кусок сала, конфеты, копченую колбасу и… огромные белые сибирские валенки. Они опоздали — зима уже кончилась. Да разве в таких можно было бы строить плотину: они для вольной жизни, значит, не для меня.

Продукты в бараке, конечно, оставлять нельзя — украдут сразу же. Посылки хранят в специальном шкафу, который стоит в комнате («кабинке») коменданта барака. День и ночь двери охраняют огромные детины, «ссученные» блатные. Доступ к своему сокровищу ты можешь иметь только в определенный час после работы: отрежь пару кусочков и неси за пазухой в барак, да еще «пошлину» телохранителям не забудь отдать.

Наш комендант лагеря, по фамилии Лощинов, был из старых лагерников и имел кличку «Волк», так как во всем его облике было что-то волчье: землистого цвета исхудалое лицо со впалыми щеками и большим длинным носом, глубоко засевшие под седыми бровями темно-карие глаза. Зубы почти все из металла, так что когда он говорил, они хищно поблескивали. Приступы кашля то и дело душили его, и тогда все его длинное и худое тело начинало содрогаться, и он еще больше сутулился. В северных лагерях получил он туберкулез легких и был направлен в наш южный лагерь. Говорил он тихо, хриплым голосом и никогда не кричал, но какая-то сила и бесстрашие чувствовались во всей его натуре. При появлении Лощинова все в бараке сразу стихало, блатные прятали свои карты и почтительно приподнимались на нарах.

Говорили, что на воле в 30-е годы был он начальником чекистского оперотдела НКВД Закавказья и проводил там чистки среди старых коммунистов по указаниям Москвы. С уходом

наркома Ежова его самого посадили на 10 лет. Видимо, начальство нашего лагеря чувствовало в нем своего и доверило пост коменданта. Да и сидеть ему оставалось всего год, так что он уже готовился к воле, к новой жизни: раздобыл себе кожаное пальто, хромовые сапоги и расхаживал в них по зоне.

Ему была отведена комната в конце барака, охраняемая его телохранителями. Однако случилось так, что и эта охрана оказалась несовершенной. Проиграли блатные Лощинова в карты — ненавидели они его, но боялись. Приблизиться же к нему было невозможно, так как даже по зоне он ходил только в окружении своих. И придумали все-таки блатные, как обмануть его охрану.

Днем он имел обыкновение часок поспать после развода, в это-то время и подослали они к нему своего малолетку с ножом. Мальчишка показал в дверях охране пакет с пачками сигарет — подарок коменданту от блатных. Охрана не усмотрела подвоха и пропустила его в комнату. Комендант спал. Но когда по его черепу начал скакать нож, он с ревом вскочил и нашел в себе силы схватить мальчишку и прижать к земле. К счастью, раны были поверхностные, так как нож сломался.

Когда же в комнату вбежала охрана и принялась избивать малолетку, Лощинов заорал на них: «Оставьте! Скорее санитара!». Струи крови текли по его лицу.

Все думали, что еще до суда мальчишку сгноят в холодном карцере, но ошиблись. Сидя с забинтованной головой, Лощинов успокаивал подоспевших надзирателей: «Да ничего особенного. Это я сам стукнулся спросонья о железную кровать».

Вечером он, как ни в чем не бывало, появился на проверке перед строем, кровь просачивалась и через бинты. Было видно, что ему трудно передвигаться, но он шел вдоль строя, всматриваясь в лица. Вдруг остановился перед одним из блатных и без единого слова уставился на него своим пронизывающим взглядом. Постояв так с минуту, отыскал другого в строю и приблизил свое лицо так, что их носы чуть не столкнулись. Это был приговор. Видимо, он уже знал, кто подослал к нему малолетку. Ночью толстый Витек и Муха исчезли из нашего барака, и больше мы их никогда не видели.

Ну, а что с мальчишкой? Из него он сделал своего личного дневального, прилично одел, заставил его регулярно менять перевязки на его голове и читать газеты вслух — чтобы грамоте учился. Более верного слуги у него быть не могло. Парень был сиротой, из детского дома убежал, стал воровать на базарах, попал в детскую колонию, там опять что-то натворил и получил уже солидный срок. Старый чекист, следуя заветам Дзержинского,

решил воспитывать его.

Мне никогда не приходилось говорить с комендантом, но после этой истории пришла в голову мысль: отдать ему, уходящему на волю, эти валенки. Уже тогда мне было ясно, что в лагерном мире все основано или на силе, или на взятке. Подошел я вечером с этими валенками к его дверям, объяснил все охране и попросил, чтобы передали ему. Через минуту и он сам появился в дверях: «Зачем это, сынок?». Я ему: «Вам на волю, а мне они здесь летом и совсем не нужны». Впился он в меня глазами, видимо, размышляя, кто я такой, и после большой паузы прохрипел: «Ну, что же, я возьму, наверное, подойдут. Спасибо тебе, сынок».

Прошло еще несколько дней. За это время в нашу зону посыпались с этапов странные люди, одетые по-европейски, в пиджаках с накладными карманами, в жилетках и брюках гольф. Эта была элита прибалтийских республик из эстонцев, латышей и литовцев. После войны советское КГБ хватало без разбора всех, кто побогаче или познатнее, и приговаривало к большим срокам, «за пособничество врагу». Было видно, что они еще совсем «свежие» и оглушены тем, что так неожиданно случилось с ними. Наши блатные насторожились — такое богатство свалилось на них с неба. Но прибалтов разместили в отдельном бараке и у дверей поставили охрану. На вечерней проверке комендант, разыскивая глазами блатных, объявил:

— Одного тронете, сидеть в ШИЗО до моего освобождения будете, а я еще не скоро освобождаюсь.

И пошла только честная торговля — за табак, за хлеб и сахар то кепочку, то жилетку. Боялись «Волка» блатные.

Мой больничный отдых подошел к концу. Стою на разводе с тяжелым чувством, что опять заметут меня в бригаду копать землю. Вдруг вижу, как с каким-то списком в руках комендант вызывает из строя людей и строит их в стороне. У них фамилии очень странные: Моцкявичус, Липеньш, Бразаускас… Вдруг я слышу, что и моя фамилия была названа. Комендант жестом подзывает меня к себе и, когда я подхожу, деланно сердито кричит: «Принимай бригаду! Вот тебе список. Возьмешь там инструмент, на картошку пойдете».

Я — бригадир! Не выказывая удивления и смущения, подхожу к кучке отобранных людей и стараюсь кричать тем же тоном, что и комендант: «Бригада, внимание! Я назначен вашим бригадиром. Постройтесь в шеренгу по два. У кого какие жалобы есть? Кто хочет получить казенную обувь?». И здесь я замечаю, что комендант с некоторым удивлением смотрит на меня, сдерживая улыбку. А ведь всем казалось, что он никогда не улыбается.

Закончив свою первую речь к бригаде, я вдруг заметил, что

меня никто не понял. Они не понимают русского языка! И тут обращается ко мне на плохом русском представительный человек, одетый в полувоенный френч: «Разрешите, я переведу». Это был Зауер — один из министров правительства Эстонии.

Увидев, что по списку в бригаде одного не хватает, подхожу к коменданту. Он мне: «Это я тебе одного „цветного“ на исправление дал. Завтра его из карцера выпустят».

Так! Без этих, значит, обойтись невозможно.

Утром принял нашу бригаду конвой:

— Бригада, внимание, за невыполнение законных требований конвоя и при попытке к побегу конвой применяет оружие без предупреждения. Взять руки назад. Направляющий, шаа-а-гом марш!

И повели нас через оттаивающие поля к огромным огородным плантациям, очищать почву от корней капусты и картофельной ботвы. Вскоре появилась и заведующая огромным огородным хозяйством лагеря, полная женщина в кожаной куртке с папироской в руке. Сразу видно, что из бывших заключенных. С презрением осмотрела она моих работяг. «Ну, уж и дали!» — пробурчала она, отмеряя нам дневную норму. Я сразу заметил, что в нашей работе она кровно заинтересована: за урожай овощей отвечать ей. Стал я тут же убеждать ее, что люди голодные, с этапа, и что без ее поддержки хорошая работа не пойдет. Видимо, была она такого же мнения, так как в обеденную паузу появилось ведро горячей картошки, которую я тут же поручил Зауеру раздать всем.

К моему удивлению, люди работали очень добросовестно, как на своем огороде — чувство хозяина они еще не утратили. Я разбил всех на звенья и каждому дал свой участок, а сам начал разводить костер из старых ящиков, чтобы они могли приходить время от времени погреться. Вечером я назначил из них дневального, который собрал мокрые вещи для сушки и раздал хлеб. Для меня началась новая жизнь — жизнь бригадира.

На второй день на разводе надзиратель подвел к моей бригаде еще одного, недостающего. Это был смуглый, небольшого роста парень, закутанный в большой ватник. На ногах тапочки, сшитые из хромовой кожи, широкие шерстяные брюки заправлены прямо в носки, а на голове модная кепочка. Сразу ясно, что из «цветных».

Смотрит он на меня с ухмылкой, как бы извиняясь, а во рту поблескивает золотая коронка — фикса.

— Я к тебе, бригадир. За хорошее поведение в твою бригаду определили, — пытается он шутить, переминаясь с ноги на ногу, как будто бы только на минуточку вышел со мной познакомиться.

Повел я его одеваться. Долго и со смехом натягивал он на себя ватные брюки и кирзовые ботинки. Свои же вещи аккуратно свернул и отнес в барак, только кепочку оставил: без нее нельзя — блатная униформа.

По фамилии он значился Владимир Кочин, и лет ему было не более двадцати. Сидит уже третий раз. Я сразу разглядел в нем цыгана и понял, что настоящим вором в законе быть он не может, а только «полуцветным». Из уважения к его лагерному опыту блатные не называли его «Юрком», как обычно цыган, а окрестили его «Володькой-Зверем». Теперь этого «зверя» я должен приучать к работе.

На огородной полосе он валял дурака, постоянно приходил греться у костра, и ни о какой норме и речи не могло идти.

— Почему сидишь, когда другие работают?

— Образование не позволяет, бригадир, — отшучивался он. Долго я обдумывал, как мне его к работе привадить и в тоже время его статус не унизить. И начал он со мной вместе корзины к дороге таскать или вилами отходы из кучи на подводы набрасывать. Но стоило мне только к другим отойти, Володька уже у костра сидит.

Подошла заведующая, «тетя Мотя». Смотрю, мой цыган около нее крутится, шутит, заговаривает. А через час-другой уже и за талию ее прихватывает.

— Не забудь, Володька, сказать ей, чтобы бригаде ведро картошки поставила! — шепчу ему я. И действительно, после обеда горячая картошка опять появилась. Постепенно он сам нашел себе нужное место в бригаде: стал порядок наводить — корзины таскать, подводы грузить, костер поддерживать. Вечером перебрался он в барак, где размещалась наша бригада, и расположился на верхних нарах прямо надо мной.

— Бригадир, не хмурься, я тебе помогать буду.

И стал он миски с ужином мне и себе прямо в барак приносить. Небольшую подушку для меня раздобыл. Чай в большой кружке стал готовить. В общем, стал он хозяйственником в бригаде.

Но все-таки главными для него авторитетами оставались блатные. Вечером после ужина он начинал собираться к ним в барак. Надевал красную рубаху навыпуск, синие брюки, хромовые тапочки и, конечно, кепочку. Что он там делал у них в бараке, мне было не ясно, танцевать по-цыгански он не умел, петь тоже. Но вид он делал такой, что там обойтись без него не могут.

Наколок было у него немного. На плече: «Не забуду мать родную» — как выяснилось, матери он не помнил — и на руке: «Вова 1930».

— Это я так, — показал мне он на год рождения, — чтобы в колонию малолеток попасть. Документов ведь у меня никаких не было.

День за днем, и я как-то уже без него и ужинать не садился. Так и пошло: если кто-то что-то достанет съестного, все делим на двоих. По воровским законам Володьке-Зверю «кушать» с «фраером» было не положено. Но вникать в это никому из блатных было неинтересно — ведь он же только «полуцветной».

Иногда поздно вечером перед отбоем мы с ним вели неспешные беседы. Он меня все расспрашивал о богатых городах в Европе, о Лондоне, Париже, и о русском императоре, правда ли, что императрица убежала в Германию. А еще о Суворове, будто бы он Наполеона в плен взял, а потом за миллион отпустил.

— А скажи, Володя, — уставился я как-то ему в глаза, — хотел бы ты родиться, положим, в центре Москвы, в семье какого-нибудь инженера и закончить там университет?

Володькины глаза стали вдруг грустно-серьезными:

— А кто бы этого не хотел?

И здесь я почувствовал, что он, по сути своей, такой же юноша, как и я, и все это понимает, только судьбы наши разные.

Постепенно стал он и о себе рассказывать. Родился в городишке под Москвой, родителей помнит смутно, вроде бы они торговали чем-то на рынке. Куда затем подевались, не знает. Помнит, что совсем ребенком оказался он в детском доме, из которого с дружком через год бежал: «били нас там». Шатались по поездам и рынкам, искали, где что плохо лежит. Вскорости загремели в милицию, а затем и в колонию для малолетних. Там его в школе учили и даже в пионеры приняли. «Вот была потеха-то!» — вспоминал он. Бежал он оттуда через два года, так и не окончив среднюю школу. Писал, как слышал, — без грамматики.

Срок у него был большой — восемь лет.

— Недоразумение получилось, — как бы оправдывался он.

И рассказал мне свою историю. В самом начале войны приладился он «очищать» брошенные дачи под Москвой, благо хозяева эвакуировались в тыл. И все шло гладко, но вот однажды случилось «непонятное». Заскочил как-то он в одну стоявшую без света дачу через «штифт» (окно). Пошарил по комнатам и ничего стоящего там не нашел, прихватил только большой радиоприемник и старинные настенные часы. Но оказалось, что дача была не пуста: в ней спала хозяйка, которая как услышала, что кто-то лезет в окно, спряталась в большой сундук. Володька этого не заметил, он вылез обратно в окно и подался на железнодорожную станцию, где ему очень не повезло: он натолкнулся на военный патруль, который обратил внимание на

его радиоприемник: все приемники должны были быть уже сданы государству. Его задержали. Утром вместе с милицией стали с ним обходить дачи, пока не нашли ту самую. Осмотрев ее внутри, милиция натолкнулась на сундук и обнаружила там мертвую хозяйку. Оказалось, что крышка сундука захлопнулась на петлю снаружи, она не смогла оттуда выбраться и задохнулась. Какой же суд поверит цыгану, что он ее туда сам не посадил и даже вообще не видел! Так и стал Володька убийцей.

По вечерам, лежа наверху на нарах, он начинал заунывно петь цыганские песни, слов которых до конца не знал, и когда песня обрывалась, он свешивался ко мне вниз и рассказывал, чем эта история должна закончиться. На гитаре играть он тоже толком не умел, хотя брал лихо три-четыре аккорда, так как понимал, что цыгану нужно знать гитару.

Дух предпринимательства кипел в нем. Как-то пришла ему в голову идея из старых пиджаков прибалтов шить модные кепочки для блатных. Материал для изделий он выменивал за сигареты и сахар, которые приносил из блатного барака. Вещи прибалтов были сшиты из отличного материала, иногда с надписями английских фирм. Из любой вещи можно было выбрать несколько целых кусков и нарезать детали по образцам для кепки. Этим образцом, шаблоном, служила, конечно, сама Володькина кепи, которую он сохранил с воли и называл «москвичкой». Кепи состояла из восьми клиньев, которые сходились наверху к матерчатой пуговице, при этом маленький козырек был прикрыт верхом кепи. Это был блатной стандарт.

До поздней ночи он кроил и шил у себя наверху, затем готовое изделие клал под пресс, которым служили его нары, и рано утром спешил в блатной барак на «торги». Кепи продавались моментально.

Чем дальше — тем больше. Смотрю, как-то вечером он организовал у себя на нарах целый пошивочный цех из малолеток и одного старого мастера эстонца. С появлением профессионала-портного качество изделий значительно возросло. Цех выпускал теперь уже по три кепки в ночь. Дело шло, и я это почувствовал, так как в нашей тумбочке около нар росла гора сахара, белого хлеба и конфет.

Утром, на разводе, на головах многих блатных появились одинаковые по фасону кепи, хотя и отличающиеся по цвету: пиджаки у прибалтов все же были разные. Но, как и всякое солидное предприятие, наш цех не был застрахован от кризисов. И он наступил — кризис перепроизводства, ведь спрос на наши изделия в зоне был ограничен количеством голов у блатных. Сбыт застопорился. Володька стал угрюмым и задумчивым.

Через неделю нас перевели на работы в огромный овощной склад, похожий на зимний стадион. К весне овощи в кучах начинали гнить, и от них по всему складу распространялась отвратительная вонь. Пропадал годовой запас продуктов для лагеря, и, видимо, мы должны были его спасти. По лицу «тети Моти» можно было понять, что положение ее в связи с этим пошатнулось: она суетилась вокруг нас, обещала не только картофель, но и моченые яблоки, лишь бы работали мы быстро. Получили мы от нее даже фартуки и перчатки, и сортировка пошла. Хорошие овощи отбирались в ящики для начальства, начавшие гнить — заключенным и почти сгнившие — скоту. Социальная иерархия в лагере строго соблюдалась. Температура воздуха снаружи повысилась, и от этого процесс гниения овощей еще больше ускорился. Нас торопили. Норма выработки все время повышалась, а наши паузы на обед все время укорачивались.

Весь первый этаж склада был разделен на отделения, где хранились овощи, но был еще и огромный бетонный подвал, куда нас не пускали: там хранились продукты для столовой вольнонаемных: квашеная капуста и огурцы, моченые яблоки и репчатый лук. Окон в складе не было, и свет шел через стеклянные отверстия в крыше, это превращало его в своеобразную тюрьму, что облегчало охране ее задачу. В первый же день Володька облазил все отделения склада и уже смастерил отмычку для подвала. Его отношения с «тетей Мотей» становились все теплее: старая лагерница учуяла в нем своего. Работу нашел я ему по душе: таскать ящики с отобранными овощами на весы, варить для нас всех картофель и выторговывать у «тети Моти» деликатесы из подвала. Он вполне справлялся с этой задачей.

Уже несколько раз мы замечали, что в наш склад через оцепление конвоя пропускают в сопровождении сержанта каких-то прилично одетых женщин, которые шепчутся с «тетей Мотей» и затем выносят с собой сумки, набитые отобранными овощами. Это были жены начальников. Однажды Володька, завидев такую жену за оцеплением охраны, стал показывать ей развернутый белый эстонский шарф, предлагая купить. Шарф действительно был отличным, и сигналы Володьки были приняты. Все остальное происходило мгновенно: он получил какие-то деньги, а она получила шарф. Через день пошли с молотка почти новые кожаные перчатки, затем портсигар, носки и ремни. Его новое торговое предприятие заработало.

Через две недели запас эффектных вещей был исчерпан. Нужно было искать что-то другое.

Прошло еще несколько дней, и я стал с удивлением замечать,

что он выменивает у прибалтов уже совершенно старые и изношенные вещи и аккуратно режет их на большие куски, вывернув на обратную сторону, где материал еще не потерял своего вида. На мои вопросы он ничего не отвечал, а только загадочно улыбался. Наконец, он мне шепотом признался: «Куклы будем делать». И мне показалось, что он спятил. Играть в куклы в лагере мог только сумасшедший.

Оказалось, что куклой он называет особый сверток из бумаги и шерстяной ткани. Внешне он производил впечатление свернутого рулона ткани, метров этак четыре-пять. Края газеты с боков тоже были задекорированы лоскутами свернутой ткани, а первые два-три витка рулона были большим аккуратно вырезанным куском, так что, отмотав первые полметра, можно было предполагать, что и дальше пойдет ткань. Но дальше шла бумага. Однако поначалу создавалось впечатление, что это отрез добротной ткани. В такие-то куклы и решил играть мой Володя.

Молва о том, что за колбасу и конфеты на овощном складе можно приобрести заграничные вещи, быстро распространилась среди жен начальства и охраны. Около склада то и дело появлялись женщины. Они прогуливались, посматривая в ворота: не будет ли предложений. И предложения появились. Володька теперь издалека показывал им эти «отрезы» и даже отматывал первые витки для убедительности. Если покупательнице это нравилось, то в ответ летела проба материала — маленький кусочек ткани, намотанный на камушек. Женщина поднимала его, рассматривала и утвердительно кивала головой. Тогда начинались торги. Володя показывал ей три или четыре пальца, что обозначало величину отреза в метрах, и затем показывал кусок колбасы или сахара и пальцами обозначал килограммы. В некоторых случаях он показывал денежную купюру, и тогда пальцы должны были обозначать, сколько раз эта купюра должна быть повторена. Это были уже жены маленьких начальников, которых сержант-конвоир не знал и на склад не пропускал, хотя и не препятствовал «цыганскому кукольному театру».

Процедура обмена товарами была сложнее, так как обе стороны боялись охранников. В обеденный перерыв, который длился всего двадцать минут, нас запирали в складе. Круговая охрана со склада снималась, и солдаты рассаживались перед воротами и тоже подкреплялись привезенной для них пищей. Этот-то момент и был использован Володькой для обмена. Когда женщина показывала, что условленная плата лежит у нее в сумке, цыган со своей стороны шел к боковой стене склада и клал в приготовленный ящик свою «куклу», показывая, что, взяв ее во время обеденного перерыва, она должна там же оставить свою

плату. Весь расчет был основан на том, что за 20 минут обеденного перерыва, когда стена не охранялась, покупательница не должна была обнаружить подлог, так как нужно было действовать быстро и скрытно. Видимо, только придя домой, она решалась рассмотреть свою покупку, и, конечно, возвращаться и скандалить было бесполезно: всякие сделки с заключенными со стороны вольных строго наказывались, вплоть до увольнения. Предупредить других жен о возможности обмана означало обнаружить себя. Она попросту должна была молчать. Итак, торговля куклами успешно продолжалась.

Но однажды произошла неожиданность. К складу подошла сама жена начальника лагеря по режиму. Где ее разобрать по одежде, все они в дубленках и сибирских белых шерстяных платках. Сделка прошла очень успешно. Но когда уже вечером нашу бригаду подвели обратно в зоне, нас почему-то в ворота не стали пропускать, а велели идти по одному, через будку вахты. Я сразу заподозрил что-то недоброе, так как заметил в окне вахты женское лицо.

Деваться было некуда. Володька надвинул на глаза кепку и пошел через вахту последним. Внутрь зоны он не прошел, его оставили там. При обыске все вещи сразу же обнаружились, и он оказался на трое суток в карцере «за нарушение лагерного режима». Это, конечно, была несправедливая формулировка, но начальник режима, стоявший на вахте, был другого мнения.

Из карцера вышел он совсем бледный, исхудавший и долго молча ел припасенную колбасу и белый хлеб. С куклами было покончено.

Оптимизм и энергия, так свойственные ему, вернулись не скоро. Разгонять свою грусть он ходил к блатным — все-таки он был их. Видимо, эта тоска и втянула его в большую карточную игру.

А дело было так. Вместо того, чтобы ложиться после работы спать, он уходил в их барак и пропадал там почти до утра, и затем весь день отсыпался на складе, где-то спрятавшись за кучей капусты. Видимо, в игре ему везло: все время на нем появлялись новые вещи: то синий двубортный пиджак, то новые сапоги, то шелковая рубаха. По лагерным ценам это целое состояние. Но тоска его так и не проходила — он продолжал играть.

Игроком он был опытным, особенно отлично играл в «буру». Умел по мельчайшим признакам угадывать желания своего противника, никогда не показывал своего отчаяния, даже в проигрыше оставался спокойным и осторожным. Это искусство перенял он еще в детстве от одного старого вора, с которым «бегал» (воровал) целый год. Он клялся мне, что в карты он не

жулил. Да и жулить было почти невозможно.

Каждый игрок приносил с собой 2–3 колоды карт, которые были изготовлены им же. Все колоды внимательно проверялись, затем укладывались на игровую подушку и покрывались полотенцем. Один из игроков должен был указать на колоду, с которой следовало начать игру. Через десять раздач эта колода уничтожалась и бралась другая. Руки игроков должны быть по локоть голые. Никаких слов во время игры произносить нельзя ни игрокам, ни наблюдающим. Из игры можно было выходить только тогда, когда проигрывающий даст на то согласие.

Колода карт изготавливалась довольно быстро, за два-три часа. Всегда проблема была с бумагой — в «газетные» карты по крупному не играли. Сначала листы бумаги склеивались хлебным клейстером слоями, получалось что-то вроде картона. После сушки такие листы нарезались по шаблонам так, чтобы карта не была больше ладони. Масти наносились краской тоже по шаблону. Самыми лучшими красками считались обувные кремы, но достать их было трудно. Чаще же жгли резину подошв и растирали на масле, а для красных мастей брали ржавчину с железа.

Изготовление карт было ответственным процессом, так как именно в это время можно было сделать на них «крап» (пометки). На большую игру их изготовляли третьи лица, и затем выбирали по жребию. Если во время игры появлялся надзиратель, и карты приходилось прятать, то эта колода считалась «нечистой» и ее уничтожали.

Блатные жили по законам волчьей стаи — «война всех против всех». Каждый доверял только своему «корешу», с кем он «кушал», остальные же все были на подозрении. Вся масса блатных имела как бы пирамидальную структуру. Нижние слои составляли молодые воры или, как Володька, «полуцветные». Каждый слой находился под давлением верхнего, а на самой вершине восседали «авторитеты», «паханы». Их, конечно, никто не выбирал, просто им удалось сколотить вокруг себя сильную группу, и тогда эта группа воцарялась на этом лагерном пункте, хотя, бывало, приедут другие, тоже очень «авторитетные», и начинается борьба за власть. Все «законы» соблюдались только перед страхом наказания, если такое наказание могло от кого-то последовать, если же нет, делали все, что хотели, особенно с молодыми. Понятие воровской чести — настоящий блеф для фраеров.

Но единственный закон, который почти всегда соблюдался, был закон карточного долга. Без уверенности в этом никто бы не сел играть. «Проиграл — умри, но отдай». Не можешь — поставят

срок, который из милости могут еще раз перенести или выплату получать частями. Не хочешь отдавать — начнутся неприятности. Сначала заберут все, что ты имеешь, до кальсон разденут, так сказать, «разблочат». Но если долг велик и не выплачен, может произойти разное. Если это старый авторитетный вор, то его, скорее всего, изолируют, прекратят все сношения, никто вблизи него находиться не будет, сообщат на другие лагпункты, он станет изгоем, одиночкой. За карточный долг не «ссучивают», то есть не лишают воровских прав. Но если речь идет о молодом воре или о «полуцветном», то он пропал, ему нужно куда-то с этого лагпункта бежать. Сначала начнут группой почти каждый день избивать, предупреждая и ставя новые сроки выплаты. И так будет продолжаться, пока с ним что-либо не произойдет: или убежит на вахту и попросится в другой лагпункт, или попадет в больницу, или просто умрет от побоев. В тесной режимной зоне, как наша, такого должника начнут «бросать на зону». Как-нибудь вечером его схватят за руки и ноги, раскачают и бросят на проволочное ограждение. Если долетит он до проволоки, то там может и повиснуть, а если сможет бежать обратно, то опять схватят и начнут бросать. Бросающие рассчитывают, что с вышек по нему откроют огонь, как по беглецу. Но в большинстве случаев такого не происходит: надзиратели забирают его на вахту и затем перевозят на другой лагпункт.

Игра шла ночью. Под утро Володька приходил усталый, но веселый или с денежным выигрышем, или с новыми вещами. Ему везло. Наша тумбочка уже ломилась от «бациллы», от продуктов вроде конфет или колбасы, да и он уже был шикарно одет. Чем дальше он продолжал играть, тем все больше меня охватывало нехорошее предчувствие. Уж я ему и историю Германа из «Пиковой дамы» Пушкина рассказал, и «Сказку про золотую рыбку», и он все обещал и обещал, что вот завтра, непременно завтра, «завяжет», прекратит игру.

Однажды перед рассветом он будит меня:

— Бригадир, все ушло, дай мне что-нибудь из твоего барахла отыграться.

Смотрю, о, Боже, он до кальсон раздет уже! Отдал ему рубаху и меховую шапку и почувствовал, что катастрофа близится.

— Володя, пережди, прекрати играть. Фортуна отвернулась! Останься в чем есть, мы наживем все опять!

Но, видимо, было уже поздно, он опять исчез.

Утром он пришел бледный и взора не поднимает. Я ни о чем его не спрашиваю: и так все ясно. Хотя бы узнать, как велик долг.

На складе он не приступает к работе, идет и ложится за картофельную кучу. Только после обеда он стал мне все

рассказывать. Увидели воры, что он их раздел и в злобе объединились. Перевели игру с верхних нар на нижние. Лишь потом он только понял зачем: чтобы заглядывать в его карты. Но в азарте он уследить за всем уже не мог. А происходило вот что. Сидит один незаметный малолетка наверху у него за спиной и сигналит жестами другому, сидящему за спиной контригрока Володьки, а тот что-то шепчет, вроде «аз» или «дама». Этого достаточно, чтобы при большой ставке сорвать банк.

— Я сразу почувствовал, что паутина пошла, — рассказывал он, — но в проигрыше командовать уже не мог.

Оказывается, он, дурень, проиграв все, стал влезать в большой денежный долг, и ему это позволили, так как уже знали, что выигрыш будет за ними. Он так и не сказал мне, как велик долг, но я понял, что дело безнадежно. Срок выплаты — 20 дней.

Другим стал Володька, со мной почти не говорит. Взгляд его, направленный вдаль, куда-то за горы на горизонте, то и дело застывает.

Вдруг я заметил, что по вечерам стал он зачем-то латать старый литовский пиджак.

— Зачем тебе он?

— Продам.

Нет, тут что-то не то, продать это старье невозможно. Ясно — это к побегу! Из нашей зоны побег невозможен — значит, со склада.

В конце работы нас выводили со склада и выстраивали снаружи в колонну. Обычно Володька чуть ли не первым выходил со склада, а тут он стал задерживаться, так что всем приходилось его ждать, и, наконец, сержант, ворча, шел его искать. Пинками его выгоняли со склада, и он шел, протирая глаза.

— Спал, подлец! — пояснял сержант.

Ох, нет! Не мог он сейчас спать, это какая-то игра. Зачем она?

На следующий день опять все это повторилось. На этот раз он оказался в туалете. А еще через день: «Упал в погреб, дверца была открыта». И выходил он, прихрамывая.

Как это ни покажется странным, но конвой легкомысленно привык к тому, что Володька всегда задерживается. Что с цыгана возьмешь? Теперь, если его нет в строю, сержант командует солдату: «Пойди-ка вытащи его оттуда!». Солдат медленно шел на склад и приводил. Но самым главным, как я заметил, было то, что время задержки всей колонны постепенно увеличивалось. С момента снятия круговой охраны склада до появления Володьки в воротах стало проходить уже около 20 минут! И, наконец, дошло до меня: ведь все эти 20 минут здание склада находится без охраны!

И еще заметил я, что за складом каждый вечер паслись две складские лошади, одна из них выглядела сибирской верховой. Эту-то лошадь и стал приласкивать к себе Володька. Когда она работала на складе, он приносил ей хлеб, вареную картошку. То погладит, то верхом прилаживается сесть. Наконец, они стали друзьями: как завидит его лошадь — сама к нему бежит.

В конце склада располагалась небольшая комнатка — конторка для заведующей, которая была почти постоянно закрыта на замок. В этом замке Володя быстро разобрался, и войти в комнату для него было минутным делом. В конторке было единственное на складе маленькое окно, выходившее на задворки склада, и из него открывался вид на дорогу, ведущую к сопкам. Когда весь конвой в конце работы находился уже с бригадой перед воротами склада, это окно никому не было видно, как и покрытый кустами пологий спуск вниз.

Володькин план стал мне еще больше понятен, когда я увидел из этого оконца двух лошадей, мирно пасущихся за складом. Добежать до них было делом двух минут, а там и ускакать вниз к реке, заросшей кустами. Работа наша заканчивалась поздно, так что когда мы все уже стояли перед воротами, солнце было у горизонта.

Дни шли незаметно, и срок выплаты приближался. Блатные в зоне бросали на Володьку злые взгляды. Напряжение росло.

Утро в этот день не предвещало ничего хорошего, небо было затянуто тучами, и то и дело начинал накрапывать дождь. Работы на складе подходили к концу, шла уборка помещений для приемки нового урожая. Я знал, что скоро нашу бригаду перебросят снова на огородные плантации.

К вечеру перед концом работы вдруг из-за туч выглянуло совсем красное степное солнце. Когда мы вышли со склада и выстроились в колонну, Володя, как всегда, отсутствовал. Не спеша, солдат пошел в склад искать его К тому времени оцепление было уже снято, и мы все стояли и ждали. Но на этот раз ждать пришлось еще дольше обычного.

В воротах склада появляется солдат и, обращаясь к сержанту, пожимает плечами и разводит руками — никого не нашел.

Что-то сразу почуяв, сержант стремительно помчался в склад. В эту минуту я заметил, что там, позади здания, в густой траве ползет какая-то тень. Ползет по направлению к пасущимся лошадям. Но вот и наш конвой заметил эту тень:

— Сержант, смотри, там за складом!

В воротах склада опять появляется сержант. Он не смотрит, куда ему показывают, он бежит прямо к ближайшему из солдат, выхватывает у него винтовку и взводит на ходу — он все уже

понял.

Конвой неожиданно командует нам:

— Ложись! Кто поднимет голову, стреляю без предупреждения!

В последнюю минуту я вижу: Володька уже стоит около лошади, а сержант все бежит к нему. Уже лежа на земле, я слышу оглушительный выстрел, затем еще один и через небольшую паузу третий. Боже, они убивают его!

Все вдруг стихло. Нас долго еще держали на земле, пока не подошел сержант и не скомандовал всем встать и идти к зоне.

Когда мы подошли к вахте, почти совсем стемнело: солнце заходило за тучу у самого горизонта. Но нас почему-то держат и не пропускают в зону, чего-то ждут.

Наконец, появилась подвода, в ней запряжена та самая лошадь, которую так приручал к себе Володя. Подвода остановилась метрах в двадцати от нашей колонны. К ней молча подошел сержант и откинул борт повозки. Из нее прямо ему под ноги выкатилось человеческое тело. Он, видимо, этого не ожидал и отпрянул в сторону.

Это был Володька. Он лежал на земле так, что лицо его было обращено к нам, и в эту минуту солнце опять выглянуло, и его лучи осветили всю эту сцену. Я заметил, что глаза Володьки открыты, он словно бы смотрел на меня, и на губах застыло что-то вроде печальной улыбки.

Прощай, мой приятель! Теперь тебе не нужно платить этот проклятый долг. Ты знал, что конвой здесь стреляет без предупреждения.

«Если враг не сдается — его уничтожают»

Никуда не денешься от воспоминаний даже здесь, в лагере, они все время преследуют тебя. Как и когда это все началось? А ведь началось это уже давно и вот как.

Шли тридцатые годы, советская власть крепчала. Все, что могло еще напоминать о царском времени, все постепенно исчезало из города. Спилены кресты на куполах церквей и соборов, выломаны царские орлы из чугунных оград парков, закрашены императорские монограммы на лепных потолках театров, вырезаны вензеля из тканых занавесей, изъяты книги из библиотек, где были портреты царской фамилии, убраны все их портреты из музейных экспозиций.

Принялись и за переименование проспектов, улиц и площадей. Например, Дворцовая площадь стала площадью Урицкого, а Невский проспект — проспектом 25-го Октября. Затем и большинство заводов, театров, музеев и институтов получили имена советских вождей. Например, первый в России оперный театр, Мариинский, стал театром имени С. М. Кирова — первого секретаря Ленинградского обкома партии. Старейший российский университет в Петербурге получил имя еще одного первого секретаря обкома — Андрея Жданова. Запомнить все это было совершенно невозможно, и люди продолжали употреблять старые названия.

На заводах и вокзалах, в учреждениях и институтах появились монументы вождей, главным образом Ленина и Сталина, а в кабинетах, классах и аудиториях должны были непременно висеть их огромные портреты. Чтобы обеспечить всех этой обязательной декорацией, заводы по отливке монументов и художественные комбинаты работали на полную мощность. Эти скульптуры разрешалось отливать только по утвержденным в Москве образцам. Каждый вождь, как святой в католической церкви, имел свои аксессуары: Ленин — жилетку, пальто, кепку, Сталин — трубку, китель, русские сапоги. Позы были уже канонизированы: у Ленина чаще всего протянутая к народу рука, у Сталина же трубка в правой руке, а левая часто в кармане шинели. Ленин возбужден, Сталин спокоен и уверен в себе. На первом — кепка, на втором — полувоенная фуражка.

Постепенно у партийной номенклатуры стал вырабатываться свой стиль одежды. Она подражала вождю: гимнастерка с широким ремнем или полувоенный китель, галифе и русские сапоги, а на голове сталинская фуражка. Вот только ленинскую бородку и сталинские усы носить никто не решался.

Сотрудники НКВД, чекисты стремились чем-то отличаться от простых коммунистов: они часто брили голову наголо и носили черные кожаные пальто или серые плащи, военной же формы избегали.

Члены партии обращались друг к другу на «ты», с прибавлением слова «товарищ». Пахло от них «Тройным одеколоном», а от их жен духами «Красная Москва». Многим к этому времени удалось получить новый советский орден, от чего перед их фамилией писалось слово «орденоносец». В театрах уже были выделены для партийной номенклатуры специальные ложи. И если партийные вожди появлялись там, кто-то из зала начинал аплодировать, призывая и других присоединиться. Часто начиналась овация, так что действие на сцене останавливалось, и в зале зажигался свет. Но чаще шторы этих лож оставались прикрытыми.

Руководство успело уже переселиться в старинные барские квартиры и раскатывало по городу в черных лимузинах с личными шоферами. С аскетическим военным коммунизмом было уже покончено.

Можно было заметить, что в партийных рядах постепенно происходит разделение на «старых и новых партийцев». Старые партийцы, или, как они себя еще называли, «старая гвардия», подчеркивали свой аскетизм и близость к простому народу. Они продолжали донашивать старые гимнастерки с гражданской войны, отказывались пользоваться личными машинами и шли пешком на работу, многие еще носили усы и любили рассказывать о своих встречах с Лениным и о революции. Все это начинало раздражать новую партийную бюрократию.

К таким старым большевикам относили и Сергея Кирова, первого секретаря Ленинградского обкома партии. В городе создалась легенда о «добром и простом Сергее Мироныче». Авторитет его рос и в рядах центрального аппарата партии. Во время празднования 1-го мая в 1934 году на демонстрации несли примерно столько же портретов Кирова, сколько и Ленина, и, конечно, во много раз больше, чем Сталина.

Однажды в декабре 1934 года, когда я с няней гулял в садике перед своим домом, вдруг над воротами в спешке стали устанавливать красный флаг с привязанной к нему черной лентой: «Кирова убили!»

На следующий день в школе был устроен траурный митинг в большом зале. И уже какой-то совсем нам незнакомый человек в гимнастерке объявил: «Кирова убил враг народа, и он уже схвачен. Мы все должны сплотиться в эти дни, а вы, ребята, должны учиться только на отлично!». После этого в вестибюле

школы был установлен красный траурный пьедестал, а на нем бюст Кирова, рядом «бездыханно» застыли два пионера в почетном карауле. Вижу, как и моя сестра поставлена на эту почетную вахту, о которой я и мечтать не мог: я был уже в черных списках.

Сергей Иванович, муж моей тети, вечером шепотом говорит всем: «Черт разберет, кто и за что его убил. Но если уже сами в себя стрелять стали, то должны быть какие-то перемены».

И действительно, перемены последовали. Пришел 1937 год, а с ним и новый нарком внутренних дел Ежов. Началась так называемая «ежовщина». В классе по утрам стали появляться ученики с красными от слез глазами. Первым из них был мой друг Костя Бешкович. Он пришел, положил голову на парту, закрылся от всех руками, и на мои вопросы не отвечал. Вокруг него скопились ребята. Подходит классная руководительница, ей уже все известно: «Все сейчас же отойдите от него, а ты, Костя, пересядь на последнюю парту, после занятий я с тобой поговорю». На перемене он стал рассказывать: «Ночью взяли папу, были трое, все в квартире перевернули». Костин папа был известный в стране географ, работавший на Крайнем Севере.

Через неделю плачет, закрывшись ото всех, полная девочка, наша отличница. Никто не спрашивает — все уже догадываются: взяли папу или маму. После третьего урока ее отправляют плакать домой. Учителя сами толком ничего нам не могут объяснить, и в их глазах мы читаем страх и неуверенность. А газеты уже полны протоколами суда над троцкистами. Мы уже знали, кто такой был Лев Троцкий и то, что он «боролся против Ленина» и был за это выслан за границу. Я, конечно, в это не верил.

Сергей Иванович каждую неделю приносил тревожные вести со своей работы, Охтинского химического комбината: взяли директора, двух ведущих инженеров, мастера одного из цехов. Все руководство комбинатом сидит в напряжении, ожидая арестов, ждет его также и сам Сергей Иванович, отчего обстановка в семье тети Эльзы очень мрачная. Ведь у нас есть еще и родственники за границей, в Германии, от которых бабушка получает письма. По радио и в газетах подробно описывают судебные процессы над «троцкистами» во главе с Зиновьевым и Пятаковым, а затем и процесс «правотроцкистского блока», по которому шли Бухарин, Рыков, Каменев, Крестинский, Раковский, а с ними и «врачи-убийцы» во главе с Плетневым, которые медленно умертвили наркома Менжинского и писателя М. Горького. Сергей Иванович смотрит в газете на портреты Главного обвинителя на процессах, прокурора Вышинского и

Председателя Верховного суда Ульриха и тихо шепчет: «Подлецы… подлецы… подлецы».

Однажды в школе всех нас собрали в большом зале, и тот самый тип в гимнастерке стал говорить с трибуны: «К руководству нашей страной пробралось много врагов народа, шпионов и вредителей, которые хотят затормозить строительство социализма. Наши доблестные чекисты во главе с товарищем Ежовым уже принимают необходимые меры. Мы сейчас все с вами должны быть бдительны, и не допустить, чтобы и в наши ряды пробрался враг».

Ученики в школе начали истерические поиски врагов народа и вредителей. Кто-то быстро обнаружил, что на обложках наших тетрадей напечатан рисунок, где в сплетениях ветвей деревьев можно найти знаки, напоминающие фашистскую свастику. И пошло: на металлических значках, скрепляющих пионерские галстуки, поленья костра расположены таким образом, что можно, обладая большой фантазией, различить две буквы «Л» и «Т», то есть Лев Троцкий. Ребята стали сдавать эти тетради и значки классной руководительнице и пионервожатой. Однако через неделю опять всех собирают в большой зал. На трибуне учительница физкультуры, партийный секретарь школы, в руке у нее тетрадь и значок: «Ребята, специальная комиссия исследовала эти вещи. В них не нашли ничего плохого. Это все придумал враг, который хочет, чтобы вы не носили пионерских галстуков!». Срочно стали выяснять, кто же это придумал первый, но так и не нашли. Враг работал умело!

Расправившись со старой гвардией, Сталин перешел к верхушке руководства Красной Армией. Прежде всего, был схвачен наиболее авторитетный и образованный командир, маршал Тухачевский. После судебного процесса над ним нас на уроке истории попросили открыть учебники на странице 94. Там оказался портрет маршала Тухачевского. Затем всем раздали специально нарезанные листики бумаги и по рядам пустили клей и кисточки. «А теперь, ребята, — сказала учительница, — все аккуратно смажьте клеем одну сторону бумажки и заклейте этот портрет». Веселая суета, скучного урока сегодня не будет.

Но вот беда, по прошествии нескольких месяцев начался суд над другим маршалом, начальником Генерального штаба Егоровым. Он тоже оказался врагом народа, и его портрет тоже был в новом учебнике, буквально на следующей странице после заклеенного Тухачевского. Не прошло и недели, как учительница раздает по рядам парт ножницы: «А теперь вырежьте аккуратно весь лист со страницами 94 и 95 и сдайте его мне». Там оказались «враги народа» Якир и Косиор. Зато в новых учебниках никаких

портретов, кроме Ленина и Сталина, на всякий случай, уже не печатали — о будущем думали.

В нашу квартиру вдруг неожиданно переселилась подруга мамы с маленьким сыном. Три ее чемодана стоят у нас в прихожей, а сами они спят в столовой на большом диване. Мы слышали, как за стеной она все время плачет, и мама ее успокаивает. Оказалось, что недавно был арестован ее муж, папин товарищ, геолог Гринев, и теперь ее высылают на Урал, квартиру уже заняли другие. Однако судьба ее сложилась необыкновенно. В 1941 году в самом начале войны она с сыном нелегально выехала из ссылки на Украину к родственникам.

Вскоре туда пришли немецкие войска. Гринева была польско-немецких кровей и вышла замуж за немецкого офицера, а затем переехала в Германию.

Начались аресты уже рядом с нами. Арестован был сосед в квартире бабушки, талантливый инженер Димитрий Платонов — друг моего погибшего дяди, Фридриха Боде. Затем арестовали брата бабушки, Александра Майера, преподавателя Института физической культуры им. Лесгафта. Он как-то смог сохранить свое немецкое гражданство и, конечно, был обвинен в шпионаже. И, наконец, уже в конце 1938 года берут ночью Сергея Ивановича. Одну из комнат в квартире сотрудники НКВД опечатали и туда снесли отобранные при обыске книги и другие подозрительные, по их мнению, вещи.

Стало не до шуток. Мы все знали, что на Литейном проспекте есть большой серый дом Главного Управления НКВД, а при нем большая следственная тюрьма. У ее ворот всю ночь дежурят в очереди родственники арестованных, чтобы хоть что-то узнать о судьбе их близких или передать им продукты питания. Иногда они получали ответы: «Дело расследуется» или самый страшный: «Сослан на десять лет без права переписки» — это обозначало, что расстрелян по приговору «тройки», военного трибунала, выносящего смертные приговоры за двадцать минут без опроса свидетелей.

Если раньше все эти бесчисленные портреты вождей, бронзовые истуканы, красные знамена и звезды казались мне какой-то игрой взрослых, то теперь все это приобрело зловещий оттенок. Люди в стране съежились, лишь только из огромных громкоговорителей по улицам неслось:

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда,
И любят песню деревни и села,
И любят песню большие города…

«Жено, не плачьте обо мне!»

«Кого я люблю, тех обличаю и наказываю».

Откровение Святого Иоанна. Гл. 4, 19

Снежный буран в казахстанской степи начинается внезапно. Еще сияет яркое солнце в морозном небе, а крепчающий ветер уже начал гнать по степи искрящиеся струи сухого снега. Не пройдет и часа, как с земли станет подниматься радужная дымка, застилая горизонт и делая все окружающие предметы призрачно серыми. Но это еще не буран. Он начнется после того, как приблизится слой темных туч с горизонта, солнце исчезнет и сверху полетит лавина мокрого снега, сметая все на своем пути. Вмиг покроет она все предметы ледяным панцирем, а неистовый ветер потащит вашу лошадь с санями на обочину дороги, и вы тут же начнете чувствовать, как швы вашей шубы вдруг станут проницаемыми для холодного ветра. Не дай Бог в этот момент потерять еще и рукавицы, тогда пропали ваши руки: не спасут их ни карманы шубы, ни шарф, которым вы попытаетесь их закутать. Недаром сибиряки привязывают рукавицы кожаными шнурками к шубе.

И пойдет гулять буран. Вскоре и в двух шагах ничего не станет видно, кроме крупа лошади, залепленного снегом. И она, бедная, еле движется против ветра, нащупывая дорогу. Если лошадь молодая, да неопытная, перестанет она вскоре чувствовать твердость под ногами и потащит вас по ветру на целину, пока снег не станет ей по брюхо, потом остановится и будет так стоять. Тогда вылезать вам из саней и тащить ее под уздцы снова на дорогу, а замешкаетесь, так и след пропал. Будете топтаться вправо и влево, утопая в снегу, пока не выбьетесь из сил. А потом ляжете на дно саней, закроетесь с головой: «будь, что будет».

Другое дело, если лошадь ваша опытная и ни за что не сойдет с дороги, да и поселок остался неподалеку, развернется она и найдет свою конюшню. Но бывает так, что и сибирскую лошадь буран собьет с пути, и потащится она на целину, пока не утонет в снегу и не встанет задом к ветру. Тогда уж единственное, что остается: чтобы не сразу замерзнуть, — это выпрячь ее, привязать к себе поводья и предоставить ей возможность тащить тебя, куда

захочет. Бывает, что приведет она к поселку, но чаще учует скирду сена в степи и встанет с заветренной стороны. Если вы еще имеете силы, то удастся вам раскопать смерзшиеся слои сена и сделать себе пещеру, в которой можно переждать буран. Ну, а если нет, то только через несколько дней после бурана, когда она прибежит к своей конюшне, найдут и ваш труп около скирды.

Ну, а брести по бурану пешим — только на чудо надеяться. И каждый раз горестно удивляются люди, когда хоронят после бурана своих близких, не дошедших всего каких-нибудь десяти метров до дома.

Вот в такой-то буран и попали мы с моей лагерной подругой Леной.

Стоял солнечный мартовский день. Находясь на своем фельдшерском пункте, я услышал, как неожиданно стал завывать ветер в трубах, выглянул и увидел поднимающуюся серебряную дымку над полями. Пока Лена собиралась, солнце уже исчезло, хотя силуэты зданий лагерного участка можно было еще различить.

Согнувшись, мы двинулись против ветра к ближайшему от нас дому, силуэт которого временами можно было четко различить. Казалось, что вот еще двадцать шагов, и мы упремся в него, но он и совсем куда-то исчез. Стало ясно, что двигаться наугад опасно, нужно увидеть дом, он ведь совсем где-то рядом. Я посадил Лену на снег, а сам, не теряя ее из виду, стал ходить кругами, но дом так и не появлялся. Уже против ветра совсем невозможно было смотреть: снег залеплял глаза. «Видимо, мы отклонились по ветру: нужно взять назад и вправо». На секунду мелькнуло что-то темное справа от меня. Спешу туда. Вот странно-то, это водовозная бочка на старой подводе, которая используется только летом. «Какого же черта она здесь! Она должна быть в районе конного двора! Неужели мы ушли уже так далеко?»

Время идет, и меня начинает беспокоить Лена: на ней лишь лагерный ватник и большой шерстяной платок. На ветру в такой одежде она продержится не более двух часов. Однако сейчас главное — сохранять спокойствие и быть внимательным. «Нужно взять влево, против ветра». Мы начинаем медленно двигаться, всматриваясь вперед. Чувствую, что под ногами твердый накатанный снег с санными колеями — дорога! Но откуда она здесь и куда она ведет? Что-то сжимается под ложечкой: я просто не понимаю, куда мы идем. Вспоминаю, что какая-то дорога проходит метрах в ста от фельдшерского участка и идет она на центральный участок Тасс-Заимку, но она ли это? Если это она, то мы шли совсем в другую сторону. Наверное, ветер все время

меняет направление.

Стало очень темно, а ведь еще только около пяти часов вечера. Мы топчемся где-то в районе этой дороги. Лена кричит мне что-то в ухо, но ветер так ревет, что почти невозможно понять. «Мы уже были здесь!» — показывает она на кустарник, в который мы уперлись. Я останавливаюсь и не могу принять никакого решения, куда нужно теперь идти.

О, Боже, твердая почва исчезла из-под наших ног: валенки утопают в рыхлом снегу, из которого торчат усы прошлогоднего ковыля. Мы в степи!

Видимо, мы уже долго бродим: я весь мокрый от пота.

Смотрю на Лену — она как снежная баба: вся покрыта ледяной коркой. А ведь на ней простые чулки и короткая юбка. Нужно ли очищать этот панцирь с ее ног, может быть, он защищает от ветра. Одно ясно: она долго не выдержит.

Если бы знать, в каком направлении теперь идти! Самое главное — снова найти эту дорогу. Опять сажаю Лену на снег, чтобы она ватником прикрыла ноги, а сам начинаю ходить кругами, но дорога не появляется. Возвращаюсь к Лене, она уже превратилась в снежный сугроб. Стараюсь поднять ее, но она не встает. Кричу ей в ухо:

— Пошли!

В ответ:

— Оставь меня здесь!

— Пошли-пошли! Поселок где-то рядом.

— Нет, я останусь — иди один!

— Леночка, ты можешь, ты должна…

— Нет, я тебя тут подожду, — бурчит она.

Держу ее на весу, но она не опирается на ноги. Она спит! О, я знаю, что это значит! Тру ей щеки, дышу в лицо — она не открывает глаз. Неистово трясу ее, так что голова начинает раскачиваться.

Вдруг глаза ее открылись: «Где же мы?». Ох, если бы я знал!

Но нужно двигаться. Если мы остановимся тут, то через два-три часа с нами все будет кончено. Начинаю восстанавливать в памяти, в каких направлениях мы двигались с самого начала. Ничего не получается. По крайней мере, нужно найти наши старые следы. Наклоняюсь. Точно — это они, они еще не совсем занесены снегом. Тащу Лену за собой, она вяло переступает ногами. Ветер совсем обезумел — сбивает с ног и крутит, меняя направления. Все время боюсь, что Лена опять сядет, но лучше об этом не думать, а искать дорогу.

Вот она, эта твердость под ногами — дорога! Но куда идти: назад или вперед? Судя по направлению ветра — вперед. Все

время гложет мысль, что Лена отморозит колени.

Что-то долго мы идем, а ничего не меняется. Так далеко от поселка мы не могли уйти. Вдруг под ногами ощущаю звук пустоты: это деревянный мостик через ручей. Какой же это мостик? Если это та самая дорога, что проходит за моим фельдшерским пунктом, то тогда этот мостик я знаю, он в ста метрах от дома. Он должен быть где-то вправо от дороги. Нужно пройти еще за мост метров пятьдесят и затем вправо по целине. Сажаю Лену снова на снег и решаюсь удалиться вправо, но так, чтобы не потерять ее из вида. Десять метров вправо: силуэт Лены исчезает, но и дома нигде не видно. Снова к дороге, снова метров десять вперед и опять удаляюсь. Дома нет! И снова, и снова. Вдруг я замечаю, что мне совсем все равно, найду я дом или нет. Мне безумно хочется спать. «Ну, уж нет! Дом совсем уже рядом, мы должны выжить!»

Я начинаю рисковать: протаптываю в снегу проход, который не сразу заносит снегом, и по нему удаляюсь, так что силуэт Лены исчезает. Всматриваюсь. Затем опять нахожу Лену, тащу ее дальше по дороге и опять удаляюсь. На третий раз мне начинает мерещиться, что вижу нечто серое в отдалении. Оно, это «серое», то появляется, то исчезает. Теперь я иду уже на большой риск: удаляюсь, не протаптывая прохода. Еще десять шагов и еще десять. Нет, это не мираж — это точно дом!

Скорее назад, к Лене, я слишком далеко отошел — проход мой почти занесло снегом. Вот она, лежит комочком. Кричу ей в ухо: «Дом!». Но она остается неподвижной. Счищаю лед с ее лица, тру ей щеки. Она смотрит на меня, но молчит. Обхватываю Лену и пытаюсь поднять ее, однако на ноги она не становится и снова опускается на снег. «Лена, дом рядом!»

Конечно же, она жива: вода течет у нее под носом. «Сейчас она придет в себя — вот только медлить нельзя, проходы занесет». Я хватаю ее за руки, кладу сзади на свои плечи и начинаю тащить по проходу в снегу. Десять метров! Еще десять метров! Остановка и опять.

Совсем стемнело. Вдруг я замечаю, что одного валенка у нее нет, он слетел, пока я тащил ее. Возвращаюсь, ищу, наклонившись, и нахожу.

Передохнул и тащу дальше. Снова вижу серый силуэт в отдалении. Скорее туда! Но я шатаюсь, и мне начинает казаться, что все шатается у меня под ногами. Я падаю и лежу в снегу. Лена, не шевелясь, лежит рядом.

Сколько еще прошло времени? Как хорошо, что я еще не заснул, я еще понимаю, что нужно бороться. Но теперь уже не могу ее поднять. Я хватаю Лену за одну руку и начинаю ползком

тащить за собой, но теперь уже по целине, в глубоком рыхлом снегу. Время от времени поднимаю голову и вижу, что это «серое» уже совсем близко — это дом, мой фельдшерский пункт.

Лежим оба, метрах в десяти от него. Дом уже узнать трудно — он занесен снегом. Соображаю, с какой стороны может быть дверь.

Подтаскиваю Лену к двери, но добраться до нее невозможно, перед ней сугроб.

Бросаю Лену и ползу к двери. Стучу ногой лежа, там мой санитар, он должен услышать.

Как это могло случиться, что я заснул, лежа у двери?! Мокрое белье стало совсем холодным. Я стучу двумя ногами, и от этого мне становится теплее. Хотя громкого звука не получается: дверь обита мягкой кошмой.

Вдруг я чувствую, что дверь задвигалась, кто-то толкает ее изнутри, но сугроб мешает. Значит, он услышал!

Но вот снова все почему-то затихло, я продолжаю стучать. Какая-то тень склоняется надо мной, и я слышу над ухом: «Подождите, я сейчас!». Слышу, как лопата пошла ходить по сугробу, затем меня кто-то тащит за шубу по снегу. Пахнуло теплом в лицо — и сразу тишина. Он тащит Лену.

Мы оба лежим теперь на деревянном полу в сенях дома. Значит, мы спасены.

Я, наверное, долго спал. Лежу на койке рядом с Леной, оба почему-то раздетые, от нас пахнет камфарным спиртом: санитар, видимо, растирал нас. Лена вышла из шока не скоро, только к утру. Вся кожа на ее ногах выше колена багрово-синяя. Я знаю, это отморожение, кожа потом вся сойдет, и шрамы останутся на всю жизнь. Но она осталась жива.

Санитар подносит нам выпить разведенного спирта, после этого я снова засыпаю. Лишь на следующий день обнаружилось, что и мои щеки приморожены и на них мокнущие пузыри. С сибирскими морозами шутить нельзя!

* * *

Теперь вернемся-ка назад. Как же это я оказался на лагерном участке Бождангул, да еще в отдельном домике ветеринарного фельдшера?

Прошел почти год, как охрана застрелила моего приятеля Володьку на лагерном участке Тасс-Заимка. Грустил я о нем долго. Затем вышел на волю и мой покровитель, комендант Лощинов, а новый, из «ссученных» воров, не давал мне покоя,

домогаясь взяток. Многих рабочих из моей бригады уже расконвоировали, и я видел через заграждение, как они там свободно гуляют. Но пути Господни неисповедимы. Лагерю в то время не доставало специалистов: агрономов, зоотехников и ветеринаров, без которых вести продуктивно хозяйство невозможно. И пришла кому-то из высшего начальства идея готовить таковых на месте, для чего организовать при Центральном управлении в селе Долинка учебный комбинат, а слушателей для него набирать из грамотных заключенных.

Снова в отделениях стали пересматривать все личные дела заключенных, ища «грамотных». Многие такие счастливчики оказались и в нашей зоне, я же, как «особо опасный», не мог на это рассчитывать.

Но, видимо, слишком велика была нужда начальства, слышу я и мою фамилию: как-то на разводе выкрикнули: «Поедешь в Долинку учиться». Не прошло и недели, как я оказался за учебной партой этого комбината в отделении для ветеринарных фельдшеров. Вот уж никогда и в голову не приходило, что я стану ветеринаром.

В этом-то комбинате, расположенном в огромной зоне, я и проучился целый год. Эта наука стала мне постепенно нравиться, она была очень сходна с медициной, которая уже тогда привлекала меня. А какие учителя были из заключенных — любой университет мог бы позавидовать, большинство — профессора: микробиолог Василец из Киева, генетик Зальцман из Москвы, биолог Добронравов, патолог Нечаев.

Через год после экзаменов я был возвращен в свое Котурское отделение и назначен ветеринарным фельдшером на лагерный участок Боздангул. Он представлял собой животноводческую ферму с тремя сотнями голов крупного рогатого скота. Поселок участка разделялся на две части: строения фермы с бараками для заключенных и вольный поселок для охраны и начальства.

На ферме была также большая конюшня на 50 лошадей, птицеферма, небольшой молочный завод, машинная станция для сенокоса. Никакой проволочной зоны вокруг участка не было, но выходить за пределы участка было запрещено. Охрана лагеря состояла из нескольких надзирателей и гарнизона солдат.

Лагерный режим чувствовался во всем: утром всех заключенных пересчитывали, вечером и ночью по помещениям ходили надзиратели и делали различные проверки. За каждый проступок можно было снова оказаться за колючей проволокой в центральной зоне.

Но все-таки жизнь на Боздангуле была почти вольная, так что временами казалось, что работаем мы в простом колхозе. Меня

как ветеринарного фельдшера поместили в отдельный домик, ветеринарный пункт, на краю территории фермы, где я чувствовал себя хозяином. Пункт состоял из нескольких помещений для больных животных и лаборатории, где я и размещался со своими двумя санитарами.

Эта некоторая свобода уравновешивалась огромной ответственностью, которая лежала на ветеринаре: он отвечал за здоровье всего стада. Если что-либо случалось на ферме, виновниками всегда оказывались зоотехник и ветеринарный фельдшер, они попадали опять в режимную зону, а то и под суд. Один из моих предшественников на этом посту уже получил пятилетнюю прибавку к сроку за «халатность и злоупотребление служебным положением». Моя свобода была призрачной: слежка велась постоянная.

Режим на участке состоял из множества «нельзя» и «не положено». Нельзя было пересекать без разрешения границу участка, покидать ночью бараки, получать и отправлять нелегально письма. Но особенно строго преследовались так называемые лагерные браки, ведь работники фермы состояли из мужчин и женщин.

Труд на ферме был очень напряженным и тяжелым: небольшой персонал в 100–200 человек должен был осуществлять полный цикл производства: содержать скот, выращивать телят, доить коров, косить и убирать сено, заготовлять зерно, строить новые помещения и многое другое.

Власть на участке принадлежала старшему лейтенанту Герусу, но хотя он и был начальником, режимом заключенных на участке ведал старший надзиратель, а он подчинялся только начальнику режима всего отделения. Отношения между этими двумя начальниками были очень натянутыми. Первый из них отвечал за результаты производства и должен был выполнять план, чего можно было достичь лишь при ослабленном режиме. Другой же, наоборот, стремился к усилению режима, что способствовало «воспитательным функциям советского правосудия». То та, то другая сторона брала верх, и режим на участке то напоминал жизнь вольнопоселенцев, то становился таким же, как и в режимной зоне.

Моему положению многие завидовали, называя «помещиком». Мой домик на отшибе был как бы крепостью, из окон которого открывался пейзаж дикой казахстанской степи. В такую-то даль, да еще зимой не всякий надзиратель захочет тащиться с проверкой. Ну, а уж если и заглянет, то у меня в аптеке всегда находилось немного спирта, который после разведения водой превращался в отличную водку. Какая уж тут проверка!

Каждый вечер в кабинете начальника собирались все вольные и заключенные руководители и специалисты участка, чтобы обсудить работу на завтра. По мнению начальства, ветеринарный фельдшер всегда только мешал работе фермы, выставляя свои требования и запреты. Но все знали, какая ответственность лежит на мне, поэтому спорили, но уважали. Часто трудно было понять, кто вольный, а кто заключенный: мы все были связаны общей задачей — выполнить план и общим страхом — его не выполнить. Но для того, чтобы эта грань никогда не стиралась, были на участке надзиратели, которых выполнение плана не беспокоило. Их бесконечные проверки, придирки должны были напоминать, кто здесь вольный, а кто заключенный.

У вольного начальства были свои дома и подсобные хозяйства, часто с коровами, свиньями и курами. Это ставило их в некоторую зависимость от заключенного ветеринарного фельдшера, он лечил их домашний скот, хотя по закону мог этого и не делать, так как они должны за помощью обращаться к вольному, и к тому же платному, ветеринару на центральном участке. Кроме того, все любимые лошади, на которых раскатывало начальство, были под надзором фельдшера, и он в любой момент мог оставить надолго лошадь в конюшне, если заподозрит, что она нездорова. Так что заключенный ветеринар в поселке был вроде сельского священника, с ним часто вольные здоровались первыми.

* * *

Наш спаситель, мой санитар, Григорий Васильевич Картамышев был личностью необыкновенной, хотя внешне ничем не приметной. Небольшого роста, к тому же немного сутуловат, с поседевшей бородкой и усами, он выглядел лет под шестьдесят, но был намного моложе. Редкие русые волосы он зачесывал на лоб, так что образовывалась челка, прикрывавшая его большой и выпуклый лоб. Но самым выразительным на его круглом и морщинистом лице были большие, широко раскрытые глаза, что придавало выражение некоторого удивления. И всем своим обликом напоминал он чем-то Деда Лесовика из русских сказок, так что все называли его просто «Дед». Говорил он тихо, часто с добродушно-лукавой улыбкой, как будто бы речь шла о чем-то забавном или смешном.

Нашел я его на ферме, где он работал простым скотником. Слухи о «чудесном деде» дошли до меня сразу же, как я приступил к работе. А столкнулись мы при интересных

обстоятельствах.

Каждую осень необходимо было проводить массовое обследование всех коров стада на беременность, стельность. Мероприятие это будоражило ферму, почти все скотники должны были участвовать в работе, коров не выгоняли в эти дни на пастбище, и удои на ферме падали. Процедура определения беременности у коровы была в то время весьма сложной и грязной: ветеринар рукой через прямую кишку должен был нащупать трехмесячный эмбрион. Это требовало большого опыта и возлагало на него большую ответственность, так как не стельных, яловых, коров забивали на мясо, и если фельдшер делал ошибку, и забитая корова оказывалась беременной, то его ждали большие неприятности.

Случилось так, что в этот день подводил ко мне коров и держал скотник Картамышев, «Дед». Увидев, что я и мой санитар уже совсем выбились из сил, он вдруг громко заявил, показывая на корову:

— А чего ее мучить, сразу видно, что она яловая!

С усмешкой переглянулись мы с санитаром. После исследования убеждаюсь, что он прав: корова яловая. Подводят вторую:

— Ну а эта, Дед? — подшучиваю над ним я.

— Да эта уж точно стельная! И точно, она стельная!

— Ну а эта?

— Эта тоже стельная.

И пошло подряд: сначала он, потом я. И ни одной-то ошибочки он не сделал! Сел я и задумался, что же это за чародей на нашей ферме? Получается так, что вся наша ветеринарная наука ничего не стоит. И зачем же это мы и себя, и коров мучаем?

— Дед, а как это у тебя получается, будь ты неладен!

— ПРАХТИКА! — с улыбкой отвечает он. Так мы и познакомились.

Любил он лошадей. Большевики еще в тридцатом отобрали его единственную крестьянскую лошадь, но любовь к ним осталась. То и дело вижу его на конном дворе, слышу, как он беседует с конюхами, подходя то к одной, то к другой лошади.

Вижу, как смело берет он заболевшую лошадь за губу, чтобы раскрыть рот.

— Опоили! — печально заявляет он.

Это значит, разгоряченную лошадь сразу повели на водопой, что приводит к тяжелой болезни ног.

Осмотрев другую лошадь, ставит диагноз: «Червяк!» Меня это тоже удивляет: как он без микроскопического анализа знает, что у нее глисты. А ведь я два дня потратил, чтобы это обнаружить.

Как-то оказался я с ним в степи, на летних выпасах. Он идет, то и дело наклоняется, срывает травы, затем показывает их мне и сообщает, от каких болезней нужно их принимать.

О таком замечательном помощнике я мог только мечтать. Но заполучить Деда оказалось не просто, ценили его на ферме. Уперся заведующий: не отдам и точка. Три недели торговался я с ним, пока не получил.

Пришел он ко мне на пункт с маленьким мешочком — все его имущество — в старом ватнике и меховой шапке на голове: «В ваше распоряжение прибыл!».

Разместил я его за деревянной перегородкой на большой койке, так чтоб ему никто не мешал. Выдал санитарный халат, чемоданчик с медикаментами, и стал мой Дед похож на настоящего доктора.

Был он православным верующим человеком. Единственная книга, которую он всегда читал, было Евангелие. Часто вечером мы садились вместе пить чай, и я просил его почитать мне вслух что-нибудь. Долго просить его было не нужно. Он надевал свои старые замотанные тряпочками очки и принимался читать:

«И стал я на песке морском и увидел я выходящего из моря зверя… и даны были ему уста говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть… и дано было ему вести войну со святыми и победить их…»

Дед поднял голову и загадочно посмотрел на меня. И потом шепотом:

— Тут все про наше время рассказано. — И начал дальше читать:

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у кого смертельная рана исцелела…»

И опять он поднял голову:

— Тут понимать надо. Уж как она в него много раз стреляла, а ведь его пуля не может одолеть!

«Ленин и Сталин!» — сразу стукнуло мне в голову. А он все дальше читает: «И дано ему было вложить дух в образ зверя так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя… и никому нельзя будет ни продавать, ни покупать».

— А вот и еще. Конец его царству придет! — И лицо его просияло.

«Итак, веселитесь небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что не много ему осталось времени!»

Последние слова прочел он с расстановкой.

Брянская губерния — его родина — была одной из самых бедных провинций Российской империи. Земля не родила пшеницу, и скот зимой кормили распаренной соломой с картофельной шелухой. Поросят и кур зимой держали прямо в избе, где и сами же мылись в деревянных ушатах: редко кто имел баньку в огороде. Младшие дети в многодетных семьях не могли оставаться при родителях и уходили в город искать работу, живя там в грязных заводских бараках.

Такую-то бедноту в тридцатые годы и начала собирать в колхозы советская власть. Приехали из городов так называемые «пятидесятитысячники» — коммунисты из солдат и рабочих, в кожаных куртках с наганами на поясе. Создали комитеты бедноты из наиболее ленивых и нахальных и стали отнимать у других коров и лошадей, конфисковать те крохи зерна и картофеля, которые еще оставались у крестьян. Наступил голод на Брянщине, а за ним и голодные бунты, переросшие в народное восстание под руководством атамана Антонова. Восстание это было жестоко подавлено, а участники расстреляны. И началось выселение в Сибирь наиболее крепких крестьян.

Предки Григория Картамышева были сельскими священниками, и это определило весь его духовный склад. Уже в раннем детстве он сам научился читать, а в школе удалось ему пробыть лишь четыре класса: нужно было начинать работать. Все же свободное время он посвящал чтению священных книг, а Евангелие так почти наизусть выучил. От природы одаренный, был он постоянно погружен в размышления о Боге, о Человеке, о смысле жизни на земле. Родись он в семье московского адвоката, вышел бы из него религиозный философ, но он рос в бедной крестьянской семье, которая едва могла прокормить себя.

После того как комиссары закрыли сельскую церковь и сослали священника, организовал Григорий религиозный кружок, и тайно по вечерам собирались они в его избе, чтобы молиться и читать Библию.

Все, что происходило при коллективизации, не вызывало у него ни гнева, ни даже возмущения: во всем этом видел он исполнение евангельских пророчеств. Когда восстание на Брянщине было подавлено, Григорий стал призывать крестьян не ждать репрессий, а бежать из деревни в города, оставив большевикам невспаханные поля. «Без нашего труда на полях Зверь и сам погибнет!» — поучал он. Но «зверь» не погибал: одних крестьян он раскулачивал и ссылал в Сибирь, других же превращал в колхозных рабов.

До поздней ночи в правлении колхоза горел свет —

составляли списки на выселение — а утром к избам подъезжали подводы и ничего не подозревавших крестьян сажали на них, разрешая прихватить только самое необходимое. Но все больше людей в деревне, следуя советам Григория, не дожидаясь пока за ними приедут, забивали скот и убегали из деревни.

Вскоре слух о зловредном агитаторе дошел до комиссаров. Григория арестовали и связанного повели через всю деревню в правление колхоза. Люди сбежались смотреть, как ведут его. Он шел в белых подштанниках и рубахе, босой, по снегу, открыто глядя в глаза своих сельчан, и громко цитировал из Евангелия: «И будут гнать вас за слово мое…».

Суд был скорым, и все те же в кожанках постановили Картамышева сослать в Сибирь как опасного антисоветского агитатора. Однако им это не удалось. Ночью, когда Григорий был заперт в погребе правления колхоза, чьи-то дружеские руки открыли двери его темницы, и он, как Святой Петр, переступил через спящих охранников и оказался на свободе.

Быстро взяв из своего дома все необходимое, поцеловав жену и маленького сына, ушел он в Брянск. Но долго и там оставаться было опасно: его наверняка искали. Прячась в товарных вагонах, двинулся он к Москве. Адрес, который дал ему кто-то из верующих, вел в индустриальный город под Москвой, Электросталь. Без паспорта или, по крайней мере, без отпускной справки из колхоза устроиться на государственное предприятие было невозможно. Долго ходил он по разным артелям и, наконец, взяли его помощником в сапожную мастерскую. Григорий был во всем способным человеком и уже через год постиг сапожное искусство, да так, что его хромовые сапоги моментально расходились в ларьке артели. Работая по ночам в полутемном и сыром подвале, начал он кашлять и худеть — начиналась чахотка. Обращаться к врачам в больницу без паспорта было опасно. Но мир не без добрых людей, кто-то направил его в подмосковную деревню к своим родственникам, а артель выдала ему справку, удостоверяющую его личность, в которой было написано: «взамен утраченной из колхоза». Там, на природе и свежем воздухе, работая пастухом небольшого стада, стал он поправляться, а еще через год переехал в предместье Москвы, где опять нашел работу в сапожной мастерской. Так и затерялся он от всевидящего ока НКВД, получил прописку и даже небольшую комнату в деревянном доме артели.

Все было бы хорошо, если бы не мятежный дух Григория Картамышева. Стал он страдать, видя, как «сатана воцаряется» и «тропинки от человека к человеку зарастают травой». К нему тянулись люди, видимо, этого невозможно было избежать, было

что-то в нем притягательное. Шли они к нему за советом и утешением — за правдой. Снова образовался кружок, и снова стал он учить и наставлять, читая Слово Божье. Он объяснял, куда ведет эта сатанинская власть и что нужно делать, чтобы не поддаться соблазнам. Это были уже революционные речи, страшно опасные для новой власти. Но так как все тайные организации при тоталитарном режиме могут лишь некоторое время оставаться незамеченными, кружок Григория был вскоре раскрыт. Пошли аресты и допросы. К тому же и война началась — режим ужесточился. Так что получил он по статье 58–10 часть 2 УК «за антисоветскую агитацию» десять лет заключения в трудовых лагерях. Следы туберкулеза в легких спасли его от северных лагерей, и попал он в наш, южный, в КАРЛАГ.

С появлением Картамышева и еще одного санитара из польских фельдшеров дела мои пошли куда успешнее. Дед успевал повсюду. С особой чуткостью опекал он больных телят. Еще не входя в клетку, он по каким-то внешним признакам находил больных животных. К моим методам лечения он относился с некоторым недоверием.

— От ваших уколов им еще хуже становится, — бурчал он.

По представлениям народных лекарей, все болезни происходили от трех причин: «заразы», «сглаза», и «угнетения духа». Все лечебные меры, которые он предлагал, сводились к покою, теплу, особому питанию и скармливанию различных трав или солей. Я не препятствовал ему в этом, так как его лечение не мешало моему, сугубо ветеринарному, но всякий раз при своем вмешательстве он спрашивал разрешения. Лечебные травы он собирал сам, и меня всегда удивляло, что больные животные охотно их съедали. В некоторых случаях он отдавал должное и современной ветеринарии. «Этому, — показывает он на теленка, — хорошо бы ваш сульфидин дать, он снимает жар».

Однажды я заметил, что по вечерам с сумочками трав ходит он в барак работников фермы. Оказалось, что он там больных своими методами лечит.

Как-то вернулся он печальный:

— Знаю, что в ней бес, а изгнать не могу.

А через пару дней с торжественной улыбкой:

— Ох, и упорный же попался! — Нужно понимать: что «беса» он изгнал.

Одна из молодых доярок страдала хореем, или, вернее, хорееподобными припадками: она неожиданно падала и сотрясалась мелкой дрожью. Уже несколько месяцев участковый врач пытался ее вылечить, но безуспешно. Пришли просить Деда. Хотя он и не любил после современной медицины свое искусство

показывать, все же согласился прийти и посмотреть больную.

По его представлениям, с ней произошла «порча». Это значило, что «недобрый глаз» подкинул в нее «беса», вот он и трясет ее. Прежде всего, назначил он ей голодную диету: целую неделю только хлеб и чай. Кроме того, дал ей свою «записку», на которой его корявым почерком была написана какая-то молитва. Это чтобы сначала «беса» смирить. Она должна была выучить текст наизусть и шесть раз в день повторять.

На седьмой день пришел он «изгонять беса». Как только наложил он ей на голову свои руки, стало ее сильно трясти, но успеха эта процедура так и не дала: «бес оказался сильнее». Снова голод и молитвы. Когда же через три дня он возложил на нее свои руки, стала она кричать не своим голосом, затряслась и упала без сознания. Очнулась она через несколько часов: припадки прекратились и больше не повторялись — «бес» был изгнан.

Слух о чудесном исцелении прошел по всему участку и достиг начальства. Меня с недовольством расспрашивали, что это там с доярками делает мой санитар и какое он имеет на это право. Я старался смягчить гнев начальников, объясняя этот лечебный эффект психическим внушением, что вполне соответствовало учению академика Павлова, признанного и обласканного советской властью. Это их успокаивало.

Но случилось так, что у начальника режима, старшины Садовского, заболела странной болезнью трехлетняя дочь. Она закрывала глаза, бледнела и начинала вся дрожать. Стали ее возить к детским врачам, сначала в наше отделение, а затем и в Долинку. На какое-то время болезнь смягчилась, но затем приступы возобновились с еще большей силой. По моим представлениям, это были припадки, связанные с авитаминозом В и недостатком кальция в организме, но кто мне поверит — я был лишь ветеринаром.

Однажды вечером в нашу дверь кто-то постучал, и на пороге оказался сам старшина Садовский. По его тону я сразу понял, что это не проверка, а частный визит. Садовский — полный, рябой, уже в летах человек, происходивший из «революционных матросов Кронштадта», считался «добрым» надзирателем, так как относился к проступкам заключенных с некоторой житейской мудростью. Отношения наши были хорошими: я как-то удачно разрешил от неправильных родов его стокилограммовую свинью, ну и, кроме того, мы происходили из одного города, из Петербурга.

Поговорив со мной о погоде и холодной зиме, он перешел к делу и, наклонившись ко мне, тихо спросил, стоит ли пригласить моего санитара Картамышева посмотреть его дочь. Я оказался в

затруднительном положении, ни рекомендовать, ни отвергать лечебные методы Деда не мог. Подумав, я нашел выход, сказав ему, что во всех случаях услуги Деда не могут нанести вреда больной, и он, ободренный, ушел.

Через день я заметил, что Дед куда-то собирается. Разгладив руками свою единственную белую рубаху и прихватив какой-то мешочек, он таинственно удалился. Ясно, что его пригласил Садовский. Но вот зачем взял он еще с собой туда и Евангелие, иметь которое заключенным запрещалось?

Вскоре по участку разнесся слух, что дочь Садовского здорова. Оказалось, что Дед не только накладывал на нее руки, но и приказал кормить сырыми яйцами, взбитыми вместе со скорлупой, то есть давал ей природный витамин С вместе с солями кальция. Но, на мой взгляд, самым большим достижением Деда было то, что он заставил толстого коммуниста Садовского шесть раз в день читать указанный им абзац из «Послания апостола Павла к римлянам». И тот читал!

Григорий Васильевич был верен ортодоксальному православию и презирал сектантство, часто приводя фразы из Евангелия: «и придут другие под именем моим, и будут смущать вас, но они не таковы, а племя сатанинское».

На нашем участке среди заключенных был один баптист, бывший глава большой общины. Сидел он, конечно, за «антисоветскую агитацию». По случайности был он земляком Деда — происходил из Брянской губернии. При встрече они вежливо здоровались и никогда не вступали в разговоры, хотя было видно, что Дед рвался в бой.

Однажды я был сильно удивлен, застав в воскресенье у себя в лаборатории баптиста и Деда, мирно беседующих за чаем. Оказалось, что Дед не выдержал — пригласил-таки его в гости для духовной беседы. Они важно пили чай, вприкуску с сухариками. Забавно было слушать, как их беседа уже целый час касалась далеких от религии вопросов: то о помещиках на Брянщине, то о засухе четырнадцатого года. Дед явно избрал выжидательную тактику и первым не хотел касаться главного вопроса — чья вера правильная.

Я ушел по своим делам и вернулся на пункт только через час. Не переступив еще порог дома, услышал несвойственно громкий голос Деда. Приоткрыв щелочку двери, увидел, что он стоит посреди комнаты, глаза его горят, а рука застыла в ораторском жесте. Шел жаркий спор о таинстве креста, на котором был распят Христос. Вполне естественно, баптист отрицал это, и Дед выискивал в памяти и приводил все новые аргументы из Евангелия. Оппонент же оказался тоже крепким орешком, в

отличие от Деда он был хорошо образован и то и дело спокойным и уверенным голосом приводил цитаты из Отто Бауера, Фейербаха и Бердяева. С такими высотами религиозной философии Дед знаком не был, и мне было очень обидно слушать, как он приводил все одни и те же цитаты, не отвечая по существу на возражения баптиста. Победа явно склонялась к последнему.

Я вошел в комнату, чтобы своим присутствием как-то помочь свести спор к достойному компромиссу. И он скоро наступил, так как вечерело, и ученому баптисту нужно было идти в свой барак на вечернюю проверку. Распрощались они очень вежливо и даже дружелюбно, как и подобает ученым оппонентам. Я сразу же сделал попытку успокоить Деда, прибегнув к позитивистским формулам, вроде «для каждого истина имеет свои очертания» или «Бог един, но пути к нему могут быть разными». Дед молчал и потом промолвил как бы про себя: «Грамотный человек, а веры-то нету».

В течение нескольких последующих дней он находил в Евангелии все новые подтверждающие цитаты, как будто бы я не был согласен с ним. С баптистом же в спор больше не вступал, а при встрече они, как и прежде, очень вежливо здоровались.

Все началось с того, что у Деда появилась собака, а иметь их заключенным строго запрещалось. Как рассказал он, она бежала по проезжей дороге вдали от нашего домика, но как только увидела Деда, свернула и радостно помчалась к нему, словно признав своего хозяина. Он же расценил это как некоторое знамение, или «послание» к нему. Собачка была небольшой, рыжего с белыми пятнами окраса и коротким хвостиком сабелькой. Взаимная любовь возникла с первого взгляда, и куда бы ни шел он, собака следовала за ним как за хозяином, и даже если он входил в коровник, то ждала его снаружи в отдалении, пока он не закончит там работу. Спала она в сенях у дверей и тихим рыком давала понять, что кто-то бродит у дома — а бродили там часто волки. Постепенно научилась она различать и людей по звукам их шагов: если шла ко мне Лена, она радостно повизгивала, если надзиратель, то глухо рычала и бежала прятаться в помещение для телят. Конечно, многие надзиратели уже знали о существовании ее, но так как на глаза она им не попадалась, то делали вид, что не знали.

Назвал он ее Каштанкой и брал ее с собой в степь собирать лечебные травы. Из окна я часто видел, как Дед лежит на спине в густой траве и смотрит на пробегающие облака, а собачка спит у него на груди. Но именно она и стала невинной причиной той драматической истории, которая произошла с ним.

На участке лишь один надзиратель, по фамилии Муразанов, из татар, относился ко мне ревниво и придирчиво. Мои маленькие взятки при его появлении у меня на пункте в виде стаканчика водки перестали его удовлетворять, и он стал намекать, что ему нужен спирт, причем бутылками. Видимо, он намеревался торговать им, но таких количеств у меня не водилось.

Узнав, что Дед по профессии сапожник, он притащил мешок своей старой обуви, чтобы ему ее починили. Всю эту рвань починить было невозможно, хотя Дед старался, как мог.

Однажды он позарился на мой новый военный ремень, который пришел ко мне в посылке, заявив, что такие ремни заключенным иметь не положено. Нужно было догадываться, что его хочет иметь он сам. Но я прикидывался недогадливым и он находил все новые поводы, чтобы что-то у меня выманивать. Отношения наши все более портились, так как спирт был уже весь израсходован, а ремень продолжал носить я. Начались разные придирки, проверки моих шкафов в лаборатории. Наконец он потребовал, чтобы я являлся каждый вечер в общий барак на проверку. Это было уже слишком: все специалисты — врач, агроном, зоотехник — были освобождены от этой процедуры, но освобождены начальником участка неофициально, вопреки инструкции. Я продолжал оставаться у себя на пункте, и напряжение между нами росло. Постепенно моя взяла: Садовский сказал Муразанову, что фельдшерский пункт с больными животными не может оставаться без постоянного присмотра. Тогда Муразанов стал ко мне являться во время его дежурства по нескольку раз в день и производил разные досмотры, запретить которые ему уже никто не мог.

Мы с Леной в дни дежурства Муразанова избегали встреч, но четкой определенности в дежурствах надзирателей не было и то и дело случалось, что Лену приходилось прятать в сене.

На дворе стояла морозная зима. В эти сутки дежурство должен был нести другой, «добрый», надзиратель, и Лена осталась у меня. Однако мы не знали, что произошла замена, и дежурство принял Муразанов.

Примерно в полночь я услышал, как Каштанка злобно зарычала в сенях и бросилась прятаться в соседнее помещение. Дед вышел в сени посмотреть и через секунду заглянул и шепнул нам: «Муразанов!». Раздумывать было нельзя, и план созрел мгновенно. Я вскочил, распахнул окно и, набросив на Лену полушубок, помог ей выбраться наружу. Она рухнула в сугроб снега. Муразанов был уже в сенях, и Дед что-то говорил ему о больном теленке, чтобы выиграть время. Когда надзиратель

вошел в комнату, я уже стоял у открытого аптечного шкафа с фонариком в руках.

— Ну, что там у вас? — обратился он ко мне.

— Теленок погибает! — нашелся я и бросился в соседнее помещение, где находился уже поправившийся теленок. Обнял его и начал прослушивать грудную клетку. Муразанов молча наблюдал за всей этой сценой. Но мой театр удался — я отвлек его внимание от комнаты, где были разбросаны вещи Лены.

Шли напряженные минуты, и я понимал, что все это время Лена сидит почти голая на снегу. Я шепчу об этом подошедшему Деду и громко прошу его принести еще свежего сена. Он все моментально понял и исчез, Муразанов же, постояв пару минут, тоже направился к выходной двери. Кажется, пронесло!

Лену мы вдвоем оттирали камфарным спиртом и заставили бегом бежать в свой барак, куда мог сейчас явиться с проверкой Муразанов.

Новым объектом шантажа Муразанова стала Каштанка. Как-то на вечернем совещании в кабинете начальника он громко заявил, что собаку нужно усыпить, так как по инструкции «не положено». Наступила тишина, и никто не мог возразить, хотя все поняли, что это его личная придирка ко мне. Я нашелся и сказал, что найду для нее нового хозяина из вольных. Конфликт на время был разрешен, хотя война только еще начиналась.

Однажды, заступив на внеочередное дежурство, Муразанов выследил-таки Лену. Он так внезапно ворвался на пункт, что мы уже ничего не могли предпринять. Лена была поднята с постели и заперта в соседней холодной комнате, а в лаборатории начался тотальный обыск, и мне стало ясно, что никакие взятки уже тут не помогут — это была месть.

Единственной находкой Муразанова оказалось потрепанное Евангелие Деда, которое он тут же торжественно конфисковал. Пошарив в помещениях для животных, он грубо обратился к Деду:

— Где собака? — и не получив ответа: — Увижу застрелю!

Каштанка же находилась в метре от его ноги, спрятавшись в солому.

Грубо толкнув Лену к двери, он скомандовал: «Следуй вперед!», и они вместе исчезли в ночной темноте. Я знал, что она будет помещена в холодный карцер, и соображал, что можно сейчас предпринять. Разбудить начальника — немыслимо. Пойти торговаться с Муразановым — бесполезно.

Через минуту подошел ко мне Дед и прошептал: «Какой-то шум слышится за стенкой на сеновале!» и сразу направился туда. Я стал вслушиваться: отчетливо были слышны голоса людей.

Медлить было нельзя.

Через распахнутую дверь сеновала мне открылась ужасающая сцена. Лена лежала в разорванной рубахе на сене, а в темном углу стоял Дед и хлестал кого-то кнутом. Этим «кем-то» оказался Муразанов. Он лежал в углу и пытался увернуться от ударов кнута, защищая лицо руками. Я схватил Деда в охапку, и в эту секунду Муразанов стремглав выскочил из сеновала.

Уже снаружи я услышал из темноты его удаляющийся голос:

— Ну, твоя еще посмотрит, еще посмотрит…

С русским языком у надзирателя было не все в порядке.

Теперь нужно было готовиться к большой войне. Открыто жаловаться он не мог: заяви он начальству, что его избил заключенный — и история с попыткой изнасилования всплывет наружу. Во время этих моих размышлений Дед тихо подошел ко мне и молча протянул какой-то темный металлический предмет. Им оказался пистолет системы «ТТ»! Я так и ахнул:

— Что это? Откуда?

— Сейчас на сеновале нашел.

Ясно, Муразанов в борьбе с Леной потерял свой пистолет. Теперь он даже и заикнуться не сможет, что был у нас!

Утром я узнал, что Лена не была посажена в карцер, а вышла, как всегда, на работу на молочный завод. Это означало, что Муразанов, обнаружив пропажу, предпочитает молчать.

Во второй половине дня, когда я возвратился с фермы, на скамеечке перед моим домом уже сидел заметно присмиревший Муразанов. Ясно, что он уже перерыл весь сеновал. Потеря оружия влекла за собой моментальное увольнение надзирателя с работы.

Он поднял на меня свое заметно побледневшее от испуга лицо, на котором в двух местах красовались белые наклейки.

— Ну, давай поговорим по душам, — попытался он криво улыбнуться. — Отдай мне мою пушку.

Души, конечно, у него никакой не было, а если и была, то очень подлая. Я не спешил с ответом. Сел рядом и после долгой паузы:

— Скажи мне, что ты от меня хочешь, почему мне жить спокойно не даешь? — перешел я с ним на «ты».

— У меня служба такая.

— Служба у всех такая, но ты выбрал почему-то меня.

Снова наступила пауза. И он начал торговаться:

— Ну ладно, давай договоримся: будешь жить теперь спокойно, только отдай мне мою пушку — ведь она у тебя.

— Могу я считать, что это слово офицера?

Он был только старшим сержантом.

— Да, можешь, можешь… — поспешно затвердил он.

Я встал, зашел в дом и через минуту вручил ему его пистолет. Медленно осмотрев его — все ли патроны целы — он вложил его в кобуру, важно и медленно поднялся и со словами: «ну, бывай» удалился.

По его тону я понял, что война не кончена, и что мстить он мне теперь будет при каждой возможности. И не ошибся.

На следующий день вечером в кабинете начальника Садовский шепчет мне, заикаясь, — он при волнении всегда заикался — чтобы я в течение двух дней собаку куда-нибудь дел, иначе ее силой отберут: у него официальный рапорт Муразанова. Подлец не успокаивался. Я тут же вечером обратился к двум вольным с просьбой взять собаку хотя бы на время. Но о скандале всем уже было известно, и я получил отказы.

Целый день я уговаривал Деда отдать собаку знакомому почтовому экспедитору. Завезет он ее в Долинку и там оставит: собака красивая, и хозяин найдется. Но Дед не хотел и слушать об этом, по его глазам я понял, что с Каштанкой он ни при каких обстоятельствах не расстанется. Дальше же прятать ее у нас было бессмысленно.

Через день утром к нашему домику направились два солдата охраны с винтовками. Дед сразу понял, что они идут за собакой, а точнее, убивать ее. Он тут же схватил Каштанку и исчез с ней куда-то.

Солдаты, несколько смущаясь, объявили мне, что пришли за собакой, и начали осматривать все помещения. Я следовал за ними. Вдруг из сеновала выскочил Дед и помчался к неподалеку стоящему зданию деревянной бани — в руках у него была Каштанка.

Баня — довольно большое здание из массивных бревен с маленькими оконцами под крышей. Она использовалась в конце каждой недели для мытья сначала вольных, а затем заключенных. Солдаты подошли к единственным наружным дверям и попытались войти. Дверь не подавалась: она была из массивных досок с двойной обшивкой жестью. Под ударами прикладов она издавала лишь глухой звук.

Конфликт обострялся. Я упросил солдат подождать и помчался к Садовскому искать компромисса: скандал на участке вредил также и его карьере. Когда мы с Садовским подошли к бане, там уже скопилось довольно много людей, пришедших из ближних коровников. Многие расселись амфитеатром на траве, ожидая, что представление вот-вот начнется.

И действительно, оно началось. Садовский стал стучать в дверь со словами, что если Дед не подчинится «законным

требованиям охраны», то будет посажен в центральную режимную зону. В ответ ему я отчетливо услышал слова:

— Отойди, сатана!

Как это было ни странно, но старшина Садовский действительно отошел, отошел, чтобы дать новые указания солдатам. В это время я тоже стал вразумлять Деда через приоткрытое верхнее окно, говоря, что сопротивление бессмысленно и что так или иначе он и собака будут выведены охраной из бани, но в ответ я услышал громкие слова молитвы. Дух его был неукротим.

Что еще можно было предпринять? Увидев, что у бани появился Муразанов, а с ним и еще два других надзирателя, я побежал к начальнику лагерного участка Герусу. В конторе его не оказалось, и я рискнул вторгнуться в его семейные покои. Вместе со мной он сразу же поспешил к бане. По дороге я рассказал ему всю историю с Муразановым, которого он ненавидел. Теперь Герусу стало ясно, кто будоражит весь участок.

К нашему приходу обстановка еще больше накалилась. Солдаты уже нашли где-то большой ствол дерева и тащили его к бане, видимо, для того, чтобы выбить дверь. Садовский стоял под окошечком бани и вел переговоры с Дедом.

Наконец подошел к окну Герус:

— Заключенный Картамышев, сейчас же покиньте баню, лишь в этом случае я вам обещаю, что с собакой ничего не случится!

Возникла пауза, и все стали прислушиваться. Вдруг окно еще больше растворилось, и из него выскочила собака. Он поверил Герусу!

Упав с высоты, Каштанка взвизгнула, отряхнулась, осмотрелась и, узнав в толпе меня, с опаской стала приближаться. Казалось, что конфликт улажен, и кое-кто из зрителей даже захлопал в ладоши.

В этот момент от толпы отделилась фигура Муразанова. Он быстро направился к собаке. Мне вдруг стало все понятно.

— Нет, нет! — закричал я.

Но было уже поздно: прозвучал выстрел.

В руках у Муразанова я увидел тот самый, мной возвращенный ему пистолет. Пуля попала собаке прямо в голову, и она, подергавшись на земле, застыла.

Наступила пауза, и на этот раз все взоры, полные возмущения, обратились на Муразанова.

Первым пришел в себя Садовский. Заикаясь, весь красный, он закричал:

— Каа-а-к посмел?!

Жалко озираясь вокруг и почувствовав, что все против него,

Муразанов стал протискиваться сквозь толпу, тихо бурча одно и то же:

— Не положено, не положено…

Получалось так, что старший лейтенант Герус в присутствии всех, обманул заключенного Картамышева, дав ему свое слово.

Дед наверняка видел из оконца всю эту сцену. Садовский подошел еще раз к бане и сделал еще одно предупреждение. Дед четко ответил, что если баню начнут штурмовать, то он сожжет ее и себя с ней. Мои мольбы к начальству были уже бесполезны, отступить перед лицом собравшихся заключенных они уже не могли. Штурм начался. Солдаты произвели бревном два предупредительных удара по дверям бани и стали ждать реакции.

Вдруг толпа ахнула — из-под углов крыши бани в небо потянулись струйки дыма. Баня горела!

Наступила тишина, и все услышали, как изнутри донеслось пение. Дед пел псалмы.

Теперь уже бревно заработало с полной силой, дом горел. Наконец дверь рухнула, и из проема повалил дым. Солдаты ринулись вовнутрь, но тут же отпрянули — на пороге в дыму стоял Дед. Правая рука его была поднята в благословляющем жесте. Он пел и медленно шел на солдат. Сзади на нем горел ватник.

Это было так неожиданно, что на какие-то секунды и солдаты, и все начальство оцепенели. Затем все бросились к нему гасить ватник. Взяли с двух сторон под руки и повели через расступающуюся толпу. Многие женщины плакали.

Он был невозмутим, шел, силясь жестом благословить их. И я услышал его слова:

— Жено, не плачьте обо мне, а плачьте о грехах своих!

Дед был сразу заперт в карцер до выяснения дела, а вечером в кабинете начальника разыгралась бурная сцена. Муразанов предъявил свой проект решения по делу Картамышева, в котором предлагалось на год запереть его в центральную режимную зону в Тасс-Заимке за «поджог бани, неподчинение требованиям надзирателя и за религиозную пропаганду». Герус заявил, что никакой пропаганды в поступках Деда не находит и что поджог бани есть простое хулиганство, поэтому и раздувать дело не следует, а просто отправить его в режимную зону на месяц. К мнению начальника присоединился и «добрый» Садовский.

Муразанов стал возражать и, когда заметил, что его больше не слушают, заявил, что будет жаловаться выше. Герус взорвался:

— Тогда я начну расследование, кто из надзирателей ночью пытался изнасиловать заключенную женщину! У меня есть такие данные. — И в упор уставился на Муразанова. Тот заметно

побледнел. Наступила пауза. Садовский попытался сгладить конфликт, указав, что такие вопросы нельзя решать при заключенных. Заключенными были мы, специалисты и руководители производства. Совещание прекратилось.

Дед на следующий день оказался в зоне, в той самой, где я провел первый самый тяжелый мой год. Принеся ему передачу, я был удивлен, увидав через проволочное заграждение его сияющее лицо. Вспомнились его слова:

«Будьте радостны и добры: вы, страдающие за слово Божье! Ибо сказано: „Кого люблю, тех обличаю и наказываю!“»

Для него это было просто еще одно испытание в вере. И, видимо, Господь действительно оказался к нему милостив, так как он ни одного дня не ходил на тяжелые работы. Новому коменданту зоны потребовались хромовые сапоги. А кто же еще, кроме Картамышева, может ему их сшить?!

Через месяц, вернувшись ко мне на пункт, он с рвением принялся за работу. О Каштанке он уже никогда и не упоминал. Если что и огорчало его, так это пропажа Евангелия. Оказалось, что Муразанов, убегая ночью от нас, разрывал на ходу эту, уже ветхую, книгу и разбрасывал. Листки разлетелись по ветру, далеко по всей степи, и теперь Дед ходил и собирал их.

— Бес, так он и есть бес! — подытожил он.

Эта история оказалась бы не полной, если бы я не рассказал, что случилось с Бесом-Муразановым. Бог действительно покарал его. Он оказался не только подлецом, но и вором.

Как выяснилось, повадился он воровать пшеницу с полевого склада. Заведующий складом был заключенным и имел любимую женщину, которая приходила к нему по ночам на склад. На этом-то и построил свой шантаж Муразанов, застигая их вдвоем на складе. Каждый раз он требовал по три мешка пшеницы за его молчание. За этим зерном по ночам приезжал на подводе его дружок, тоже татарин, надзиратель с соседнего участка. Зерно уходило на базар в Караганду. Так и тянулось целый год, пока заведующий не выдержал и не открылся во всем Герусу. Тот, конечно, воспользовался моментом.

Муразанов и его дружок были ночью схвачены с поличным засадой, устроенной на них самим начальником НКВД отделения. Его судили, дали восемь лет лагерей и отправили в северные лагеря, чтобы в них не могли опознать бывшего надзирателя. Ведь недаром в народе говорят: «Бог шельму метит».

Восстание ангелов
Часть третья
На крутых поворотах

«Нас судьбы безвестные ждут»

Из гимна русских социалистов-революционеров.

Этап

Мокрый снег повалил неожиданно и, ложась на высокую сухую траву, издавал тихий шорох. Я проснулся. Тяжелое чувство надвигающейся беды уже несколько дней не оставляло меня. Может быть, это осенняя тоска.

Когда в дверь моего фельдшерского пункта кто-то громко постучал, у меня сразу же мелькнула мысль: «Вот она!». На пороге стоял надзиратель, тот добрый и покладистый малый, который частенько заглядывал ко мне, чтобы получить свой стаканчик медицинского разбавленного спирта. Хлебнет и тут же исчезнет.

Но теперь он пришел не за этим: глаза его были печальны и серьезны, да и говорил он скороговоркой:

— Вас вызывает к себе начальник участка. — И потом, опустив глаза, добавил: — Не знаю зачем.

«О нет, знает, не к добру это!»

Вот уже почти год, как я на новом участке «Джон», среди нескольких сотен розовых, аппетитно хрюкающих свиней новой фермы. Производительную высокопородную часть стада завезли сюда откуда-то издалека, и свиньи давали богатый приплод, так что начальство только руки потирало. Но не учло оно, что порода эта к сибирским холодам не приспособлена. Как грянули холода, новые, еще не просохшие здания свинарников заиндевели и начали болеть поросята, а затем и взрослые животные. Чем дальше, тем хуже. Наконец, в марте разразилась свиная чума, унесшая одну треть поголовья. Тогда-то и нашли меня на участке Боздангул и стали уговаривать принять эту несчастную ферму.

Возможно, эпизоотия уже и сама шла к концу или привезенная мною вакцина помогла, но только падеж животных прекратился, и ферма стала снова набирать темпы.

Почему-то начальство решило, что только мои старания спасли ферму. И стал я неожиданно всеми уважаемым человеком,

этаким «спасителем». Так продолжалось до того самого утра, когда постучал ко мне надзиратель.

В кабинете начальника все стало ясно.

— Да, это этап, дорогой. Я сейчас говорил с начальником отделения, просил за тебя, отвести пытался, но говорят, что списки составлены Главным Управлением.

Он поднялся и, не смотря мне в глаза, подал руку:

— Нет, действительно ничего не могу сделать. — И вздохнул при этом.

Слово «этап» для заключенного — слово страшное. Крутая перемена судьбы. Для начальства же оно обозначает просто перевозку заключенного в другой лагерь.

Уже давно ходили слухи, что вокруг города Караганда спешно строят большой лагерь, с глухими заборами и огромными сторожевыми вышками. Для кого он?

Утром я уже был доставлен на центральный участок «Тасс-Заимка», где формировали этапы. Моя друзья — врачи сделали попытку спасти меня от этапа, укрыв в своем госпитале с диагнозом «пневмония». Заснул я на больничной койке без всякой надежды и оказался прав. Утром разбудил меня стук кованых сапог в моей палате. Нашли-таки! Это был незнакомый надзиратель:

— Собирайся с вещами. Конвой ждет.

Прощаясь, врач шепнул мне на ухо:

— У них приказ отправлять на этот этап в любом состоянии.

И действительно, когда меня привели в этапную зону, там, позади колонны, я увидел на повозке двух тяжелобольных, закутанных в одеяла.

Да, это был не простой этап. Специальная комиссия Главного Управления во главе с представителем ГУЛАГа в течение трех месяцев перебрала тысячи дел заключенных, отбирая «особо опасных, политических». К таким отнесли и меня.

В то время мы уже знали, что где-то далеко в старом немецком городе Нюрнберге прошел «суд победителей» над главными нацистскими преступниками. На этом суде мирно сотрудничали западные юристы с советскими прокурорами, хотя им уже и было хорошо известно о многолетнем массовом терроре КГБ/НКВД. Но для нас главным было не это. После Нюрнберга Сталин получил возможность объяснить свои массовые репрессии и геноцид необходимостью борьбы с проявлениями фашизма в стране, пытаясь тем самым оправдать себя перед цивилизованным миром.

Рассказывали, что на одном из заседаний Политбюро глава Госбезопасности Лаврентий Берия открыто заявил: «Мы ведем

борьбу с проявлениями в нашей стране фашизма, поэтому никакой воспитательной политики для этих врагов народа быть не может. Наша политика к ним только карательная». Вот и было решено по примеру нацистских лагерей создать специальные лагеря для «врагов народа», лагеря уничтожения. Таким лагерем и был ПЕСЧЛАГ, куда гнали наш этап. Кроме того, была введена особая категория политических заключенных — каторжники, которых выводили на работы закованными в железные кандалы.

В этап набралось человек пятьсот. И каких только политических статей здесь не было! Попавшие в плен, «измена Родине с оружием в руках» (УК 58–16), работавшие на административной службе во время оккупации, просто «измена Родине» (УК 58-1а), убежавшие с тяжелого производства во время войны, «саботаж» (УК 58-8), имевшие контакты с западными представителями, «шпионаж» (УК 58-6) и, наконец, те, кто хоть как-то пытался оказать организованное сопротивление режиму, «антисоветская деятельность» (УК 58–10 ч. 2 и 11). Уже по конвоирам было заметно, что сейчас наша жизнь круто переменится. Это были краснощекие, откормленные солдаты внутренних войск, в новых белых полушубках, с автоматами, совсем незнакомого нам вида. Город Караганда находился от нас всего в двадцати километрах, на поезде не более получаса, но нас погнали пешком по заснеженной степи.

Прошел час. Люди стали уставать, колонна растянулась. Послышались подгоняющие окрики конвоя. В конце колонны уже кого-то подобрали с дороги и бросили на подводы. Еще через два часа появились предместья Караганды: убогие землянки с одним оконцем и крышей почти до земли. Здесь живут рабочие угольных шахт, эвакуированные с Донбасса. Тоже ведь лагерь, только без колючей проволоки.

Хрустит под ногами мокрый снег, пропитанный черной угольной пылью. Но вот и сам город. В морозный воздух поднимаются сотни темных дымков, образуя саван. Видимо, мы обходим центр справа. Уже в сумерках появился огромный забор, на вершине которого сделаны «козырьки» из колючей проволоки, а с вышек уже наводят на нас лучи прожекторов. Слышен лай собак, они где-то рядом на длинных проводах вдоль стены, но мы их не видим.

Наконец, мы оказались перед большими воротами, окованными жестью, рядом большое охранное отделение из кирпича — «вахта». Построить нас по пятеркам трудно, некоторые уже еле стоят. Но вот ворота растворились, и там внутри мы увидели целый отряд надзирателей в шубах, которые ждали нас. Они тоже замерзли, и, видимо, поэтому обыск прошел быстро и

поверхностно. Куда же теперь?

Стало совсем темно, когда нас ввели в еще одну небольшую зону, отгороженную от главной забором, с еле различимыми силуэтами двух бараков. «Размещайтесь здесь, кто как может, а завтра вас начнут принимать».

Почти ничего внутри не видно, только пахнет холодной сыростью и свежеобработанной древесиной. В бараке нет электрического света, его не отапливают. Ничего еще не успели сделать, так торопились нас поскорее получить. Ощупью нахожу нары и забираюсь наверх, там теплее. Нащупываю под собой тонкие маты из сухого камыша. Но уже сильно клонит в сон; я закрываюсь своим полушубком, который служит мне последний раз, и куда-то проваливаюсь.

Утром свет еле пробивается через окна, покрытые изморозью. Можно рассмотреть и сам барак: стены из деревянного бруса совсем свежие, в помещении человек триста, по центру проход, а слева и справа ряды двухэтажных нар. Все это очень знакомо — все советские лагеря такие.

Не успели мы прожевать выданные нам с кипятком пайки хлеба, как послышалась команда: «Выходи строиться!». Та самая, обещанная еще вчера приемка начинается. Как только все вышли на заснеженный двор, из ворот нашей зоны появился целый взвод сержантов МВД. Они совсем не похожи на наших простых парней охраны в КАРЛАГЕ: на них новенькие шерстяные гимнастерки, ушитые по моде в талии, сапоги из хорошей кожи, из-под фуражек выбиваются чубы. Удалые ребята. Им всем почему-то весело, они даже не смотрят на нас, насвистывают что-то и с задором таскают в барак столы, какие-то приборы, стулья и табуреты. Видно, что все это не в первый раз, все привычно. К задним дверям подъехал грузовик, и с него начали носить в барак кипы одежды. Не прошло и получаса, как наш барак превратился в галерею отсеков, перегороженных висящими простынями. А вот и офицеры с портфелями в руках, за ними несут и ящики, как видно, с нашими «делами». Особенно странным показалось, когда сержанты стали надевать резиновые фартуки и перчатки, как будто бы им предстояла чрезвычайно грязная работа.

И, наконец, началось. Всех построили и стали по несколько человек запускать в барак. Не прошло и десяти минут, как за дверями послышался какой-то шум, а затем крики, глухие удары, стоны и опять крики. Драка?

Примерно через полчаса мы увидели, как через задние двери прямо на мороз выскакивают совершенно голые люди, прошедшие приемку. Они держат в руках сверток каких-то вещей, стараясь как можно быстрее их надеть. Через десять минут еще

одна партия голых людей. Конвейер заработал.

Как только наша десятка вошла в первое отделение барака, где стояли наготове в фартуках сержанты, послышалась команда: «Быстро всем раздеться догола, снять все, связать в узел и привязать к нему бирку с фамилией!».

Уже через минуту терпение сержантов иссякло. Один из них, особенно веселый, с курчавой шевелюрой, с размаху бьет ногой стоящего передо мной старика: «Шевелись, гад!» — и тот падает, сбивая с ног и меня. Еще через минуту послышались истошные крики в углу, там колотят еще двоих, уже лежащих на полу. Вижу, как с искаженным от злобы лицом сержант бьет кулаком по спине кого-то и при этом шипит: «Гады! Замучили Зою Космодемьянскую!». Лишь потом мы узнали, что на каждом политическом занятии солдатам внушали, что они охраняют «изменников Родины», «предателей, участвовавших в массовых расстрелах советских граждан» во время войны.

Голые, дрожа от холода, мы проходим в следующее отделение, где стоит сержант в темном халате, рядом с ним весы и ростомер. После взвешивания и регистрации он, заглянув в список, рисует на моей груди черной краской огромный номер. И с этого момента мы все теряем свою фамилию и превращаемся для охраны уже только в «номера». Так я стал «АА-425».

В следующем отделении уже сидят офицеры в белых халатах, понимай, врачи. Один из них стоит с металлической блестящей палкой в руке. Он командует: «Рот!» и тут же этой палкой раздвигает зубы и прижимает язык, затем кричит сидящему за столом: «Без особенностей!». Это значит, металлических зубов и протезов нет. Затем он ударяет этой палкой по моему плечу со словами «Спиной!». Идет осмотр поверхности тела, записываются все приметы: наколки, шрамы, родимые пятна, и все это заканчивается отпечатками пальцев. Из первого отделения опять доносятся крики и стоны. Офицер за столом поднимает с улыбкой голову: «Ребята, потише там, работать мешаете!».

Переходим в следующее отделение, где стоят пять табуретов. Возле них в резиновых фартуках пять сержантов. Нас остригают наголо. Но и здесь стоны: машинки не стригут, а рвут. Рядом со мной стригут старика-эстонца. Сержант шутит: «Ну, что, батя, помирать сюда приехал?».

И, наконец, «последний круг». Оказывается, на груди каждого написан не только номер, но и еще какая-то цифра, обозначающая размеры одежды. Солдат тычет пальцем на одну из связок вещей и дает в руку пачку белых лоскутов, на которых несмываемой краской отштампованы огромные номера. «Нашьешь сегодня же!» — и следует пинок к двери. Стоя на снегу, я разбираюсь, что

к чему. Лоскутов с номерами восемь и специально вырезанных дыр на каждой части одежды тоже восемь. Эти лоскуты нужно нашить, закрывая эти дыры. Быстро одеваюсь. Наша новая одежда состоит из грубого белья, серой рубахи, куртки с рукавами разных цветов, ватного бушлата, кирзовых ботинок и шапки. Особенно огромен номер на бушлате — как на самосвале, во всю спину. Принарядились! Не узнаем друг друга и даже смеемся еще при этом, ну, просто клоуны. Уж больно смешная шапка, она из трофейного японского обмундирования Квантунской армии.

И без отопления стал наш барак постепенно просыхать: триста человеческих тел — это одна большая печка. Два раза в день нам привозят еду: 600 граммов хлеба, гороховый суп и каша с подсолнечным маслом. Рабочую силу нужно кормить.

Вскоре в дощатом заборе, отделяющем наши карантинные бараки от главной зоны, появились большие щели, и стало видно, что за забором еще с десяток таких же бараков и на огромной площади снуют сотни людей, одетых так же смешно, как и мы. Это 12-е лагерное отделение Песчаного лагеря ГУЛАГа МВД, сокращенно ПЕСЧЛАГ. Среди нас двое просидевших в нацистском лагере «Бухенвальд», они смотрят в щели: «Все правильно! Совсем как там! Наверно, по тем же чертежам и строили». Как личности мы уже не существуем, нас надзиратели должны называть только по номеру: «АА-425, ко мне!».

С той стороны к забору подходят люди, выкрикивая через щели: «Есть кто из Ростова?» или «Кто был в РОА?». Слышу, что и меня коснулось: «Кто тут из Москвы и Ленинграда?». Интеллигентный певучий голос. Из щели на меня смотрит мигающий карий глаз. Отвечаю: «Я из Питера!». Завязался разговор: «А я был студентом в Москве, на истфаке, только очень давно, сижу уже десятый год!». Вижу через щель высокого молодого человека с выразительными миндалевидными глазами и большим носом. Он в такой же смешной японской шапке, только номер, конечно, другой: «ВВ-14». Так мы и познакомились. Это был Павел, Павел Гольдштейн — мой друг на всю последующую жизнь. Он сидит уже с 1938 года за «антисоветскую деятельность», в лагере его еще два раза судили и один раз приговорили к смертной казни, но в последний момент помиловали, заменили на 15 лет лагерей. У него мама в Москве, педагог пения, а папа знаменитый скрипач-виртуоз, эмигрант, где-то в Китае.

Каждый день после работы он подходит к забору и мы рассказываем друг другу о себе. Однажды он сообщил мне, что через несколько дней всех нас разделят на строительные бригады и назначат бригадиров.

— Какая у тебя лагерная профессия?

— Фельдшер.

— Это здесь не пойдет, здесь и медицинской части-то нет. Это лагерь уничтожения: каждый день прямо в бараках умирают люди.

Меня кольнуло, и он продолжал:

— Ты должен придумать себе какую-нибудь строительную профессию и сказать, что работал бригадиром, иначе подыхать тебе на общих работах.

— Но ведь я же ничего в строительстве не понимаю!

— Все ничего не понимают! Бригадир и не должен понимать, он организует работу.

— Но ведь они быстро узнают, что я самозванец! У них же наши документы.

— Вот именно, что подробных документов у них здесь нет, а только формуляры, документы твои в центре, они уже секретными стали. А здесь только все с твоих слов.

— Но ведь они быстро разоблачат меня.

— Кто и зачем? Ведь им только выработка бригадной нормы нужна. Я вот бригадир бетонщиков, думаешь, я понимаю, из чего сделан бетон?

В моем отчаянном положении долго уговаривать меня не пришлось. На следующий день он просунул мне в щель истрепанную книжку с названием «Каменные работы» со словами: «На и выучи наизусть». Кроме того, он объяснил, что в зоне есть еще и старший бригадир, так называемый нарядчик, из заключенных, приближенный к начальству. Он давит на бригадиров и улаживает в бригадах разные конфликты, чем само начальство заниматься не хочет. Этим нарядчиком был Ахмет Хаджибекиров, кавказец, бывший офицер Дикой дивизии РОА (Русской освободительной армии), с двадцатилетним сроком. Как он заслужил пощаду и не был расстрелян, никто не знал. Это был восточный лукавый деспот, коварный и хитрый. Павел знал его еще по последнему своему лагерю на Урале, и только поэтому тот помог ему стать здесь бригадиром.

— Он поможет тебе, я поговорю. Но ты должен будешь потом все время чем-то ему отплачивать, иначе будешь сразу же снят. Такой тут порядок. Ну, а сейчас изучай каменную кладку, — и он показал на книгу.

Книга была небольшой, со схемами и таблицами. Я все их зазубривал наизусть. А вечером, лежа на нарах, шепча, повторял: «Голландская кладка в два кирпича с расшивкой. Вязка простого угла по отвесу…».

Уже на следующий день Павел подошел к забору не один, с

ним был инженер по фамилии Васильев, интеллигентный пожилой человек из Москвы. Он начал задавать мне вопросы по книге. Затем передал мне еще какие-то чертежи на синьке, которые я должен изучить и ответить на его вопросы. Лагерный университет заработал.

И вот, наконец, собралась трудовая комиссия. За столом расположились офицеры и еще какие-то люди в штатском, видимо, специалисты, а в стороне от них скромно стоял толстый, самодовольный заключенный восточного вида — Хаджибекиров.

Я быстро и четко отрапортовал, что закончил в КАРЛАГЕ курсы строителей, по специальности «каменные работы» и что приходилось работать бригадиром на стройках коммунальных зданий.

Вижу, как рот Хаджибекирова расплывается в еле заметной ехидной улыбке. И вдруг, о, ужас, из комиссии мне задают вопрос:

— А какой тип кладки ты там вел?

— Прямую голландскую кладку с расшивкой и без штукатурки.

— А арочные перекрытия приходилось делать?

— Только пару раз: у меня лишь четвертый разряд. Да в основном на перекрытия шла бетонная балка.

«Куда занесло?» — мелькает в моей голове.

— Иди! Следующий!

Зазвенело в ушах от напряжения: «Неужели пронесло?».

Да, действительно. На следующий день через щель в заборе Павел сказал мне: «Поздравляю. Ты будешь бригадиром каменщиков». И еще мне повезло: в бригаде оказалось два профессиональных каменщика, пожилые люди, с которых я пылинки сдувал, ведь они-то действительно знали, что такое голландская кладка с расшивкой.

Моя бригада, номер 12, разместилась в том же браке, что и бригада Павла. Начались трудовые будни. В шесть часов утра на дворе играет горн и бьют в подвешенную рельсу — это сигналы «подъема». Надзиратели идут отпирать наши бараки, и оттуда на мороз вываливает толпа к деревянным умывальникам во дворе. Умывшись, бегут выстраиваться перед столовой. В лагере четыре тысячи человек; это значит, что каждая бригада, рассевшись за длинным столом, должна получить свои пайки хлеба и проглотить миску овсянки за пять минут.

В семь часов снова трубит горн — это уже развод, выход на работу. Все бригады выстраиваются ленточками по пять в ряд в специальных проходах с металлическими барьерами перед воротами вахты. А там стоят уже в фартуках надзиратели и

обыскивают каждого. Не проходит и часа, как вся эта масса строем проходит за ворота, а там, на площади, уже ждут грузовые автомашины с открытыми задними бортами. Быстро по пятеркам все впрыгивают в кузов и сразу же садятся рядами спиной к кабине, у которой за барьером стоят два автоматчика в шубах. Борта закрываются, и колонны машин несутся к строительным объектам.

Первое, что моей бригаде пришлось делать, так это заканчивать строительство так называемого Дворца шахтеров. Это был Дворец для тех, кто жил в землянках. Огромная зона, обнесенная забором и колючей проволокой, внутри недостроенное здание Дворца, а около него суетятся сотни людей. Грустно мне стало, когда я узнал, как велики нормы, которые мы должны выполнять. Не выполним — только 450 граммов хлеба в день, а ведь и так ходим полуголодные. И работать нужно до темноты, зимой 8 часов, а летом так и все 12.

«Голландская кладка с расшивкой! Ах, кто тебя выдумал!»

Вавилонская башня

В этом лагере смешались «тысячи языков». Каких только национальностей здесь не встретишь! Примерно двадцать европейских народов и столько же азиатских, к тому же был и один африканец. Сначала казалось, что все тут равны и каждый народ имеет свою «нишу», но при ближайшем рассмотрении становилось понятным, что главенствуют здесь украинцы. Большинство из Западной Украины, где вели они партизанскую войну против оккупантов, как немецких, так и советских, за «Самостийну Украину». Советские прокуроры называли их «бандитами» или по фамилиям их лидеров: «бендеровцы», «мельниковцы». Они сохранили и приспособили структуры своих организаций к условиям лагеря. К лагерной организации западных украинцев примыкали и восточные, которые отлично говорили по-русски и многие на воле служили в советских учреждениях. Их высшее руководство состояло из двух выбранных лиц: один из них Гримак, из повстанческих офицеров, другой Мосейчук, бывший студент Киевского университета. Организация считалась тайной, хотя все о ней знали и могли пальцем указать на руководителей. Трудно сказать, сколько членов эта организация насчитывала, но уж по меньшей мере тысячью они располагали. Членом организации, без всяких формальностей, становился тот, кто соглашался поддерживать ее и выполнять приказы руководства. Все были разбиты на сотни и группы, знали друг друга в лицо и связь с «центром» поддерживали через

посыльных. Остальных же украинцев называли они «братвой». Но и «братва» должна была делиться с «бедными» частью своих продуктовых посылок, такова была «социальная программа».

Было и собрание представителей групп и сотен, так называемая «рада». Она выбирала своих делегатов, судила провинившихся и утверждала важнейшие решения руководителей. Эти заседания были конспиративными. В обусловленное время все представители собирались в назначенном месте, быстро все решали, голосовали и тут же, через несколько минут, разбегались по своим баракам.

Конечно же, начальство лагеря знало об этом: «стукачей» везде хватало, но начинать против украинцев войну, нарушать тишину в зоне оно тоже не хотело, да и причин не было. Так что в зоне внешне все выглядело мирно.

Чувства национального единства среди украинцев подогревал Мосейчук, идеолог организации. Время от времени для избранных он читал лекции прямо в бараке, в основном о славных делах предков украинского народа. В организации были и профессиональные артисты театров, которые с разрешения начальства организовали даже любительскую труппу и в помещении столовой устраивали настоящие спектакли, в которых женские роли исполняли молодые парни, что вызывало восторг у публики. Играли, конечно, на украинском языке. Особенно популярна была комедия Крапивницкого «Як бы ни ковбаса да чарка, так не була бы и сварка».

Возник и украинский хор под руководством церковных певчих. А уж петь украинцы ох как умели! Иногда по вечерам из окна их барака разносились задушевные песни, полные печали: «Реве и стогне Днипр широкий…» или «Взял бы я бандуру, бандуристом стал…».

У русских же к тому времени никакой организации не было, и поэтому украинцам удалось занять все важные должности в обслуге зоны, и в бане, и на кухне, и в мастерских, что избавляло многих от общих работ на строительстве. Это создавало впечатление, что лагерь наш украинский.

В большинстве своем были украинцы добродушными ребятами, хотя порой внушаемый им национализм делал их злыми и недоверчивыми. И тогда всю ненависть к советской власти они переносили на всех русских, не понимая, что и те находятся в таком же порабощении. Русские становились тогда «москалями» и должны теперь в лагере отплачивать свою вину перед украинцами. Это рождало рознь и вражду.

К своим врагам они причисляли также и поляков, так как в свое время правительство Пилсудского боролось против

украинского сепаратизма. Косо смотрели они и на белорусов, считая их «русскими». Доставалось и прибалтийским народам.

Во всем стремились они подчеркнуть свои национальные черты. Даже нашу лагерную одежду умудрялись перешивать на украинский манер: брюки в виде шаровар, украинские узоры на вороте гимнастерки. Говорить по-русски считалось неэтичным, и забавно было наблюдать, как только что говоривший с тобой по-русски сразу же переходит на украинский, едва лишь замечает, что к нам приблизился украинец. После разрешения иметь в зоне небольшую библиотеку появилась у них возможность читать свою литературу. Это были, конечно, Тарас Шевченко и Коцюбинский, хотя и Гоголя считали они своим. Но вот беда, писал-то он только по-русски. Выход и тут был найден: нашлись грамотные люди, которые смогли смотреть в русский текст и тут же переводить его на украинскую «мову». Нужно было видеть, как загорались глаза простых украинских парней, слушающих гоголевскую прозу. Особенно полюбился им «Тарас Бульба». Когда в последней главе Тарас перед казнью кричит: «Сынку, слышишь ли ты меня?!» и из толпы доносится: «Слышу, батько, слышу!», слезы блестели на глазах у многих.

Нашелся среди них и тенор из оперного театра в Киеве, который имел богатый репертуар, но пел на русском языке, что нарушало этикет. Но и здесь отыскался выход, арии были переведены на украинский, и получалось очень забавно. Например, ария паяца из оперы Леонкавалло «Паяцы» «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» звучала примерно так: «Рерочи, попрыгач, над разрепанной коханни!».

В огромной массе заключенных разыскали трех священников из униатов, которые были тут же приближены и обласканы, за что должны были отправлять тайные службы, конечно, только для избранных.

Вся эта «национальная украинская жизнь» никому в зоне не мешала бы, если бы она не перешла в притеснение других национальностей, в первую очередь русской.

Сначала украинцы создавали бригады исключительно из своих людей. Но постепенно поняли, что такая бригада должна в полную силу работать. И пришла им в голову мысль подбрасывать в русские бригады своих избранных людей с тем, чтобы они там только делали вид, что работают, а норму за них выполняли бы другие рабочие бригады, русские. Русским бригадирам угрожали и требовали, чтобы они молчали. Так постепенно все украинские деятели оказались дармоедами. Бригадиров, которые отказывались принимать к себе паразитов, избивали. «Москали должны расплачиваться за свою вину перед

украинским народом!»

У помещения, где выдают посылки, появились украинские Наблюдатели. У получивших посылки вымогали «украинскую Долю», своего рода налог. Посыпались от работяг жалобы к нам, бригадирам, нужно было что-то предпринимать.

У русских, как и у всех больших наций, шовинизм почти не проявлялся. Однако, испытывая давление украинцев, и они стали объединяться. К ним присоединялись и другие национальности: грузины, греки, сербы и даже узбеки и казахи. Создавалось что-то вроде лагерного интернационала, под русским руководством. Люди искали защиты. Боевой силой этой едва наметившейся организации стали бывшие члены РОА, число которых в зоне все возрастало, а также бывшие советские военнослужащие, побывавшие в плену. К сожалению, большинство из них были политически инертны. Хотя постепенно и они прозревали, особенно те, кто штурмовал Берлин или Прагу, получил ордена, а в итоге оказался в заключении «за измену Родине».

Много было и старых русских эмигрантов, захваченных в Восточной Европе. Это были банкиры, офицеры Белой армии, предприниматели, редакторы газет и просто служащие. По своим политическим взглядам они очень различались, что приводило к постоянным спорам. Некоторые еще продолжали верить в восстановление монархии или в создание новой демократической России. Другие же разочаровались во всем и превратились в скептиков-обывателей.

Но еще более печальную картину представляли собой так называемые русские реэмигранты или, как их прозвали в зоне, «русские дураки». Неустроенность жизни на Западе, победа Советской армии над фашизмом, постоянное чувство ностальгии и массовая агитация в советских посольствах толкнули этих несчастных получить советское гражданство и вернуться на Родину. Многие из них даже были фанатично влюблены в Сталина, и портреты его висели на видных местах в их квартирах, а на своих собраниях они распевали «Широка, страна моя родная!». И когда соотечественники пытались вразумить их, они или затыкали уши, или кричали им: «Вы были и остались предателями Родины!».

Бедность и неустроенность жизни в эмиграции родила в них ненависть к западной демократии, и многие вступали в коммунистические партии своих стран, организовывали патриотические русские организации, вроде «Евразийцев», «Младороссов», «Союза советских граждан», которые сполна использовались советской разведкой. Большинство реэмигрантов были из Франции и Манчжурии, где жилось русским особенно

тяжело. Вернувшись на Родину, они впервые столкнулись с советской действительностью, и начавшийся шок переходил в отчаяние. Их расселяли в провинциальных городах, Свердловске, Саратове, Ульяновске, Перми, где местное население встречало их с недоверием, завидовало их одежде и манерам. Слежка КГБ за ними велась почти в открытую. Лицо Родины оказалось злым, но назад пути уже не было: советский паспорт превращал их в советских граждан навеки. Все заслуги их перед советской Родиной, как и участие во французском Сопротивлении или в компартии, не шли в счет. И более того, такие люди становились еще более подозрительными для КГБ и обвинялись, как правило, в шпионаже.

Не прошло и года, как органы начали собирать свой «урожай». Пошли аресты и суды по обвинениям в «антисоветской агитации», так что вскоре одна пятая часть приехавших оказалась в лагерях. Здесь их отчаяние переходило в полную апатию ко всему, политически они были совершенно инертны.

Самой активной группой русских, но и самой немногочисленной были «антисоветчики». Это были советские люди, начавшие, каждый по-своему, борьбу с советской тоталитарной системой. Некоторые начали ее сразу же после Октябрьского переворота в 1917, другие уже в «зрелые» годы сталинской диктатуры. Это были члены подпольных студенческих организаций, преподаватели, священники и даже офицеры, побывавшие на Западе. Многие из них организовывали кружки, издавали листовки, газеты, печатали и распространяли книги, вели проповеди в церкви. Люди с чистой совестью, они уже не могли сидеть, сложа руки. В их характерах, в их поведении много было чести и мужества, но порой и наивности, хотя эта «наивность» и послужила началом для развертывания в стране демократического движения в последующие годы.

Объединить всех русских под какой-то общей политической доктриной было невозможно: уж слишком разные они были по своим идеям и стремлениям. Лишь в одном были все солидарны — в ненависти к советскому режиму. Но об этом никто вслух не говорил, хотя все это чувствовали. Ближайшей же объединяющей задачей было сопротивление давлению украинцев. На этой почве и возникла наша организация, постепенно получившая довольно банальное, но всем понятное название «Комитет».

Начав с небольшой группы, Комитет перерастал в многочисленную организацию, объединявшую не только русских, но и другие национальные группы. Так же, как и у украинцев, Комитет был рыхлой организацией, границы которой были

расплывчаты, ибо каждый пришедший к нам с намерением помогать, уже считался членом ее, никаких списков и приемов в члены не велось, все держалось на личных связях. Конечно же, в него вошли большинство русских бригадиров, многие из РОА, командиры Советской армии, активная интеллигенция и даже православные священники. Многие примыкали к нам по политическим соображениям, другие же искали только помощи. Руководителей никто не выбирал, ими оказались сами организаторы, и они опирались на бригадиров, а те в свою очередь были связаны с рядовыми членами, собирали их жалобы и требования и объявляли решения Комитета. Эту бесформенность организации поддерживали мы сами, чтобы не быть сразу же разгромленными начальством.

Вскоре к нам посыпались жалобы от избитых бригадиров, и борьба с засильем украинцев началась. Как-то собрались в нашем бараке человек двадцать бригадиров, обсудить, что делать. И решено было создать защитные группы из сильных и толковых ребят. Набралось таких человек тридцать, большинство — бывшие военные. Всем украинским дармоедам в бригадах было объявлено, чтобы они начинали работать, иначе им запишут отказ. На угрозы украинских боевиков последовали наши предупреждения. Нарядчика Хаджибекирова предупредили, что если должности заключенных по обслуживанию зоны не будут поделены, то возникнут неприятности. Он сразу понял, что ситуация в лагере меняется, и тут же назначил на кухню русского главного повара. Однако украинцы и не думали отступать. Напряжение росло, начиналась война.

Постепенно четко обозначилось и руководство нашего Комитета. С общего согласия во главе его оказался Николай Максимов, очень старый и больной человек, один из руководителей левых эсеров. Его физическая слабость вполне уравновешивалась политической мудростью и твердой волей. Остальное руководство состояло из семи человек: бывший полковник РОА Паршин, офицер Белой армии Стахов, доцент университета Рогов, бывший секретарь комсомола в Ленинграде Борис Яров, старший лейтенант Советской армии Егоров, мой друг Павел Гольдштейн и я. Это были очень разные по своим политическим взглядам люди, и опасность никогда не прийти к единому решению нависала. Каждый получил свой сектор работы: Паршин и Егоров руководили «боевиками», Яров контролировал ситуацию в столовой, на кухне, в бане, на складе, Рогов улаживал конфликты с нарядчиком: на какой объект какой бригаде идти, Павел поддерживал связи с другими национальными группами, а я с бригадирами.

Выбор Максимова главой Комитета ни у кого не вызывал сомнения, эта была светлая и всеми уважаемая личность. Ему было уже за шестьдесят. Среднего роста, с худым и сильно морщинистым лицом, на котором из-под совсем седых бровей выглядывали серые и несколько печальные глаза. Родился он в Северной Сибири, куда были сосланы при царизме его родители — народовольцы. Еще до Октябрьского переворота, будучи студентом Московского университета, примкнул он к левому крылу социал-революционной партии, к «эсерам». Он много рассказывал нам о некоторых лидерах этой партии, о Марии Спиридоновой и Викторе Чернове.

Мария Спиридонова после дерзкого покушения на киевского генерал-губернатора стала героической легендой революционной молодежи того времени. После Октябрьского переворота ее несколько раз арестовывала ЧК, но вскоре выпускала на свободу. Лишь в 1937 году НКВД упрятало ее уже на десять лет, Мария Спиридонова к тому времени была уже очень пожилой женщиной. По словам Максимова, следователи забрасывали ее на шкаф в кабинете и затем, проходя мимо, плевали ей в лицо со словами: «Что, сука, на начальство руку поднимала?».

Максимов же примыкал к самому левому крылу партии эсеров. При изготовлении бомбы в его руке взорвался запал, оторвало два пальца и изуродовало ладонь. Возможно, это и избавило его от тяжелых работ в северных лагерях, что было равносильно смерти. Во время Гражданской войны он был членом так называемого Уфимского правительства эсеров, затем входил в Директорию под председательством Авксеньтева, а затем и в Сибирское правительство, во главе которого стояли Вологодский и эсер Чайковский. С Белой армией отступил он в Омск и там был при штабе генерала Болдырева, главнокомандующего всех частей Сибири и Дальнего Востока.

Схвачен был Максимов на китайской границе. Просидел всего три года, вышел, женился и тихо жил, работая бухгалтером, пока в 1938 году не нашел и его НКВД. Был у него сын на воле, воевал на фронте простым сержантом и заслужил орден Славы, чем Максимов очень гордился. Шли годы, его бросали из одного лагеря в другой, но старый эсер Максимов не менялся и при возможности оказывал властям сопротивление. Учетчиком работ на строительстве он отказывался работать, так как считал это аморальным — помогать строить советский социализм. А работал он дневальным или уборщиком — мусор за своими товарищами убирать не считал унизительным.

Был он образованным во всех отношениях человеком, хотя университета ему так и не удалось закончить. Политические

взгляды его расходились с нашими: они были слишком радикальными и казались нам наивными. Но что касается задач Комитета, то тут мы были с ним едины и ценили его удивительную способность предвидеть события и найти быстрое решение.

В борьбу украинцев с русскими начальство почти не вмешивалось и придерживалось тактики «разделяй и властвуй». Борьба обострялась. Мы знали, что украинцы вооружены и хранят свои ножи и пики в расщепленных досках нар. Как-то нам принесли оброненный ими лист бумаги, на котором были начерчены планы трех наших бараков с обозначением мест, где спят наши руководители. Это напоминало подготовку к «Варфоломеевской ночи». Полковник Паршин готовил свои отряды к ответным действиям и тоже составлял «карты» расположения противника. Максимов же был против «войны»: «Ну, что же, поубиваем мы друг друга, развезут остальных по другим отделениям. А кто от этого выиграет? Только начальство. Нет, нам нужны мир и единство!».

На одном из строительных объектов украинцы столкнули со стены нашего бригадира, и он сломал ногу. Люди ждали от нас ответных действий. Паршин уже потирал руки: вот теперь он им покажет! План его был очень прост: захватить в заложники одного из атаманов и потребовать выдачи виновных. Большинство из Комитета были против такого плана, считая брать заложников аморальным. На вопрос же Паршина, что мы предлагаем взамен, никто ничего реального придумать не мог.

На следующий день после ужина, когда лидер украинцев Гримак вышел после ужина из столовой, к нему подошла группа русских ребят и попросила, чтобы он пошел с ними в наш барак на переговоры. Гримак был умным человеком и сразу понял, что сопротивляться бесполезно.

В бараке группа Комитета потребовала от него, чтобы он вызвал к нам того, кто столкнул нашего бригадира. Гримак же начал с объяснений. По его версии, бригадир сам упал со стены, и никто его не сталкивал. Просто украинец хотел по стене подойти к бригадиру что-то спросить, тот оглянулся, потерял равновесие и упал. Но в бараке оказались люди, которые видели все произошедшее, и Гримак замолчал. Было уже поздно, наш барак уже заперли снаружи, и Гримаку пришлось остаться на всю ночь.

Наступило воскресное утро. Мы повторили свои требования. Гримак знал, конечно, что его отсутствие сразу же будет замечено, и начнутся поиски его по баракам, поэтому он тянул с ответом, то и дело поглядывая на дверь. Наконец, он попросил бумагу и стал писать записку к своим. Мы предупредили, чтобы

виновный пришел без всякого сопровождения, и записка отправилась в украинский барак с нашим посыльным.

Ждать пришлось недолго, на пороге вскоре появился молодой украинец с бледным, немного испуганным лицом. Его подвели к Гримаку, и тот начал «следствие». На лице парня было написано удивление, когда он услышал, что тот, кто, видимо, приказал ему это сделать, теперь задает ему глупые вопросы. Опустив глаза, он молчал. К месту допроса приковылял и сам раненый бригадир:

— За что ты меня?

— Ну, отвечай! — подталкивал его Гримак, оглядываясь на дверь.

Возникла пауза. Парень продолжал молчать. И здесь вступился Максимов:

— Бригадир, — обратился он к раненому, — что будем с ним делать?

— Да отпустите парня, видно, что ему приказали, — махнул рукой бригадир.

— Вот и я так думаю, — заключил Максимов. — Марш из барака, дурак!

И парень стремглав помчался прочь, а Максимов подсел и молчащему Гримаку:

— Ну, скажи, кому полезна эта борьба украинцев с русскими? — и сам ответил на свой вопрос: — Только им! — И он указал на окно.

Гримак, потупившись, молча сидел, и, наконец, тихо на чисто русском языке произнес:

— Ну, я пойду, ребята. Меня там уже ищут. Приходите к нам потолковать.

Его отпустили без всяких условий. Но лед тронулся. Наши переговоры с украинцами начались. Долго не могли найти общего языка, но все-таки соглашение возникло. Оно состояло из пяти пунктов:

Акты насилия с обеих сторон прекращаются.

Все украинские «дармоеды» или начинают работать, или переходят в свои бригады.

Конфликты улаживаются на встрече сторон.

Общая цель — сопротивление режиму лагеря.

Мы пожали друг другу руки: «За нашу и вашу свободу!».

Мы, конечно, учитывали всю шаткость такого соглашения: слишком многое нас разъединяло.

Была в нашей зоне и большая группа поляков. Особенно сблизились мы с двумя из них, уцелевшими после разгрома Армии Краевой в 1944 году в предместье Варшавы. Это были Гладчинский, офицер-картограф штаба, и Барковский, личный

врач генерала Бур-Комаровского. От них мы впервые узнали правду о массовом расстреле польских офицеров в лагере под Катынью в 1941 году. Велико было их негодование, когда они прочли в «Правде» заключение советской комиссии о том, что не НКВД, а немецкое гестапо учинило этот расстрел. Причем под этим заключением не постеснялись поставить свои подписи Патриарх всея Руси, а также большой писатель, ставший придворным Кремля, Алексей Толстой.

Рассказали они нам и забавную историю о польском князе, генерале Сапеге. При захвате части Польши советскими войсками в 1939 году он был арестован и содержался в лагере в Сибири. Внешне это был ничем неприметный человек: небольшого роста, слабого телосложения и почти совсем лысый. В лагере на тяжелых физических работах он превратился в доходягу и на работу уже не мог выходить. Поставили его работать в кочегарку при кухне, где он должен был постоянно подбрасывать уголь в печи. Эта работа сделала его совсем неузнаваемым: его лицо и вся его одежда пропитались угольной пылью, и только глаза поблескивали. На поясе постоянно висел алюминиевый котелок, так как с кухни могли каждую минуту вынести «милостыню» — черпак супа, и он должен сразу же подставить свой котелок. Совсем ослабший, днем он ложился прямо на кучу угля и так засыпал на пару часов. Люди и не подозревали, что этот грязный доходяга был князем и генералом. Но об этом знало начальство лагеря.

Шла война, и однажды он был вызван на вахту, чтобы заполнить какую-то анкету, пришедшую из Москвы. Начальник лагеря с любопытством разглядывал его: «Ну, какой ты князь, пан?! Посмотри, как ты выглядишь, до чего ты дошел!».

Но если советские власти о Сапеге забыли, то о нем помнили союзники. Как только стала образовываться Польская армия под руководством генерала Адамса на территории Ирана, союзники добились разрешения у Сталина переслать Сапегу в Иран. В лагерь сразу же пришла важная бумага, приказывающая подготовить генерала к передаче союзникам, и для этой цели был приложен пакет с полной генеральской формой польской армии. Для начальства лагеря это было холодным душем. Уже в тот же день Сапега был вымыт, подстрижен, побрит и помещен в армейский госпиталь за зоной для особого питания. За десять дней он должен был снова выглядеть бравым генералом! Задача не из легких, но князь помогал, как мог, и ел за обе щеки.

Через десять дней на железнодорожной платформе небольшого полустанка при лагере выстроился почетный караул из солдат охраны лагеря и гарнизонный оркестр. Наконец,

подошел железнодорожный состав из четырех мягких вагонов. Теперь должна была произойти передача генерала союзникам. Начальник лагеря, принаряженный в парадную форму, страшно нервничал: все ли пройдет хорошо?

Как только в начале платформы появилась процессия, оркестр грянул польский гимн. Советские представители и союзники застыли на месте, отдавая честь. Надо было видеть Сапегу, он снова стал маленьким бравым генералом. Поблескивая орденами, он шел перед строем, одной рукой придерживая саблю.

Началось прощание. Сапега подходил к каждому из лагерного начальства и пожимал руку. Но вот очередь дошла и до начальника его лагеря, который застыл по стойке «смирно» перед генералом. Сапега остановился и стал внимательно рассматривать его форму. Наступила неловкая пауза. Чтобы прервать ее, начальник первым пробормотал: «Счастливого пути!» и протянул руку для прощанья. Но Сапега не спешил. Он, к удивлению всех, тут же убрал свою руку за спину. И на плохом русском языке, но четко, чтобы все слышали, сказал:

— Ну, посмотри, майор, как ты выглядишь! До чего ты дошел: побрит не чисто, воротничок грязный, ремень твой истрепан. Ну, какой же ты офицер?! — И повернувшись к нему спиной, тут же вошел в вагон.

Поезд уже исчез из вида, а начальник все так и продолжал стоять на перроне, пока его не взяли за локоть и не отвели в сторону.

Мы подружились и с грузинами. Особенно с профессором грузинской истории Ильей Цихистави. Это был уже пожилой человек с усталым лицом и печальными миндалевидными глазами, которые сразу же загорались, как только речь заходила о Грузии. Темы, которые ему приходилось преподавать в университете, были очень опасными. Например, «Борьба грузинских большевиков после царского Манифеста» или «Роль товарища Сталина в установлении Советской власти в Грузии», Для безопасности он сначала печатал свои лекции на машинке и относил на проверку в идеологический отдел ЦК Грузии. Но и это не помогло. Когда он писал о Сталине в дореволюционный период, то употреблял его партийные клички «товарищ Коба» или просто «Сосо», а то и его настоящую фамилию «Джугашвили».

Примерно через год он был арестован и обвинен в «антисоветской пропаганде». В НКВД следователь, помахивая перед его носом пальцем, причитал:

— Джугашвили были только родители товарища Сталина, он же всегда был и останется навсегда только «товарищем Сталиным». И нет у него никаких других имен и кличек. Ты хотел

унизить нашего вождя, показать, что он неверный человек, все время меняющий свое имя!

Вместе с Цихистави приходил к нам и еще один образованный грузин, Чечиа. Он провел в лагерях почти всю свою жизнь, так как в молодости примыкал к грузинским меньшевикам, которых Сталин особенно ненавидел, ведь они были свидетелями всей его карьеры и знали хорошо всю его грязную историю. Чечиа происходил из Сванетии, где был вначале школьным учителем, а затем стал профессиональным политиком — социалистом. Просить его рассказать о том времени было совершенно бесполезно. «Хватит, я уже рассказал историй на двадцать лет лагерей!» — отмахивался он.

Все наши разговоры о русском и грузинском народах приводили к сравнениям и спорам.

— Когда вы (понимай, русские) еще бегали в шкурах, мы уже перевели Библию на грузинский язык!

Или:

— Самой культурной женщиной средневековья была царица Тамара — она говорила на десяти языках.

Цихистави, конечно, знал, что по указанию Сталина была репрессирована вся лучшая часть грузинской интеллигенции. Но он продолжал в душе любить Сталина, так как тот был все-таки грузином.

— Сталин — великий стратег, — устремлял он свои карие глаза куда-то вдаль, — и большой души человек! Все, что творило НКВД, от него скрывали, но когда он узнал, то сразу же арестовал наркома НКВД Ежова. — И продолжал:

— Ну, а когда на смену ему пришел Берия и репрессии усилились, то от Сталина это тоже скрыли.

Но здесь вступал Чечиа, он ведь ненавидел Сталина.

— Нет-нет, ты не прав, товарищ профессор, — обращался он к Цихистави. — Я знал Джугашвили еще по сибирской ссылки в Туруханске. Он никогда, понимаете, никогда не был грузином!

И затем почти шепотом добавлял: — Никто не знает, с кем спала его мать! Но о личности Сталина нам рассказывали не только грузины.

Рассказы о товарище Сталине

Никто из нас толком не мог понять, врет он или нет, но сквозь маску его морщинистого, опаленного на морозном солнце лица проглядывало что-то, что заставляло ему верить. Звали его Николай Николаевич, фамилию мы так и не догадались у него спросить. Говорил он тихо, как будто бы боялся, что кто-то его

подслушает, да и во всех движениях чувствовалась напряженность и осторожность — осторожность царедворца. Морщины его лица расправлялись, когда разговор заходил о Москве, видно было, что он любил этот город. Но что больше всего впечатляло, так это глаза — они источали печаль и тоску: у этого человека все было в прошлом, и он ничего не ждал от будущего. Посадили его всего два года назад, хотя и эти два года советских лагерей на тяжелых строительных работах сделали его грубо-безразличным к окружающим. Мы то и дело приглашали его вечером после работы в наш «бригадирский уголок» около окна, отпить чаю с белыми сухарями из столичной посылки. Он оживлялся, речь его и сами манеры становились другими: несомненно, это был русский интеллигент старой школы. Он начинал нам то и дело что-то о себе рассказывать. Чаще всего темы его рассказов касались архитектуры Москвы, и здесь у него возникали жаркие споры с моим другом, так как Николай Николаевич не любил архитектуру «новой Москвы» и считал, что она уничтожила «Москву Герцена и Лермонтова», она агрессивна и не гуманна, а также насквозь лжива. При этом голос его доходил до шепота, так как он знал, что переходил границу и приближался к знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса. Тогда он резко менял тему и начинал рассказывать сплетни о московских архитекторах, особенно о своем старом приятеле, знаменитом советском архитекторе академике Жолтовском, который на старости лет постоянно влюблялся в молодых артисток кино и, наконец, женившись, попал под каблук одной из них.

Но все-таки так и оставалось неясным, действительно ли он был одним из архитекторов дачи Сталина под Москвой в Барвихе. Как-то раз он об этом обмолвился и потом, замявшись, сразу ушел от темы. Получалось так, что сам Жолтовский испугался взять на себя ответственность строить дачу вождю, он знал, что по традиции древней Руси строителей княжеских покоев уничтожают. И тогда-то, видимо, он и предложил кандидатуру своего приятеля Николая Николаевича, как знатока московской архитектуры.

В жизни маленького человека из архитектурного бюро произошло великое событие: он был приглашен в Кремль, и ему было поручено набросать план «одной из правительственных дач». Видимо, его эскиз понравился «самому», он прошел по конкурсу, и тут вся его жизнь моментально переменилась: ему была дана группа младших архитекторов с тем, чтобы в кратчайший срок был составлен подробный проект. Так Николай Николаевич, старый русский интеллигент, оказался среди партийной сталинской элиты. Его стали приглашать на

различные праздники в Кремль, на просмотры фильмов, а однажды даже к «самому» на личную беседу. Долго он готовился к этой беседе, придумывая свою тактику поведения, и, наконец, решил, что лучше просто без всякой тактики молчать или говорить только «да» или «нет». Как потом оказалось, это было большой мудростью, так как вождь не любил «говорящих», он любил говорить сам.

Теперь по утрам к его дому стала подъезжать черная автомашина «оттуда», и он ехал в свое, уже новое, роскошное бюро на работу. То и дело приходили указания сверху о тех или иных добавлениях к проекту: то построить баню в стороне от дачи, соединив их подземным ходом, то углубить на три метра запланированный бетонный бункер. И вот, наконец, пришло еще одно указание, которое ввергло Николая Николаевича в страх, и он стал догадываться, почему его приятель Жолтовский отказался от проекта. Дело шло о создании разветвленной сети тайных проходов внутри дачи, а также тайного подземного хода под землей из дачи в соседний лес. Итак, он становился обладателем большой государственной тайны!

— Николай Николаевич! Расскажите, какой он сам-то вблизи, — раскачиваем мы его.

— Ох, не могу, ребята, за это ведь меня-то и посадили, — сопротивляется он.

— Ну, так второй-то раз за это же самое сажать-то не станут…

Не сразу он решился на «откровенности», но, видимо, у самого много накопилось.

«Как только меня секретарь ввел в кабинет, смотрю, он уже стоит у стола и ждет. Одет совсем как на портрете, в кителе, длинных брюках и мягких ботинках. И что мне сразу же бросилось в глаза, так это то, что он мал. Мал ростом. Чуть ли мне не до подбородка. Я остолбенел, руки по швам и замер на месте. Он прищурился, не переставая пристально, в упор смотреть на меня. „Здравствуйте!“ — тихо произнес он. „Здравствуйте, товарищ Сталин“, — нашелся я. „Проходите, товарищ архитектор, и присаживайтесь к столу“. К столу-то я подошел, а вот сесть-то, чувствую, невозможно мне, ведь он-то стоит.

— Ну, что же гость не садится, значит, и хозяин должен стоять!

Я тут же бухнулся в мягкое кожаное кресло перед столом. А он — нет, продолжает медленно расхаживать по другую сторону стола, да и палец заложил за борт френча, совсем как на портрете. Наступила тишина. Я уставился в пол перед собой.

Чувствую, что за моей спиной еще кто-то вошел и сел за другой, соседний столик. На столе у Сталина я сразу заметил листы моего проекта.

Вдруг Сталин застыл в молчании перед столом, уставившись в мой эскиз. И тут я глянул на него и заметил, что он почти совсем седой и рябой. Просто рябой.

— Вот вы меня тут совсем во дворец захотели поселить, — прозвучала в тишине его первая фраза, причем последние два слова он произнес с еле уловимым грузинским акцентом: „за-хот-э-ли пос-э-лить“.

— Вот тут вы шесть колонн в вестибюле поставили, расписные потолки, да еще и витражи в окнах столовой. Зач-э-м все это, нужно жить просто. Да ведь это же не только дача, а еще и рабочее помещение…

И снова наступила пауза, я расценил ее как угрожающую. И, наконец:

— А, в общем-то, хорошо… Поздравляю, вас, товарищ архитектор.

Я чувствую, как кровь приливает к моей голове, в висках начинает стучать. Это же похвала, похвала товарища Сталина! Я встал и застыл по стойке „смирно“.

— А где вы работаете? — тихим, как бы отеческим голосом спросил Сталин.

— В районом бюро Моспроекта, товарищ Сталин, — отрапортовал я.

— В районном бюро… — как бы в задумчивости повторил он. — Как это вас не оценили… А вы член Академии архитектуры?

— Нет, товарищ Сталин.

А вот об этом уже мы должны подумать, — повышая голос, произнес он, обращаясь к сидящему за мной секретарю. Это прозвучало как приказ.

Сразу стало понятно, что прием окончен. И тут я заметил, что секретарь подошел ко мне, как бы предлагая следовать за ним. Я попрощался. Сталин в это время уже сидел за столом, углубившись в бумаги. Но когда я подошел к двери, чтобы выйти, вдруг за своей спиной услышал тихий голос вождя:

— А вот каково ваше мнение о новой архитектуре Москвы, не опасна ли она для зам-э-чательной старой русской архитектуры?

Я застыл. Кровь ударила мне в голову. Донесли! Ведь это мои слова! И тут подоспевшая фраза спасла меня:

— Никак нет, товарищ Сталин, они вполне по-своему гармоничны друг другу.

И снова напряженная пауза.

— Вот и я так полагаю… гармоничны… — с какой то растяжкой, как бы любуясь этим словом, произнес он.

Всю ночь ни я, ни моя жена не могли заснуть. „Ах ты, мой академик!“ — целовала она меня в темноте в лоб. И действительно, через месяц я уже был избран действительным членом Академии архитектуры СССР».

Постепенно Николай Николаевич привык к своим рассказам. Видимо, общение с прошлым становилось ему приятным, да и нам он стал доверять. Бывало, сам придет в наш уголок: «А вот еще…» и начинает вспоминать, да и не только то, что с ним случалось, а и рассказы других из сталинского окружения. Не знаю уж, насколько они достоверны, возможно, это были своего рода легенды, я же воспроизвожу их так, как они сохранились в моей памяти.

Игра на бильярде

Всем, с кем он был как-то связан, Сталин не доверял. Даже свою жену он все время в чем-то подозревал. У него не было ни друзей, ни добрых знакомых, с кем он мог бы быть вполне откровенен. Но он был человек, и ему, как и всем, необходимо было человеческое тепло и понимание. Посторонние, случайные люди часто казались ему наиболее безопасными собеседниками, с кем он мог быть прост и откровенен, но от них-то он был надежно изолирован всей системой его личной охраны. Иногда его собеседниками становились его личная повариха или какой-нибудь случайно приехавший из Грузии в Москву приятель молодых лет. Словом, он был совсем одинок.

В одной из комнат дачи в Барвихе стоял большой бильярд. Иногда, расхаживая по комнатам, он подходил к этому бильярду, ставил пару шаров и гонял их по сукну, пока не оставался только один шар. Как-то однажды пришла ему в голову идея сыграть с кем-нибудь по-настоящему. Он знал, что рядом в коридоре постоянно дежурит солдат охраны. Этих солдат охраны набирали, в целях большей безопасности, по принципу случайности: приезжает в военкомат Хабаровского края офицер кремлевской охраны, знакомится с документами и назначает: «Вот этого!». Никаких шансов, что этот парень уже «подкуплен агентами иностранных разведок». Его тут же берут, везут, учат и ставят в охрану Кремля.

Так вот и пришла Сталину эта идея — взять для игры солдата из коридора.

Открывает дверь в коридор: «Не устал тут стоять?» — как бы по-отечески обращается он к солдату. — «Служу Советскому

Союзу!» — выкрикивает, вытянувшись, тот. — «Ну, ладно. За-ход-ы сюда».

Солдат пучит глаза, но не шевелится.

— Ну, заход-ы, — заманивает его Сталин.

— Не могу оставить пост, товарищ Сталин!

— Если я разр-э-шаю, значит, можно.

Аргумент решающий и обсуждению не подлежал. Солдат входит в комнату.

— Как тебя зовут?

— Младший сержант Ефимов, товарищ Сталин!

— Да я тебя про имя спрашиваю.

— Семен, товарищ Сталин!

— То, что я товарищ Сталин, можешь мне не повторять. Откуда ты, Сем-э-н, будешь?

— С Дальнего Востока, село Юрьевка, Хомутинского района!

— Кто там из родных-то остался? — переходит Сталин на доверительный тон.

— Мать и сестра.

— А отец гд-э?

— На фронте погиб в начале 43-го.

— Да, вижу, что тяжело вам досталось.

И вдруг неожиданно:

— А что, Сем-э-н, ты на бильярде играешь?

— Товаррр…

— А это не трудно, я тебя научу. Бери-ка вот этот кий.

— Не могу! По уставу. На посту не положено!

И снова решающий аргумент: «Я разр-э-шаю!».

И выстроил, наконец, Сталин всю пирамиду шаров на сукне. И началась игра. Сталин все время ему советовал, как и куда пасовать. Смеялся от души, если шар от неумелого удара выскакивал у солдата со стола. Даже сам наклонялся и поднимал шары. Словом, почувствовал себя как бы отцом. Да и парень раскрепостился, почти и забыл, с кем играет. Выигрывал, конечно, всегда хозяин: «Ничего, научишься!».

Кончилась игра, Сталин раскраснелся, повеселел, подошел к буфету, достал оттуда две большие рюмки и из керамического сосуда налил коньяк.

— Ну, давай выпьем! Так сказать, за знакомство.

— На посту не имею права, товарищ Сталин!

— Много нельзя, а немножко я разрешаю.

Подняли, выпили, да и еще раз пошутили-поговорили и выпили. И вернулся солдатик на свой пост в коридор, а Сталин на какое-то заседание уехал.

Минут через двадцать идет проверка постов. Подходит

разводящий:

— Чего так раскраснелся, почему не докладываешь?

Доложил солдатик, да только сразу коньяком запахло.

— Ну-ка дыхни еще раз!

Ничего не сказав, командир бросился стремглав вниз по лестнице к телефону. Началось что-то страшное. Приехали «органы». Рюмки в буфете оказались еще влажными.

На допросе вначале солдат все отрицал: не хотел своего «друга» — вождя подводить, но когда уже военным судом запахло, открылся. И оказалось начальство перед дилеммой: спросить «самого», так ли было, — страшно и поверить тоже трудно. Думали-решали, и, наконец, из «органов» пришло постановление: «Уволить со службы и отослать назад на Дальний Восток».

Прошло еще немного времени. И опять как-то вождь заскучал, и вспомнился ему Семен. Открывает дверь в коридор, а там уже совсем другой стоит. На следующий день тоже не он. И вызывает, наконец, Сталин начальника охраны:

— Что-то я давно не вижу на посту Семена Ефимова. Хороший был парень, честный и преданный делу.

Начальник охраны молча застыл: соображает. И сообразил:

— Он приболел, товарищ Сталин! Скоро поправится.

И в ту же ночь из Москвы на Дальний Восток был послан специальный самолет. Не сразу нашли Семена Ефимова в селе Юрьевка, Хомутинского района. Но все-таки нашли. Привезли назад. Побрили, помыли, нарядили и поставили, как ни в чем не бывало на тот же пост. Открывает Сталин дверь в коридор, а там Семен.

— Ну, как здоровье, Семен?

— Отлично, товарищ Сталин! — лукаво улыбаясь, отвечает тот.

— После болезни-то неплохо бы и домой слетать, своих проведать. Я похлопочу. Ну а теперь, давай сыграем.

— Вот, что значит один раз сыграть на бильярде с вождем! — закончил свой рассказ Николай Николаевич.

Последняя остановка

Ни для кого не было секретом, что вождь обожает смотреть кино. Вероятно, в его одиночестве это было единственное окно в реальный мир, но только смотрел он фильмы по нескольку раз, подмечал каждую мелочь и в хорошем настроении часто даже пересказывал смешные места из кинокартин. Пожалуй, в то время ни один новый фильм не мог выйти на экран без его

благословения. У него в Кремле даже один из залов был оборудован для кино, куда после заседаний Политбюро, или после каких-либо торжеств приглашались все смотреть новую картину. Любишь ты кино или нет, но отказаться было невозможно. Так и сидело почти все Политбюро в темноте и смотрело допоздна новый фильм. В этот зал часто приглашались также и кинорежиссеры, и актеры, писатели и даже балерины. В общем-то, это был простой зал, в котором расставлялись рядами стулья и зашторивали окна. Сталин приходил последним и садился в первый ряд, который всегда оставался свободным для него. При просмотре картины возле аппарата обычно находился ответственный за советскую кинематографию председатель Комитета, в то время Романов. Если кто-либо хотел выйти из зала во время показа в туалет, то его сопровождали охранники, которые также находились тут же в зале. Громко говорить во время показа мог только Сталин. Смеяться и аплодировать во время просмотра следовало только после того, как зааплодируют в первом ряду. Ему же лично казалось, что эти киновечера проходят в «непринужденной дружеской обстановке».

Однажды, вспоминал Николай Николаевич, он нас страшно напугал. Во время одного показа, в самом драматическом месте вдруг в темноте с его места раздался громкий выкрик:

— СТОП!

Демонстрацию фильма тут же остановили, но свет не зажигали.

— СВЕТ! — послышалось из первого ряда.

Зажегся моментально свет. И все заметили, что Сталин медленно поднимается со своего места, хмуро и пронзительно осматривает сидящих в зале и после короткой паузы направляется по центральному проходу к задней двери. Наступила цепенящая тишина, все застыли в тех позах, в каких застал свет. Все ждали, что сейчас произойдет что-то страшное. А страшное в то время было одно: неожиданные аресты. Никто не посмел даже оглянуться на него, было только слышно, что он покинул зал. Проходит три минуты… пять, шесть… Все сидят, не шелохнувшись, в полной тишине, в том числе и Молотов, и Каганович. Казалось, что тишина начинает кричать. Но вдруг неожиданно, выйдя из боковой двери, он появился перед своим местом, и все увидели, как он важно, не торопясь, застегивает на брюках ширинку. Сел и громко хлопнул в ладоши:

— ПРОДОЛЖА-Э-М!

Вождь сходил в туалет. Ему же нельзя отказать в чисто человеческом!

А шел фильм, весь сюжет которого состоял из того, что поезд

шел через всю страну и то и дело останавливался на разных полустанках, где и развертывались события. Названия этих полустанков, как части фильма, то и дело появлялись крупными буквами на экране. Фильм был страшно скучным, все зевали, но поезд все ехал и ехал дальше. Видимо, Сталин заметил это. И вдруг все услышали с первого ряда его громкий голос:

— Товарищ Романов, какая следующая остановка?

— Сосновый Бор, товарищ Сталин! — отозвался из кинобудки Романов.

— Ну вот, мы на ней-то и сойд-э-м!

Свет в зале моментально зажгли. Сталин медленно поднялся и с еле заметной улыбкой, видимо, собственная шутка ему самому понравилась, направился из зала. Тут все и начали дружно смеяться.

Фильм, конечно, для показа в крупных кинотеатрах не был рекомендован.

«Кубанские казаки»

Все устали от фильмов о войне. Война уже прошла. ЦК в своем решении призывал создавать веселые, оптимистические картины. Вот режиссер Пырьев и создал комедию «Кубанские казаки», где вместо разрушенных деревень и голодающих колхозников на экране появлялись нарядно одетые, счастливые, танцующие и поющие люди, а столы на их празднествах ломились от изобилия. Фильм производил впечатление какого-то сна, причем очень веселого и смешного. Были задействованы любимые всеми советские киноактеры, а музыку написал популярный композитор.

Фильм сначала просмотрели члены Комитета по кинематографии во главе с Романовым. Они пришли в ужас: страна голодает и стонет от разрухи, а здесь такая лакировка, такая банальная ложь. «Запретить к показу» — было их решение. Лента была положена на «черную» полку Мосфильма, рядом с десятком других запрещенных картин. «Будь рад, что это видели только мы! А если бы сначала увидел Хозяин!» — говорили руководители Комитета Пырьеву. И он молчал и даже радовался, что все так хорошо сошло с рук.

Однажды в гости к Сталину пожаловал старик из Грузии, которого он знал еще с молодых лет. Старик почти не говорил по-русски, и поэтому показывать ему фильм с большими диалогами было бессмысленно. Сталин позвонил Романову:

— Товарищ Романов, привезите какую-нибудь новую

комедию.

— Товарищ Сталин, комедий пока нет, все в процессе производства.

— Как это нет! А вы решение ЦК выполнять собираетесь? Почему до сих пор ничего не смогли создать?

У Романова все внутри оборвалось, получалось, что он не работал. Снимут! И тут он махнул рукой на все и на своего друга Пырьева:

— Да мы уже создали тут одну комедию, да она оказалась неудачной. Идеологически порочной!

— А кто это решил, что она порочная? Вы? Так вот давайте-ка ее к нам на просмотр. Мы тут все коллективно и решим, какая она.

Делать было нечего, нужно доставать ленту с полки и везти в Кремль. Звонит Романов Пырьеву и сообщает, что комедию Сам затребовал на критический просмотр. Пырьева в этот же вечер увозят с признаками инфаркта в больницу.

Просмотр начался в том же зале при многих приглашенных. Но рядом со Сталиным в первом ряду сидел старик-крестьянин из Грузии и ждал, когда покажут фильм.

Фильм начал идти при полной тишине в зале. Даже в смешных местах никто не позволял себе смеяться. Но вот пошли комедийные сцены на колхозном празднике, с переодеваниями, танцами, скачками на лошадях… и из первого ряда послышался громкий веселый смех. Это был старик-грузин, он то смеялся, как ребенок, то аплодировал, не понимая слов, ему было все близко и понятно. Сталин сидел, не шевелясь, а фильм все шел, и старик все смеялся и даже подпрыгивал на своем месте. Но вот фильм подошел к концу. Зажегся свет, и наступила настороженная тишина. Не оборачиваясь, Сталин громко спрашивает:

— Товарищ Романов, а кто решил, что это ид-э-ологичес-ки вредная картина?

— Совет по кинематографии, товарищ Сталин, после просмотра.

— А вы кого там в этот Совет посадили? А мы как решим, товарищи? — обратился он к сидящим в зале. Оттуда донесся угодливый шум.

— Талантливая картина, товарищ Романов, я думаю, она очень понравится советскому зрит-э-лю!

В этот год за кинофильм «Кубанские казаки» режиссер Пырьев получил Сталинскую премию, а еще через год стал директором студии Мосфильм.

— Вот ведь как судьба-то у людей бывает причудлива! — закончил свой рассказ Николай Николаевич. И мы все в ответ

улыбнулись, так как и сам Николай Николаевич — человек причудливой судьбы.

Работа кипит. Режим крепчает

Шел 1949 год. Страна поднималась из руин и начала восстанавливать свою промышленность. Для этого в первую очередь требовалась энергия, а именно уголь. В Карагандинский бассейн потянулись эшелоны поездов с рабочей силой. Это были, конечно, заключенные и немецкие военнопленные. Однако для новых шахт не хватало оборудования, и это тормозило дело. Вот тогда-то и вышло специальное постановление ЦК Казахстана о срочном строительстве в Караганде нового завода горно-шахтного оборудования. Нашему лагерному отделению выпало несчастье построить его, причем в один год.

В двухкилометровой рабочей зоне задвигались экскаваторы, вынимая грунт для шести огромных цехов будущего завода. Десять бригад бетонщиков успели заложить фундаменты еще до заморозков, но вести кладку кирпичом оказалось уже невозможным — в ноябре ударили морозы, и известково-цементный раствор стал замерзать на стенах. Строительство остановилось. Потянулись три длинных зимних месяца.

Однако и весна оказалось морозной, угрожая сорвать срок окончания стройки. Там, наверху, в обкоме партии, не хотели об этом и слышать: «строительство должно быть закончено в срок. Для коммунистов нет непреодолимых препятствий».

К этому времени в нашем отделении была собрана группа опытных инженеров из заключенных. Сам начальник лагеря и оперуполномоченный то и дело вызывали их к себе, допытываясь, как можно вести кирпичную кладку в морозы. Но ответ был один: в морозы кладку вести нельзя. Замерзший раствор между рядами кирпича будет к лету на солнце неравномерно оттаивать, здание может накрениться и упасть.

Но нашелся все-таки один из инженеров по фамилии Дукельский, который, видимо, польстившись на обещания начальства, вдруг заявил: «Если нужно — так и можно!». И пошла эта полюбившаяся фраза ходить кругом, пока не дошла до Управления лагерем. Вскоре в производственный отдел на специальной автомашине привезли и Дукельского. Здесь он и изложил наспех придуманную им идею. Раствор, мол, нужно приготавливать в горячих условиях так, чтобы его температура при кладке была не ниже +40 градусов, и кирпичи привозить также из теплого помещения. Тогда горячий раствор схватится раньше, чем замерзнет.

Это звучало заманчиво. Но остальные инженеры наотрез отказались брать на себя ответственность за эту аферу. Начальство тоже решило быть осторожным, и сначала была сделана экспериментальная кладка горячим раствором. Эксперимент удался, морозы не доходили до 5 градусов, и раствор действительно успел схватиться. В Управлении ликовали и даже стали поговаривать о саботаже других инженеров. В ответ на это инженеры написали большое мотивированное заявление о грозящей опасности. Но эта бумага была задержана где-то в канцелярии, и всех их за «саботаж» заставили работать на стройке простыми рабочими.

На строительной площадке снова все зашевелилось. Были вырыты котлованы для огромных печей, подогревавших бетономешалки с раствором, и раствор шел прямо к строительным точкам. Кирпич также нагревался, так что каменщики, ведущие кладку, напоминали поваров, купаясь в водяных парах. Возможно, что при небольших заморозках все это и удалось бы, но вот беда, в марте ударили морозы до 20 градусов.

Вразумить начальников было уже невозможно, они даже не потрудились время от времени проверять, схватился ли раствор, так что строительство шло дальше. Стены цехов росли, и казалось, что еще один месяц и все коробки зданий будут готовы.

Но наступила весна, и лучи майского солнца начали ласкать нас и, увы, нагревали и построенные нами стены.

Однажды в конце работы ко мне подошел мой опытный каменщик и прошептал: «Стена пошла!». Подбегаю к углу стены, ставлю отвес и вижу, что стена отошла от вертикали градусов на 5–6. При фронтальном обзоре это еще незаметно, но факт, она стала наклоняться. В швах, обращенных к солнцу, шло быстрое размораживание раствора, и кирпичи стены оседали, наклоняясь навстречу солнцу. Стену рукой не поддержишь, она 18 метров высотой.

Тихо, чтобы не вызвать паники, сообщаю об этом вольному прорабу строительства. Подошли к стене. Мой каменщик его утешает: «Сейчас, к ночи, температура начнет падать, раствор снова замерзнет, и она ночь простоит». И затем после паузы добавляет: «Завтра упадет».

Я догадываюсь, что наш хитрый прораб все понял и, видимо, соображает, на кого можно все это свалить. Затем он говорит мне тихо: «До утра никому ни слова!».

Мы, бригадиры, не могли отказаться строить стену в морозы, мы только исполнители. Попробуй мы такое, сразу же были бы обвинены в саботаже. Я с бригадой вел кладку третьего

сталепрокатного цеха. Работали быстро, стены так и росли на глазах. И порой казалось, что все будет хорошо и Дукельский прав. Да и начальство подбадривало нас, выдавая специальный паек новаторов: вместо 600 граммов хлеба — 1200.

Мой цех был не совсем обычным. Коробка его имела 80 метров в длину и ни одной внутренней перегородки, которая могла бы служить дополнительной опорой для стен. Да к тому же и стены имели с каждой стороны большие окна, что делало их еще более неустойчивыми. Я все надеялся, что к моменту окончания стен сразу же будет положена металлическая кровля, которая свяжет все здание, но конструкции не поступили.

Бригада Павла вела бетонные работы в другом цеху. Они готовили бетонные подушки в верхней части стен, на которые должны были свободно лечь огромные балки мостовых кранов. Бетон клали также горячий, и на морозе трудно было понять, схватился он или просто замерз.

Утром, когда мы пришли к нашему цеху, он уже был кем-то обнесен красными флажками с предупредительными знаками. Да разве напугаешь людей, приговоренных к двадцатипятилетнему сроку заключения! Вместо того чтобы обходить, они бегали под самой стеной. И стена все наклонялась и наклонялась, а солнце продолжало все сильнее нагревать ее.

Собрались инженеры, те самые «скептики», жмурятся на солнце, осматривая стену: «Мы предупреждали…». Но вот вместе с каким-то начальством в военной форме привезли и инженера Дукельского. Бледность выдавала его страх, хотя он и храбрился. Молоточком стал он стучать по стене, вынимая кусочки извести из швов, и, видимо, найдя свою «точку опоры», стал тихо приговаривать, чтобы слышно было только начальству: «Технология была нарушена! Технология!». Это означало, что нарушили ее мы! Кто сейчас сможет снова измерить температуру раствора в момент кладки и сказать, какая температура воздуха была тогда?

Я пошел к Павлу в соседний цех, и он принялся меня утешать. Не прошло и часа, как послышался глухой рычащий грохот, и мы почувствовали, как почва стала колебаться под нашими ногами. Это упала стена. Упала и раскатилась на большие глыбы, которые пробили брешь в ограждении зоны и свалили сторожевую вышку вместе со стоящим на ней автоматчиком. Но это было еще не все. Оказалось, что в этот момент под стеной грелись на солнце два человека.

От них остались только окровавленные бушлаты, наполненные какой-то массой.

Сбежалось и съехалось начальство, начались обмеры и

составление протокола. Подойдя к кругу начальников в белых полушубках, я отчетливо услышал, что они повторяют: «Технология… Нарушена…». Но вскоре их внимание переключилось на другой цех, откуда прибежали с вестями, что и там тоже «стена пошла». Все бросились туда, оставив нас в покое.

Чем быстрее сгущались надо мной тучи, тем становилось яснее, что начальству тоже не уйти от ответственности: не могли же все бригады нарушить технологию. Павел меня утешал: «Второй цех упал. Теперь замнут все дело. Сами себя под суд не отдадут!».

Через две недели началась такая же история с бригадой Павла. Его бетонные подушки оттаяли, и лежащие сверху железные балки утонули в жидком растворе бетона. Теперь, если бетон схватится, они будут замурованы, а это значит, что при колебаниях внешней температуры начнут разрушать стену цеха.

Павел стал совершенно бледен: из 18 лет срока он пробыл уже десять. Снова собралось начальство. Один из начальников, видимо, строительный эксперт, залез наверх и долго там копался в бетоне. Наконец, весь красный, спустился и, насупившись, громко стал приговаривать, что-то записывая: «А вот это уже вредительство!». Бедный Павел!

Шли дни, и никаких признаков следствия не наблюдалось. В нашем лагерном отделении сменился оперуполномоченный КГБ. Вместо добродушного, вечно спешащего толстяка появился высокий сухощавый капитан с орлиным носом и длинной, зачесанной назад копной светлых волос. Фамилия его была Дашкевич. Ходили слухи, что он был начальником контрразведки Западно-Украинского военного округа, где очень успешно проводил операции против украинских повстанцев, иногда ссылал население целых сел, заподозренных в связях с партизанами. Он быстро двигался по служебной лестнице и за какие-нибудь два-три года из лейтенанта превратился в майора.

Ну, а дальше случилась беда. Он влюбился в местную украинскую девушку, да так, что взял ее к себе на служебную квартиру и подумывал о женитьбе. Однако стал он замечать, что с этого времени ни одна его операция по очистке лесов от партизан не заканчивалась успешно. Партизаны вовремя покидали свои землянки и уходили вглубь, ровно за день до того, как к ним должны были нагрянуть отряды МВД. В театре Львова уже два раза гас весь свет, как только туда намеревалось прийти советское начальство: электрокабели были кем-то заблаговременно перерезаны.

Вскоре секрет открылся: молодая украинка была связной партизан. У нее нашли рацию, фотопленки снимков сообщений

оперотдела МВД, которые часто по небрежности Дашкевич хранил в квартире.

Судить его не стали, сотрудников ГБ редко судили, но понизили в должности и отправили к нам в сибирские лагеря простым оперуполномоченным. Спасло его и то, что во время войны он был заброшен в тыл немцев. Он говорил без акцента по-польски и имел даже двух дальних родственников в Кракове. Видимо, эта информация была особенно ценной, так как в конце войны его наградили двумя орденами. Но теперь ему нужно было снова заслужить доверие, и история со стенами была для него очень кстати. Однако следствие так и не начиналось, видимо, в нем не было заинтересовано высокое начальство.

Лагеря, подобные нашему, стали организовываться и в других областях страны. Из ГУЛАГа шли все новые и новые инструкции по режиму, исходя из принципа «не воспитывать, а карать». Так что давление на нас все возрастало. Бараки вечером стали запирать на час раньше. Если кто-либо не успевал вовремя забежать в них, он оказывался на ночь в карцере. Теперь по новым правилам мы должны были при приближении надзирателя останавливаться, снимать шапку и оставаться так, пока он не удалится.

Отправку писем к родным ограничили до четырех в год. Никаких личных вещей иметь при себе было нельзя, кроме зубной щетки, расчески, карандаша, очков. Я подшивал себе белые воротнички на лагерную гимнастерку, так и те срывали при обыске на разводе.

Врачебная медицинская помощь была ликвидирована, оставлены только санитары из заключенных с сумками первой помощи на случай травм. Люди с воспалением легких и высокой температурой оставались лежать в бараке, уповая на силы своего организма.

И, наконец, пришло еще одно указание: «Никакой кулинарии для заключенных». Это означало, что в пищу перестали добавлять лук, перец и другие специи, и она стала примитивно пресной. Наш рацион состоял из 650 граммов хлеба, двух мисок супа из гороха или ячменя, соленой отварной рыбы или мясного фарша.

Надзирателям было запрещено разговаривать с нами, полагалось лишь только отдавать команды, называя нас по номерам.

Все это угнетало и давило. Возмущение людей росло.

За зоной был праздник — Седьмое ноября. По таким дням нас не выводили на работу, так как охрана праздновала, и солдатам выдавали по двести граммов водки. Нас же запирали в бараках на целый день, а из репродукторов на улице неслись советские песни

и марши.

Но вот однажды в такой день наши бараки вдруг открыли и приказали всем выстроиться на площади. Мы ждали, что нам зачитают какой-нибудь новый приказ о режиме и отпустят, но ошиблись. Шел дождь, и четыре тысячи человек, выстроившись в каре на площади, медленно намокали. Прошел почти час, никто из начальства не появлялся, и люди стали обращаться к стоящим неподалеку в плащах надзирателям, но те делали вид, что не слышат.

Все это стало походить на сознательную акцию мести и унижения. Наконец, когда все уже сильно промокли, из дверей вахты вышел начальник режима, младший лейтенант Калинин, и с ним еще какие-то чины МВД. Под плащами мы заметили на них парадную военную форму с орденами: для них-то это был праздник «победы социалистической революции». Калинину передали мегафон, и он, полный самодовольства, подошел к колонне:

— Бригадиры, внимание! Постройте бригады по десять человек в ряд!

Начали перестраиваться, и колонна расширилась. Затем в здание бани были посланы десять наших парикмахеров за инструментом. Все мы недоумевали, к чему бы это.

Последовал приказ первой десятке снять шапки, и расстегнуться. Подошли надзиратели, и начался тотальный обыск. В специальные баки полетели авторучки, носовые платки, фотографии, зеркала и прочее. Затем подвели парикмахеров, которым было приказано машинкой выстригать лишь один ряд — ото лба к затылку. Унизительная процедура началась. Неподалеку с презрительными улыбками стояли офицеры с начальником режима во главе. Как видно, они были пьяны и в праздник решили развлечься. Работа шла медленно, но шла. Дождь тоже продолжал идти, и возмущение росло, так как все уже промокли до нитки. Колонна стала превращаться в толпу.

— Заключенные, приказываю всем построиться! — завопил Калинин.

Но его крики никакого действия уже не оказывали. Тогда он подозвал к себе всех надзирателей, что-то им сказал и снова заорал в мегафон:

— Заключенные, всем приказываю сесть!

Такой команды мы никогда прежде не слышали. Нам предлагалось сесть в жидкую грязь. Все продолжали стоять.

Мы и не заметили, как появилась группа солдат с пятью собаками на поводках. По их красным и веселым лицам было видно, что они уже изрядно выпили. Собаки, натренированные на

толпу, рвались на поводках.

Вдруг я заметил, что в конце толпы несколько бригад украинцев медленно направились к своим баракам. Видимо, они уже сильно промокли и поняли, что им еще не меньше часа придется стоять и ждать, пока и их остригут и обыщут.

— Стой! Назад! — завопили надзиратели. Но люди не останавливались. Тогда из мегафона послышался голос Калинина:

— Солдаты, задержать нарушителей!

Пьяные солдаты, видимо, того только и ждали: они ринулись к толпе бегущих людей и что-то приказывали своим собакам.

Я вижу, как у дверей бараков уже образовалась свалка. Собаки терзают нескольких человек, лежащих на земле, а солдаты, стоя перед дверьми бараков, бьют ногами всех приближающихся к ним, стараясь опрокинуть на землю. Уже часть людей побежала назад к колонне, но их тоже догнали собаки, сбили с ног и начали терзать. По толпе прошел гневный ропот, но экзекуция продолжалась: солдаты продолжали с остервенением бить уже лежащих на земле.

Наконец, Калинин спохватился: «Солдаты! Отставить! Подойти ко мне!».

От строя ничего не осталось, это уже была гневная толпа. И казалось, что продлись все это еще минуту, она ринется на солдат. И здесь все услышали команду:

— Заключенным разойтись по своим баракам!

Многие не смогли подняться, и их несли. Площадь опустела. Нас снова заперли в бараках и даже не выпустили на ужин. Так прошел праздник Великой Октябрьской революции, и он послужил началом более бурных событий.

Начало

Однажды в нашей зоне произошел забавный случай. В караульном помещении главной вахты находился радиоприемник, от которого шли провода к репродукторам, установленным на столбах. Время от времени оттуда неслись советские песни или пропагандистские политические передачи, в остальное время это радио слушали сами вахтеры. На вахте, как правило, находился старший надзиратель. Он-то, видимо, и был главным цензором передач для нас. Классической музыкой нас не баловали, но военных маршей и сообщений ТАСС мы наслышались вдоволь, так что никто уже не реагировал на эти передачи.

В одно воскресное утро мы с Павлом сидели на солнышке перед бараком, а по площади бродили люди. Из репродукторов доносилась какая-то очередная пропаганда. Вдруг Павел схватил меня за локоть: «Послушай-ка! Да ведь это совсем другое!».

И вдруг я услышал:

«…и не только… это государство, где человек практически от рождения лишен политических и гражданских прав, где каждый может завтра же оказаться за колючей проволокой лишь за одну неосторожно оброненную фразу…».

Смотрю на Павла, а он на меня. Замечаю, что некоторые люди на площади остановились и начинают вслушиваться. А из репродукторов продолжает нестись:

«…от Москвы до Чукотки вся страна покрыта лагерями принудительного труда. По самым скромным подсчетам, в них в настоящее время содержатся восемь миллионов заключенных. Это значительно превосходит число заключенных во всех остальных странах, вместе взятых…».

На площади, у столбов под репродукторами, возникли небольшие группы слушателей.

«…о какой демократии говорят нам советские представители в ООН?.».

И здесь я увидел, как, расталкивая толпу, по площади мчится к вахте старший надзиратель. Но еще до того, как он успел добежать, мы услышали:

«Би-би-си передавало комментарий на речь советского представителя в ООН».

Уже позднее стало известно, что произошло на вахте. Один из дежуривших там солдат, молодой казах, недавно начавший службу в МВД, случайно во время передачи советского радио задел регулятор настройки, и передача оборвалась. Тогда он тут

же решил дело исправить и, крутя регулятором, стал искать потерянную станцию. Нашел голос, говорящий по-русски, и решил, что вернулся к той же станции, так как по его представлению, по-русски могла говорить только советская радиостанция.

Какое-то новое чувство надежды пронзило меня: мы не одни, о нас знают и думают в мире.

На следующее утро в барак прибежал связной: украинцы вызывали нас. Когда мы пришли, то там уже сидели Максимов и Паршин и о чем-то совещались. Выяснилось, что восемь человек лежат с различными повреждениями и рваными ранами от укусов собак. В ответ на это украинцы решили шесть своих бригад в знак протеста оставить завтра в зоне. Максимов нашел такое решение недостаточным: нужно организовать массовую забастовку, так как с сотней человек оставшихся охрана справится быстро. Но для споров не оставалось времени, развод уже шел, и мы побежали выводить свои бригады.

Вечером оказалось, что все шесть бригадиров посажены в карцер, и старший надзиратель на завтра подыскал им замену.

Собрались все снова и решили, что через несколько дней организуем массовый протест и русских, и украинцев, а пока направим заявление прокурору по надзору лагеря, требуя его прихода для разбора дела на месте. Мы знали, что прокурор никак реагировать не будет, но эта мера была необходима, чтобы показать, что мы использовали и ее. По нашим расчетам в забастовке примет участие, по меньшей мере, одна треть заключенных, видимо, затем и другие присоединятся.

Поздно вечером нас с Павлом нашел надзиратель и приказал следовать за ним. Оказалось, что ведет он нас в карцер.

— За что, начальник?

— За обвал стены и прочее. Под следствием будете, — пробурчал он.

Нет, так следствие не начинают, тут что-то не то.

Следственная камера — это тот же карцер, только в отличие от него здесь есть деревянные нары. Лежим на своих бушлатах и задумались. По коридору изолятора, с другой стороны здания несутся звуки тихой украинской песни; несомненно, где-то там сидят и бригадиры. От холода ночью мы то и дело вскакиваем и начинаем ходить по узкой камере. Здание специально не отапливалось.

Утром, к нашему удивлению, камеру нашу открыл надзиратель и довольно добродушно приказал идти и строить наши бригады для выхода на стройку.

— А вечером опять в следственную камеру, — ехидно

добавил он.

Совсем стало ничего не понятно: кто мы — подследственные или наказанные?

На разводе Максимов мне сообщил, что решено уже послезавтра начать массовую забастовку. Паршин тем временем организовывал свои ударные отряды из сильных и смелых ребят, чтобы второй раз такого не произошло.

Весь внешний вид Паршина говорил о том, что он боец по натуре. Высокий, коренастый, широкоплечий, лет сорока, с дерзкой решительностью во взоре. Свою военную карьеру начал он на Дальнем Востоке простым командиром взвода. Видимо, столь низкое звание и спасло его от репрессий в армии в тридцатые годы. Учился он сначала на курсах командиров, в специальном танковом училище, а затем и в Военной академии в Москве, которую закончил перед самой войной.

Во время войны он командовал танковым подразделением и получил тяжелые ожоги в битве под Курском. Однако в тот же год его дивизия попала в окружение, и, пробиваясь в одиночку на одном из танков, он был контужен. Очнулся Паршин уже в лазарете какого-то маленького немецкого лагеря для военнопленных.

По его словам, уже начиная с 1937 года, с показательных процессов маршалов Тухачевского и Егорова, он полностью избавился от иллюзий коммунизма и уже знал, что служит «красным бандитам в Кремле». Уговаривать вступить в РОА его было не нужно, для него это была армия освобождения России. Вместе с частями РОА он участвовал в освобождении Праги, еще до прихода советских войск, но это, конечно, не спасло его от ареста и приговора на 25 лет лагерей.

По окончании работы нам с Павлом сказали, что мы можем идти ночевать в свой барак. Игра какая-то! Но только я пришел после ужина в барак, как меня опять нашел надзиратель. Теперь меня вели не в изолятор, а прямо к оперуполномоченному.

Резиденция капитана Дашкевича располагалась прямо в зоне: так было легче вести расследования. Это было небольшое каменное здание, обнесенное снаружи забором из колючей проволоки. Внутри постоянно кто-то дежурил, даже ночью постоянно горел в окнах свет. Дашкевич каждый день утром шел туда с вахты через всю зону в сопровождении надзирателя или еще какого-то офицера. В своей резиденции он был не один: в здании постоянно работали и другие следователи, иногда приезжающие и из Москвы. Все время кому-то по «вновь вскрывшимся обстоятельствам» добавляли срок, так что работы у них хватало. Оперуполномоченный отделения должен был вести

«профилактическую работу» среди заключенных, чтобы не допустить забастовок и других политических акций. Для этой цели в зоне постоянно вербовались информаторы, стукачи, которые собирали для него сведения о действиях и настроениях заключенных.

В приемной здания меня обыскал какой-то солдат, сказал: «Сиди и жди» — и куда-то ушел. Не прошло и двух минут, как соседняя дверь растворилась и на пороге показалась сухощавая фигура капитана Дашкевича. Лицо его сияло, как будто он был чем-то сильно обрадован. Во всех его движениях и одежде чувствовалась какая-то театральность: было заметно, что китель его модно ушит по талии, мягкие хромовые сапоги явно не армейские, а пышная рыжая копна волос, закинутых назад, казалась париком. Он совсем не походил на тех следователей, к которым я привык.

— Ааа… — как бы удивленно протянул он, — проходите, молодой человек, и садитесь там.

Столь любезное обращение кольнуло меня. Вежливость следователей — плохой признак.

— Знаю, что вы не курите, — продолжал он на «вы», — так вот тогда шоколадные трюфеля попробуйте, вчера из Москвы от жены получил. Угощайтесь! — показал он на раскрытую коробку на столе.

«Значит, дела мои совсем плохи», — подумал я.

— Я узнал, что у вас совсем пустяковый срок остается. Какие у вас планы? Хотите, наверное, продолжить учебу?

Я пришел в себя:

— Да, неплохо бы, но нужно для начала на свободу выйти, — шутил я, чтобы скрыть напряжение.

— Вот это вы правильно заметили! Сейчас, скажу я вам, время-то нехорошее. Даже можно сказать, плохое, свирепое.

Я знал, что следователям КГБ в интересах следствия разрешалось играть в «антисоветчину». А он продолжал:

— Вот они там сидят, — и он показал за своей спиной на стену, — готовят новые дела и сроки. Ох, надо быть сейчас очень осторожным! — после паузы продолжал он. — Ну да, ладно. Так вот зачем я вас вызвал. Управление требует расследования обстоятельств падения стены вашего цеха и гибели двух людей. Как вы уже и сами догадались, я должен был бы начать следственное дело уже давно, да вот все откладывал. А теперь на меня нажимать стали. Вот я вас и спрашиваю, отчего все-таки она рухнула?

На секунду мне показалось, что он действительно начинает вести следствие.

— Рухнула она потому, что в нарушение инструкции кладка велась на морозе, и раствор замерзал.

— Это все ясно, — перебил он меня, — но ведь опыты показали, что горячий раствор успевает окрепнуть, еще не замерзнув.

— Опыты проводились при температуре -5 градусов, а нас заставили вести кладку при -20. Нас заставили.

— Да, я понимаю, кто заставил, тоже виноват. Но есть одно обстоятельство, которое потребовало пригласить вас сюда. — Он сделал, видимо, рассчитанную паузу и продолжал: — Есть свидетели, которые утверждают, что вы вели кладку не горячим, а обычным, холодным, раствором.

Теперь мне стало жарко, я знал, как создаются такие свидетели.

— Это ложь!

— Допускаю. Но давайте предположим, что их показания уже запротоколированы там, — и он опять показал на стену за собой. — Ну как вы будете себя защищать?

Это уже выходило за всякие рамки, капитан КГБ напрашивался стать моим адвокатом!

— Я найду других свидетелей, всю бригаду!

— Возможно. Ну, а если они не захотят слушать этих свидетелей? Вы понимаете меня? — и он многозначительно поднял брови.

«Артист! — мелькнуло у меня. — Настоящий артист!» Красивым жестом он открыл свой серебряный портсигар, вынул папиросу, раскатал ее между пальцами и затем прикурил от необыкновенно яркой зажигалки. И как бы спохватившись:

— Вы разрешите, я надеюсь?

Это походило на фарс. В голове я перебирал разные предположения, чем можно объяснить все это. Ведь если он должен начать следствие, то его так не начинают.

Было видно, что он воспитанный человек и ему привиты манеры хорошего общества.

— Я вижу, вы удивляетесь, почему я так просто держу себя с вами.

И это он почувствовал.

— Посмотрел я ваше дело, — продолжал он, — вы были студентом, и я был студентом, лингвистом, вашу учебу прервал лагерь, мою — война. А судьбы наши во многом схожи, у меня ведь тоже многие… — И он повертел в воздухе пальцем, показывая на потолок.

Пауза. Создалось впечатление, что его охватили горькие воспоминания.

— Нет, — как бы ответил он своим мыслям, — надо что-то придумать. — И затем, обращаясь ко мне: — Вы напишите подробное объяснение, а я… я вызову этих самых свидетелей к себе и допрошу их сам. — И продолжал с улыбкой: — Был у них при себе термометр или нет?

Разговор, казалось, был исчерпан. Он встал, а за ним и я. Но вдруг он сделал вид, что что-то забыл и теперь вспомнил.

— Ах, да, — зажмурил он глаза, — садитесь-ка! До меня дошли слухи, что меня хотят украинцы ликвидировать. Скажите, правда это?

— Но я же ведь не украинец, гражданин капитан.

— Не притворяйтесь. Вы же один из тех. Вы обо всем знаете. Я ведь ни о чем другом не спрашиваю и не утяжеляю вашу совесть. Дело касается моей жизни. Я вам помогаю, помогите же и вы мне. Что там лично против меня затевается?

Я действительно ничего не знал. Но если бы и знал, то все равно бы не сказал.

— Мне действительно ничего об этом неизвестно. Наступила пауза, и я стал понимать, что весь этот театр не имеет отношения к падению стены, что это никакое не следствие. Дашкевич просто хочет заранее знать, что может произойти в зоне. Именно от этого зависит его карьера. И он продолжал:

— Скажите, зачем вам все это? Ведь у них-то по двадцать лет срока, а у вас-то ведь только два года осталось, вы одной ногой уже на воле. Вас втянули в эти дела.

— Никуда меня не втянули: я как бригадир защищаю интересы своей бригады. И потом я не могу оставаться равнодушным, когда у меня на глазах избивают людей и травят собаками, а затем оставляют без медицинской помощи. Вам-то ведь это известно.

— Безусловно. Я как раз сейчас и веду расследование этого и уверяю вас, что все виновные будут наказаны. Можете передать туда, — и он показал на окно.

— Ну, тогда зачем же арестовали невинных бригадиров, они лежат на ледяном полу в карцере.

— О, это временные меры и исходят не от меня. В их же интересах быть вне зоны. Останься они на свободе, произошел бы новый бунт, аресты и, возможно, новые сроки. Вы, лично, за бунт или за мир в зоне?

— За мир, но без избиений и травли.

Так вот вы и помогите мне восстановить этот мир. Он нужен не только мне, но и всем. Освободить я вас всех не могу, не я вас сажал. Так давайте же мирно сосуществовать и ждать амнистию. Вы один из руководителей в Комитете русских (и это ему уже

известно), скажите мне правду, когда и как должна начаться общая забастовка, и давайте вместе ее остановим. Помогите мне.

Стучит у меня голове: «Так вот она, причина, почему я тут сижу!». Я взглянул на капитана, глаза его стали печальными, и мне на секунду показалось, что он вполне искренен. Но только на секунду.

— Забастовка не начнется, если будут немедленно выпущены все бригадиры и оказана медицинская помощь пострадавшим, — вступил я в игру.

— Я могу поверить вашему слову?

— Вполне. Но только вы обратите внимание, что я сказал «немедленно», то есть пока мы еще тут с вами сидим.

Он многозначительно посмотрел на меня.

— Значит так все серьезно? Вы ставите мне ультиматум, а этого я не люблю. Мы должны только обсуждать и советовать, советовать и обсуждать… Теперь я вижу, как вы крепко связаны со всеми этими…

— Но ведь вы же просили меня помочь вам…

— О, я это ценю! Я приму срочные меры.

Затем, как бы в подтверждение своих слов, он быстро встал, подошел к двери и крикнул в коридор: «Алешин!».

В комнату вошел молодой лейтенант в голубых погонах КГБ.

— Вызовите ко мне старшего надзирателя и проведите назад заключенного.

У дверей он сказал мне еще:

— Вы должны оставаться в следственном изоляторе. Это сейчас в ваших же интересах.

Меня увели. Я понял, что критическое время уже наступило, и что та и другая сторона скоро начнут действовать.

Стемнело. Павел тоже оказался в изоляторе, и мы легли на нары с надеждой, что вот сейчас придет старший надзиратель и освободит бригадиров. Но события развернулись по-другому, как мы совсем и не ожидали.

Только потом мне рассказали, что происходило в то время, пока я был у Дашкевича. Сразу же после прихода бригад в зону Максимов, Паршин, Мосейчук и Гримак встретились для обсуждения обстановки. Все они для безопасности уже перешли в другие бараки. Во время этого совещания прибежал их связной и сообщил, что их уже искали в бараках надзиратели. Становилось совершенно ясно: дело идет об их аресте. Дашкевич вместо того, чтобы освободить бригадиров, решил арестовать всех остальных руководителей, надеясь сорвать забастовку. Поэтому решено было ее начать уже завтра с утра. Пошли срочные приготовления — бараки могли вот-вот запереть. Предупреждены

были 18 бригадиров, написано еще одно заявление прокурору, объясняющее причины забастовки. Но украинцев это не удовлетворило, они заявили, что следует также взять в заложники и капитана Дашкевича. Захватить его ничего не стоило, так как он обычно вечером, еще до закрытия бараков, шел один внутри зоны к вахте. Максимов сразу же на это среагировал отрицательно. Это было не только аморально, но и провоцировало начальство на самые крутые меры. «Забастовка должна быть мирной, мы не должны пользоваться их методами». Но украинцы настаивали на своем.

В этот момент сообщили, что после допроса у Дашкевича меня вернули в изолятор. Значит, Дашкевич еще там и скоро пойдет к вахте. Украинцы заявили, что захват его является их «частным делом», которое они полностью берут на себя. На этом и разошлись.

Действительно, в этот вечер Дашкевич шел один без сопровождения надзирателя. Когда к нему подошли четыре украинских молодчика, он не оказал никакого сопротивления и послушно последовал с ними в барак. Все это произошло так незаметно, что надзиратель на вахте, регистрирующий его выход, решил, что он задержался в своем здании, а его помощник в здании был уверен, что он прошел уже вахту. Итак, капитан исчез, и через некоторое время были заперты все бараки.

Ночью от капитана потребовали, чтобы он написал приказ о немедленном освобождении бригадиров, что он охотно тут же и сделал.

Уже за полночь на вахту позвонила его жена, и только тогда стало ясно, что его ни там ни здесь нет. Началась паника. Открывать ночью все подряд бараки и искать его надзирателям не пришло в голову. Они предположили, что он просто как-то незаметно прошел через вахту и почему-то решил не идти домой. Но это уже семейное дело.

Лишь наутро, когда бараки были открыты, надзиратели бросились его искать. При этом кто-то передал им его записку. В этой записке он настаивал, что в «целях его личной безопасности» все арестованные бригадиры должны быть выпущены из карцера.

Утром к нам в изолятор вошли два надзирателя и скомандовали: «Выходи все!».

Проходя через вахту изолятора, я заметил там совершенно бледное лицо начальника режима Калинина. Для него наступали нелегкие времена. Бригадиры были уже освобождены.

Когда мы шли к себе в барак, то увидели, что Дашкевич уже свободен, стоит у дверей главной вахты и ждет развода: начнется ли теперь забастовка?

Главное требование наше было выполнено и под давлением Максимова украинцы согласились в этот день забастовку не начинать.

Однако события пошли совсем по другому сценарию. В ответ на похищение Дашкевича в наше отделение примчался на автомашине один из начальников Управления и взял ситуацию в свои руки. До начала развода оставались считанные минуты, когда все мы заметили, что к изолятору опять привели арестованных украинских бригадиров — это действовал приехавший начальник. Было ясно, что и нас всех вскоре найдут и пересажают. На обсуждение не оставалось времени. Комитет и украинцы срочно собрались, и решено было на аресты ответить забастовкой. Снова были вызваны бригадиры, трубач наш стал играть не «развод», а всеобщий сбор на площади. Его сигнал обескуражил всех в бараках, он звучал, как набат. Люди, приготовившиеся идти на работу, теперь выскакивали с удивленными лицами на площадь и начинали строиться по бригадам.

С вахты через репродукторы мы вдруг услышали незнакомый нам голос:

— Всем бригадам немедленно вернуться в свои бараки! За неподчинение буду строго наказывать.

Бригадиры же на площади кричали другое:

— Бригады, стройся за мной в колонну!

В зоне начался хаос: кто-то бежал из бараков строиться, кто-то, наоборот, шел назад в бараки. Однако сигнал трубы все время повторял одно и тоже: «Построиться на площади!».

Как видно, был также отдан приказ надзирателям запереть бараки с тем, чтобы разделить весь лагерь на «послушных» и «непослушных». Тогда с теми, кто остался на площади, легче будет справиться.

Я оказался в этот момент около Паршина и Мосейчука. Как только они заметили, что бараки хотят запирать, оба скомандовали своим группам «боевиков» бежать к дверям и не допустить, чтобы надзиратели их закрыли. Борьба переходила в новую фазу, в насильственную. Невооруженные надзиратели, увидев здоровенных парней у дверей бараков, бежали назад на вахту за новыми указаниями. А из бараков люди шли строиться.

Наконец, мы заметили, что в зоне никого, кроме нас, заключенных, нет. Это был какой-то новый ход начальства. Мы собрались все перед строившейся колонной, чтобы решить, что дальше делать. Прежде всего, на вахту было передано наше заявление о причинах забастовки. Но главное, нужно было предотвратить хаос и объяснить людям, что происходит.

Около четырех тысяч человек выстроились и ждали.

— Я скажу им, — выступил вперед Мосейчук, и все мы закивали головами.

Он медленно с поднятой рукой вышел в центр четырехугольника. Наступила тишина.

— Ребята! — обратился он к людям на чисто русском языке. — Вы помните, какое беззаконие творили с нами позавчера на площади. У нас лежит восемь человек тяжело раненных. Сегодня утром был отдан приказ арестовать опять всех бригадиров, для того, чтобы легче было расправиться со всеми остальными. Мы с вами не допустили этого и не допустили также, чтобы часть из вас заперли в бараках. Начальство и надзиратели покинули зону, и мы сейчас с вами здесь одни. Нам решать, что делать дальше. Мы потребовали прибытия прокурора, чтобы наказать виновных в избиении людей. Теперь мы с вами должны предотвратить хаос в зоне и до прибытия прокурора поддерживать порядок и нормальную жизнь. Обед для вас по полной норме готовится. Призываю всех соблюдать полный порядок и подчиняться во всем вашим бригадирам. Всем бригадирам, заведующим баней, складами и кухней подойти ко мне. А теперь все свободны!

Речь, видимо, произвела впечатление: люди спокойно стали расходиться.

Когда к нам подошли бригадиры, начались споры, что делать дальше. Прежде всего, нужно было не допустить, чтобы надзиратели снова пришли в зону. Для этого вблизи вахты были выставлены наши ребята, теперь названные «группами порядка». Они должны были следить за действиями у вахты.

В четвертом бараке был создан «Центр» из украинцев и русских. Споры в этом «Центре» не прекращались, и то и дело возникала опасность раскола. Левые украинцы предлагали свой «план прорыва через вахту на волю». Он был не только наивен, но и опасен для всех оставшихся. Суть его состояла в том, что в случае, если откроются ворота вахты, чтобы впустить группу надзирателей или солдат, боевики должны были захватить ворота и удерживать их, с тем чтобы несколько сотен подготовленных людей устремились на волю. Никакого другого оцепления, кроме самой зоны, там не существует, стрельба с вышек и вахты не эффективна. Люди рассеются по территории и постараются достигнуть Караганды, чтобы там смешаться с населением. Затем они отдельными группами должны будут продвигаться на Запад. Об этой акции, несомненно, узнают в Мире и нас поддержат!

Это звучало, как некий сценарий американского кинофильма. Хорошо ориентирующиеся у себя в лесах, украинцы совершенно

не представляли себе обстановку здесь, в степных районах Казахстана. Максимов и Паршин стали терпеливо объяснять им, что под Карагандой именно для таких случаев стоит специальная дивизия МВД, которая располагает вертолетами и джипами. Население же запугано и никогда не укроет никого у себя. Освободить себя мы никогда не сможем: режим МВД царит по всей стране. Нужно жалеть людей и не ставить их под удар, а конфликты решать мирным путем, без жертв.

После обвинения нас в трусости, украинцы все же перестали требовать «прорыва». Стали совещаться о том, как организовать жизнь в осажденном лагере.

Внешне все продолжало оставаться прежним. Людей, как обычно, накормили обедом и ужином. Несколько бригад успели помыться в бане. В точное время был дан сигнал ко сну — отбой. Вот только двери бараков остались на ночь не запертыми. Лагерь жил своей нормальной жизнью, хотя он и был уже в осаде.

В осаде

Стояли ясные осенние солнечные дни. Где-то в России, видимо, деревья уже оделись золотом. Здесь же темно-серая степь простиралась вдаль и только небольшие холмы на горизонте оживляли пейзаж. Молчащая пустыня.

По ночам над нами раскрывается черный шатер неба, на нем все те же созвездия, названия которых старался я запомнить еще в детстве. Они как бы напоминают мне, что я был тем самым мальчиком, которого няня выводила на два часа в садик, а потом укладывала на «мертвый час» в кроватку. Знакомые звезды словно бы соединяли эти два времени.

Все так спешит и несется куда-то, что нет никакой возможности сесть и задуматься: кто ты и зачем ты? Может быть, вся эта борьба бессмысленна? Ведь у каждого человека есть своя судьба и ей, возможно, не следует препятствовать. Я стал только здесь, в лагерях, вполне взрослым человеком. Куда я стремлюсь и зачем? Этот советский «тысячелетний рейх» когда-нибудь, несомненно, развалится, как развалились империи фараонов и древнего Рима, но меня уже к тому времени не будет на земле.

Почему я иду против течения? Кто мне внушил, что я должен принести себя в жертву другим во имя их свободы? А что народ? Разве он просил меня об этом?

И как рождается в человеке это свойство жить для других, а не для себя? Что движет им? Совесть? Политические принципы? Но если одно поколение будет приносить себя в жертву другому, а то, другое, — третьему, то в чем же состоит смысл человеческой

жизни? Зачем человек вообще тогда рождается и для чего живет? Как все это бессмысленно.

Или, может быть, политическая борьба есть форма личного самоутверждения, стремления к славе? О нет, этого я никогда не чувствовал в себе. Я даже не хочу, чтобы другие люди знали, что это я что-то делаю для них.

Наверное, это совесть, сублимированная в политическое сознание. Лев Толстой как-то писал в дневнике, что его мучает совесть, когда он в масленицу сидит в кругу семьи и ест блины с вареньем, в то время как рядом в деревне крестьяне почти голодают. Вероятно, только потому и существует еще наша гуманная цивилизация, что есть такие люди, как Толстой.

Лагерь спит. Бараки в эту ночь не заперты, и можно выйти и смотреть на этот звездный купол, который как бы говорит, что все в этом мире преходяще, только они, звезды, вечны.

Духота и полумрак в бараке. Люди спят, разбросавшись на двухэтажных нарах. Их здесь более двух сотен, так что от дыхания даже создается шум. И какие у них лица во сне, как у детей, наверное, и сны о детстве. Пока они спят, они как бы на воле, вне лагеря. Но их разбудят, и они снова вернутся в свою тюрьму.

В лагере сейчас мы хозяева, нас все оставили, значит, мы свободны. Свободны в этом четырехугольнике зоны. А на воле разве тоже не «четырехугольник», образованный накрепко закрытой государственной границей?

Но мы в осаде, а осада — это начало поражения, как учил еще Огюст Бланки. Сколько дней мы так продержимся? И чего мы достигнем, какими жертвами?

Утром все снова зашевелилось. Наш «Центр» назначил четырех «комендантов» из бригадиров: на каждые три-четыре барака, которые должны следить за порядком.

Затем выбрали «контролеров» блока питания: поляков Рутковского и Гладчинского. За уборкой территории поставлены были смотреть грузины Чечиа и Цихистави. «Отряды порядка» возглавляли Гримак и Паршин. Они должны были держать под наблюдением вахту. Нас с Павлом направили в продуктовые склады, произвести подсчет оставшихся продуктов и вести им строгий учет. Запас муки оказался большим: из расчета по 600 граммов хлеба на восемь дней хватит. Завоз выпеченного хлеба из пекарни вне зоны прекратился. У нас выпекать хлеб негде.

Выручил нас главный повар Базыма. Это был славный пожилой человек, с добродушной улыбкой на лице. В царской России он служил матросом, и за искусство хорошо готовить назначили его поваром на яхту императора Николая Второго. Во время Кронштадтского мятежа он оказался среди восставших

матросов. Его не расстреляли на месте, как многих, а судили с большой группой других матросов. В то время еще не давали больших сроков, и он вскоре оказался на воле. Работу себе он нашел в большом ресторане, и только в тридцатых годах НКВД раскопало его документы, и дали ему тогда уже десять лет лагерей как бывшему «анархисту». О Михаиле Бакунине он и в лагере не забывал и часто даже приводил цитаты из его книг. Об императоре же он высказывался очень кратко: «Простой был человек, военный, ни в чем не любил излишеств». Наследник Алексей обожал его блинчики из гречневой муки и нередко стоял в кубрике, наблюдая, как он их печет.

В помощниках у Базымы на лагерной кухне ходил пожилой бывший матрос Еремеенко. В начале войны служил он на крейсере, который стоял в дельте Невы в Ленинграде. При одном из налетов вражеской авиации крейсер потопили, Еремеенко ранило в руку, и он оказался в ледяной воде. Спас его товарищ, которому удалось, ухватившись за обломок, доплыть до берега. Но берег был уже в руках противника, и оба они стали военнопленными.

«На другой берег нужно было плыть!» — ехидно шутил его следователь.

Когда мы спросили Базыму, что он посоветует делать с мукой, чтобы кормить людей, он надолго задумался, но потом, улыбнувшись, ответил: «Царские булочки будем печь!». Этими булочками оказались пышные лепешки, выпеченные на больших сковородах, так как духовок и печей на кухне не было. Выпекали лепешки целую ночь два специальных повара. Дрожжевой закваской служил старый хлеб.

Для обедов и ужинов на складе оказалось много крупы, макарон, картофеля, сушеной рыбы, а также растительное масло. Но всего этого могло хватить не более чем на восемь дней.

Наше начальство за зоной тоже не дремало: на следующий день после полудня была отключена подача воды. На наше счастье, они забыли перекрыть пожарный водопровод, и нам удалось сразу заполнить резервные баки на кухне. Вечером повсюду в зоне погас свет, только прожекторы на вышках продолжали светить. Спасло нас, что кухня и баня работали на угле, а его запасы были большими.

На удивление всем, репродукторы в зоне не молчали. По ним мы услышали о речи премьера Великобритании Черчилля в Фултоне, предупреждавшей мир о советской угрозе. Украинцы восприняли эту речь как новую надежду: «Это война! Союзники выбросят Советы из Восточной Европы и потребуют нашего освобождения!». Но русские, побывавшие в лагерях

военнопленных в Западной Европе, восприняли это скептически. Они еще помнили, как по приказу того же Черчилля их выдали в руки КГБ после окончания войны. И однажды утром на вышках лагеря военнопленных вместо английских солдат оказались советские автоматчики.

Наш хитрый нарядчик Хаджибекиров совсем не принимал никакого участия в событиях. Он выжидал, предпочитая оставаться «чистым», с тем, чтобы после установления мира вновь появиться в своей роли. Сейчас же он искал себе союзников. Как-то, встретившись, он положил руку на мое плечо и стал шепотом уговаривать меня «не лезть в огонь». «У них (понимай, у моих товарищей) по 25 лет срока, а у тебя только два, посуди сам». Внутри я понимал, что по-обывательски он прав, но моя совесть подсказывала мне другое. Уже давно, с юных лет, решил я отдать себя делу свободы, а не мещанскому счастью.

На следующий день утром жизнь лагеря опять пошла в своем обычном ритме. К умывальникам провели пожарные краны, и воды была много. Завтрак был вовремя готов, и каждый получил 600-граммовую лепешку. Баня работала, и бригады мылись и переодевались. Всех попросили выйти из бараков, и в них началась уборка.

В обед мы заметили, что на вышках появилось еще по часовому с биноклями. Наблюдают.

После обеда из репродукторов на столбах послышался незнакомый нам хриплый голос:

— Внимание, заключенные! К вам обращается начальник лагерного отделения, майор Колесников. Предупреждаю, что участие в забастовке или, прямо сказать, бунте, является преступлением, предусмотренным статьями Уголовного кодекса.

Из бараков повыскакивали во двор люди, и радио продолжало:

— Заключенные! Лишь небольшая группа безответственных лиц использует вас в своих личных целях. Задумайтесь над этим. Если вы хотите избежать личной уголовной ответственности, я предлагаю вам следующее. Всем с вещами построиться в колонну у ворот вахты. Вы будете на время переведены в другое отделение лагеря. Оставшиеся должны осознать, что они понесут суровое наказание по всей строгости советских законов. Идите к воротам и стройтесь!

Репродукторы затихли, затихли на минуту в раздумье и люди, стоящие на площади.

Этот ход начальства мы оценили как сильный. Мы его не предвидели. Обратиться сразу же к людям с разъяснениями мы не могли, у нас не было радиотрансляции. Многие же лишь впервые

узнали, что они совершают «преступление». Другие вообще не знали русского языка и не понимали, что происходит.

Постепенно около вахты стала образовываться толпа людей. Наши «отряды порядка» не знали, как им поступать. Возникли толчея и споры. Получалось так, что мы удерживаем силой людей в зоне.

Максимов был болен, он лежал на нарах и кашлял. Вокруг него собрались руководители. Посыпались разные советы: «разогнать», «выпустить», «разъяснить и потом выпустить». Максимов же слабым голосом все повторял: «Просто всех желающих выпустить».

Времени терять было нельзя, назревал хаос. Впервые мы проголосовали, и оказалось, что большинство за то, чтобы выпустить. Бригадиры побежали к воротам вахты.

Паршин обратился к толпе:

— Внимание! Все те, кто решил покинуть зону, могут это сделать незамедлительно. Постройтесь перед вахтой в колонну по пятеркам, и да простит вам это Бог! — закончил он.

Люди все подходили и подходили, среди них много было прибалтов, поляков, мусульман и простых крестьян, колхозников, но ни одного украинца.

Колонна медленно оформлялась, набралось примерно человек 500, и приток людей стал уменьшаться. В окне вахты было видно самодовольное лицо начальника режима, там ликовали.

Время шло, колонна ждала. Из толпы, наблюдавшей за этим, свистели и обругивали собравшихся уходить. Некоторые даже отошли в нерешительности в сторону — передумали.

Дверь вахты открылась, появился начальник режима. Оставаясь стоять на пороге, он стал командовать:

— Колонна! Всем подровняться. Остальным отойти в сторону. Открыть ворота!

Ворота медленно растворились, и там можно было увидеть приготовленные для них грузовые автомашины.

— Первая пятерка, вперед, шагом марш!

«Благоразумные» покинули нас. Какой же теперь сценарий готовило для нас начальство?

Вечером неожиданно капитан Дашкевич появился в нашей зоне. Как он вышел с вахты, никто и не заметил. Охранные отряды молча пропустили его. Он шел в сопровождении какого-то сержанта к своему зданию.

Нам показалось это невероятным. Однако вскоре пришлось поверить — когда на пороге четвертого барака появился этот самый сержант и смущенно стал спрашивать, где тут Максимов.

Его подвели к Максимову, и он передал просьбу капитана Дашкевича прийти к нему вместе с Мосейчуком. Наш посыльный побежал за Мосейчуком, а сержант терпеливо ждал, стоя снаружи. Максимов был очень слаб и постоянно кашлял. Он не мог идти и обратился ко мне: «Сходи, сынок. Это что-то важное». В эту минуту подоспел и Мосейчук, и мы направились в сопровождении сержанта к зданию.

Почему капитан так рисковал и один без всякой охраны вошел в осажденную зону, было неясно. Ведь он же знал, что мог превратиться в ценного заложника. По дороге Мосейчук рассеянно заметил: «Может быть, нас-то они сейчас и возьмут в заложники?».

Микола Мосейчук был маленький, щуплый, с виду неприметный человек, лет тридцати. Было непонятно, как его слушалась эта толпа украинцев. Ведь он был совсем из другого теста, чем они, — из «советского теста». Весьма возможно, что на Западной Украине он никогда и не был и никогда не участвовал в вооруженной партизанской борьбе против Советов.

Он вырос в Киеве, в семье известного музыканта, учился в музыкальном училище, а затем в Киевском университете на историческом факультете, который так и не успел закончить. Был призван в армию простым солдатом и после окружения под Киевом попал в плен, а затем оказался в большом лагере для военнопленных в Германии. То, что он замечательно играл на скрипке, видимо, спасло его. Играя в небольшом оркестре лагеря, он был замечен профессиональным немецким дирижером, который и взял его в свой симфонический оркестр. С этого и началась его карьера. Какая-то концертная фирма нашла его и добилась разрешения возить по Европе как солиста в своем оркестре. Он с успехом играл в Вене, Берлине и Париже.

Но больше всего на свете Микола любил не музыку, а украинскую культуру и историю. В какие бы города ни приезжал он с гастролями, сразу же искал связей с местной украинской общиной, знакомился и даже читал свои доклады об украинской истории. Поэму «Кобзарь» Тараса Шевченко он знал почти наизусть и мог часами рассказывать о различных ее вариантах и переводах. Говорили, что про него узнал, и сам батька Степан Бендера и написал ему приглашение: «Езжай до меня, Микола, нам есть, о чем потолковать». Но Микола не приехал, он не мог уйти из оркестра, так как снова бы превратился в советского военнопленного. Он продолжал гастролировать.

От природы талантливый, он через два года гастролей уже хорошо говорил и читал по-немецки и по-французски. Постепенно от украинской истории он перешел к книгам по экономике и

политике. В нем зрела идея создания независимого демократического украинского государства. И в этом он во многом расходился с другими украинскими политиками. Свободный от слепого национализма, он хотел создать новую Украину на принципах общего культурного наследства, общей территории и свободной экономики. Опыт развития многонационального Киева, где русские составляли около 30 %, убеждал его в том, что историческая общность украинцев и русских может только укрепить новое государство. Такая точка зрения редко находила поддержку в общинах Европы, где часто больше пели национальные песни, чем обсуждали проблемы.

Окончание войны застало Миколу в Вене, где его оркестр был на гастролях. В условиях послевоенной неразберихи он смог достать себе австрийский паспорт на имя какого-то Май-ера. Оркестр являл собой весьма пеструю интернациональную группу, и хотя советские войска были уже в городе, оркестр продолжал давать концерты даже в советском гарнизоне. Все шло хорошо, и Микола подумывал посетить Степана Бендеру в Канаде, где он смог бы продолжать учиться на украинском факультете в Торонто. Но, видимо, много было завистников в оркестре. Однажды после концерта на выходе его встретили два человека в кожаных пальто и, угрожая пистолетом, посадили в автомашину. Так он оказался в здании советской комендатуры в Вене. Остальное произошло очень быстро, и через день он уже был доставлен в Москву, в тюрьму Лефортово. Двадцатипятилетний срок присудило ему заочно Особое совещание, указав лишь: «За измену Родине с оружием в руках».

Скрытая сила и воля чувствовались в этом с виду незаметном человеке, недаром с таким вниманием и уважением относились к нему простые украинские парни. Они понимали не все его речи, но чувствовали, что он готов пожертвовать для них всем.

Некоторой противоположностью Мосейчуку, и в некотором смысле дополнением, был Гримак. Он был сотник в украинском партизанском отряде. Сначала воевали они против немецких оккупантов, а потом и против советских. Схватили его прямо в лесу, рано утром в землянке, куда неожиданно нагрянули советские солдаты. Он спал, обняв свой автомат. Таких редко брали в плен, а чаще пристреливали на месте. Выстрелили и в него, но не заметили, что он остался жив. Когда пригласили крестьян из села, чтобы убрать трупы, он еще дышал, и стрелять в него еще раз было уже поздно. Так он и оказался в тюремной больнице.

Итак, мы с Мосейчуком вошли в комнату оперуполномоченного. В ней ничего не изменилось, изменился

только ее хозяин, капитан Дашкевич. Лицо его еще больше обострилось, глаза ввалились, вместо парадного кителя с орденами на нем была простая офицерская гимнастерка. Весь его печальный и задумчивый вид показывал, что с ним что-то происходит.

— Садитесь, ребята. Я знаю, что вы оба не курите, — Потянулся он к портсигару и продолжал: — Мне никто не поручал с вами встречаться, так как есть у них уже другой план. Так что об этой встрече знаете только вы и я.

Искренен он или опять играет, ломаю голову я. А он продолжал:

— Я хочу вам описать ситуацию, а там решайте сами. Ваше «Восстание ангелов» — вы, конечно, знаете этот роман Анатоля Франса — будет подавлено и, может быть, с большой кровью. Разрешено пойти и на такой вариант. — Он вздохнул, сделал паузу.

— Но еще не поздно избежать всего этого. Думаю, что не поздно… хотя и не уверен.

Наступила пауза. Тогда вступил я.

— Гражданин капитан, вы имеете какой-то конкретный план, чтобы уладить конфликт?

— Очень простой. Заявите, что вы завтра выводите бригады на работу, и я думаю, что этого будет достаточно.

Мосейчук его перебил.

— То есть вы предлагаете нам просто капитулировать. А избитые и раненые люди и все остальные? Что они нам скажут?

— Постепенно вы добьетесь расследования, но сейчас вам нужно уладить конфликт и избежать кровопролития.

— Кровопролитие уже произошло, и если мы капитулируем, то оно может и повториться.

— Вот именно — может. В таком лагере все может случиться. Давайте говорить не о том, что было, а попытаемся предотвратить еще худшее, что может произойти.

Мосейчук молчал. Было видно, что переговоры захлебнулись и тема исчерпана. Я еще раз попытался найти компромисс:

— Может быть, можно сейчас оказать медицинскую помощь раненым, а завтра встретиться с прокурором, и конфликт улажен.

— Я этого не могу вам обещать. От меня это уже не зависит. — И он уставился в одну точку. Видно, что влиять на события капитан уже не может, за руль сел кто-то другой. Следовательно, и все переговоры с ним не могут иметь реального значения. Фактически он советует нам просто капитулировать.

Капитан встал, и это должно было означать, что беседа закончена.

— Поймите, что мне никто не поручал с вами встречаться. Я просто снял этот вопрос со своей совести. Теперь вам решать.

Мы вышли от него несколько ошеломленные. Это была, конечно, не игра. Более того, капитан рисковал. Но как поверить ему, если все КГБ основано на лжи и насилии?

В бараке нас ждали уже бригадиры и члены Комитета. Когда мы рассказали обо всем, начался страшный шум: «Капитулировать после стольких дней борьбы? Никогда!». Гримак утверждал, что все, что говорил капитан, — настоящий обман. Максимов, пересилив себя, сел и тихим голосом начал говорить:

— Борьба должна иметь тактику. Она включает в себя и временное отступление, чтобы затем, выбрав момент, снова наступать.

Старый эсер хорошо знал тактику революционной борьбы с царизмом, но времена изменились, и его уже почти никто не слушал. Предположений было много: нас выведут на работу, а обратно развезут по разным отделениям. Ведь если у них уже есть план действий, то наш выход на работу будет чистой капитуляцией. Как воспримут это все люди? Долго еще спорили, но затем пришли к единому решению: дальше держать осаду и требовать прокурора.

Следующий день начался как обычно. Кухня работала нормально, баня тоже. В центре двора на солнышке расположился украинской хор и собрал вокруг себя кучу людей. В нашем же «Центре» продолжались дебаты и искалось решение. Надежда на то, что придет прокурор, у всех почти исчезла, не для этого сюда приехало начальство из Управления. Оно понимало, что пойди оно на уступки, возникнут новые забастовки. Безусловно, они готовились наступать на нас. Но как?

Стрелять в толпу внутри зоны им строго запрещено. Да и вносить оружие в зону — тоже тяжелое нарушение. Стрелять они могут только при самозащите. Но о каком «кровопролитии» предупреждал нас капитан? Может быть, в этих лагерях они имеют другие, особые права? Были известны случаи в северных лагерях, когда стреляли в толпу прямо в зоне.

В голову лезли разные варианты. Например, построенной колонне приказывают лечь и открывают огонь по тем, кто продолжает стоять. Или надзиратели отсекают от колонны головную часть и дают команду «Шагом марш!». Если эта группа не подчиняется, в нее могут стрелять. Или, если мы все окажемся запертыми в своих бараках, то они могут, врываясь с оружием в каждый, выводить нас в наручниках по одному. Защищать бараки от надзирателей тоже рискованно: маленькая группа защитников — хорошая мишень. В общем, как ни кинь, наше

положение всегда оказывается слабее.

Нужно быть готовым и к тому, что нас попытаются просто обмануть. Явится какой-нибудь офицер в зону, назвавшись прокурором, возьмет наше заявление и предложит выйти на работу. Если мы выйдем из зоны, то нас развезут по другим отделениям.

Обед прошел как обычно. Кто сидел в бараках, кто прохаживался по двору.

Во время этого затишья активизировался нарядчик Хаджибекиров, он учуял победу начальства и начал вести игру на их стороне. Под предлогом создания новых бригад он ходил со своим помощником и составлял какие-то списки. При этом всех убеждал, что завтра, послезавтра все это закончится, и бригады пойдут на работу. Когда мы его просили не будоражить людей, он с деланной восточной улыбкой говорил: «У вас своя работа, у меня своя».

Были среди заключенных и недовольные нашей забастовкой, они скапливались вокруг Хаджибекирова и узнавали, куда и когда они пойдут на работу. Тот же составил из них специальную бригаду и заявил, что лично будет их бригадиром.

Наконец он пришел в наш «Центр» и заявил:

— Люди хотят на работу, им надоело так сидеть в зоне, я собрал уже две бригады. Давайте выведем их. Они вашему делу не помешают, а держать их несправедливо.

Он явно стремился расколоть нас и спровоцировать внутренний конфликт. Однако нагрянувшие события прервали его старания.

Репродукторы на столбах ожили, и мы услышали незнакомый нам голос:

— Заключенные! К вам обращается заместитель начальника Управления полковник Сергеев. Всем, всем, всем приказываю выстроиться по бригадам в колонну на площади. Вам будет разрешено обратиться ко мне с жалобами.

Почему же начальник Управления, а не прокурор, которого мы требовали? Да и жалобы наши ему известны.

Некоторые побежали в бараки искать своих бригадиров, другие, наоборот, из бараков во двор. Мы же снова собрались и решили построить людей с тем, чтобы Мосейчук и Гольдштейн еще раз изложили начальству наши требования.

Заиграл горн к сбору. Люди стали выстраиваться по бригадам. И мы снова услышали из репродукторов это «всем, всем, всем». Медленно колонна принимала правильные очертания. И, наконец, ворота вахты широко распахнулись.

Мы все ожидали, что появится группа начальников, но из

ворот в зону ехало что-то огромное, похожее на танк. Это был бронетранспортер, в кузове которого стояло человек 20 солдат, или, точнее, сержантов, с автоматами.

Бронетранспортер подъехал к головной части колонны, автоматчики, кроме двух, соскочили на землю и образовали оцепление вокруг машины. Тогда из кабины вылез небольшой, очень полный военный с малиново-красным лицом. Голова его была словно вдавлена в плечи, шеи заметно не было. Ему тут же помогли забраться в кузов и передали из кабины мегафон. Люди кто с удивлением, кто с опаской смотрели на всю эту сцену. Толстяк откашлялся, и мы услышали его хрипловатый голос:

— Заключенные! Я, заместитель начальника Песчаного лагеря, прибыл сюда, чтобы установить причины злостных нарушений режима на вашем отделении.

Говорил он медленно, растягивая для важности слова:

— Вам известно, что согласно правилам особого режима в этом лагере мы вправе, в случае необходимости, применять строгие меры, вплоть до чрезвычайных.

И здесь он сделал большую паузу и, слегка повернувшись к двум автоматчикам, стоящим в кузове, продолжал:

— Я не хочу допустить этого. Мне известно, что в лагерном отделении организовались преступные группировки, принуждающие остальных не выходить на работу.

И в этот момент мы обратили внимание, как из дверей вахты стали быстро выходить надзиратели. К ним присоединилась часть сержантов с автоматами, и все они, чтобы не привлекать внимание, быстро пошли за бараками вдоль зоны. Когда они появились перед бараками, стало всем ясно, что они собираются их запирать. Значит, нас хотят отрезать от них, окружить. По толпе пошел гул недовольства: «Бараки запирают! Нас обманывают!». Колонна пришла в движение и стала толпой. Я тут же бросился к головной части колонны, где были Максимов и Мосейчук, так было договорено на случай неожиданностей. На бегу слышу, как Паршин что-то кричит своим ребятам.

От головной части колонны отделилась большая группа украинцев, во главе с Гримаком и стремглав направилась в сторону бараков, к которым уже подошли надзиратели. Максимова на месте не оказалось, и я побежал назад к бригаде. Эту суматоху и шум прерывал голос из мегафона: начальник что-то кричал, но никто его уже не слушал, толпа метнулась к баракам.

Страх остаться перед бронетранспортером на дворе подгонял. Я вижу, что до дверей нашего барака осталось метров пятьдесят, и перед ним уже стоят надзиратель и два солдата, которые

угрожающе наводят свои автоматы на нескольких подоспевших ребят Паршина. Теперь уже можно разобрать, что доносится из мегафона: «Стой! Ложись! Стой! Конвой — охранять бараки!». Но остановить толпу невозможно.

Где Павел? Он тоже бежит с людьми своей бригады, и двери совсем уже близко. В этот момент я слышу лающие звуки, похожие на выхлопы автомобиля, совсем близко от меня, и вдруг понимаю, что это выстрелы автомата. Та-та-та-та! Пауза. Та-та-та-та! «В воздух, — мелькает у меня, — нас предупреждают».

Выстрелы слышу совсем рядом, но не смотрю в ту сторону, так как приходится перепрыгивать через людей, от страха легших на землю.

Теперь уже стреляют где-то справа, около другого барака.

Смотрю на дверь, которая мне показалась еще открытой, и в этот момент спотыкаюсь о кого-то из лежащих и падаю прямо на него.

Снова поднимаюсь и вижу, что упал на литовца из моей бригады. Он лежит на спине, раскинув руки, глаза его то открываются, то снова закрываются, и ртом он как бы ловит воздух.

Снова слышу выстрелы совсем рядом. Что-то сжалось внутри. Это страх. Страх умереть.

Никого из надзирателей около барака уже нет, и я вбегаю в него вместе с остальными. Там уже и Павел, он весь бледный, смотрит на меня немигающими глазами: «Ты видел? Они убивают людей!».

Мы бросились к лежащему литовцу, чтобы втащить его в барак. Выстрелов было уже не слышно. С земли поднимаются люди и тоже бегут в бараки. Но поднимаются не все. Некоторые только пытаются подняться, но не могут и остаются сидеть, другие же лежат неподвижно. На асфальте много больших пятен крови, и от этого меня начинает мутить. «Они стреляли в упор!»

Наш литовец жив, он ранен в легкое, санитар заклеивает ему рану между ребер, и он стонет. Нашлись и еще двое раненых в бараке, они, похоже, в шоке, сидят рядом молча и ждут перевязки, бушлаты их измазаны кровью.

Все затихло на площади, и мы видим через окно, что бронетранспортера уже там нет, а надзиратели и солдаты суетятся перед лежащими на земле, и начальник им что-то истошно кричит и жестикулирует. Он почему-то без фуражки и платком утирает свое раскрасневшееся, толстое лицо.

В зону опять въезжает бронетранспортер с солдатами в кузове. С него снимают носилки и начинают быстро переносить лежащих в кузов. Наконец, и в наш барак вбегают трое солдат:

«Есть раненые?». Мы передаем своих трех. Из окна видно, как выносят раненых и из других бараков. Опомнились!

Начались сумерки. Площадь опустела. Снова появились солдаты, но теперь они тащат ящики с песком, рассыпают его лопатами, видимо, в местах, где осталась кровь. По площади бродит наш начальник режима Калинин. Он смотрит на асфальт и покачивает головой.

Бараки заперли, и когда стало совсем темно, с кухни привезли два котла с супом и кашей и стали раздавать. Но что вызвало наше удивление, так это нарезанные куски белого хлеба, о котором мы уже забыли.

Видимо, все, что произошло, вызвало шок не только у нас, но и у них. Стрельба не входила в их планы. Сдается, что хотели они построить людей на площади, запугать видом бронетранспортера и автоматчиков, отвлечь внимание и тем временем запереть все бараки. Затем разделить колонну и некоторую часть вывести за зону с тем, чтобы развести по другим отделениям. Но получилось непредвиденное. Люди сразу же заметили, что бараки хотят запереть, и толпа рванулась к дверям, перед которыми в этот момент оказались не только надзиратели, но и вооруженные сержанты. Толпа неслась прямо на них. Возникла ситуация, квалифицируемая Уставом караульной службы армии как «нападение на вооруженную охрану». Это давало им право для защиты себя и оружия от захвата открыть огонь без предупреждения. Толстому начальнику не пришлось и командовать «Огонь!».

Кроме того, становилось ясным, что начальник Управления допустил крупные служебные нарушения: он ввел вооруженных солдат в зону и тем создал ситуацию, когда оружие могло оказаться в руках заключенных. Наличие убитых и раненых превращало это нарушение в должностное преступление. Теперь не только полковнику Сергееву, но и другому начальству Управления нужно было как-то выпутываться из этой истории. Если дойдет до Москвы, будет суд, и полетят чины и звания. Но замять дело на месте уже трудно: есть убитые и раненые.

Весь следующий день нас держали взаперти. В обед привезли жирный борщ с луком, лавровым листом и перцем, а на второе отварную свинину. Таких обедов мы здесь еще никогда не видели, да и запрет на приправы, видимо, сняли. Теперь повар Базыма мог показать свое искусство.

Солдаты продолжали работать во дворе. Теперь они выносили все вещи из здания склада и, как потом оказалось, готовили место для будущего медицинского пункта и лазарета. Появились там и люди в белых халатах, которые затем стали

обходить бараки, спрашивая, не остались ли раненые. От них мы узнали, что было убито на месте и умерло впоследствии за зоной двенадцать человек, раненых более пятидесяти.

Еще через день бараки были на весь день открыты, и мы смогли встретиться со своими. Гримак ранен в голову, два бригадира получили ранения ног. Все выглядели печально и растерянно. Говорить о чем-то было трудно: такой вариант развития событий мы не предвидели. Вспомнился Дашкевич с его предупреждениями.

Но жизнь в лагере с каждым днем менялась к лучшему. Создавалось впечатление, что начальство заглаживает свою вину. Наш начальник лагеря был смещен. Новый же оказался высоким худощавым майором с серым высохшим лицом и потухшими глазами. Он бродил по территории лагеря совсем один, без всякой охраны. Зашел на кухню и попросил отведать суп. Сел, взял ложку, да и съел почти полмиски, что следовало понимать, как высокую оценку. Но на жалобы заключенных отвечал коротко: «Знаю, знаю, разберемся».

Как видно, нарядчик Хаджибекиров получил от него указания подготовить бригады к выходу на работу. Он ходил по баракам и записывал все жалобы: «К прокурору пойдет!». Теперь он стал «обвинителем» бывшего начальства. На разные требования отвечал: «Учту. Теперь нам во всем пойдут навстречу». Несомненно, он выполнял чей-то наказ, чтобы снизить напряжение в зоне.

Следующий день был объявлен банным. На удивление, в моечном отделении стали выдавать кусочки мыла вместо обычной черной пасты. Первым пяти бригадам было выдано также и новое белье. Изменились и надзиратели: вдруг они стали к нам обращаться: «Ребята».

Днем из репродукторов мы услышали:

— Заключенные, завтра в помещении бывшего склада начнет работать медицинская часть. Бригадирам составить списки больных и установить очередь.

Заведующей медпунктом оказалась высокая худая женщина, затянутая в китель с погонами капитана. Для нее сразу же нашлась и кличка — «Эльза Кох».

Как-то к нашей группе, что-то обсуждавшей в центре двора, подошел этот майор, новый начальник, и, как бы заигрывая, обратился к нам:

— Ну, что, бригадиры, работать-то будем начинать?

— Да уже давно мечтаем, гражданин начальник.

— А это где тебя так угораздило? — притворяясь наивным, обратился он к Гримаку, увидев окровавленную повязку на

голове.

— Да вот на свадьбе вчера выпили много, да и подрались с ребятами, — ехидно шутил Гримак.

Начальник как бы пропустил это мимо ушей.

— А какие претензии ко мне имеете?

— Нужно бы главного преступника, начальника режима Калинина, снять и отдать под суд!

— Снят уже! — отрезал майор и пошел дальше.

Апофеозом всему было появление кино в зоне. Еще до обеда на автомашине привезли оборудование. На большой стене в столовой был установлен экран, а на противоположной стороне пробито в стене отверстие для проектора. И начали каждую субботу гонять для нас фильмы, захваченные как трофеи в Германии. Это были в основном фильмы берлинской студии «УФА»: «Станционный смотритель», «Ночной бал» с Марикой Рекк и Сарой Леандр, «Голубой ангел» с Марлен Дитрих, «Фридеман Бах» с Густавом Грюндгенсом, а также все три серии «Тарзана». У всех это вызывало восторг. Была установлена очередь по бригадам, и фильмы шли по пять сеансов в день.

Не только у нас в лагерном отделении, но и во всей стране жизнь начала изменяться. Кремль стремился показать всему миру, что СССР — нормальная демократическая страна. Советские представители в ООН рядились в костюмы демократов и отказывались признавать у себя в стране многомиллионные лагеря принудительного труда.

Хаджибекиров закончил свою работу, и списки обновленных бригад были готовы. В зону вернулись из военного госпиталя некоторые раненые.

Однажды из вахты вышел какой-то новый для нас лейтенант КГБ и направился с набитым портфелем, в сопровождении двух сержантов, к зданию, где раньше пребывал Дашкевич. Это был новый оперуполномоченный: толстый, с розовым лицом и короткой стрижкой, он медленно вышагивал, озираясь по сторонам. На его лице была написана какая-то гневная амбиция: «Ну, погоди! Я тебе дам!». Словом, это был обычный оперуполномоченный КГБ.

А где же наш капитан Дашкевич? Кто был этот человек, мы так и не узнали. Он исчез так, как, видимо, и должен был исчезнуть. Уж слишком был он необычен для такого лагеря, как наш. В КГБ таких долго не держали.

Утром как ни в чем не бывало заиграл горн «на развод», из бараков повалили люди выстраиваться у вахты. Наконец, ворота распахнулись, и все возвратилось на круги своя. Ох, победа ли это?

«Если завтра война, если завтра в поход»

Советского школьника еще в тридцатые годы систематически готовили к предстоящей войне. Никто не сомневался, что она придет — доблестная, великая. И вот тогда-то уж весь мир увидит, как сильна советская система и сколько в этой стране героев. Мне часто вспоминалось, как все к этому шло.

Идет урок военного дела. Для нас, учеников, эти уроки были большим развлечением, как бы военной игрой. Учитель, так называемый военрук, добрый малый, почти никогда никого не спрашивает, оценок не ставит, а только сам все показывает и рассказывает. Но сегодня особый урок: у нас гость — участник боев у озера Хасан, командир взвода. Появился он в классе весь сияющий, наголо побритый, в хрустящих сапогах и с двумя красными кубиками на лацканах гимнастерки. Наконец-то настоящий военный, а то наш военрук, хотя тоже в гимнастерке, но уж больно какой-то домашний.

— Мы на границе знали, — начал он, — что самураи уже давно зарились на нашу территорию, и поэтому техника была подтянута к границе заранее. Все началось ночью. Я лежал в дозоре, в то время как с другой стороны реки полетели в воздух осветительные ракеты. А потом смотрим, — ползут они к реке…

Я слушаю его и вспоминаю слова военной песни: «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки…».

Образно и складно рассказывает он нам, видно, что возят его из одной школы в другую.

— Вот когда наши бойцы в атаку идут, так с криками «ура», а ведь они, япошки, так совсем по-другому: «банзай — банзай» орут. Смешно, да и только. И штык у них короткий, как ножик, не сравнять с нашим…

И тут он стал вдоль рядов парт ходить и штык японский показывать, и даже в руках подержать давал. Нам с Костей Бешковичем страсть как захотелось именно такой штык иметь дома. Больно уж красивый! Да где его возьмешь?

На военном деле разрешалось садиться в классе, где захочешь и с кем захочешь, например, мальчик с мальчиком. На военном деле к нам, мальчикам, отношение особое, ведь мы будущие воины!

Рассказ закончен. Пошли вопросы.

— А вот вам приходилось ходить в штыковую атаку?

— Да, была и такая задача.

— А куда нужно штыком колоть?

— Да уж лучше всего в грудь его поразить.

Глаза у наших ребят начали нехорошо поблескивать.

Наверно, каждый пытается представить, как это штык сквозь грудь проходит, а оттуда кровь фонтаном хлещет.

Нападение Красной армии на японские пограничные войска на озере Хасан и на реке Халхин-Гол было только прелюдией к еще большей военной кампании на Карельском перешейке против Финляндии.

Это было летом 1940 года. Мы жили на даче в деревне Каупиллово, близ станции Лисий Нос на Финском заливе. Наши хозяева дачи, большая семья с детьми, говорили по-русски с еле заметным акцентом. Как оказалось, они происходили от финнов, которые живут на этой земле спокон века. Вдруг однажды мы слышим, что хозяйка громко плачет в своем домике. А через неделю приходит к нам сам хозяин и просит заплатить за дачу вперед: их как финнов всех выселяют.

Рано утром собралось у нас на большом дворе много жителей деревни, и все бабы плачут. В центре две подводы, нагруженные узлами, — все имущество, которое им разрешили взять с собой. На подводах сидят их дети — наши товарищи по играм. И куда их выселяют, одному Богу известно. А главное, за что? За то, что они финны!

Вскоре началась, так называемая финская кампания.

В школе с утра пионерская линейка в большом зале:

— Финская артиллерия обстреляла нашу территорию тяжелыми снарядами, и их войска готовились перейти в наступление по всей границе на Карельском перешейке. Наша Красная армия вынуждена была предпринять контрмеры. Мы будем громить белофиннов на их же территории.

Частичка «бело» добавлялась ко всем, против кого мы начинали агрессию: «белополяки», «белофинны». Вот только «белояпонцы» как-то не получалось.

Жить поначалу нам, детям, стало интереснее: вечером все окна в домах должны быть затемнены черными бумажными шторами, так что на улице по вечерам наступала тьма. В школе стало еще интереснее: всем раздали противогазы, и мы должны были их постоянно носить. Началась подготовка к воздушным налетам вражеской авиации. Сидим, решаем трудную задачу, у меня ничего, конечно, не получается, и вдруг в коридоре начинает выть сирена. Радость избавления!

— Всем встать и взять противогазы! Отряд, построиться!

По строго определенному распорядку класс за классом спускается по лестнице в подвал: там оборудовано бомбоубежище. Сидим там полчаса — противогазы наготове. По сигналу отбоя все в том же порядке возвращаются в класс. Но звонит звонок, теперь уже школьный: урок закончен, и задачу

решать до конца не надо.

Однако настоящая потеха началась, когда стали объявлять газовую тревогу.

— Внимание, газовая тревога! Всем надеть противогазы! — командует учитель.

И все ребята в классе превращаются в маленьких слоников с гофрированными хоботками и огромными стеклянными глазами. В таком состоянии спрашивать нас невозможно, и учитель начинает сам что-то нам читать.

Хотя это была и маленькая война, но жизнь при ней стала труднее. Масло и сахар в городе можно получить теперь только по норме. Я впервые увидел желтые и зеленые талончики, по которым няня получала эти продукты.

Зима оказалась очень холодной, морозы до минус 41 градуса. По улицам города проезжали грузовые автомашины с сидящими в них в белых полушубках военными. В конце зимы на улицах уже появились раненые, с обморожениями на лицах, кто без руки, кто без ноги, на костылях. Но война окончена. Мы слышим по радио: «Белый барон Маннергейм сдался, и его укрепленная бетонная линия разрушена, заключен мир. К нам присоединена наша исконная земля — Карельский перешеек». Вместе с нахлынувшими в город военными с фронта пришли и слухи о необыкновенном мужестве и упорстве финнов. О снайперах, привязывавших себя к вершине дерева и стрелявших до последнего патрона, о дерзких ночных атаках финских лыжников. Короче, оказывалось, что не только мы герои, хотя мы и победили, ведь нас было больше.

Бабушка со стороны отца рассказывает, что в районе станции Куоккала, на Карельском перешейке была большая двухэтажная дедушкина дача. Лес на постройку он сушил два года, чтобы крепче был, а проект составил шведский архитектор. Нам не терпелось увидеть эту «нашу дачу». И вот летом мы с двоюродным братом Вовой совершили поездку на велосипедах по захваченной территории Карельского перешейка. Едем вдоль ярко выкрашенных уютных домиков. Они пусты, все население ушло, никто не захотел становиться советским гражданином. В Куоккалла находим и «нашу» огромную дачу с тремя террасами и высокой башней, стоящую в сосновом бору: все оставлено в прекрасном состоянии, а на кафельных печах красуются еще монограммы дедушки. Но обратно эту дачу уже не получишь. Впоследствии в ней расположится детский сад для детей работников обкома партии. Так и стоит этот красивый дом до сих пор, только теперь уже этот поселок не называется Куоккала. Исчезли и все другие исторические названия с Карельского

перешейка, такие, как Терриокки, Келломяги, Мустамяги, Оллила.

Начиная с первого класса, нам в школе внушали, что германский фашизм представляет угрозу нашей стране, как и всему мировому коммунистическому движению, а сам Адольф Гитлер и его партия — враги прогрессивного человечества. Но каково же было наше удивление, когда в 1939 году на уроке истории нам объявили, что «Гитлер борется против мирового империализма, и в этом деле он наш союзник». Смотрим в газеты: министр иностранных дел Германии фон Риббентроп прибыл в Москву на переговоры со Сталиным, а затем наш нарком иностранных дел Вячеслав Молотов жмет руку в Берлине Адольфу Гитлеру. Вот тут и разбери. «А как же немецкие коммунисты, томящиеся в тюрьмах, и их вождь Тельман?» Ведь мы, пионеры, пели песню: «Мы отбили Димитрова, надо Тельмана отбить».

Через некоторое время и от независимой Польши ничего не осталось: новые друзья-союзники, Германия и СССР, захватили ее и разделили на две части. В школе объясняют: «Мы подали братскую руку помощи нашим братьям — западным украинцам и освободили их из-под ига польских панов!».

Началась Вторая мировая война. В журнале для школьников «Техника молодежи» я рассматриваю картинки немецких самолетов, знаменитые пикирующие бомбардировщики «Юнкере», которые каждый день сбрасывают бомбы над Лондоном. Наш союзник Германия захватывает в Европе страну за страной. Не существует больше независимой Франции, Чехословакии, Бельгии, Югославии, Греции.

Сергей Иванович ворчит: «Французы-то без выстрела все сдали. Где же линия Мажино, где французская армия, где гордый французский дух?!».

Как-то весной на первомайском празднике мы с сестрой оказались на Марсовом поле в центре города. Смотрим, развеваются два поставленных рядом огромных знамени: советское — красное и немецкое — коричневое с большой свастикой в белом кругу! «Интересное дело — эта политика, — подумалось мне, — если в ней так быстро все может меняться». После подписания пакта Риббентроп-Молотов выпустили из следственной тюрьмы на Литейном и нашего дядю Александра Майера, а также всех других немцев, сохранивших свое немецкое гражданство. Перед этим их откармливали две недели, затем одели в новые костюмы и передали в руки германского консула. Уже через месяц наш дядя и вся его семья, тетя Соната и Шурик, разгуливали по Берлину.

Нас позднее тоже «выпустят» из нашего города, но только в противоположном направлении — в Сибирь. Чем интересна была советская политика, так это своей непредсказуемостью.

Лето 1941 года выдалось очень жарким. Мы с сестрой под присмотром няни Насти посланы на отдых в глухую по тем временам деревню Киёво, в 30 километрах от Старой Руссы.

Крестьянская бревенчатая изба с высоким крыльцом. Хозяйка стряпает в русской печке, а мы ей носим воду на коромысле из колодца. Я сплю на набитом свежим сеном матраце, в большой горнице, а из угла смотрят на меня множество ликов святых — огромный иконостас с лампадой, которая зажигается по воскресеньям. Широко раскрытые глаза Христа и Богородицы направлены прямо на меня, но какую весть они несут мне, понять я не могу. От этого иконостаса вся изба приобретает особую торжественность.

Маечка, моя сестра, старше меня почти на три года, решила в это лето поработать в геологической партии коллектором. Партия вела топографическую съемку местности по заданию Нефтяного геолого-разведывательного института. Я же был совсем свободен и делал что вздумается. Вот только купаться мне одному в речке не разрешалось, а только вместе с сестрой, так как она хорошо плавала.

Однажды ярким солнечным утром, а это было утро 22 июня 1941 года, мы с сестрой и другими деревенскими ребятами купались в речке, переплывая на другой берег. Вдруг видим, как к берегу подбежали дети геолога и что-то кричат нам, размахивая руками. Первой мелькает у меня мысль: «Мама приехала нас проведать!». Подплываем ближе и слышим: «Война! Объявлено по радио — война!».

— С кем война-то?

— С Германией!

— Как?!

— Немецкие самолеты бомбили уже много наших городов!

— Почему же они нас бомбят, а не мы их? — недоумеваю я. Бежим к зданию колхозного правления. А там уже толпа крестьян. Шум, неразбериха, каждый свое кричит. Но вот и радио: «Немецкие войска начали наступление по всей западной границе…».

Мне, так и совсем не страшно. В школе нас к войне хорошо подготовили. И действительно, кого мы только не били: и японцев, и финнов, и поляков. Возникает радостная надежда, что ненавистную школу на период войны отменят. Кроме того, наконец-то мы увидим, как действуют наши доблестные танкисты и летчики. И уж конечно, и к нам попадет в руки оружие,

особенно трехлинейная винтовка образца 1916 года, которая, по словам нашего военрука, нас всегда выручала.

Прошел почти месяц, но в нашей деревне ничего не менялось, никаких признаков войны. Каждый вечер мы приходим в избу к геологу, и он читает всем вслух выдержки из газеты, вроде: «Нанося удары противнику, наши войска, выравнивая линию фронта, оставили города…».

Итак, движутся. На нас движутся. Уже под Псковом и Порховом, а там и до нашей Старой Руссы рукой подать. Наконец, в небе появился военный самолет. Люди смотрят, щурятся: «Наш? Да нет, не наш, наш по-другому бурчит…». Полетал, полетал и улетел. Это было первое мое знакомство с немецкой техникой.

В деревне уже почти не осталось мужчин. Все военнообязанные, собрав в мешочки сухари и сало, ушли рано утром с председателем колхоза в городской военкомат. В деревне остались одни бабы, старики, да дети.

Через две недели, утром у здания правления стоят много телег и лошадей, а кругом большая толпа баб и стариков. На подводах узлы, шубы, валенки и дети. Кругом плач и причитания. Оказалось, что пришел приказ об эвакуации населения. В центре стоит какой-то незнакомый человек в гимнастерке: «Говорю я вам, всех он вас поубивает, а вначале насиловать будет!». Тихие голоса: «А может, не всех?.. Наша-то армия спасать нас тоже будет…».

Уехали на восток подводы с привязанными к ним коровами и бегущими вслед собаками. Но в деревне все же остались некоторые старики и старухи. А еще через день появились и молодые ребята: где-то в лесу прятались. Ведь, действительно, «может быть, и не всех».

Мы домогаемся у нашего геолога: «Что будет с нами? Почему мы остались здесь?». Он бурчит в ответ: «Приказ не получен» и каждый день ходит пешком в город звонить начальству в Ленинград. А фронт все ближе и ближе.

Наконец, пришел этот долгожданный приказ. Но теперь уже ни лошадей, ни автомашин нам не достать. Единственная дорога на север к Старой Руссе запружена отступающими войсками и жителями. Солдаты почти все без оружия, многие босые и без ремней. Вдоль дорог по полям бродит брошенный колхозный скот. Коровы мычат от распертого молоком вымени. В воздухе теперь часто появляются немецкие самолеты, но толпа к ним безразлична. Они летят бомбить Старую Руссу. А город уже горит, и в воздух поднимаются клубы черного дыма.

Мы бросили почти все вещи и вместе с семьей геолога смешиваемся с этой толпой, бредущей по дороге. Жара стоит

невыносимая. По обочинам в тени лежат люди, или они выбились из сил, или выжидают, чем все это кончится. Оставлять родные места нелегко. В лесу расположился кавалерийский дивизион из Эстонии. Откормленные лошади мирно пасутся на опушке, а солдаты готовят на кострах еду. Видимо, они тоже не хотят спешить. Но большинство беженцев пытается добрести до Старой Руссы. Я вижу, как босая крестьянка с ребенком на руках пьет прямо из небольшого болота, зачерпывая рукой коричневую жидкость.

Вот и Старая Русса. Улицы почти пусты, окна магазинов разбиты, двери распахнуты. Из булочной на углу выходит мужик с огромным мешком на плечах, видно, это последнее, что там оставалось. Большие дома уже сгорели, и от них по улице тянутся клубы дыма, придавая всей картине мистический вид.

Наконец, мы подходим к зданию главного вокзала. Оно уже наполовину сгорело, хотя сквозь пустые окна видно, что там полно людей. Это военные и беженцы из города, все они хотят уехать в тыл, но никаких поездов на путях не видно. Наш геолог все же разыскал какое-то начальство и узнал, что никакого регулярного сообщения больше не существует, так как линия железной дороги южнее города повреждена. Последний специальный состав, сформированный из оставшихся на станции вагонов, стоит на запасном пути, но в него посадки нет, так как он предназначен для эвакуации раненых. Немецкие войска обходят город. Оставив большую часть своих вещей прямо на платформе, мы бросились по путям к этому поезду. Оказалось, что все вагоны заперты изнутри — поезд переполнен. Наш геолог в отчаянии, но ему удается разыскать начальника эшелона. Мы видим, как он показывает этому офицеру какие-то бумаги и весь красный от волнения кричит ему: «Государственное задание, военная топографическая съемка…». И вдруг, о чудо, начальник открывает ключом один из вагонов. Нам разрешают протиснуться в набитый до отказа тамбур, где уже лежат на полу люди. Дверь снова запирается снаружи, и в этот момент мы чувствуем толчок: это прицепили локомотив.

Мне любопытно посмотреть, что там делается в самом вагоне. Осторожно переступая через людей, вхожу в вагон. Едкий запах человеческого пота и табачного дыма перехватывает мое дыхание. Я замираю на месте и начинаю кашлять. Какой-то военный сажает меня на свой вещевой мешок. И вот поезд, наконец, трогается. Осматриваюсь и вижу, что передо мной сидит на полке с закрытыми глазами еще какой-то военный. Вместо сапог на нем клеенчатые чулки от противохимического костюма, ремня нет. На лацканах следы от отодранных «кубиков», он командир. Слышу

его тихую беседу с соседом. Бежит он из-под Порхова, где шли несколько дней бои и удерживалась линия фронта.

— А потом началось не разбери что. Обошел он нас с двух сторон. Мы всю ночь бежим по дорогам, а уже к обеду оказывается, что он уже впереди и мы у него в тылу. Наконец, каждый стал бежать, куда хотел, оружие побросали — невозможно бежать с ним. А потом я и сапоги свои скинул, думал, что уже не выберусь… Прет он на танках и мотоциклах как по своей территории. Днем едут они по дорогам, а ночью спят в избах. Разве это война? А у нас ни самолетов, ни танков.

Поезд подходил к Новгороду. Откуда-то появились поначалу не замеченные нами проводники: «Выхода из вагонов на станции нет! Вагоны запираем!». Вскоре стало понятно, почему. Как только поезд приостановился у платформы вокзала, из окон мы увидели огромные толпы. Это были в основном также отступающие военные и штатские с мешками за плечами. Было слышно, как они стучат и рвутся в запертые двери наших вагонов. Потом перед нашими окнами появились разгневанные, искаженные лица, люди кричали и грозили и даже плевали в стекло. Слышно, как кто-то уже забрался наверх и ходит по крыше вагона. Но поезд трогается дальше, и тогда мы видим, что не только наш перрон, но и все остальные и вся площадь перед вокзалом заполнены людьми. Наш поезд был, видимо, последним.

Только к утру мне удалось задремать. Очнулся я от громкой команды:

— Воздух! Всем быстро выходить из вагонов и рассеяться по полю!

Поезд стоял среди поля. Люди медленно, как бы нехотя, стали выходить. Но большинство раненых предпочли оставаться в вагонах. Никто не пытался помочь им выйти.

Двери открылись, пахнуло прохладой. После зловонной духоты внутри вагона я чувствую блаженство свежего утреннего воздуха. Восходящее солнце золотит неубранные поля ржи. Но эту тишину нарушает рокот самолета, он кружит над нами. Нужно было залечь, и мы, как и все другие, легли на мокрую от росы траву. Лежу и думаю, неужели же вот сейчас, в это чудесное утро, начнут бомбить наш поезд? Я даже явственно представил себе, как с неба начнет падать на меня такой обтекаемый предмет, похожий на дельфина, и затем, взорвавшись, разорвет меня на куски. Но у немецкого летчика, видимо, были другие планы: он сделал два больших круга над поездом и стал удаляться.

Поезд двинулся дальше на север, к Ленинграду.

Справа и слева от полотна железной дороги стали появляться массы людей с лопатами. Они копают глубокие противотанковые

рвы, строят так называемый оборонный щит города. К сожалению, этот щит не сыграл никакой роли, и даже напротив, он был использован противником как основа для своих зимних блиндажей во время блокады.

В город мы прибыли на Витебский вокзал. Здесь никакой войны не чувствуется: на площади перед вокзалом ходят трамваи, много людей, одетых в светлое, по-летнему, спешат с работы домой. В телефонной трубке на вокзале я слышу мамин голос: «Ну, так приезжайте скорее, я готовлю ужин».

Лишь только на следующий день я и здесь стал чувствовать атмосферу войны. По улицам солдаты несут слабо надутые аэростаты, похожие на гигантские баклажаны, которые затем из парков и с площадей запускают в высоту на металлических тросах. Эти тросы должны удерживать немецкие самолеты от пикирования и снижения. Позднее оказалось, что такая защита не дает эффекта: достаточно одного выстрела, чтобы баллон обмяк и упал вниз.

Почти каждый вечер объявляется воздушная тревога: сначала начинают гудеть басом трубы заводов, затем воют уличные сирены. В это время следует уйти в укрытия, но уходят не все, некоторые, видимо, уже привыкли, ведь вражеские самолеты так еще и не появлялись над городом. Люди роют укрытия в парках, окна магазинов прикрывают деревянными щитами. Городские памятники обкладываются мешками с песком. Оконные стекла в домах заклеиваются лентами бумаги или марли, чтобы они не разлетелись при бомбежке города. Все эти необыкновенные перемены в городе вызывают во мне восторженные чувства, как будто вот-вот должен начаться грандиозный спектакль; все готовятся к нему, а он так и не начинается.

Ура! Занятия в школе начнутся на месяц позднее. Теперь днем я брожу по городу и смотрю, что в нем происходит. Вижу, как в садах учат ополченцев, простых рабочих и служащих. Вместо винтовок у них в руках деревянные палки. Неужели уже не хватает оружия? В южных районах города, у Нарвской заставы, улицы перегораживают баррикадами из мешков с землей, а углы домов превращают в пулеметные точки. Поговаривают о возможной блокаде, и уже введены карточки на хлеб, масло и сахар. Остальные же продукты бойко раскупаются по повышенным ценам, и за ними повсюду с утра выстраиваются очереди. Наша домработница Настя тоже с утра в бегах за этими продуктами: консервы, мука, крупа, конфеты. Но купить за один раз можно не более килограмма. Последними с полок магазинов исчезают банки с дальневосточными крабами и икрой: для простых людей это не еда. Более дальновидные уже направились

в окружающие деревни за картошкой, тащат ее большими мешками. Другие же идут на убранные картофельные поля за городом: там можно еще накопать несколько килограммов мелкой картошки. Некоторые находят продукты питания в аптеках, например, льняное и кукурузное семя, препараты крови и желатина. На сельскохозяйственных складах продают подсолнечный жмых, из него можно варить кашу. Мама где-то раздобыла четыре килограмма семян клевера. Маленькие коричневые шарики в жесткой кожуре, которые даже после трехчасовой варки остаются твердыми.

Наконец, к октябрю все магазины, склады и аптеки стали пустыми, все съестное из них исчезло. Теперь оставался только паек, который выдавали по карточкам. Радио нас успокаивает: «Враг будет разбит при подходе к городу». Видимо, для этого в город приехал сам маршал Клим Ворошилов, герой Гражданской войны, Первый Маршал. В кинохронике мы видим, как он осматривает передовую линию фронта, хотя все уже знают, что никакой линии фронта нет — враг движется планомерно и неумолимо, почти без боев. Маршал поднимается на какой-то холмик и всматривается вдаль в бинокль, а сбоку у него висит, поблескивая, кавалерийская шашка. Совсем как в песне: «Тогда нас в бой пошлет товарищ Сталин и Первый Маршал в бой нас поведет!».

Но вот и началось. Восьмого сентября вечером, как всегда, завыли сирены воздушной тревоги. По радио мы слышим: «Вражеские самолеты прорвались к городу! Всем гражданам перейти в укрытия». В подвале нашего дома уже два года как оборудовано бетонное бомбоубежище: к войне-то мы готовились. Спустя несколько минут мы слышим на нашей лестнице множество шагов. Приоткрываем дверь и видим, что много людей уже спускаются вниз, неся в руках чемоданы. Мы же как раз только что сели ужинать и мама в нерешительности, стоит ли и нам уходить в укрытие. Как-то не верится в большую опасность. Ну, почему именно на наш дом она, эта бомба, упадет? Ведь в городе много домов. Вдруг видим, что наша няня начинает собираться: надевает какой-то зеленый ватник с красной повязкой на рукаве, вешает через плечо противогаз и натягивает на ноги большие резиновые сапоги. Откуда у нее все это? Оказалось, что она боец противопожарной дружины дома, и идет она наверх, на чердак, гасить зажигательные бомбы. У меня голова от этой новости закружилась. Так ведь и я мечтал их гасить! Умоляю маму пустить меня вместе с ней на крышу. И, к моему величайшему удивлению, мама разрешает. Мы сразу же бежим на чердак нашего шестиэтажного дома, и через распахнутое окно

мне открывается картина неба.

Вечером вид на город с крыши особенно прекрасен: крыши домов озарены малиновым светом заката, а в потухающем небе видны контуры сотен воздушных шаров. И вот, сначала где-то в отдалении, а затем уже и рядом, стал раздаваться громкий лай зенитных орудий, орудий, которых днем я в городе не замечал, так как они установлены на крышах. От выстрелов в небе стали появляться белые букеты дымков — это разрывы зенитных снарядов. Они висели в воздухе и затем медленно, меняя свою форму, ползли по ветру на восток. Но по кому зенитки стреляют? Никого в небе не видно. Но вот мы отчетливо услышали тот знакомый мне рокот немецких авиамоторов. Самолеты где-то близко, только их не видно в потемневшем небе.

Прошло еще какое-то время, и вдруг в небо полетели разноцветные огни сигнальных ракет. Совсем как праздничный фейерверк: желтые, красные, зеленые дуги, то там, то здесь, и не только в нашем районе, но особенно в отдаленных заводских кварталах города за Невой. Сначала десятки огней, а потом и сотни. Вот он начался, долгожданный для меня военный спектакль! Но что это за ракеты? Трассирующие снаряды артиллерии или что-то еще? Да и зачем они?

Вдалеке, в восточных районах города, послышались рычащие раскаты взрывов. Бомбят! Еще через некоторое время оттуда в небо поползли черные клубы дыма. Сначала они были небольшие, но затем, сливаясь, образовывали целый дымовой фронт, внизу которого можно было отчетливо различить языки пламени. Пожары!

Тревога закончилась, и мы с няней вернулись в квартиру.

Оказалось, что мама с сестрой так никуда из квартиры и не уходили: двум смертям не бывать.

Утром в городской газете «Ленинградская правда» я читаю сногсшибательную новость: «В город проникли вражеские лазутчики, которые во время воздушного налета запускают в воздух около заводов и военных объектов цветные ракеты, корректируя бомбометание противника». Но как оказались в городе эти лазутчики? Куда же смотрело наше доблестное НКВД? Все это было совершенно непонятно. Лишь позднее мы узнали, что, действительно, противнику удалось в захваченных районах области завербовать немало людей, которые затем с толпой беженцев прибыли в город и во время каждого налета запускали ракеты, быстро меняя свое местонахождение. К этому НКВД не было готово, оно было занято поисками «шпионов и вредителей» среди честных граждан и всегда их там находило.

А те грандиозные клубы дыма, которые мы наблюдали с

крыши дома, были пожаром так называемых Бадаевских складов — низких кирпичных зданий, в которых хранились запасы сахара. Сахар горел, плавился и тек сладкой рекой прямо по улице, так что подоспевшие счастливчики могли его черпать прямо ведрами. Погасить пожар удалось лишь под утро. Позднее некоторые советские военные историки попытаются объяснить возникший во время блокады в городе голод гибелью этих запасов сахара, как будто бы можно было прокормить многомиллионное население города этими сотнями тонн сахара!

Занятия в школе все же начались. Воздушные налеты нам не мешали, так как они происходили по вечерам, с немецкой точностью, от половины восьмого до десяти часов. Все учителя — мужчины были уже на фронте. Никакой дисциплины на уроках не было, учеников редко опрашивали и еще реже ставили оценки. Наш класс наполовину уменьшился, многие со своими родителями оказались на территории, занятой противником, в том числе и мой закадычный товарищ Костя Бешкович.

Бомбы на город падали каждый день. Впервые мне пришлось увидеть разбомбленный дом. Он стоял на Английской набережной между бывшим турецким посольством и дворцом Великого Князя Михаила Романова. Видимо, бомба упала рядом с домом, так что обвалилась вся его наружная стена, и можно было увидеть все его этажи, как на музейном макете. В комнатах продолжали висеть картины и люстры, и даже кровати с подушками и диваны остались на своих местах. Большинство Жителей дома спаслись, так как успели уйти в бомбоубежище.

В горах обрушившегося кирпича перед домом можно было видеть обломки мебели, посуду, шкафы с вывалившейся из них одеждой и разбросанные старинные книги в переплетах. Мне попались на глаза страницы из «Божественной комедии» Данте со знаменитыми гравюрами Густава Доре, изображающими ад. Это выглядело как аллегория.

К сигналам воздушной тревоги мы постепенно привыкли, по времени они совпадали с нашим ужином, поэтому мы не утруждали себя тащиться в бомбоубежище. Однажды в октябре мы ели гречневую кашу и слушали привычный лай зенитных орудий. На этот раз он показался необыкновенно громким, стреляли где-то совсем рядом. И вдруг мы услышали грохот, и весь наш дом стало трясти так, что сковородка на керосинке заплясала и с потолка посыпались хлопья штукатурки. От неожиданности все мы пригнулись. Где-то снаружи, во дворе, послышался звон разбивающихся стекол. Погас электрический свет. «Или в наш дом, или в соседний!» Очнувшись, я бросился к окнам. Они остались невредимыми, видимо, марлевые наклейки

на стеклах их спасли. «Быстро все пошли в подвал!» — скомандовала мама. Но потом, поразмыслив — «Дважды в одно и то же место бомбить не будут» — отменила свой приказ. Кашу мы доели уже при свечах.

Наутро выяснилось, что упали сразу две большие фугасные бомбы на соседней с нами улице во дворе знаменитой типографии «Печатный двор», где печатались агитационные плакаты, которыми был заклеен весь город: «Родина-мать зовет», «Все для фронта — все для победы», «Все на оборону Ленинграда!» или «Напоролся!» — карликовый Гитлер повис на штыках защитников Ленинграда.

Этот случай был для всех нас уроком. На следующий день все, кроме Насти, по сигналу тревоги, мы впервые спустились в подвал бомбоубежища. И так происходило каждый день, и длилось примерно неделю. Но потом страх опять прошел, и я продолжал во время налета ходить следом за бойцами противопожарной охраны дома то во двор, то на крышу.

На город сбрасывались не только фугасные, но и зажигательные бомбы. Это были изящные пузатенькие бомбочки с начинкой от двух до десяти килограммов зажигательной смеси. Сгорая на земле, они оставляли после себя красивый металлический хвостик, фюзеляж. За этими хвостиками и за осколками зенитных снарядов мы, мальчишки, охотились. Особенно ценились части, где были хоть какие-нибудь буквы или цифры. У некоторых ребят появились целые коллекции, в которых красовались экземпляры самых причудливых форм. В школе шел бойкий обмен этими редкостями. Мне, например, очень не везло: одни только осколки, но ни одного хвостика, так как на наш дом так и не упало ни одной зажигательной бомбы. По соседству с нами Плановый институт в одну ночь прямо засыпали «зажигалками», но когда я туда подоспел, все уже было подобрано.

Мне все мечталось, как я огромными клещами хватаю горящую зажигательную бомбу и бросаю ее в цистерну с водой, точно как показано на плакате. И тогда корпус ее останется невредимым, и будет принадлежать мне. И вот однажды, наконец, залетела маленькая «зажигалка» и в наш двор. Пока я сбегал с крыши во двор, там уже вокруг нее толпились наши пожарники. Зрелище было необычайное. Бомба напоминала какую-то гигантскую рыбу с хвостом, у которой оторвали голову, и из туловища хлестал огромный огненный фонтан брызг. Вокруг нее царит паника, каждый что-то советовал, но не действовал. А бомба продолжает шипеть и плеваться огнем, расплавляя асфальт. Пробиться к ней мне было уже невозможно, две

дружинницы делали попытки схватить ее сзади клещами за хвост, но температура вокруг была уже настолько высока, что обжигало лицо, да и на брезентовой одежде у некоторых появились черные дыры от искр. Наконец, кто-то посоветовал забросать ее мешками с песком. На следующий день я сразу же бросился к этой песчаной куче, но ее там уже не оказалось, в доме не я один был таким коллекционером.

С раннего детства мне было известно, что мои родители и родственники — немцы. Бабушка то и дело старалась заговаривать с нами, детьми, по-немецки, хотя мы и противились этому. На праздничный стол часто подавались немецкие национальные блюда: форшмак (запеченная селедка с яйцом, луком и картофелем), шнель-клопс (мелко нарезанное и зажаренное в соусе мясо), штрюдель (кекс с изюмом), апфелькухен (яблочный пирог) и другие. Иногда нам читали книжки по-немецки: сказки братьев Гримм, «Макс и Мориц» Вильгельма Буша. Да и одеты мы были не совсем так, как наши русские сверстники: короткие штаны на подтяжках, с чулками до колен, блузки с бантами. Конечно, в доме не было никаких русских икон, за исключением одной у «русской» бабушки, со стороны отца. Многие родственники были крещены в лютеранской церкви Святого Петра и Павла и учились неподалеку в немецкой школе «Петершуле», той, что на Невском проспекте. Порядок и дисциплина царили во всем. За обеденным столом детям не разрешалось разговаривать со взрослыми, и если необходимо что-то попросить, то нужно было встать, подойти ко взрослому и обратиться к нему тихо. Как только заканчивалась трапеза, дети должны были сразу же покинуть стол и дать взрослым поговорить одним. Часто взрослые говорили по-немецки, чтобы мы, дети, не все могли понять. Знали мы также, что наши предки происходят из остзейских прусских немцев, а также из Штутгарта. Часть из них продолжает жить в Берлине, и бабушка с ними переписывается. Знали, но не придавали этому никакого значения. В школе об этом никто не догадывался, у меня с сестрой была русская фамилия. Впервые обратил я внимание на свою национальность, когда был арестован как немец наш дядя Шура Майер, который сохранил немецкое подданство. И вот теперь, в разгар бомбардировок города, в конце сентября, я как-то развертываю номер газеты «Ленинградская правда» и обнаруживаю там статью под заглавием «Клопы под обоями». Оказывается, «клопы» — это мы, российские немцы. В статье сообщается, что якобы во время налетов немецкой авиации на город немецкие семьи собираются вместе и пьют вино, поднимая тосты за «скорую победу немецкой армии». «Когда же

раздавит этих клопов карающая рука советского закона?!» — примерно так заканчивалась статья. И тут я, наконец, понял, что всех нас со дня рождения советская власть рассматривает как врагов только потому, что мы происходим от немцев. У меня никогда не было симпатии к немецкой армии или фашистскому режиму, так же, как и к сталинскому режиму, но после этой статьи меня охватило новое чувство, чувство полного окружения, как будто от этой врожденной вины я никогда уже избавиться не смогу.

Несмотря на то, что война уже вторглась в город, никакой паники не наблюдалось. Все стали фаталистами. Культурная жизнь продолжалась: работали почти все театры, вечерами в Народном парке были открыты аттракционы, давались концерты в Филармонии, и я по своему школьному абонементу регулярно посещал их. Правда, один раз нас все-таки потревожили. По воскресеньям немецкая авиация почему-то не бомбила город, жители шутили: «Они моются в бане и пишут письма домой». Но однажды воздушная тревога была объявлена в воскресенье в два часа дня при ясном сверкающем на небе солнце. Сидя в зале, мы услышали приглушенные звуки сирен, но концерт некоторое время продолжался. Наконец, когда номер программы был закончен, на эстраду вышел конферансье во фраке и смущенно объявил, что дирекция просит у публики извинения за случившуюся воздушную тревогу и просит всех присутствующих на время перейти в подвал. Оказалось, что это летали самолеты-разведчики и, пользуясь ясной погодой, рассматривали, что они натворили за последние дни.

Где точно проходила линия фронта за городом, мы не знали, но всем был ясно, что противник почти окружил город. В парке Народного дома была устроена выставка сбитых немецких самолетов. На этой выставке я первый раз вблизи рассмотрел истребитель «Мессершмит-109», который стоял весь продырявленный, с черными крестами на крыльях, а рядом на табличке сообщались его технические данные и то, что летчик взят в плен. По слухам, противник был на некоторое время задержан под станцией Мга, в 30 километрах от города. Но однажды вечером мы явственно услышали с южного направления звуки артиллерийской канонады, а затем появились плакаты: «Враг у стен Ленинграда!». Это были последние плакаты, потом стало уже не до них. По слухам, бои шли у Московских и Нарвских ворот, то есть уже в самом городе. К бомбежкам с воздуха присоединились и прямые артиллерийские обстрелы. Они велись то по одному, то по другому району города. Радио советовало держаться южной стороны улиц.

Однажды мы с сестрой ехали к маме в Нефтяной институт на трамвае: в институте еще можно было получить обеды по карточкам. Трамвай спускался с Троицкого моста к Марсовому полю. Мы готовились уже выходить и стояли на передней площадке вагона, как вдруг послышались громкие разрывы снарядов, сначала где-то на набережной, а потом и на Марсовом поле. Я вижу, как на панели за памятником Суворову сотряслась земля, и через секунду из ее глубины вырвались клубы дыма, и послышался оглушительный взрыв. Садовая скамейка взлетела в воздух, какая-то женщина, пробегавшая мимо, сначала опустилась на колени, а потом упала ничком на землю. Наш трамвай содрогнулся и остановился, люди бросились бежать из него, всем стало ясно, что стрельба идет по мосту. Мы помчались к набережной, чтобы укрыться за домами с южной стороны. Бегу я вдоль набережной и вдруг вижу, что на каменных плитах панели лежит большой осколок от снаряда. Подхватываю его и тут же бросаю — он раскален. Через секунду возвращаюсь и хватаю его уже рукавом куртки. Этот кусок металла напоминал сосновую кору, он был с полкилограмма весом и имел угрожающе зазубренные края. «Что же может он натворить, если попадет мне в голову? И что случилось с той женщиной, которая повалилась на колени? Уж не такой ли осколок…» Опыт войны постепенно приходил ко мне, и она переставала мне казаться привлекательной.

«Только хлебом единым…»

«В мире есть царь, этот царь беспощаден,
Голод названье ему».

Н. Некрасов. «Железная дорога»

Спираль

Все это начиналось незаметно и постепенно, как бы подкрадывалось. Бомбардировки города в декабре стали значительно реже: по слухам, у противника замерзает бензин. Но с еще большей силой продолжался артиллерийский обстрел: то из одного, то из другого района слышны звуки канонады. В морозном воздухе эти звуки напоминают треск ломающихся в лесу деревьев, но это уже никого не пугает, так как стало привычным. Агитационные плакаты в городе уже не

развешиваются, а лохмотья старых, с кусками слов и фраз хлопают о стены на ветру: «… будет разбит…», «Родина-мать…», «Все на фронт!». Конечно, мы слышали по радио речь Сталина по случаю Дня Октябрьской революции, но ни она, ни выданные в этот месяц по карточкам конфеты не вызывали уже оптимизма. Все как-то почувствовали, что надвигается нечто другое, более страшное, чем бомбардировки города.

Наша няня Настя перешла жить к своей подруге в соседнюю квартиру. Подруга работала на военном заводе и время от времени приносила домой какие-то дополнительные продукты, кроме того, у нее много дров и они жили в тепле. Мы остались втроем: мама, сестра и я. Почти каждый день мама проделывает большой путь пешком через Неву в свой институт, где можно было по карточкам получить обеды, которые она приносит домой, и мы все вместе садимся ужинать. Обычно это была чечевичная каша и компот. Но и это скоро прикрыли, а хлебный паек почти каждую неделю катастрофически снижается: на рабочую карточку 500 (сентябрь)… 450… 350… 250, для всех остальных 350… 250… 200… 150… 125!

А знаете ли вы, что такое 125 граммов хлеба? Нет, вы этого не знаете! Вы никогда такого количества хлеба не взвешивали. Это просто тот самый один ломтик черного хлеба, который вы съедаете за завтраком с маргарином или сыром, чтобы не набрать лишнего веса, но только с той разницей, что хлеб, выдаваемый у нас в декабре, уже не был похож на съедобный продукт: он состоял на 40 % из целлюлозы и издавал запах мокрого картона. Вы когда-нибудь нюхали мокрый картон? Один этот запах заставлял задумываться: что же будет дальше?

Уже в ноябре стало понятно, что топить большие печи в квартире дровами — опасная глупость, тем более что в этом году дров на зиму уже, конечно, негде было купить. Однажды мама принесла дрова из подвала и заметила, что осталось только 39 поленьев. Подсчитали: на 8—10 дней. А мороз на улице уже доходит до тридцати градусов. Решено было всем жить и спать в кухне, остальные комнаты запереть. В кухне маленькая печка с плитой, которая быстро нагревается и не требует много дров. Но ведь и так они все равно скоро кончатся.

Телефоны отключились. Электрический свет был еще до конца месяца, но потом и он погас. Пошли в ход все имеющиеся в доме свечи, их хватило на неделю. Затем из бутылочек и баночек стали мастерить керосиновые «коптилки» — светильники с фитилем, который постоянно приходилось иголкой выдвигать наружу, по мере сгорания. Название «коптилка» справедливо происходит от слова «копоть», она действительно то и дело

коптит, и черные струйки гари тянутся вверх к потолку. Читать по вечерам становилось уже невозможно. Наконец, был отключен городской водопровод. Крупные водопроводные магистрали из-за сильных морозов замерзли, трубы лопнули, и вода пошла из люков прямо на главные улицы, образовывая огромные ледяные поля. Вслед за этим остановилась и канализация.

Голодный человек засыпает легко, но это не сон, а голодная одурь, какой-то бред из галлюцинаций, картин светлого детства или видений аппетитно кипящей в масле картошки на сковородке.

Утром, проснувшись, все мы продолжаем еще долго лежать под одеялами: куда и зачем спешить. Согревшись, можно себя и обмануть, представить, что ничего не происходит, а как только высунешься — видишь, что пар идет изо рта, так как в комнате уже около нуля градусов — печурка еще вечером остыла. Но кто-то должен первым встать, поднять штору затемнения на окне, хотя она уже не играет никакой роли, так как свет от коптилки все равно с неба никому не виден, да и в небе ведь уже давно никого нет.

Умываться нужно над ведром и из стакана — один стакан на человека: вода стала большой ценностью, ее приходится возить в канистрах из Невы, спускаясь по обледеневшей гранитной лестнице на лед к проруби.

Мама сильнее нас, она нас всех подбадривает и утром распределяет, что каждый должен сделать. Сама же идет за хлебом. Это сейчас самая большая ценность. Мы с сестрой знаем, что если она потеряет хлебные карточки, то мы все умрем — их никто и никогда не восстановит. О таких несчастных мы уже слышали. Карточки, эти синенькие и желтенькие квадратики на плотном бумажном листе, которые каждый месяц выдают по паспорту в домоуправлении, — эквивалент человеческой жизни. Пока мама идет к хлебному распределителю на углу нашей улицы, мы с сестрой должны вскипятить чай. Для этого нужно одно нормальное полено превратить в несколько палочек и подкладывать их в топку кухонной плиты не сразу, а по штучке, пока не закипит чайник. Чай, который мы пьем, это совсем не чай, тот, настоящий, давно кончился. Теперь мы завариваем поджаренный сахар. Оказывается, если на сковородку положить кусочек сахара и на маленьком огне его расплавить, то он начнет превращаться в коричневую пахучую массу, карамель, и вот ее-то мы и растворяем в кипятке, в маленьком чайнике, и потом добавляем уже каждый в свою чашку.

Приходит мама, на груди у нее в полотенце завернут наш дневной паек хлеба: 250, плюс 125, плюс 125, итого 500 граммов.

Мама все это разделяет на три равные части. Хотя это не справедливо: мама взрослая, ей нужно больше, чем нам. Но мы молчим. Каждый берет и завертывает свою порцию в белый лист бумаги, отрезая первый кусочек маленьким тонким ножом на завтрак. В декабре мы еще не знали, что кусочки хлеба нужно подсушивать на плите, тогда больше работы зубам и процедура еды удлиняется, и еды как бы становится больше. Эта мудрость пришла не сразу. Вначале мы подсаливали хлеб, чтобы обострить вкус, но потом оказалось, что голодные отеки ног при соленом хлебе возникают быстрее, и мама запретила нам это делать. После такого кусочка чувства сытости, конечно, никакого не возникает, только становится теплее, появляется дремота. Но дремать нельзя, нужно идти с саночками и канистрами на улицу за водой, одновременно захватив с собой ведро с нечистотами, которые теперь выбрасываются просто в сугроб у дома. На улице мороз, все хрустит под ногами. Идем только по тропе в центре улицы, так как около домов справа и слева тянутся огромные кучи измазанного нечистотами снега. Перед нами и за нами также идет вереница людей. Тишина, лишь скрип саней, а иногда где-то вдалеке звуки артиллерийской канонады. Бьют по городу то там, то тут, но мы уже привыкли.

Наконец, все хозяйственные обязанности исполнены, и до следующей еды остается еще три-четыре часа. Мучительные три-четыре часа, ведь ты знаешь, что там, в белой бумаге на полке, лежит твое богатство — оставшийся хлеб. В окно кухни проникает еще достаточно яркий дневной свет с улицы. Чтобы как-то отвлечь нас, мама начинает читать нам вслух, а мы закутываемся снова в одеяла и слушаем ее. Сначала это был И. Тургенев «Дворянское гнездо», а затем пошли книги по искусству: Ф. Грабарь «История русской архитектуры»… Узнаем, что построен наш город был Шлюттером, Доменико Трезини, Растрелли и, конечно же, Росси. На час-другой можно отвлечься, и незаметно приблизится время, когда снова растапливается плита, теперь на нее ставится кастрюлька с тремя стаканами воды и горстью точно отвешенной на аптекарских весах крупы — 40 граммов! Расчет тут простой: на рабочую карточку в месяц выдается по 250 граммов, на две наши с сестрой еще 250, таким образом, 500. Если это разделить на 30, то получается 16, 666… граммов. Почему же мы кладем в наш суп больше крупы, чем нам выдается на день? Во-первых, мы надеемся, что блокада должна быть все же прорвана, а во-вторых, из 16 граммов крупы супа не получится, а только мутная горячая жидкость. Ах, уж эта скрупулезная немецкая точность! Но она нам помогала: те, кто съедал весь паек сразу, умирал быстрее. Итак, у нас «обед». Снова

поджаривается хлеб. Но сначала чайной ложечкой съедается суп. Потом снова «чай» с кусочком хлеба. И все! Еще остается один кусочек хлеба, примерно, 80 граммов, но он будет лежать до позднего вечера, когда уже при коптилке, почти в темноте, будет разогрет еще раз чай. И уже тогда, сохраняя тепло выпитого чая, мы забираемся под одеяла и пальто и стараемся уснуть. День за днем, медленно тянется время. Радиотрансляцию мы почти уже не слушаем, хотя это единственное, что связывает нас с советской властью. Там можно услышать объявления о снижении хлебного пайка, предупреждения об артиллерийских налетах на город и сообщения об успешных боях Красной армии, чему мы уже перестали верить. В остальное время мерно стучит метроном. Тук-тук. Тук-тук… Как будто кто-то на костяных ногах ходит по дому.

И хотя время как бы застыло на месте и жизнь потекла по замкнутому циклу, стало заметно, что мы изменяемся: у мамы мешки под глазами, лицо бледное, взгляд отчужденно-печальный. В зеркале я вижу свое лицо: оно вытянулось в длину, губы сжались. Нет, время не остановилось, оно как бы вытекает из нас, спираль его раскручивается, спираль смерти.

А что еще можно съесть?

Это только так кажется, что между «съедобным» и «несъедобным» пролегает пропасть. Оказывается, есть много условностей в нашем цивилизованном мире, которые можно преодолеть, если поразмыслить, что такое «продукты питания». Ведь это то, что содержит углеводы или жиры, или белки, что строит наши ткани и дает энергию, энергию жизни. А может быть, вокруг нас есть какие-либо вещи, которые мы не считаем продуктами питания, но они могут служить питанием человеку? Видимо, такой вопрос и задала себе наша мама. Она принялась искать такие продукты в нашем доме. Первым ее открытием был пакет льняного семени, залежавшийся в нашей аптечке. Восторгам не было конца — отличный суп мы ели целых три дня. Затем появился столярный клей. Мы давно слышали, что его уже многие едят и даже обменивают на толкучке на хлеб. Но как превратить эту сухую, дурно пахнущую, темную плитку в съедобное блюдо? Оказалось, что и это можно. Эту плитку нужно два дня мочить в теплой воде, затем варить в воде примерно шесть часов, затем липкую верхнюю часть прозрачной жидкости перелить в другой сосуд, а осадок с мусором выкинуть. После этого в эту прозрачную жидкость добавить уксус, соль, если есть, то чеснок или лук, перец и варить, пока она не помутнеет, добавляя по вкусу соль. И, наконец, выставить на холод, чтобы она застыла, превратившись в студень, блюдо готово. Конечно,

такой студень продолжает вонять столярной мастерской, и первые кусочки, которые мы вкладываем в рот, вызывают тошноту. И тут все решается уравнением, что у вас сильнее — чувство брезгливости или чувство голода.

Вторым маминым открытием было касторовое масло, то самое, которое мы так ненавидели и которого боялись с сестрой. Как превратить его в продукт питания, узнать у соседей было легко — у них этот деликатес уже давно был съеден. Оказалось, что касторку нужно нагревать на плите несколько часов, от такой процедуры, видимо, ядовитые вещества разрушаются, а само масло при этом густеет. Тошнотворный запах тоже почти исчезает. Такое «блюдо» трудно есть, но если обмакивать в него хлеб и при этом не думать, что это касторка…

А домашние растения? Ведь это уж само собой понятно, что из кактусов, алое и пальм получается отличный зеленый суп, особенно если в него добавить немного крупы. А жмых, или как его тогда называли, «дуранда», просто приятен на вкус, да и суп из него можно варить. Особенно ценился белый подсолнечный жмых, некоторые сорта можно просто было есть, как печенье.

Был еще один продукт, о котором мы не подозревали, — это олифа. Что такое олифа? Это ведь особым образом приготовленное растительное масло, в котором хорошо растворяются масляные краски. Конечно же, она страшно воняет и в ней часты ядовитые добавки солей сурьмы и свинца, но в условиях голода понятие «ядовитости» становится относительным — «ядовито все то, от чего можно сразу умереть» — но ведь мы и так уже медленно умираем от голода. Чем светлее олифа, тем лучше. И варить ее нужно долго-долго, пока не загустеет. А уж потом, кто как может…

Однажды, когда я принес несколько поленьев дров из подвала, мое внимание привлекла сосновая и березовая кора. Я читал у Фенимора Купера, что индейцы едят какую-то кору. Ведь что такое кора — биологическая ткань. И мы ведь состоим из такой ткани. Мельчить и варить, варить ее! Но чем дольше я ее варил, тем быстрее исчезали надежды превратить ее в съедобное блюдо. Видимо, индейцы ели другую кору.

Мама продолжает быть капитаном нашего тонущего корабля, хотя бледное лицо ее раздуто отеками и глаза стали почти щелочками. Вечером она все смотрит на свои ноги — не появились ли отеки: это первый признак, что падение в бездну началось. Примерно раз в неделю она ходит навещать свою маму, нашу бабушку, которая живет на Гребецкой улице вместе со своей дочерью Эльзой и ее мужем Сергеем Ивановичем. Их сын Вова уже на фронте, его комната пустует.

Однажды мама пришла от бабушки в приподнятом настроении.

— Принесите лестницу и помогите мне залезть на антресоли! — командует нам она. Мы недоумеваем, но приносим и ставим лестницу. Через минуту на наши головы летят с антресолей два огромных вьючных мешка, которые были с папой в экспедиции на Камчатке. «Это что же, мы куда-то уезжаем?» Мама ничего нам не говорит, берет большой нож и начинает срезать с мешков кожаные ремни и прокладки. Лишь позднее она нам все объяснила. Оказывается это так называемые сыромятные ремни, они белые, их не подвергали дублению, а только просто высушили — это чистая бычья кожа. Здесь я и вспомнил книгу об арктических русских путешественниках. Ведь они в условиях кризисной зимовки тоже ели такую кожу, съедали ремни и даже обувь. Как же мне раньше не пришло это в голову?

Дело закипело, рецепт приготовления был прост. Сначала кожу нужно просто мочить в теплой воде дня два-три, все время меняя воду. Она сильно разбухает и становится скользкой. Затем шесть часов варить, потом разрезать на мелкие куски и пропустить через мясорубку, так чтобы получился фарш. Этот фарш опять варить, затем слить верхнюю часть жидкости и поставить ее на холод, осадок же выбросить. На стол подается студень, который хотя и пахнет старым ботинком, но с большим количеством горчицы его можно есть. Папины ремни продержали нас почти неделю, но мы сожгли почти все дрова и теперь принялись ломать и пилить старые табуретки и шкафы, совсем как на арктическом судне, вмерзшем в арктические льды.

Но и этим всем продуктам пришел конец: мы съели все, что было можно, и отныне у нас только государственный паек — 166 граммов хлеба в день на человека. Утром мама встает все труднее, и ходит она, уже пошатываясь: ее приходится сопровождать, когда она идет за хлебом. В квартире стоит невыносимый холод, все окна покрыты изморозью. А из настенного радио несется все тот же стук метронома: тук-тук, тук-тук… Неужели это конец?

Мор

Я смотрю на карту города и пытаюсь представить, где теперь проходит кольцо блокады, и почему нет боев или просто немцы стоят и ждут, пока мы тут все вымрем. Последнее официальное сообщение по радио было об оставлении города Пушкин (Царское Село) 18 сентября, это уже 20 километров от нашего города. Двумя неделями позднее прошли слухи, что немецкие войска взяли Стрельну и окопались на Средней Рогатке, в двух километрах от наших Московских ворот.

К нашей бывшей домработнице Насте наведывается с фронта ее брат Иван. Последний раз в декабре он пришел с отекшим лицом и ногами. Солдаты сидят в блиндажах, получают по 450 граммов хлеба и суп с консервами, многие уже лежат в госпитале с обморожениями или с голодными отеками. В двухстах метрах немецкие блиндажи, они с печками, так как рядом лес, из труб все время идет дымок, их солдаты спят, раздевшись до белья, и оттуда доносятся звуки губных гармоник. Наши снайперы лежат в снегу и ждут, пока кто-либо не выскочит из блиндажа в туалет, выкопанный в стороне, бегут они в туалет иногда прямо в белье. Боев, конечно, никаких не ведется: некому воевать и нечем, патронов пять штук на брата. А вот почему противник не наступает, почему ждет?

А в городе тем временем начался мор. Уже в декабре можно было видеть вереницы саночек с завернутыми в одеяло покойниками. Сначала везли их еще на кладбища, но потом организовали морги, это просто дворы или рыночные площади, огороженные дощатым забором. Морозы, как назло, до сорока градусов. Бомбежки с воздуха прекратились, только слышна артиллерийская канонада, то в одном районе, то в другом.

Город замерз. Вмерзли в лед остановившиеся трамваи. У стен домов образовались огромные сугробы из слежавшегося снега, которые уже стали ржаво-желтыми от сливаемых в них нечистот. Иногда с краю таких сугробов можно было различить очертания трупа, завернутого в тряпки и припорошенного снегом: кто-то не смог довезти его до морга. Лишь по центру улицы протоптан узкий санный путь, по которому медленно движется вереница закутанных людей, трудно порой понять, кто женщина, а кто мужчина. Лица замотаны, только глаза видны. Лишь в магазине при хлебной раздаче лица разматываются, и тогда видно, что они покрыты копотью, совсем бледные, с торчащими скулами и безжизненно остановившимися глазами.

Многие дома на улицах горели, и их никто не тушил, так как

воду доставить было невозможно. Это были пожары без пламени, какое-то тление, которое длилось много дней, пока дом не превращался в скелет. Лишь на некоторых углах улиц утром можно было видеть выстроившихся в ряд людей, это очередь за хлебом у магазина раздачи. Все окна такого магазина завалены мешками с песком и еще обшиты досками, совсем как блиндаж. Внутрь впускают маленькими партиями. А внутри тьма, горят две-три коптилки, за прилавком обычно два продавца и охранник, тоже закутанные в шубы. Хлеба нигде не видно — он спрятан под прилавком в особых ящиках. Один продавец режет буханки на куски, приблизительно соответствующие пайку, и передает их уже главному продавцу. Резать хлеб не просто — он как глина мягкий и водянисто-липкий. Продавец, обычно женщина, берет сначала хлебную карточку, отрезает талон, кладет его рядом, потом уже взвешивает кусок хлеба на точных гастрономических весах и передает покупателю, который завертывает его сначала в газету, затем в полотенце и кладет за пазуху на грудь. Примерно так же отвешивается и крупа, один раз в десять дней. Отрезанные хлебные талоны хранятся в магазине в железных сейфах — продавец отвечает за них своей жизнью. В магазине царит гробовая тишина. Говорить не о чем. Иногда в магазине люди падают в голодный обморок — вид хлеба вызывает шок. Если падают в магазине, то еще люди как-то реагируют, помогают прийти в себя. А вот если упадет на улице, то только наклоняются, чтобы спросить, где живет, если по дороге, то, возможно, сжалятся — позовут родных спасать его, если нет, то так пройдут. Ведь каждый чувствует, что и сам вот-вот упадет. Упал — конец!

Ах, господа, а знаете ли вы, что испытывает долго голодающий человек? Ведь это совсем другое чувство, не сравнимое с тем, как если бы вы случайно весь день ничего не ели. Первые две недели голода вы просто раздражены и активно ищете, что бы такое съесть. Но потом вы чувствуете, что нечто злое и опасное поселилось внутри вас, оно сжимает ваши внутренности, опустошает мозг, лишая его всякой другой мысли, кроме как о еде, и холодит каким-то страхом вашу душу. Дальше — больше. Начинают болеть суставы, кровоточить десны. Кожа становится сухой и покрывается чешуей. Проходит еще время, и, наконец, отчаяние сменяется безразличием, панический страх умереть — спокойным созерцанием своего конца. Чувство одиночества и безысходности. Все больше отекает лицо. Затем вы замечаете, как отекают и ноги: опухоль ползет все выше к коленям, и вы как бы перестаете ощущать свои ноги, они чужие, не ваши, и очень-очень тяжелые. Через месяц голодания отеки с

лица спадают, и вы себя не узнаете: скулы торчат, губы не смыкаются и за ними постоянно видны зубы. Однако хотя вы и потеряли уже половину вашего веса, оставшийся вес вдруг начинает давить на вас. Каждое движение — тяжелая работа. Вам хочется просто лечь и лежать, но при этом вы все время видите какие-то картины из вашей прошлой жизни, чаще всего картины детства. Чувство голода постепенно покидает вас, и вам единственно чего хочется, так это тепла. Тепла, чтобы действительно уснуть, так как вы не спите, а только грезите. Наконец, вы чувствуете, что само дыхание для вас уже тяжелая работа, словно какой-то груз навалился на вашу грудь. Это Царь-Голод, как говорят в народе, он обнимает вас. Вам очень недолго осталось.

По городу ходят слухи, что Ладожское озеро уже замерзло и что через него есть возможность выйти из блокады на континент. Руководители города уже вывезли свои семьи, выехали и специалисты оборонных предприятий. 25 декабря мама пришла с хлебной раздачи с повеселевшим лицом: оказалось, что увеличили паек хлеба. Теперь рабочие получают на 100 граммов больше, а остальные на 75. Итак, теперь 350 + 200 + 200. Но хлеб состоит наполовину из целлюлозы. За метод выпечки такого хлеба главный технолог хлебозавода получил орден Ленина. Спасет ли теперь эта новая норма людей, ведь уже 35 дней, как все население жило по нормам хлеба 250 и 125. Эти 35 дней подорвали саму основу жизни, в городе начался массовый мор. И хотя потом почти каждый месяц хлебный паек возрастал на 100 граммов, смертельный удар был нанесен, и на 1-е февраля 1942 года, по официальной статистике, в городе умирало ежедневно от 30 до 40 тысяч человек. Сложите эти 40 тысяч тел огромным штабелем и представьте себе 100 таких штабелей, которые образовались за январь, февраль и март. Было ли когда-нибудь в истории человечества такое, чтобы за сто дней вымерло почти 3 миллиона человек!

Горы замерзших трупов возвышались за заборами моргов почти в каждом квартале, вывозить их за город было не на чем. Один из таких моргов, во дворе Дерябкина рынка, был и около нас. Железная его ограда была вначале прикрыта фанерными листами, но потом, когда гора трупов в штабеле выросла на много метров выше забора, листы этой фанеры пошли на растопку костра охранника, стоявшего у ворот и наблюдавшего, чтобы привозимые на саночках трупы не оставлялись рядом со штабелем, а заносились или забрасывались на его вершину. Ведь трупы умерших от голода весят не более 30 килограммов. Когда их забрасывали туда наверх, часто покрывала слетали, так что

многие трупы были голыми, и можно было заметить, что они почти прозрачные. Их широко открытые, замершие глаза запомнились мне. Иногда около морга образовывалась очередь из саночек с трупами, тогда принимался за работу и сам охранник. Он брал труп с одного конца, родственник с другого, раскачивали и… царство ему небесное… взлетал он на вершину. Вид трупа уже не вызывал ни сожаления, ни любопытства, каждый знал, что он сам уже почти труп.

Лишь в конце февраля, когда уже с той стороны Ладожского озера в город пришли автомашины со здоровыми дружинниками, морги стали постепенно разгружать: трупы нагружались в кузова автомашин и вывозились за город, где ими заполнялись старые окопы и противовоздушные укрытия. Многие люди умирали прямо на улицах и оставались там лежать. Помню, как я не смог утром открыть наружную дверь парадной лестницы. Толкаю, а она не шевелится. Когда я приналег и вышел, там снаружи оказался труп человека, который, видимо, дошел уже до дома, но сил не хватило открыть дверь.

Официальных статистических данных об умерших в городе, конечно, никто не сообщал. Даже после войны, спустя двадцать лет, эти данные так и не появлялись в печати, лишь вскользь писалось о «десятках тысяч». Затем в каждой новой книге о блокаде указывались какие-то данные, которые с каждым годом все увеличивались. Сначала 500 тысяч, затем 1 200 тысяч, потом уже 1 800 тысяч. И вот только после падения советского режима появилась новая цифра жертв — 2 200 тысяч. Ну что же, поживем и подождем, что дальше объявят, ведь некоторые архивы до сих пор остаются недоступны.

Этот страх объявить правду о трагедии, видимо, был продиктован тем, что партийные власти чувствовали, что они тоже виноваты в этой массовой гибели людей. Правда о том, вывозились ли запасы продовольствия из города перед началом блокады, продолжает держаться в секрете. Я от военных слышал, что город «подготовили к сдаче противнику» — вывезли сокровища Эрмитажа, ценные издания книг, уникальное заводское оборудование, запасы золота. Вряд ли эта подготовка не коснулась запасов продовольствия.

У меня в классе был товарищ, Олег Генессен, его дядя был директором крупного склада в городе. Олег был евреем, и он выехал с семьей из города в тыл еще в конце сентября. Но еще в начале сентября он как-то подошел ко мне на перемене и шепчет угрожающе на ухо: «Город решили сдать, мы уезжаем. Никому этого не говори», а затем и еще: «Со складов дяди по ночам грузят в вагоны консервированные продукты и увозят на Восток!». Кто и

когда раскроет теперь эту тайну — врал ли Олег? Ведь главные свидетели блокады, руководители Горкома и Горисполкома, Попков, Кузнецов, Андрианов, Капустин и другие были после войны расстреляны по так называемому «ленинградскому делу». Инициатором этой расправы был А. Жданов, первый секретарь Ленинградского обкома ВКПб, который во время блокады предпочитал быть при Сталине, в Кремле.

Почти сорок лет спустя я случайно разговорился с пожилой женщиной, машинисткой сочинской Государственной филармонии. Она, дочь чекиста, еще молодой девушкой работала секретарем-машинисткой в Ленинградском обкоме партии во время блокады. У дверей ее комнаты в Смольном постоянно стоял охранник, так как она печатала совершенно секретные документы, даже копировальная бумага сразу уничтожалась. Ей иногда приходилось печатать прямо под диктовку самих Жданова, Жукова, Попкова. Но говорить с ней было трудно, «сталинская закалка» сохранилась даже сорок лет спустя. Выслушав мой вопрос, она прищуривала глаза и отвечала: «А об этом я не имею право рассказывать!». Но для истории, как последняя свидетельница! Оказалось, что для истории немножко можно. Так вот, между назначенным во время блокады командующим Ленинградским фронтом маршалом Жуковым и Ждановым вспыхивали жаркие споры, они кричали друг на друга, обвиняли друг друга в ситуации, возникшей в городе. «Кто дал приказ подготавливать город к сдаче?! Кто должен отвечать теперь за людей?!» — кричал Жуков. Вскоре Жданов покинул Смольный и уехал жить в Москву. Видимо, подальше от ответственности.

Не те ли самые вывезенные осенью из города продукты в марте месяце по льду Ладожского озера ввозились обратно в голодный и уже вымерший Ленинград?

Надежда умирает последней

Мама становилась все слабее, по вечерам она со страхом смотрела на свои отекшие ноги, качала головой и говорила: «Что-то будет?.»..

В это время мы узнали, что в квартиру к бабушке, которая жила вместе со своей средней дочерью Эльзой и ее мужем Сергеем Ивановичем на Гребецкой улице, переехала семья ее младшей дочери с мужем Владимиром Федоровичем Геллером, известным в городе архитектором, и двумя детьми, моими двоюродными братьями Борисом и Андреем. Посоветовавшись, мама тоже решила вместе с нами переехать в квартиру к бабушке.

Как потом оказалось, это было великое решение. Мы закрыли на два замка нашу квартиру на Лахтинской улице и с небольшим скарбом на двух саночках переехали.

Итак, в трех комнатах, одна из которых была холодной и не использовалась, составилась община родственников: три семьи — семь взрослых и четверо детей. Главным авторитетом была бабушка. Она говорила всегда тихим голосом, но то, что она сказала, было законом для всех. Споров не возникало.

Жизнь пошла в определенном ритме. Обязанности были распределены. Утром все одновременно вставали, кроме бабушки и Сергея Ивановича, для которых делалось исключение.

Открывались форточки, и все комнаты проветривались. Тем временем все по очереди умывались в холодной комнате над ведром, и каждый принимался за свои обязанности. Одни шли за хлебом, другие с саночками выносили нечистоты и ехали за водой с ведрами на реку. Примерно к 10 часам все собирались вместе, растапливали буржуйку, маленькую железную печку с железными трубами, вставленными в камин. Закипал большой чайник с какой-нибудь заваркой, придававшей цвет. Затем на аптекарских весах с точностью до грамма делился хлеб, и каждый получал сразу свой дневной паек. Этот паек разрезался еще на три части, и каждая часть еще на тоненькие почти листочки, которые подсушивались на железной трубе буржуйки. Начинался завтрак: горячая вода и три листочка хлеба. Чай пили долго. Затем все, что могло напоминать о еде, убиралось в буфет, и всякие разговоры о еде строго запрещались. После чая каждый начинал заниматься, чем он хотел. Дядя Володя (В. Ф. Геллер) и Сергей Иванович обычно что-то читали, мама и тетя Эльза вязали шерстяные вещи для нас из пряжи старых свитеров, мы, дети, рассматривали картинки в старинных книгах или что-то рисовали. Иногда дядя Володя сажал своих детей заниматься по школьным учебникам, а тем временем Маечка, моя сестра, конечно же, читала романы. Надежда не оставляла нас, хотя мы слабели с каждым днем.

Обед мог состоять только из того самого супа, который варился из двух-трех ложек крупы, еще выдаваемой по карточкам. Снова все садились за стол, из буфета доставался хлеб, и процедура еды повторялась. И хотя после такого обеда чувство голода оставалось таким же, но сама процедура и теплый суп создавали ощущение нормальной жизни, а значит, и вселяли надежду.

Полярная петербургская ночь приходила рано, уже к четырем часам в комнатах наступал мрак, и зажигались на столах каждой семьи коптилки: читать становилось невозможно, начинались

разговоры. Сергей Иванович слушал в это время радио, взрослые часто раскладывали пасьянсы. Наконец, приходило время последнего чаепития, а с ним и исчезала последняя треть хлебного пайка.

Все ложились спать. Ночь — трудное время для голодающего человека, время тяжелых дум. В каждой комнате долго еще слышалось перешептывание. В ногах моего диванчика за ширмой спали тетя Эльза и Сергей Иванович:

— Отеки не сходят? Ты посмотрел?

— Нет, не сходят.

— Больше ты не положишь ни крупинки соли на хлеб!

Однажды утром за завтраком Сергей Иванович заявил всем, что ему пришла в голову одна «великая идея», как можно раздобыть муку. На это тетя Эльза сразу же возразила: «Сережа! Не говори глупости. Следи за собой, не распускайся». Но Сергей Иванович был неумолим, он принес из кухни для чего-то два огромных ножа, взял из прихожей раскладную лестницу и направился в холодную большую комнату в конце коридора. Через несколько минут мы услышали через стену, как что-то с грохотом там упало. Вошли, видим, что Сергей Иванович упал вместе с лестницей и лежит на полу. Мы бросились поднимать его, а он улыбается и показывает на огромный пласт оторванных со стены обоев: «Там мука! Я же говорил, я знал!». И действительно, «там» оказалась мука. Поскольку в советское время купить настоящий обойный клей было не всегда возможно, клей делался из картофельной или ржаной муки. Эта-то мука и оказалась на обратной стороне обойных листов, которые были тут же сорваны со стен и тщательно оскоблены. Муки оказался почти килограмм! И хотя суп из нее пах чем-то химическим и в нем плавали обрывки обоев — это были настоящие калории! И все мы дня три-четыре питались этими обоями.

Но это была не единственная гениальная идея Сергея Ивановича, вскоре появилась и другая, правда, она касалась только его одного. Однажды утром он шепотом обратился к нам, детям, с просьбой помочь ему отодвинуть от стены большой буфет. Мы в полном недоумении стали помогать, хотя на этот раз и нам показалось, что он точно сошел с ума от голода. Но оказалось совсем наоборот.

В мирное, довоенное время Сергей Иванович покуривал, хотя тетя Эльза, считая его сердечником, запрещала ему курить и строго за этим следила. Но Сергей Иванович все-таки курил; курил, когда все уходили из дома. Но бывало и так, что тетя Эльза или бабушка возвращались неожиданно домой как раз в момент совершаемого им «преступления», и тогда ему ничего не

оставалось делать, как выбрасывать недокуренную папиросу за буфет. Вот теперь-то он и вспомнил об этом! И действительно, когда мы отодвинули этот буфет, за ним оказался настоящий склад — десятки недокуренных отличных папирос! Тут тетя Эльза была уже бессильна, хотя она и восклицала: «Он меня обманывал!».

Все это богатство было собрано, табак из каждой папиросы извлечен пинцетом, перенесен в новые гильзы, и старинная серебряная папиросница, наполненная настоящими папиросами, оказалась в кармане Сергея Ивановича. Для него началась как бы новая жизнь. Теперь он после чая располагался, совсем как бывало, в кресле у окна, брал прошлогоднюю газету мирного времени, с наслаждением закуривал папиросу и в прекрасном расположении духа иногда обращался к окружающим: «А знаете, ведь в Малом был тоже поставлен балет „Красный мак“, а я этого и не знал!». Но «мирная жизнь» продолжалась недолго, папиросы кончились.

О еде запрещалось разговаривать, чтобы не терзать души окружающих. Но однажды маме попалась под руку старинная кулинарная книга Елены Молоховец «Советы молодым хозяйкам», и эта книга стала ходить по рукам. То Маечка ее почитает, то я, то кто-то еще возьмет. Читаешь ее, и судороги в желудке начинаются. Например, после такой тирады: «Грибную начинку для блинов лучше всего сначала поджарить на сливочном масле, но только при закрытой крышке, чтобы аромат грибов не ушел. Затем ее, еще горячую, быстро-быстро завернуть в теплые еще блины и подавать на стол под сметанным соусом». На книгу образовалась очередь, все читали ее молча, как подпольную литературу. Но, наконец, она попала в руки Сергею Ивановичу. Он читает ее с широко раскрытыми глазами, расположившись в кресле, и вдруг громко при всех говорит:

— Эльза, ну ты подумай, что тут написано: «…после двухчасовой варки говядину вместе с костью вынуть из бульона и выбросить, а бульон процедить, влить в него сырое яйцо, и когда оно свернется, отловить ситом белок и выбросить». Ты подумай, так прямо и написано: и говядину, и яйцо просто выкинуть!

И в этот момент перед Сергеем Ивановичем вдруг выросла бабушка:

— Сейчас же отдайте мне эту книгу! И больше никто ее здесь не получит!

Книга исчезла навсегда, а с ней и «грибная начинка к еще, теплым блинам».

О том, что в городе уже ели человеческое мясо, слухи ходили давно, но никто в это как-то не верил. Однажды нам рассказали

страшную историю. Одна молодая лаборантка института, где работала мама, пошла навестить свою тетю и застала там такую картину: муж тети что-то варит в котле на плите и по всей квартире разносится запах мясного бульона. В спальне она обнаруживает большой свернутый ковер, в котором оказался труп ее тети со вспоротым животом: в котле муж варил куски печени. Он повернул свое обезумевшее от голода лицо: «Она умерла вчера».

Однако всем этим слухам мы все-таки как-то не доверяли, хотя все время наталкивались на новые доказательства. Например, на рыночной толкучке можно было видеть очень странные куски замороженного розового мяса, которое меняли на хлеб. Однажды я и сам увидел, как продают такой кусок и просят очень немного хлеба. Слышу разговор: «А что это у тебя, батя, за мясо?». Отвечает: «Кролик. В подвале разводим». А кто-то сзади добавляет: «Кролик, который говорить и читать умел!».

Но все-таки полностью сомнения у меня исчезли, когда я увидел у забора труп человека, почти без одежды, у которого обе ягодичные мышцы были вырезаны! Меня охватил такой ужас, что я и вечером не мог заснуть: как закрою глаза, вижу этот труп.

Владимир Федорович Геллер, отец моих двоюродных братьев, был известным в стране коллекционером почтовых марок. Особенно полной считалась его коллекция русских марок. Хранились они в роскошных альбомах, в которых он то и дело что-то переставлял, работая с пинцетом и лупой. Я тоже, как и многие школьники того времени, собирал марки, хотя значения этому особого не придавал, да и хранились они у меня не в альбоме, а просто в конвертах. В блокадную зиму, смотря на дядю Володю, я тоже потянулся к своим маркам, стал приводить их в порядок. Однажды ко мне подсел и дядя, стал мне помогать и рассказывать о марках, да так, что у меня тоже загорелся интерес к ним. У дяди были прекрасные каталоги марок, в них рассказывалось все о каждой марке, и я смог там найти и рисунки своих марок с ценами во французских франках. Оказалось, что и у меня есть ценные марки. Интерес к маркам у меня перешел в страсть.

Как-то раз шел я через толкучку и увидел старичка интеллигентного вида со стопкой антикварных книг, а среди них каталог марок на русском языке. «Сколько?» — «Двести граммов хлеба». В феврале это был дневной паек. Душа моя впала в смятение. Что делать? Пойти на смертный риск однодневной голодовки — это казалось невероятным, я ведь уже еле ходил. Но страсть к маркам шептала другое: «Выдержишь, зато русский каталог». Долго стоял я, переживая эту борьбу, но, наконец,

подошел к старику: «Завтра утром приходите — я принесу хлеб».

Пришел домой, вечером делал только вид, что ем хлеб, на самом же деле спрятал его на утро. Утренний же кусок в 200 граммов завернул в газету и понес на толкучку к старику. Каталог был у меня в руках! Он мой. В обед и ужин я опять ничего не ел и всех обманывал. На следующее утро я почувствовал, что с трудом могу подняться и пойти мыть лицо, но новый паек уже подоспел. Разложил, наконец, на столе я свои марки, сижу, все о них читаю. Подходит мама: «Откуда у тебя этот каталог?». Я глупо вру: «Вчера на финский нож выменял». На всю жизнь запомнил я этот случай, он показал мне, что, действительно, «не хлебом единым жив человек!».

Магия весны

Мама все время вспоминает о нашей няне Насте. Настя, как я уже говорил, осталась жить у своей подруги в нашем прежнем доме. Раза два в месяц нас с сестрой посылали ее проведать. Наш путь к ней по извилистым улицам занимал теперь почти час. Мы медленно двигались в цепочке людей, неся ей котелок с супом и кусочек хлеба.

Пока ты находишься дома, да еще у горящей печурки, кажется, что перезимуешь, а вот как выйдешь на морозную улицу и идешь вдоль разбитых и обгорелых домов, среди снежных завалов, вдоль моргов, под звуки артиллерийского обстрела, эта надежда начинает исчезать.

Настя наша стала выглядеть еще хуже: лицо совсем круглое от отеков, говорит слабым голосом, почти все время лежит, но в комнатке тепло, подруга помогает. Настя поднимается с большим трудом и ест все с полным безразличием. Придя еще через неделю, мы заметили, что все отеки сошли, но когда мы ее посадили, чтобы покормить, то оказалось, что она превратилась в живой скелет. У нее начался так называемый голодный понос, который быстро приводит человека к концу. «Я скоро умру», — безразличным тоном говорит она нам. Я слышу это, но никак не могу поверить, что такое может случиться, ведь никто из наших близких еще не умер. Но это случилось. Когда мы еще через неделю пришли к ней, соседи (подруга была на работе) передали нам записочку, что Настя три дня назад умерла.

Возвратившись домой, мы обнаружили, что и наша мама лежит и уже не может подняться: у нее тоже начался голодный понос. У меня все похолодело внутри — значит, и ее через неделю не станет. Бабушка и тетя Эльза пошли за знакомым врачом, который жил в том же доме. Его удалось привести, хотя

он был совсем исхудавший и слабый. Он дал маме таблетки висмута и сказал, чтобы ее каждые два часа поили теплым чаем с сахаром и ставили грелки к ногам. О, чудо! Через неделю понос прошел, она села на диван сама.

Сергей Иванович тоже почти уже не встает. У дяди Володи отекли сильно ноги. Как их спасти? На семейном совете кто-то дал очень дельный совет: расклеивать на заборах объявления об обмене ценных вещей на продукты питания. Это было начало февраля 1942 года, когда уже ледовая трасса через Ладожское озеро была проложена и в город пришли первые военные автомашины, нагруженные продуктами. На улицах города появились люди, с упитанными розовыми лицами в военных полушубках — люди с «того берега». На стенах домов, около больших перекрестков запестрели сотни приклеенных бумажек с объявлениями об обмене вещей на продукты. Без особой надежды на успех мы стали расклеивать и наши объявления: «Меняю золотые украшения, старинный фарфор, отрезы на костюмы из английского бостона и габардина и т. д». И вот вдруг однажды днем мы услышали осторожный стук в нашу наружную дверь: входят двое, муж и жена, с закутанными шарфами лицами. Лица оказались румяными, стало ясно, что они «оттуда», но расспрашивать нет смысла, прежде всего нужны продукты. Они отобрали из предложенных нами вещей два английских шерстяных отреза, гарусную шаль и лаковые ботинки, в наших же руках оказалась буханка хлеба, килограмм масла и килограмм сахара. Это была победа! Все это было сразу же разделено по семьям, и уже через неделю наша мама и Сергей Иванович встали на ноги. Но это было еще не все. Снова стучат в нашу дверь, и снова люди с румяными лицами, но на этот раз их интересуют только золотые вещи старинной работы и часы. После их ухода у нас остались огромный кусок телячьей ноги и говяжья печень. В квартире появился уже забытый нами запах бульона. Кто бы мог подумать, что среди этой народной беды есть люди, которых могут интересовать какие-то вещи, а не только хлеб! Через несколько дней снова стучат в дверь. На это раз пришел господин военного вида, но на гимнастерку он надел штатское пальто. Он коллекционер! Его интересуют только ломоносовский фарфор XVIII века и брюссельские кружева. Что же берите, господа, оставьте нам только жизнь! Почти каждую неделю кто-то к нам приходил и что-то уносил. Теперь-то мы знали, что народная беда — лучшее время для наживы. Хотя это знали еще и древние греки.

Невероятно, но факт, что даже в самые тяжелые времена блокады попытки новых городских властей что-то предпринять и

организовать в осажденном городе не прекращались. Как это ни странно, но грабежей не было, хотя и милиции уже тоже было не видно. Почти до конца декабря работали еще некоторые театры и Филармония. Последний раз мы сидели с сестрой в этом мраморном колонном зале бывшего Благородного Собрания в октябре на симфоническом концерте под управлением Элиазберга. Все сидели в пальто, музыканты в шапках, а женщины в рейтузах, но музыка звучала дивно.

Пока не покрылись льдом улицы, ходили одинокие трамваи. В начале января какие-то люди нашли в себе силы, чтобы организовывать детские елки в районах. Мы с сестрой тоже получили билеты и днем пошли по заснеженным улицам к Александрийскому драматическому театру. В театре оказался страшный холод, но в партере и в ложах полно детей. Каким-то образом на время смогли зажечь электрическое освещение, и капельдинеры даже надели свою униформу и сняли покрывала с красного бархата старинных кресел театра. На какой-то момент показалось, что все это происходит во сне, что нет ни блокады, ни голода. Если не ошибаюсь, давали последний акт из «Щелкунчика» П. Чайковского, без декораций. Оркестр — человек двадцать. Балерины танцевали в рейтузах, и от них шел пар. Все это длилось не более получаса — нужно было запускать следующую смену детей. В конце нас покормили гороховым супом и выдали по маленькому кулечку с соевыми конфетами.

Заканчивался февраль, и солнце начинало выглядывать из-под облачного настила. Лучи его пробивались через окна и в наши комнаты. И мы стали присматриваться к себе в зеркало, магия весны вступала в силу. Теперь я уже отчетливо заметил, что мама стала почти совсем седой, с большими мешками под глазами, но она была жива. Она даже решилась дойти до своего института.

Идти нужно было от Петропавловской крепости по льду через Неву к зданию бывшего дворца Великого Князя Михаила Александровича. Я пошел сопровождать ее. На середине Невы мы остановились, чтобы оглянуться на город. Он продолжал оставаться прекрасным, но только как-то съежился и затих. Ни трамваев, ни автомашин, ни стаек птиц, нет дымков над домами, многие деревья в Петропавловском садике уже спилены.

В институте в маленькой комнатке дежурят только два пожарника и отмечают, кто приходил. Умерли очень многие, особенно из когорты старых товарищей моего отца, умер и академик Калицкий, известный теоретик образования нефти на планете. Мы узнали также, что еще в сентябре многим сотрудникам удалось выехать из города в Казахстан и

организовать там филиал института. Нам показали и стены дворца, пробитые снарядами. Интересно, что от взрывов выскочили из коробок только двери, поставленные после перестройки помещений в советское время. Старинные же двери остались на своих местах.

Видимо, маме было еще рано выходить на улицу — на следующий день у нее поднялась температура и появился сухой кашель. Вначале она этому не придала большого значения, но через неделю ей стало совсем плохо, она лежала и дышала с каким-то хрипом. Ставили горчичники, банки, растирали, давали аспирин, но ничего не помогало, она таяла на глазах. Пришел врач, наш сосед, и определил крупозное воспаление легких. По его мнению, спасет ее только препарат сульфидин. Но где его достать сейчас во время блокады?!

Мы снова вывешиваем объявления: «Золото за сульфидин». И снова к нам скоро пришли и принесли это лекарство. Лечение началось.

Мама спала на диване, а я рядом на раскладной кровати. Однажды ночью я проснулся и слышу, как тихим голосом мама зовет свою сестру, которая спит у нас в ногах на большой кровати. Я сразу поднялся и разбудил тетю Эльзу. Мы зажгли коптилку, и она подошла к маме. Я слышу: «Эльза, я умираю!». Лоб ее был холодным и мокрым, пульс уловить уже было невозможно. Мы разогрели на плитке воду, обложили маму грелками, напоили теплым чаем, стали растирать ей руки. Оказалось, что это был кризис, когда температура резко падает и сердце слабнет. Именно во время такого кризиса больные умирают. Сульфидин сделал свое дело, она выздоравливала, наутро ей стало лучше.

Уже в начале февраля на улицах города появились люди на грузовых автомашинах, с румяными лицами, в новеньких ватниках — они с Большой Земли. Началась массовая уборка улиц ото льда, нечистот и трупов. Мы уже знали, что город Тихвин на той стороне Ладожского озера уже отбит у противника и от него к озеру проводят железнодорожную ветку, по которой пойдет подвоз продуктов питания в наш город. Уже в конце февраля была проложена ледовая трасса через озеро к нашему берегу, по которой пошел поток автомашин, груженных мукой, а на обратном пути их нагружали людьми. Началась массовая эвакуация из осажденного города. Эту ледовую дорогу через озеро назвали «Дорогой жизни». Хлебный паек увеличился до 450–250 граммов хлеба. Стали выдавать больше и крупы. При заводах открылись медицинские стационары для людей с особо тяжелой формой дистрофии, в первую очередь брали туда ценных

специалистов.

Я слышу чуть ли не каждое утро за ширмой у меня в ногах кровати разговор тети Эльзы с Сергеем Ивановичем.

— Пойди, у вас на комбинате уже наверняка есть стационар, они сразу же тебя туда возьмут, ведь ты ведущий инженер.

— Эльза, я не смогу дойти, ты посмотри на мои ноги… Но, наконец, Сергей Иванович собрался и дошел до Охты.

Там уже собралась дирекция, и ему назначили особый паек, но в стационар не взяли — были и послабее его.

Однажды мама решила проведать нашу старую квартиру на Лахтинской улице. Подходит к двери — в ней записка от управдома с просьбой немедленно прийти к ней. Управдомом была женщина, Дмитриева, которая знала, что дом этот принадлежал когда-то моему деду, знала хорошо и моего отца. В домовой конторе она отвела маму в сторону и дала ей в руки бумажку. Этой бумажкой оказалась повестка из НКВД о выселении всей семьи из города как немцев. Мама так и рухнула на стул. Выдержали блокаду и заслужили! Это значит, что НКВД очнулся от блокады и приступил к своим делам. Вместо того чтобы эвакуировать наиболее ослабших граждан, они принялись, прежде всего, за списки российских немцев в городе. Управдом ей шепчет: «Если можете быстро исчезнуть из города, я отдам назад повестку и скажу, что вас не нашла». В то время это был героический поступок. Но как исчезнуть из города, чтобы не оказаться в вагоне с автоматчиком за спиной? Мама уже на следующий день пошла в институт просить включить ее первой в списки на эвакуацию, но так, чтобы это считалось командировкой в филиал института в городе Кокчетав. Ведь в Казахстан и шло выселение немцев. Во всех других местах мамин паспорт с четко обозначенной записью «немка» стал бы прямой уликой. Но все-таки было важно, чтобы мамин паспорт остался без страшного штампа НКВД о выселении. Старые друзья отца в институте ей обещали выдать эвакуационное свидетельство уже через неделю.

Это известие вызвало во всех других наших семьях шок. Стало ясно, что очень скоро и к ним придут такие же повестки о выселении. У нас же времени оставалось очень мало, и нужно было быть особенно осторожными с посещением старой квартиры, куда в любую минуту могут нагрянуть уполномоченные НКВД. Нам стало ясно, что почти все, что есть в нашей большой, хорошо меблированной квартире, придется бросить, и что сразу же после нашего исчезновения все конфискуют. Мебель и другие вещи невозможно вывезти в квартиру родственников, так как их скоро также выселят.

Я один приехал с саночками на нашу квартиру, чтобы взять

хоть что-то дорогое для себя. Прошелся по замерзшим комнатам, где прошло мое детство после гибели отца. Все стоит на своих местах так, как будто бы вот сейчас, как в волшебной сказке о Спящей Красавице, зажжется свет и все оживет. Детская комната, с моим столом с книгами, огромным ящиком игрушек, с любимым попугаем. Он смотрит на меня все теми же широко раскрытыми глазами, как будто бы просится, чтобы я его взял с собой в Сибирь. Гостиная с папиной библиотекой и роялем, под звуки которого я засыпал. Столовая, из которой в нашу детскую так часто доносились звуки веселья. Знакомые картины, с которых смотрят на меня все те же знакомые глаза. Но все застыло, замерзло. Все это уже не наше — мы ссыльные. Что же можно еще спасти? Или лучше все просто так и оставить — не разрушать? В глаза мне бросились тома немецкой энциклопедии Брокгауза, которые были в раннем детстве моим «окном в мир», столь захватывающими были в них красочные иллюстрации. Но куда же я повезу эти двадцать четыре тома?! А вот на другой полке стоит собрание сочинений Льва Толстого в издании Маркса, мне хорошо запомнилось, как мама читала нам вслух его «Детство», «Отрочество» и «Юность». «Возьму его!» Связал все тома, вытащил на лестничную площадку, но вдруг вспомнил о маминой библиотечке поэзии начала века, которую она так любит. Вернулся, связал еще стопку из первых изданий Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Хлебникова, Лохвицкой, Северянина, Маяковского и других, и повез я все это на санках на квартиру к бабушке. Зачем повез? Но уже после войны оказалось, что именно эти книги и спаслись, так как при выселении бабушки одну из комнат, принадлежащую ее внуку Вове, который был в это время на фронте, военкомат закрыл и опечатал как имущество фронтовика.

Голодные и ослабшие, что мы можем взять с собой? Собрали пять чемоданов самых необходимых вещей, но поднять их втроем можем лишь с большим трудом. Как же мы их дотащим до Финляндского вокзала, с которого начинается эвакуация? И тут снова пришла в голову идея: нанять по объявлению грузовую автомашину. Расклеиваем: «Отдаем дубовый гарнитур столовой мебели за доставку семьи на Финляндский вокзал». И опять-таки нашлись «добрые» люди. Водитель военного грузовика приехал смотреть мебель. Через день вывез все это чуть свет утром, чтобы никто не заметил, да еще купил на бумажные деньги рояль красного дерева фирмы Ратке, фирмы родственников бабушки, которые еще после Октябрьского переворота убежали и живут в Берлине. Бумажные деньги, о которых мы и забыли, нам там, на Большой Земле, окажутся снова необходимы.

В последний раз мы вошли в свою квартиру и стали снова обходить знакомые комнаты. Все вещи смотрят на нас, как бы прощаются. Они остаются — мы уезжаем. Кто-то будет играть в мои игрушки? Мама снимает в какой-то задумчивости фотографии отца в рамках. «Ну, вот так… вот так, значит… ничего не поделаешь». Мы выходим на площадку знакомой лестницы, мама стоит в раздумье, словно что-то забыла, держась за дверь, но потом как-то быстро и резко ее захлопывает. Этот последний щелчок двери особо запомнился мне. Я еще и раньше знал, что Советы — антигуманный террористический режим людей, захвативший в стране власть и назвавший себя коммунистической партией. Но случай с нашим выселением из родного города, столь несправедливый и столь безжалостный, заронил в мою душу мысль, что нужно с ними бороться, и эта мысль вскоре стала руководить мной.

По «Дороге жизни» в сибирскую ссылку

Водитель не обманул, утром четвертого апреля 1942 года к дому подкатила грузовая автомашина. Последний путь по замершему, но родному городу. Проезжаем Литейный проспект, там уже много народа с саночками стягивается к Финляндскому вокзалу. Выглянуло и солнце, как бы сигнализируя о скором окончании блокады. Но вот и вокзал, где мы уже попадаем в конвейер эвакуации: сначала проверка документов, потом горячий суп и кусок хлеба, затем быстро по цепочке на перрон к поезду, который ждет и сигналит, чтобы все происходило как можно быстрее, так как машины на ледовой трассе задержать ни на минуту нельзя. Мы с сестрой берем по два чемодана, мама один. Расстояние до вагонов 100 метров — «Сейчас или никогда!». Первые двадцать метров мы протащили их лихо, но видим, что мама рухнула на чемодан, платок упал с ее седых волос — она ловит воздух, задыхается. Мы же продолжаем то тащить, то толкать наши чемоданы к последнему вагону поезда, который уже дает гудки. Наконец вбрасываем их на площадку и бежим к маме. Если поезд сейчас уйдет, то мы без вещей! Я хватаю чемодан, Маечка тащит маму. Сели. Тронулись!

Наступил какой-то блаженный покой на душе: мы куда-то едем, за окном пробегают заснеженные елки, в вагоне масса народу, груды чемоданов на полу. Наступила какая-то торжественная тишина, у всех, видимо, одна мысль: «Все позади!».

Путь на этом дачном поезде до станции на берегу Ладожского озера был недолгим. Скоро в наш поезд вбежали молодые

румяные люди в ватниках и начали хватать нас и выбрасывать с чемоданами прямо на снег. И тут я увидел огромную расстилающуюся снежную гладь этого озера. По льду идет вереница грузовых автомашин, которые разворачиваются на берегу, и с них все те же дружинники начинают сбрасывать в штабель мешки с мукой, и через минуту эта машина уже подходит к нашей толпе, и в нее начинают буквально закидывать истощенных людей. На одну машину — людей, на следующую — их вещи, и снова в обратный путь по озеру. Не успел я еще ничего понять в этой суете, как оказался в кузове машины, рядом со мной Маечка, а на нас сверху еще навалили каких-то закутанных в шубы людей. Где мама? Она у кабины, только голова выглядывает. Машина медленно съезжает на лед по деревянным мосткам, и вот уже понеслась по трассе. За нами мчится еще одна, а за ней еще и еще. Мороз, ветер пронизывает насквозь, чувствую, что отмораживаю лицо, и даже не могу освободить руку, чтобы защитить его. Машина все время налетает на какие-то бугры, отчего все сидящие в ней взлетают на секунду в воздух. Стоны.

Смотрю на озеро — снежная пустыня. Солнце, все блестит на морозе. Ветерок поднимает вверх снежную изморозь, от которой над озером стоит легкая морозная дымка, от чего лучи солнца становятся радужными. На небольшом расстоянии от нас другая вереница машин, идущая в обратную сторону. Это идет хлеб, тот самый хлеб, без которого нет жизни. Проезжаем мимо автомашины, покрытой снегом, вся задняя часть которой погружена под лед. Замечаю, что над озером кружит самолет. Это немецкий «Хенкель» — разведчик. Ведь он же нас видит, почему же он не бомбит?! Да и как вообще вся эта «Дорога жизни» может существовать, если нас видит неприятель с того берега и ему ничего не стоит периодически артиллерией разламывать лед на озере? Оставим эту загадку решать военным историкам, которых все же, наверное, когда-нибудь допустят в советские военные архивы.

Оказывается, трасса тут не одна, их много проложено, и вереница машин время от времени, видимо, меняет их.

Прошло еще около часа, и, повернув голову вперед, я вижу темную полосу леса на том берегу. Приближаемся. Вижу также, что чуть дальше на юг вдоль берега тянется линия дымков, видимо, от печек в блиндажах. Это уже фронт. Так близко! Значит, нас и оттуда видят?

Еще каких-нибудь десять километров, и я чувствую, как машина пошла вверх по деревянному настилу к прибрежному лесу. Наконец, мы на восточном берегу. Остановка в лесу, нас

выгружают, а машина тут же разворачивается и идет к штабелям мешков. Регулировщики и плакаты показывают нам, что нужно двигаться к большим белым палаткам, или дощатым баракам, раскинутым в начале леса. Это оказались пункты обогрева и кормежки. Внутри тепло, горят железные печи, тут же огромные дощатые столы со скамейками, за которые всех сразу рассаживают и еще раз проверяют документы, ставят штампы: «Борисова Грива». Подкатывают котлы походной кухни, и сразу запахло давно забытым пьянящим ароматом мясного бульона. Это вермишель с мясными консервами. Наступила тишина — люди едят. Наконец-то едят досыта. Но оказывается, есть досыта истощенным людям очень опасно. Вдоль рядов столов ходит медицинская сестра и объясняет, чтобы розданный сухой паек не ели, а спрятали. Но где там: «сытый голодного не понимает» — многие разрезают пакеты и начинают поедать все: колбасу, хлеб, масло…

Наконец, слышим команду — идти искать свои вещи, которые сброшены в больших кучах на снегу, и тащить их к вагонам. А вагоны рядом в лесу, куда подведена ветка железной дороги. Вагоны товарные, небольшие, видимо, в них же привозится и мука для переброски в город. Залезть в вагон ослабшим людям почти невозможно, их опять туда забрасывают. Ложимся прямо на дощатый пол, под головой чемоданы. Уже стемнело, поезд совсем бесшумно, медленно идет по лесу. Мы засыпаем первым глубоким сном спасенных людей. Не важно, что там будет впереди, но мы сыты, и от этого нам тепло и уютно. Из углов вагона раздаются стоны людей, это дает о себе знать та самая съеденная колбаса из сухого пайка.

Нам ничего не говорят, куда мы едем. Утром с трудом отодвинули огромные двери вагона, и страшная картина открылась нам. Мы едем вдоль леса, который частью повален снарядами, а на земле в снегу стоят разбитые автомашины, и на черном снегу разбросаны трупы солдат. Мне показалось, что это немецкие солдаты. Запомнился один. Он остался стоять, прислонившись к дереву. Только потом мы узнали, что это был район Тихвина. Поезд сделал остановку еще до города, чтобы люди могли оправиться и не загрязнять перроны вокзала. В Тихвине началась еще одна сортировка людей: отобрали очень ослабевших и на санитарных машинах увезли в специальные госпиталя, организованные в пристанционных зданиях. Остальным роздали кашу и опять сухой паек. Кипяток каждый брал сам из специальной колонки. В Тихвине нас уже перегрузили в другой, тоже товарный поезд, в огромные вагоны типа «Пульман». Снова сделали отметку в эвакуационном

свидетельстве, которое теперь уже стало документом на получение питания на каждой крупной станции. В центре большого вагона стояла железная печка, которую нужно было по очереди топить углем. Люди постепенно стали приходить в себя — начались скандалы и даже драки из-за каждой мелочи. Мы постелили на пол свои одеяла, достали необходимую посуду: котелок, ложки, нож, кружки, мешочки для продуктов. Приготовились к долгому пути через всю Россию в Казахстан.

Из наших близких в блокированном Ленинграде погибли пять человек, они жили не с нами, в том числе и наша няня Настя. Из нашей немецкой коммуны, собравшейся на Гребецкой улице, никто не погиб. Через месяц была выслана из города семья Геллеров, их направили в село Саргатку Омской области, где через год умер глава семьи, Владимир Федорович Геллер. Уже в мае выслали и бабушку с тетей Эльзой в Кемеровскую область, и это несмотря на то, что ее сын Вова в это время воевал на фронте.

Люди привыкают к тому, что «хлеб насущный» каждый день с ними, привыкают, как к воздуху, которым мы дышим, и перестают замечать. Ленинградская блокада поселила в моей душе постоянный страх — страх остаться без хлеба. Кроме того, у меня появилось огромное уважение к этому замечательному продукту, изобретенному еще в древности, к хлебу. Ведь недаром же в народе говорят: «Хлеб — всему голова».

«Это сладкое слово „свобода“»!

Пролог

О побеге из этого особого лагеря для политических, мы, старые лагерники, не могли и мечтать. Зона здесь непроходимая: шестиметровый дощатый забор с линией высокого напряжения, за ним два ряда колючей проволоки, пахотная полоса, собаки, и вышки, вышки, вышки. Но не только это останавливало нас: мы знали, что за этой зоной начинается еще один лагерь — весь Советский Союз, скрыться и затеряться в котором почти невозможно.

Даже в нашем ПЕСЧЛАГЕ стало заметно, что с окончанием войны вся атмосфера в стране как-то изменилась. К нам в зону стали поступать совсем не похожие на нас люди. Это были русские эмигранты, отловленные в Западной Европе, солдаты РОА, польские офицеры из Армии Краевой, участники Варшавского восстания, украинские повстанцы, а также русские военнопленные, которым удалось бежать, примкнуть к союзникам и воевать на их стороне. Выглядели они совсем свежо, во взгляде еще не чувствовалось обычного безразличия лагерника. Держали их в следственных тюрьмах не очень долго и судили заочно через Особое совещание, отштамповывая по 25 лет особых лагерей.

На одной из вечерних проверок на лагерном плацу мы обратили внимание на стоящего в строю высокого широкоплечего блондина. Румянец еще играл на его щеках, и взгляд голубых глаз был насмешлив, как будто бы попал он к нам по какому-то недоразумению. Прибыл он не один: рядом с ним стояли еще несколько таких же ребят, у которых не успели отобрать маскировочную форму армии союзников.

Трудно объяснить, как это люди в многотысячной толпе находят друг друга, только в этот же день вечером этот парень появился в дверях нашего барака, огляделся и прямо направился в наш угол.

— Ищу земляков. Не из Москвы ли будете?

Павел как москвич сразу же откликнулся, и тогда он подошел, протянул руку и, улыбаясь, отрекомендовался:

— Морозов. Нет, не Павлик, а Александр. Да, в общем, Саша. Не из самой Москвы, а из пригорода.

Стал он частым гостем у нас: посидит с полчаса, что-нибудь расскажет и убежит в свой барак. Нас удивляла открытость его свободолюбивых суждений, как будто бы он не знал, что лагерь

наш пропитан стукачами. Уже на второй день забрали у него остатки офицерской формы британской армии и одели, как и нас, во все лагерное с огромными номерами со всех сторон. Но и в этой потешной форме он выглядел русским молодцем. Держался спокойно, даже величественно, и во всех его движениях чувствовалась сила и уверенность в себе. Почему английская форма? Почему 25 лет лагерей? — атаковали мы его. И он не спеша стал обо всем рассказывать.

В самом начале войны, окончив среднюю школу, был он призван в армию. Почти без подготовки, с винтовкой старого образца и тремя обоймами патронов, а также никому не нужным противогазом, оказался он в районе Пскова в составе батальона из новичков. Но воевать Саше так и не пришлось: однажды утром, проснувшись в свежевырытых окопах, он услышал, что бой идет где-то далеко на востоке от них. Это было окружение. С боков по дорогам, как бы не обращая никакого внимания на них, не спеша, шли немецкие танки. Только к полудню командир батальона дал приказ к отступлению, и солдаты повзводно стали отходить через поля высокой ржи на восток. Но и это продолжалось недолго: к вечеру их окружили автоматчики и открыли огонь. Многие тут же побросали оружие и подняли руки. Саше удалось с небольшой группой скрыться и отползти в соседний лес, лес этот оказался непроходимым болотом. Наконец, они просто пошли по дороге на восток и вскоре были остановлены.

Всех собрали в большую колонну, человек пятьсот, и повели в соседнюю деревню. Там посадили на землю, забрали документы, переписали, накормили хлебом и затем погнали на ближайшую железнодорожную станцию. Так начался Сашин плен, ни одного выстрела он сделать не успел.

Сначала привезли всех в лагерь на территории Польши, но пробыл он там недолго, так как был отобран какой-то фирмой в бригаду монтажников и отослан на запад к Рейну. Саша еще в школе в летнее время учился на курсах монтажников и даже два месяца самостоятельно работал, теперь это выручало его. Лагерь на Рейне был не таким строгим: все военнопленные работали на постройке моста, да и кормили совсем неплохо.

Немного осмотревшись, он узнал, что поблизости проходит граница с Бельгией. О Бельгии он знал лишь только то, что она граничит с Францией, страной, которая нравилась ему с детства, так как он считал ее страной Свободы, ведь в ней то и дело происходили революции. Французский язык он немного изучал в школе.

Мысль о побеге постепенно созревала. И, наконец, однажды прямо в рабочей одежде забрались они с товарищем в цистерну

из-под бетона, и поезд вывез их далеко за Рейн, где уже не было никакого оцепления. Уже в тот же вечер шел он вдоль бельгийских полей на запад.

Много еще разных историй с ним должно было произойти, прежде чем Саша оказался в Марселе, где в православной церкви познакомился с семьей русских эмигрантов, которые временно укрыли его у себя. Но долго оставаться у них ему было опасно: Сашу передали коммунистам, участникам Сопротивления. Затем он оказался в Алжире. Там-то и нашли его союзники и определили в специальную парашютно-десантную школу в Англии. В ней почти все были, как он — бежавшие из плена: союзники готовились открывать второй фронт.

Недолго ему пришлось учиться, хотя научился он многому: прыгать с парашютом, действовать по компасу в темноте, вести рукопашный бой, закладывать взрывчатку, проходить заграждения. Уже через полгода начались пробные вылеты на территорию Франции. Удача сопутствовала ему: при первой высадке, действуя в группе из трех человек, им удалось взорвать большой бензосклад и благополучно отплыть на надувной лодке на середину Ла-Манша, где их поджидал катер. После высадки союзников его еще три раза забрасывали в тыл с заданием взорвать мост, по которому шло немецкое подкрепление. Два его товарища при этом погибли, а он получил лишь легкое ранение в голову, да и то от взрыва им же самим заложенной взрывчатки. Три медали и один орден получил он из рук самого маршала Монтгомери, после чего ему было присвоено звание лейтенанта британской армии.

Закончилась война, победители торжествовали. На Эльбу, на встречу с советскими земляками Саша прибыл в составе английского десантного батальона. За праздничным столом пили немецкое пиво и пели все вместе советские песни. Знакомились, обнимались, обменивались сувенирами и клялись встретиться еще раз. Саша и не заметил, как с ним рядом оказались два советских офицера. Они предложили ему организовать поездку в Москву, проведать родных. Все расходы, конечно, возьмет на себя советское командование. Саше и в голову не приходило, что это играет с ним советский КГБ. Такого опыта он не имел, но был уверен, что, сражаясь за общее дело, заслужил признание и уважение своих земляков.

Но все оказалось совсем по-другому: уже в вагоне советского пассажирского поезда, направляющегося из Берлина в Москву, он был арестован. Следствие длилось недолго, всего две недели: «Нам известно, какую школу ты закончил в Англии. Лучше расскажи, какие задания ты получил!».

Не прошло и месяца, как Саша оказался в особо режимном лагере под Карагандой, в ПЕСЧЛАГЕ, со сроком в двадцать пять лет за «измену Родине и подготовку к шпионско-диверсионной деятельности».

Все произошло так неожиданно, что Саша воспринял лагерь и нас, сидящих в нем, как какую-то нелепую случайность. Ему все еще казалось, что его разыгрывают, с ним шутят. Вопреки всем строгим правилам режима, он и к лагерным надзирателям обращался как к своим армейским собратьям:

— Скажи, сержант, где тут письмо можно отправить?

На что следовал грубый окрик:

— Смирно! — Затем надзиратель кулаком сбивал лагерную шапочку с головы Саши: — Садись!

Конечно же, он не садился на землю, а продолжал стоять и улыбаться, как будто надзиратель шутит. Его сажали в карцер на 300 граммов хлеба и кружу воды в день. Так начиналось лагерное перевоспитание.

Однажды, сидя рядом со мной у окна в бараке, он в какой-то рассеянности смотрел на огромные колонны заключенных, выстроившихся перед столовой, чтобы получить миску вечернего супа, и вдруг стал, как бы про себя, шепотом повторять:

— Ну, нет уж, тут долго я не задержусь.

Вскоре он был определен в бригаду монтажников на строительстве завода горно-шахтного оборудования в Караганде. Там же работали и наши с Павлом две бригады каменщиков. Строительство это было огромным, оно поглощало ежедневно до тысячи рабочих из нашего лагеря, которых чуть свет доставляли туда на грузовых автомашинах. Недалеко от строившегося нами цеха Саша как старший группы вел монтаж перекрытия огромной электростанции.

Зона на этом строительном объекте была по-особому укреплена, и охранял ее целый батальон войск МВД. Мы как бригадиры имели доступ к рабочим чертежам наших объектов, к так называемым синькам. Эти синьки раздавались каждое утро бригадирам в домике главного прораба строительства — вольнонаемного военного инженера. Синьки мы брали с собой на стройку, чтобы вести разметку кладки. Не прошло и недели, как Саша подходит ко мне с синькой и таинственно отзывает в сторону. Раскрывает чертеж и пальцем показывает на какие-то пунктирные линии, еле различимые на плане. Немного поразмыслив, я, как и он, пришел к выводу, что это ориентиры фундаментов старых, снесенных зданий. Раньше на этом месте, видимо, была старая парокотельная, снабжавшая теплом небольшой соседний поселок. Теперь на этом месте выросли

двадцатиметровые стены новой электростанции завода.

— А что вот это такое? — указал он на какие-то две параллельно прочерченные пунктирные линии, которые уходили от старых фундаментов далеко на юг. Нам сразу стало понятно, что они уходят также и за пределы охраняемой зоны. Сомнений не было: на плане были обозначены старые теплофикационные тоннели для того, чтобы новые строители их учитывали при земляных работах. Глаза у Саши загорелись: «Они могли остаться невредимыми! Это тоннель, и он уходит за пределы рабочей зоны!».

Почти две недели мы с ним после этого не виделись, на строительных лесах его тоже видно не было. Оказывается, за это время он с еще одним таким же бывшим десантником незаметно вскрыли бетонную стену в подвале электростанции, в том месте, где согласно чертежам должен начинаться старый тоннель. Вскоре их отбойный молоток провалился в пустоту — ход был найден. После расчистки они увидели начало квадратного тоннеля, стенки которого высотой около метра были укреплены шифером, а посередине шла старая чугунная труба. Труба эта была с подпорками из кирпичей, и располагалась она несколько в стороне от центра тоннеля, так что с одной стороны оставалось довольно большое пространство, по ширине около 60 сантиметров.

Брешь в стене была тут же заштукатурена и прикрыта старыми досками. Саша изменился в лице, какая-то целеустремленная энергия появилась в его движениях.

— Ты понимаешь, я рассчитал, тоннель идет за зону и обрывается в заброшенном песчаном карьере у дороги, примерно в ста метрах от одной из сторожевых вышек. Карьер этот хорошо виден с крыши парокотельной.

Он ни слова не говорил о побеге, все было и так понятно.

— Пойдешь с нами?

— Нет, Саша, не пойду — у меня срок через два года заканчивается — нет смысла. Но я готов тебе во всем помогать.

Найти тоннель для побега — это еще не значит выйти на свободу. Проблемы и препятствия возникали все время новые. По рабочим объектам постоянно ходят надзиратели и все осматривают. И главный вопрос — свободен ли до конца проход в тоннеле? На всем ли протяжении он так же широк? Можно ли проползти по нему?

Саша сделал первую репетицию, прополз метров тридцать. Труба все время шла слева, проход то суживался, то расширялся. Пламя зажженной свечи горело ровно, значит, где-то он все же перекрыт грунтом. Где? Хорошо, если на выходе. Ползти по нему

можно, только опираясь на локти и кончики стоп.

Шли дни, и Саше то и дело приходилось размуровывать тоннель и делать пробы. Нужно было спешить: свежая штукатурка на стене могла быть обнаружена. Команду для побега составил он из своих ребят: Валерий Немцов и Виктор Иванов — такие же десантники союзников. Виктор в Советской армии был старшим лейтенантом. И еще один — Ашот Кобидзе — из солдат РОА. У всех по двадцать пять лет срока, и все недавно с воли.

Возникла еще одна проблема: если даже и выползешь из карьера, то в лагерной одежде с огромными номерами тебя сразу же схватят. Где достать вольную одежду? Ашот придумал: он достал где-то на стройке белые мешки, выкроил из них для каждого что-то вроде рабочей одежды. Эти куски были нашиты на лагерную одежду — получились костюмы пожарников. Но если в таких костюмах проползти через тоннель, то вся грязь и ржавчина останется на них. Кто-то придумал надеть на себя еще одни мешки с вырезанными для головы и рук дырками. При выходе эти мешки снять и закопать в карьере.

В какое время бежать, и кто поползет первым? Было определено, что лучшее время для выхода — за два часа до съема с работы, когда по дороге за зоной рабочие идут из поселка Федоровка в Караганду. Карьер был где-то рядом с этой дорогой. Благоприятным казалось и то, что через час после съема начинало уже смеркаться. Первым вызвался ползти Ашот, он был мал ростом, хотя крепкого телосложения. Если он проползет, то с крыши парокотельной его будет сразу же видно в песчаном карьере, тогда поползут и все остальные. Если же он не появится там через час, то пойдет за ним в тоннель Валерий и попытается вытащить его. Что с Ашотом может произойти в тоннеле? Обвал, ядовитые газы или просто не хватит сил?

Казалось, что теперь все предусмотрено и все шансы взвешены. Их было не много, но они были. Стали ждать хорошей погоды — это тоже было важно.

Этот день был теплым и солнечным, наступала весна, которая даже здесь, в лагере, радовала и приносила надежду. День клонился к вечеру, я находился уже на лесах недостроенного цеха, с которого было видно все. Саша уже появился на своем наблюдательном посту на крыше, не более как полчаса назад мы крепко обнялись, и он передал мне адрес своей мамы.

Вижу, как он всматривается в сторону карьера, значит, Ашот уже в тоннеле. Теоретически (какая уж тут теория!) он должен был выйти из карьера через тридцать-сорок минут. Смотрю на зону — это огромное сооружение из дощатого забора, двух рядов колючей проволоки, пахотной полосы и вышек через каждые сто

метров. Неужели через все это можно пройти под землей? Мы знали, что в нашем лагере охране даны особые права: при побеге после предупредительного выстрела стрелять в беглеца, несмотря на то, что он остановился и лег. Заключенные должны знать, что попытка к побегу оборачивается неминуемой смертью.

Часов, конечно, у нас не было, но, по ощущению, прошло уже более часа — Ашот все еще не появился. Смотрю на Сашу и вижу, что он делает какие-то знаки сверху Валерию. Несомненно, это означает, что он должен готовиться ползти за Ашотом. Прошло еще несколько минут, и я увидел небольшой комочек в карьере. Это Ашот, он вылез и стаскивает с себя мешок.

Саша с крыши исчез. Теперь в тоннеле уже двое, а после них последним пойдет и Саша. Видно, как маленький Ашот зашагал один по дороге: рабочие еще не появились. Наконец, в карьере возникла еще одна фигура: это Валерий, он спокойно отряхивается от песка и топчется на месте. Медлит — ждет Виктора. Вот и Виктор! Появилась группа рабочих, когда они дошли до карьера, Виктор и Валерий присоединились к ним.

В тот момент, когда в карьер выскочил Саша, я заметил, что какая-то старуха подошла к сторожевой вышке, показывает в сторону карьера и что-то кричит вверх солдату! Тот берет трубку телефона и затем стреляет в воздух! Все люди, проходящие мимо карьера, как по команде, остановились и стали наблюдать. Тревога! Через минуту джип с солдатами подъехал к карьеру. Офицер спустился в карьер и осматривает, видимо, то место, где виден выход из тоннеля.

Вижу, что Саша остался стоять в толпе. Теперь удаляться одному нельзя, но и ждать опасно. «Пропал Саша!» — мелькает у меня в голове. Офицер из песка вытаскивает мешки, солдаты осматривают толпу.

И вдруг я вижу, что Саша разговаривает с какой-то женщиной, а затем берет у нее мешок, взваливает его себе не плечо, и они вместе медленно отходят, двигаясь в сторону города! Вот это нервы!

Документы, видимо, проверять не стали: джип поехал по дороге к городу, надеясь догнать и опознать беглецов. Проехали мимо Саши!

В рабочей зоне забили по рельсе — собирают всех для пересчета. Появился и сам начальник лагеря. Пересчет показал — четырех нет. Стали проверять по картотеке, чтобы определить фамилии и организовать розыски по городу и области.

В бараке я пытаюсь заснуть на своих нарах: «Ушли! Невероятно, но факт!».

Если судьбы у всех сидящих в лагере весьма похожи, то у

вышедших на свободу они становятся совсем разными. Так было и с этими четырьмя. История каждого из них мне стала известна значительно позднее по их собственным рассказам и из писем их близких.

История первая и самая короткая: Ашот

Ашот знал, что к тому времени, как он достигнет города, поиски уже начнутся. Нужно укрыться как можно скорее, но где найдешь убежище в незнакомом городе? Засесть куда-нибудь в траншею опасно — могут найти с собаками, да и замерзнешь до утра, — еще заморозки. «Утром пойду на станцию в стороне от города, и там постараюсь забраться в вагон с углем, уехать куда-либо подальше от Караганды».

Почти совсем стемнело, Ашот перестал прятаться за заборы при шуме проходящей автомашины и пошел быстрее к новостройкам. «Забраться наверх на строительные леса и там переночевать. Там наверняка никого до утра не будет». Ах, бедный Ашот, пробыв долго за границей, он совсем забыл, что в этой стране даже у стен есть глаза и уши! Расположился он на самом верху, на площадке лесов многоэтажного дома, нашел листы асбеста и сделал что-то вроде постели. Но откуда было ему знать, что каждый строительный объект в Караганде под охраной: хотя бы уж для того, чтобы не разворовывали ночью кирпич и доски. Для этого каждое строительное управление содержало штат сторожей, набирая их из демобилизованных военных и милиционеров на пенсии. Нашелся такой сторож и для Ашота!

Наступило утро, и сторож заметил спящего на лесах человека. О розысках беглецов он уже был предупрежден. Оставалось только пойти и позвонить по дежурному телефону.

Ашот проснулся от сильных ударов в спину. Он открыл глаза и увидел двух милиционеров, стоящих перед ним.

На свободе он пробыл неполные сутки. Его не били — слишком легко достался.

История вторая: Бой у озера Карасор

Валерий и Виктор решили не расставаться. Они понимали опасность, но все же направились сначала на главный рынок в городе, чтобы смешаться там с толпой. Но рынок уже закрывался, и им удалось только раздобыть буханку хлеба в обмен на немецкую авторучку. Уже начало смеркаться, когда к ним подошел человек в штатском и, тихо показав удостоверение милиции, попросил документы. Валерий тут же притворился

пьяным и начал нести матом: «Б..! Почему ты меня на фронте о них не спрашивал?!». Виктор, как бы успокаивая Валерия, стал отводить его в сторону — домой. Но штатский не отвязывался, он шел за ними. Тогда Валерий рванулся к нему, схватил за борт пиджака: «Дай закурить!». Но закурить тот, конечно, не дал, вынул свисток и начал свистеть. Стало ясно, что оружия у него нет, и они оба побежали от него вниз по какой-то улице. Он за ними. Нужно было действовать немедленно и решительно. Добежав до заправочной станции, они увидели стоящий там бетоновоз, как видно, водитель закончил работу и собирался ехать на базу. Оба они, как по команде, с двух сторон вскочили на подножки, распахнули двери и сели в кабину к водителю, оттеснив его к середине. Ключ был вставлен, и Валерию достаточно было только повернуть его, чтобы включить зажигание. Машина пронеслась мимо изумленного милиционера.

— Показывай дорогу на Алексеевку! И никаких шуток!

Они знали, что Алексеевка лежит где-то далеко на востоке. Водитель оказался из ссыльных немцев, он съежился от страха. Машина уже шла за пределами города, проехав знакомую Федоровку, понеслась на восток. Уже темнело. Им было известно, что главные дороги из города имеют металлические шлагбаумы, которые по тревоге могут быть закрыты — нужно держаться проселочных дорог.

Бензин оказался на исходе! Водитель, молодой паренек, взмолился:

— Отпустите! Я ссыльный, дома дети, жена — отпустите!

— Отпустим, но веди сначала машину на свою заправку. Если сдашь нас, то с нами и погибнешь!

На заправочной станции оказался их бригадир:

— Смена кончилась, а ты заправляться!

— Прораб велел, наверное, ночная халтура есть, — придумал водитель и подъехал к заправке. Бензин пошел в бак.

— А кто это с тобой-то? — не унимался бригадир.

— Да это я их тут подобрал, до Федоровки подбросить.

Бак наполнился. Машина отъехала. Парень заслужил свободу. Но выходить он так просто не хотел.

— Вы меня свяжите и тут на дороге и оставьте. А то скажут, что я вам машину так отдал.

Стало уже совсем темно. Шофера связали кабелем и положили у дороги.

— Спросят, куда поехали, скажи, в Караганду.

Теперь нужно не только спешить, но менять дорогу и номер на машине. Свернули направо и проехали километров двадцать, потом налево по какой-то хорошо асфальтированной дороге на

восток. Странно, что встречных машин стало мало и только военные.

— Не в пасть ли к ним едем?

Карты у них никакой не было, спросить опасно. Наконец, в темноте заметили стоящую у кромки машину, шофер копался в капоте. Остановились, подошли.

— Что у тебя там?

— Да вот, свечи барахлят.

— Ну, мы сейчас их у себя поищем.

Пока Виктор искал свечи, Валерий снял задний номер у машины.

Поставили новую свечу.

— Мы что-то дорогу не узнаем, куда она нас выведет?

— На строительство нового военного аэродрома.

— А как нам его объехать?

— Как до их поста доедете, так влево по небольшой дороге на Атбасар.

— Так вот именно в Атбасар нам-то и нужно! — придумал Виктор.

— Так до него ведь четыреста километров! — присвистнул шофер.

— Знаем, не первый уже рейс.

Отъехали подальше, остановились, и Валерий прикрепил новый номер спереди машины, а задний номер вообще снял. Вдруг какой-то военный джип догнал их и притормозил.

— Что там случилось? — раздалось из джипа.

— Все в порядке. Перекуриваем.

Джип поехал дальше.

Скорее прочь с этой дороги. Проехали еще двадцать километров: появился, наконец, шлагбаум, и за ним домик для дежурных. Шлагбаум закрыт!

Подъехали еще ближе и остановились. Свертывать сейчас прямо в степь уже поздно. Из домика вышли двое, один с фонарем, другой с автоматом. Виктор ложится на пол кабины, Валерий за рулем.

— Куда?

— На Атбасар. Как видно, дорогу спутал, да и мотор барахлит. Как тут объехать?

Сержант с фонарем начал осматривать машину, и Валерий вышел из нее.

— Почему номера-то сзади нет?

— При разгрузке сорвался.

Валерий с сержантом обходят машину вокруг. В это время Виктор в зеркало видит, что справа к дверце машины подошел

солдат с автоматом, чтобы укрыться от ветра.

— Покажите права! — слышит Виктор голос сержанта. «Теперь не отвяжется». Он посмотрел в правое зеркало и увидел, что Валерий уже борется с сержантом, притиснув его к кузову. Больше не раздумывая, Виктор распахивает дверь и прыгает сверху на стоящего рядом солдата, валит его и выхватывает автомат. Бежит к лежащему на земле сержанту и направляет на него автомат. Солдата тоже кладут рядом с сержантом на землю. У сержанта оказался пистолет.

— Беги в домик, оборви телефон и возьми, что там есть! — командует Виктор. — Я их тут подержу.

Из домика Валерий несет еще один пистолет, патроны и канистру с жидкостью, видимо, с бензином.

— Что с ними будем делать? — спрашивает Валерий, направляя пистолет на лежащих.

— Ни-ни! Мужики на службе! — отвечает Виктор.

Понеслись дальше. Объехали шлагбаум и поехали по какой-то дороге, видимо, к строительству аэродрома. Главное сейчас найти этот поворот на Атбасар. Наконец какая-то дорога повела их налево. Ехали часа два-три, пока на развилке дорог не увидели доску с надписью: «Алексеевка». Теперь уж, по меньшей мере, на двести километров от Караганды оторвались.

В лучах восходящего солнца Алексеевна выглядела как зажиточное гостеприимное село. Вот только опять бензин на исходе. К счастью, в захваченной канистре оказался бензин. Заправились и решили въехать в село. Оно еще спало, только у одного коровника уже суетилась женщина.

— Далеко ли нам еще до города, мамаша?

— До какого?

— До Атбасара.

— Да вы ведь совсем в другую сторону едете.

Оказалось, что в Атбасар можно попасть, выехав на магистральное шоссе, а до него еще километров сто по проселочным дорогам.

Женщина, внимательно всмотревшись в их одежду, видимо, что-то заподозрила, но все же повела их в домик и даже молоком напоила. На дорогу она дала им буханку хлеба и кусок сала.

Выехали из села, проехали еще километров двадцать и свернули к кустам у ручья. Усталость свалила их обоих — они откинулись на сиденье и тут же заснули.

Проснулись они, когда солнце уже начало клониться к горизонту. Вокруг красота необыкновенная: ручей, заросший кустарником, в отдалении зеленые сопки и ни души. Неужели им действительно удалось затеряться в этой глуши?

Еще через час езды они заметили, что приближаются к большой асфальтированной дороге, по которой ходят грузовые автомашины американской марки «Студебеккер». Она действительно вела на этот Атбасар. Там попробуют они затеряться и начать вольную жизнь.

Ехать по шоссе пришлось недолго, впереди образовалась пробка, огромная вереница грузовых машин стояла перед ними. Выйдя, они обнаружили, что там, далеко впереди, несколько солдат осматривают подряд все машины, постепенно приближаясь к ним. Сначала они решили оставить машину и податься пешком в степь. Но это солдаты сразу бы заметили: местность открытая. Тогда решено было попытаться выехать из колонны автомашин на обочину и вернуться назад. Этот маневр с большим трудом, но удался. Чуть не оказавшись в кювете, они почти по откосу дороги начали медленно ехать вдоль машин назад. Уже через минуту Валерий в зеркало заметил, что их бегство замечено и к ним спешат солдаты. Выбравшись, наконец, на свободную дорогу, они понеслись назад. Первые двадцать минут никакого преследования не было заметно, но когда дорога стала делать дугу, они увидели, что на расстоянии нескольких километров за ними следует джип. Гонка не равная — догонят. Решили свернуть прямо в степь, а там что будет. Переехав через кювет, машина заплясала по целине, медленно удаляясь от дороги. Видимо, с джипа также заметили их маневр, так как джип остановился, а затем поехал обратно.

Итак, они удалялись, двигаясь по открытой степи к виднеющимся на горизонте зеленым сопкам. Быстро темнело. Двигаться дальше было опасно — ямы. Кто теперь их найдет в этой степи? Они поужинали деревенским хлебом с салом и заснули в кабине.

Утром были заморозки, и вся степь покрылась инеем. Нужно было на что-то решаться: назад на шоссе — опасно, трудно поверить, что их оставили в покое. Эта массовая проверка автомашин указывала, что их уже ищут военные. Ничего не оставалось делать, как двигаться дальше по целине в надежде, что попадется проселочная дорога. Бензина оставалось уже не много, необходимо добраться до населенного пункта.

Примерно через два часа перед ними открылась живописная панорама большого озера, окруженного высокими скалистыми сопками, а на той стороне в десяти километрах виднелось село: домики и электролиния. Решено было сделать остановку, чтобы умыться и отдохнуть. Они легли на прибрежный песок, пригретые солнцем.

Какой-то самолет прокружил над озером. Неужели и с

воздуха? Еще через час, всматриваясь в противоположный берег, они различили, что какая-то машина появилась там. Кто же может в такой глуши ездить вдоль озера? Они поднялись на скалистую сопку, глянули и замерли — за машиной шла еще и группа людей. Солдаты? Да, солдаты. Это за ними. Они вернулись к машине, сели на песок. Наступила пауза, пауза перед самым важным решением. Да, оно было принято: обороняться до последнего.

На вершину сопки было поднято все необходимое, чем они располагали: автомат с запасными рожками, пистолеты, сиденье от автомашины, остатки продуктов, канистра с водой. Сопка на вершине своей имела площадку, по краям которой можно было заметить остатки кладки стен из глинобитного кирпича, видимо, казахский могильник. Они осмотрелись — подходы к вершине были довольно-таки крутыми и каменистыми. Крепость! Внизу была видна гладь спокойного озера, а вверху неслись белые облака.

Еще через час уже можно было хорошо различить военный автомобиль и человек пятьдесят солдат, медленно движущихся к ним. Нужно было готовиться. Они наносили камней и уложили их на остатки стен, создав огневые точки с трех сторон. Один из склонов был так крут, что подняться по нему с оружием было почти невозможно. Если для всей страны война уже два года как закончилась, то для них она снова начиналась.

Ждать пришлось недолго. Видимо, не сразу преследователи определили, что беглецы засели на вершине. Примерно через час появились на склоне головы солдат во главе с сержантом, они лезли на сопку с самой отлогой стороны. Патроны нужно было беречь, поэтому Виктор дал только один предупредительный выстрел в воздух. Движение солдат сразу же прекратилось, вероятно, для них это было неожиданностью. Из машины вышел офицер и стал что-то объяснять. Солдаты сползли вниз и расположились в кустах. Подъехал еще один джип, в нем проводник с собакой.

Лишь к вечеру, когда стало смеркаться, солдаты предприняли еще одну попытку подняться, теперь уже сразу с трех сторон. Виктор и Валерий ждали и лишь только, когда они подползли совсем близко, дали две короткие очереди по камням. Ползущие спрятались, но отступать, видимо, не собирались. Так прошло еще полчаса, напряжение росло. Вдруг со стороны обрыва, у них за спиной, послышался шум падающих камней. Валерий выглянул и обнаружил, что уже совсем близко от вершины к ним с автоматом карабкается сержант.

— Дай очередь! — командует Виктор.

— Как-то нехорошо, Витя, по своим-то.

— Дай по верхам!

Протарахтела очередь, и сержант понял предупреждение: стал медленно спускаться. Маневр не удался. И сразу же вслед за этим по укрытию Виктора снизу началась беспорядочная стрельба из винтовок. Высовываться и смотреть было рискованно. Виктор отвечал одиночными выстрелами, не целясь. Снова все замерло, противник ждал, время работало на него.

И вдруг они услышали, как кто-то кричит им снизу, называя их по фамилиям. И это уже им стало известно! Можно было разобрать лишь отдельные слова: «Сопротивление бесполезно… гарантируем жизнь…». Да, конечно, самое дорогое — жизнь, но если за колючей проволокой она стала невыносимой! Обратно в зону? Нет!

Стрельба возобновилась. Это была лишь отвлекающая стрельба, вскоре за их спиной раздался оглушительный взрыв, полетели камни, все заволокло пылью. Это со стороны отвесной стены бросили гранату. Валерий дал очередь. Но последовал еще один взрыв у самой кромки стены, который отбросил Валерия назад, и он упал ничком, но тут же поднялся.

Быстро вечерело. «Рискнут ли они атаковать в темноте?» У Валерия со лба стекала струйка крови, осколок камня при взрыве задел его.

Наконец, стало совсем темно. Отдыхали по очереди. Теперь каждый шорох внизу вызывал тревогу, но никаких попыток к нападению противник не предпринимал, и они по очереди ложились, чтобы хоть немного отдохнуть.

Рассвет наступал быстро. Они сидели молча, доедая оставшийся хлеб, разговора не получалось, хотя Валерий пытался шутливо петь: «Это есть наш последний и решительный бой…». Каждый уже понимал, приближается развязка: даже если их просто будут держать на вершине, то без воды, без патронов уже через день-другой они перестанут сопротивляться. Может быть, ночью попытаться прорваться с боем? Но ведь начнут преследовать по степи, пока не захватят.

Когда солнце было уже высоко, движение внизу возобновилось. Теперь ползли лишь несколько солдат с сержантом, но одновременно по всем трем пологим склонам. Как только сверху открывали огонь, они прятались за камнями, пережидали и потом опять продолжали ползти. Так удалось некоторым из них подойти близко к карнизу площадки и укрыться за камнями.

После некоторой паузы вдруг в центре площадки разорвалась граната, брошенная снизу. Оба они метнулись в углы и легли.

Еще и еще граната. Прижались и не поднимали голову, хотя знали, что там ползут и скоро бой пойдет на площадке. Медлить было нельзя: Валерий перескочил на другой край к обрыву: «Я обойду их и успокою!». Виктор ничего не ответил.

Еще одна граната совсем близко от Виктора. И после паузы он услышал, как где-то снизу раздалась очередь, это Валерий спустился немного по обрыву и стрелял в них сбоку. Виктор выглянул и увидел, что одного раненого тащат вниз. Вскоре вернулся и Валерий.

На целый час все стихло, но солдаты не ушли: сидят в укрытиях. Наконец штурм возобновился: еще две гранаты и стрельба по каменным гнездам. Звуки стрельбы явно приближались.

Сквозь грохот Виктор слышит, что Валерий что-то кричит ему, но понять слов не может. В следующий момент Валерий перемахнул через каменное укрытие и открыл огонь напрямую по засевшим с гранатами солдатам. Затем он поднялся опять, чтобы вернуться на площадку, и тут вдруг Виктор увидел, что тело его друга содрогнулось и замерло — он стал медленно падать. Виктор вскочил на ноги и стал стрелять из пистолета в упор по ползущим солдатам. Но стрелял он недолго, что-то ударило его в грудь. Дальше он ничего не помнит: вдруг стало темно.

Очнулся он в военном госпитале, в расположении какой-то воинской части. Пуля прошла через правое легкое навылет, тугая повязка мешала ему, он задыхался и кашлял. «Почему же они меня не добили!». В палате в углу на табурете сидел солдат и смотрел на него. Вскоре вошел офицер, поднял солдата, пододвинул табурет к кровати и сел, наклонившись к Виктору.

— Фамилия? — тихо спросил он.

Виктор попытался ответить, но не мог: какая-то пена клокотала в его гортани.

Глаза офицера были усталыми и грустными, это был простой пехотный лейтенант.

— В каком звании воевал?

Виктор понял вопрос.

— Старший лейт… — прохрипел он и добавил: Где мой друг?

— Твой друг мертв, — последовал ответ.

Виктор отвернулся к стене. В этот момент солдат, стоящий в углу, прошипел:

— Ууу! Предатель!

Офицер резко оглянулся.

— Покинуть помещение!

Когда солдат вышел, он тихо, как бы про себя, добавил:

— Тебе бы так воевать, молокосос.

У пехотного вопросов больше не было.

— Ну, старшой, — встал он, — за тобой ваши приехали.

«Вашими» были сотрудники МВД из лагерного управления, которые уже ждали, очнется он или нет. Он был молод и крепок — он очнулся.

Все подробности этой истории я узнал от самого Виктора, когда его год спустя специально привезли на наш лагпункт, дабы показать всем, что побеги из ПЕСЧЛАГА действительно невозможны.

После центральной лагерной больницы, где он пролежал почти полгода, его снова судили. Ему повезло; в этот год была отменена смертная казнь, а к его оставшемуся сроку можно было добавить еще только один год. Итак, опять двадцать пять.

История третья и самая длинная: Праздник на молочной ферме

Саше Морозову повезло больше всех. Только он успел отряхнуться после выхода из тоннеля, как началась тревога. В это время он был уже на дороге, смешавшись с толпой любопытных. Одному идти по дороге было опасно, и он продолжал стоять и, как все окружающие, смотрел на то место в карьере, откуда он только что вышел сам. Подъехал джип с офицером и солдатами, начался осмотр карьера. Два солдата внимательно осматривали людей, стоящих на дороге. Около Саши оказалась пожилая женщина с мешком муки за плечами, с которой он уже успел перебросится шутливыми репликами и, наконец, предложил помочь нести тяжелый мешок. Толпа начала расходиться, последовал за ней и Саша с мешком за плечами. Он взял под руку женщину, и они медленно направились к городу. Джип промчался по дороге мимо них.

По пути он придумал и стал тут же рассказывать ей свою фронтовую историю. Будто вышел он из госпиталя и должен встретить товарища в городе. Подойдя к ее дому, он спросил:

— Ну а если своего дружка не встречу, переночевать место найдется?

— Да приходи: не у меня, так у соседей.

Теперь нужно было действовать как можно быстрее. К центру идти опасно, и он подался к рабочему шахтерскому поселку в двух километрах от города. Прежде всего, необходимо раздобыть хоть немного денег.

Единственными ценными предметами, которые ему как-то удалось пронести в лагерь, была золотая коронка на зубе и серебряные карманные часы, подаренные ему английским

командованием при вручении ордена. С давних времен часы в России считались большой ценностью, и спрос на них всегда был высок.

В центре рабочего поселка обнаружил он небольшой рынок, где толпились люди и продавали с рук вещи, а по краям располагались ларьки и разные мастерские. В одном из этих ларьков удалось ему быстро продать за бесценок свое золото. Здесь же, на толкучке, купил он старую армейскую гимнастерку, брюки и кирзовые сапоги. На гимнастерке еще сохранились нашивки о ранении. Саша заметил это, направился к аптечному ларьку, купил бинт и, отойдя за угол, переоделся в купленные вещи, а затем обмотал бинтом шею. Теперь он стал таким, как все здесь, раненые фронтовики.

Оставались часы. Саша подошел к часовому ларьку, где сидел пожилой мастер еврейского вида. Он с усмешкой взял часы, осмотрел их и удивленно поднял глаза на Сашу: видимо, понял, что солдат только от большой нужды расстается с такой ценностью. Он снова склонился над часами и стал показывать на какие-то детали, утверждая, что ходить они будут не более года. А цена? Он назвал смехотворно низкую цену. Саша выхватил часы из рук и молча направился к выходу. Уже в дверях он услышал, как была выкрикнута еще одна цена, уже в два раза большая, но Саша направился на толкучку. Не прошло и двух минут, как около него оказался опять этот мастер. Он взял Сашу под руку: «Ну что же ты уходишь, мы же ведь еще не договорились!». В ларьке он предложил ему в обмен металлический портсигар, который, как он уверял, из чистого серебра, несколько пачек сигарет и, с улыбкой посмотрев на Сашу, добавил: «Ну и конечно, немного денег».

Саша вновь выхватил часы из его рук и вышел, направившись назад к домику своей знакомой женщины. Мимо него к городу все время проезжали автомашины, и каждый раз у него возникало предчувствие, что вот-вот остановится одна из них, и у него потребуют документы. «Куда иду? — сокрушался он. — Ведь там же облава!» Но почему-то продолжал идти.

Вдруг он заметил, что легковая автомашина марки М-1 приближается к нему сзади. В таких машинах ездило только начальство. Следуя какой-то интуиции, он оглянулся и поднял руку. К его удивлению, машина затормозила около него.

— Не подвезешь, товарищ, я из госпиталя, идти трудно.

«Товарищем» оказался казах, развалившийся на заднем сидении и одетый в черное кожаное пальто. «Большой начальник», — подумалось Саше.

— Извините, но мы спешим, — вежливо отреагировал

начальник.

И здесь Сашу как будто бы что-то подтолкнуло, он вынул часы на цепочке и стал ими раскачивать перед машиной:

— Фронтовым трофеем не интересуетесь? Продаю!

По лицу начальника было видно, что он борется со своим любопытством. Часы поблескивали на заходящем солнце, и он, наконец, спросил:

— Откуда это у тебя?

— Из-под Кенигсберга везу, — соврал Саша и добавил, вспоминая еврея-мастера: — Из чистого серебра!

Опять на лице начальника отразилась борьба желаний и сомнений, он опасливо взглянул на своего водителя и повернулся к Саше:

— Ну, садись, подвезу. — И затем что-то сказал по-казахски водителю.

Машина почему-то быстро свернула с шоссе на проселочную дорогу. Не успел он Сашу ни о чем расспросить, как они остановились у двухэтажного дома с большим сараем, вокруг которого бегали куры, и лежала собака. Было видно, что это не его квартира.

Вначале вышел водитель и постучал в дверь. Открыла очень пожилая женщина-казашка в шелковом халате. Увидев машину, она приветливо заулыбалась. «Нет, это не может быть засадой, — промелькнуло у Саши. — Родственники».

— Ну, пойдем, солдат, посидим, перекусим.

Женщина обняла начальника и сразу же, засуетившись, стала накрывать на низкий стол, стоявший на ковре в большой комнате. Вскоре появились лепешки с маслом, а затем и чай в пиалах.

— Ну, солдат, перед чаем, наверное, водочки выпить не мешает.

— Нет-нет, я контужен, мне врачи настрого запретили.

— Ну, так и мне нельзя — я на работе еще.

Саша не ел весь день, и горячие лепешки пошли одна за другой.

— Ну, зачем же ты такие красивые часы-то продаешь? — стал приближаться к делу начальник.

— Хочу домой во всем штатском приехать. А часы, так у меня еще одни есть, наручные.

Тем временем начальник не выпускал часы из рук, то и дело открывал крышки и рассматривал пробы.

— Двенадцать рубинов! — добавил Саша. Начались деликатные торги. Никто не мог знать, сколько сейчас стоят такие часы, когда килограмм масла на рынке — три тысячи рублей.

— Ну и сколько они, по-твоему, могут стоить? — тихо спросил начальник.

Саша так же тихо, как какую-то тайну, объявил цену: «Сто тысяч!». Это была цена коровы. По глазам начальника можно было понять, что по традициям восточного базара он воспринимает эту цену как символическую шутку, но часы продолжают поблескивать в его руке.

— Двадцать тысяч, — произнес он свою ответную «шутку». Саша почувствовал, что торги будут трудными и долгими.

И здесь ему пришла в голову идея быстрого компромисса. Ведь ему нужно было как можно быстрее выехать из Карагандинской области, а билет на поезд без документов не продадут. «Может быть, он здесь все может?»

Начальник оказался директором текстильного комбината, да еще и членом Горкома партии. И стал Саша сочинять свою историю. Будто бы они с дружком крепко выпили на базаре, и у него все документы и деньги украли, вот он часы-то и продает. Обратись он сейчас в военкомат, начнется большое дело, а ему скорее домой надо. Там, под Петропавловском, у него начальник райвоенкомата друг, он сразу все без шума уладит — лишь бы доехать. И добавил:

— Я тебе эти часы за двадцать тысяч уступлю, а ты мне билеты до Петропавловска устрой.

Начальнику, видимо, все это тоже очень понравилось: продавец ценных часов исчезнет из Караганды. Так все просто, ко всеобщему удовольствию, и решилось.

Уже совсем поздно вечером приехали они на небольшую железнодорожную станцию на севере Караганды, там у начальника было знакомство. Он вышел один из машины и ушел в станционное помещение, оставив Сашу одного с водителем. «Вот как сейчас вернется с двумя милиционерами мои документы проверять!»

Наконец, он появился с хитрой улыбкой на лице:

— Хорошо, когда всюду хорошие люди есть! — А в руке билеты. Опять машина помчалась к квартире родственников начальника, где они еще раз напились чаю, и начальник вынес ему завернутую в платок пачку денег:

— На, не считай, двадцать пять тысяч.

Так что пять тысяч еще из милости он добавил. Уже совсем было темно, когда Сашу довезли до поселка Федоровна, откуда он уже сам дошел до домика своей новой знакомой. Она так и ахнула, увидев повязку на его шее.

— Кто же это тебя?

— В госпитале лечение прохожу.

Поезд быстро удалялся от Караганды, и с каждой остановкой у Саши на душе легчало. Вагон был переполнен: ехало много демобилизованных военных, переселенцев, колхозников с мешками. Саша устроился на самой верхней багажной полке и уснул. Однако сон был недолгим и тревожным. Он открыл глаза и посмотрел вниз, там, у окна сидел солдат без погон, на гимнастерке нашивки о ранении. Фронтовик. Солдат отрезал перочинным ножом ломтики сала, рядом лежал хлеб. «Совсем такой же, как и я, только с документами», — подумалось Саше. Он спустился вниз и пристроился рядом с солдатом. Разговорились.

Слово за слово и бутылка водки, подаренная Саше начальником, оказалась на столе. Пили по очереди из алюминиевой кружки солдата. Он ехал в Иркутск после ранения, деньги, полученные в госпитале, он пропил сразу же с друзьями и остался пустым, только с куском сала, а ехать надо было еще три дня. После того как Саша рассказал ему свою историю с пропажей документов, они почувствовали, что могут помочь друг другу. В результате у Саши оказалась справка солдата о выписке из госпиталя, по которой он должен получить паспорт по месту жительства, а у солдата — пятнадцать тысяч рублей из Сашиных денег. Конечно, получить паспорт по этой справке он не мог, но все же это была его защита надолго. Справка была без фотографии, и имя солдата было тоже Саша.

Поезд приближался к городу Акмолинску. Нужно было быстрее покинуть поезд — солдат мог и передумать. Акмолинск в ту пору был небольшим провинциальным городом, где жили казахи вперемешку с русскими и ссыльными немцами. Подремав до утра на вокзальной скамейке, он направился к центру города. Путь шел мимо здания Обкома партии с бронзовым Лениным, указывающим рукой на базарную площадь, куда уже с утра съехалось много колхозных подвод с мукой, молоком и картофелем — было воскресенье. Теперь в толпе он чувствовал себя уверенно, справка в кармане гимнастерки согревала его. Он искал что-нибудь поесть и заодно присматривался к людям: в такой провинциальной глуши он еще никогда не бывал. Больше всего удивляли его люди — на теплом весеннем солнце они были одеты в шубы и валенки, как будто бы завтра грянет опять зима.

У одного большого ларька в разлив продавали молоко. Над ларьком надпись: совхоз «Путь Ильича». Около огромных металлических бидонов с молоком суетились две молодые девчонки, стараясь перетащить их с автомашины в ларек, а рядом стоял пожилой мужчина в потертом полушубке и наблюдал за ними. Было видно, что такая работа девчатам не под силу.

Секунду поразмыслив, Саша бросился помогать: он подхватывал шестидесятилитровые бидоны и лихо нес их на склад. Девчонки перестали работать и с улыбкой наблюдали за Сашей. Наблюдал за ним и пожилой мужчина, который оказался бригадиром молочной фермы совхоза. Когда работа была закончена, он пригласил Сашу в ларек, набрал стакан густой сметаны и с куском белого хлеба протянул ему: «Ешь, солдат!».

Завязалась беседа. Саше пришлось опять рассказывать, что едет он из госпиталя после ранения на фронте к своей матери в Кустанай, вот и решил сделать здесь остановку, чтобы приработать немого денег и поприличнее одеться. Глаза бригадира смягчились:

— Так поезжай к нам на ферму, у нас ведь там одни бабы, а работы мужской полно.

«А почему бы и нет? — промелькнуло у Саши. — Отсидеться в глуши, пока поиски пройдут».

Он показал бригадиру свою справку, сказал, что паспорт его ждет в Кустанае и что на месяц он задержаться может. Ранение у него легкое, в живот, и сейчас он уже совсем здоров.

Молочная ферма совхоза была уже на летних выпасах, в двадцати пяти километрах от центральной усадьбы совхоза в селе Константиновка. Сама же Константиновка находилась еще в 180 километрах на северо-запад от Акмолинска. Это был действительно «край света», где советскую власть можно было почувствовать только во время выборов. Бригадир сам предложил Саше не оформляться в центральной конторе совхоза — «Отнимут еще парня!» — а просто работать у него на ферме по договору, который он сам составит. Саше все это очень подходило.

Ферма расположилась в живописной долине между двух высоких сопок, около большого озера, по берегам которого росли сосны. Это были летние выпасы для части совхозного стада — примерно 200 дойных коров и столько же молодняка. Зимой весь скот перегонялся на центральную усадьбу в районном центре Константиновна. Центр этот был большим селом с кинотеатром, школой механизаторов и, конечно, с районным управлением МВД.

Здесь же, на летней ферме, работники жили в наспех сколоченных домиках-бараках, а скот постоянно находился в степи. Каждый второй день бригадир отправлял свой грузовик на молокозавод в Константиновку с бидонами сепарированного молока и сливками. Молоко же обрабатывали прямо на ферме в небольшом домике. На сорок человек работников фермы приходилось только пятеро мужчин: бригадир, механик, шофер и два пастуха, все остальные были женщины-доярки. Жили они в

двух больших общежитиях, где стояли топчаны, тумбочки для вещей и шкафы для халатов и обуви. Умывались прямо под открытым небом из больших умывальников, а баней служило озеро. Коров доили в степи, для чего доярок на подводе подвозили к стадам, обратно они шли пешком, так как на подводе везли молоко на сепаратор. Электроэнергию для сепаратора давал бензиновый двигатель, который все время портился. Бригада должна была также заготавливать сено на зиму, для чего на ферме находились три лошади и две старые сенокосилки, которые давно уже были неисправны и стояли без дела. Одна лошадь принадлежала бригадиру, на которой он постоянно разъезжал по всей ферме, в этой глуши он был «царь и бог».

Под открытым небом находилась и кухня фермы, в которой один раз в день готовили обед для всей бригады. Работа на ферме была тяжелой, но свежий степной воздух и, конечно, свежее молоко делали всех работников крепкими и румяными.

Сашу поселили поначалу в одной комнатке с механиком, которая располагалась в сепараторном пункте. Весь домик представлял собой приспособленный казахский могильник, стены и купол которого были сложены еще в прошлом веке из особого глиняного кирпича. При советской власти эти «культовые сооружения» разрушались, но вот беда, кирпич этот представлял собой белую глину, замешанную на овечьем молоке с добавлением шерсти, так что сломать их было невозможно, и они продолжали стоять, как памятники вольной жизни казахского народа.

Однако жить Саше в этом склепе долго не пришлось. Механик, как водится, пил и после этого всю ночь громко храпел. Так что пришла Саше в голову идея построить свой собственный домик. На участке были разбросаны старые доски, листы шифера от старых зданий, из которых очень быстро он соорудил себе настоящий дом с покатой крышей и большим крыльцом. Бригадир ходил кругом и только языком прищелкивал: «Ну, мастер!».

Еще через неделю Саша переделал домик бригадира, чем очень растрогал его.

Чем дальше, тем больше. Оказалось, что он лучше механика разбирается во всех механизмах: вдруг заработали две конные сенокосилки, затем стоящий уже два месяца сепаратор, и работа пошла в два раза быстрее. Бригадир стал очень уважать Сашу и во всем ему доверять:

— Я тебе ничего про работу говорить не буду, сам смотри и делай, что увидишь!

И стал он как бы заместителем бригадира на всей ферме.

Утром чуть свет первый встает проверить, пригнали ли стадо на площадку для доения, все ли на работу вышли, чисто ли вымыты бидоны для молока, напоили ли лошадей, а потом и сам за работу принимается. То отправляется на лошади в Константиновку по делам фермы, то перекрывает крышу общежития, которая уже давно течет, или принимается ремонтировать старые машины. Из старых ящиков сделал он для своего домика мебель: стол, широкую кровать, стулья, шкаф.

Уважали его все еще и потому, что полагали, он единственный фронтовик здесь на ферме. Бригадир за глаза говорил о нем не иначе, как «мой герой». А о его документах так речь и не заходила. Справка о ранении в живот, инвалидности второй группы и направлении по месту прописки вполне удовлетворяла. Когда Саша купался в озере, то шрама от ранения также никто видеть не мог. «Трусы прикрывают», — отшучивался он. Бригадиру же он обещал снять копию с этой справки, а подлинник отправить в Кустанай в военкомат, чтобы его документы и паспорт выслали в Константиновку. Когда же Саша бывал там, то писал сам себе письма с обратным адресом из Кустаная, пусть видят, что от родных.

Бригадир же души в нем не чаял и заботился, чтобы никто в управлении совхоза не узнал, что он нашел себе такого мастера.

И потекла жизнь Александра Морозова мирно и привольно, ему нужно было здесь в глубинке отсидеться, пока не пройдет всесоюзный розыск. Здесь все ему нравилось, живя на всем готовом, он скопил немного денег из своей зарплаты, купил на базаре сапоги и шинель и, кроме того, очень старый обветшавший баян. На баяне играть научился он еще в школе, в музыкальном кружке, а в армии так стал заправским баянистом.

Баян был в таком состоянии, что играть на нем было невозможно. Саша разобрал его на мельчайшие детали, сам сварил особый клей, раздобыл и поставил новые меха, заменил часть кнопок. Каждый вечер можно было его видеть склонившимся над столом в домике.

Однажды вечером из его домика понеслись переливчатые звуки баяна: «По долинам и по взгорьям шла дивизия в поход…». Когда он остановился, то заметил, что перед его крыльцом собралась кучка удивленных слушателей. Тогда он вышел наружу и растянул баян во всю ширь. По вечерней степи понеслись звуки знакомого всем вальса, и Саша громко запел: «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая чья-то рука…».

С появлением баяна жизнь на ферме потекла совсем по-другому. Оказалось, что чуть ли не все доярки певицы и плясуньи. По вечерам перед домиком бригадира на лужайке

расположился кружком хор доярок, а в центре Саша с баяном. Каких только песен он не знал! Вот только с танцами не совсем хорошо получалось — один единственный кавалер на ферме Саша был занят баяном, и доярки должны были танцевать в парах с подружками.

Так становился он для всей женской бригады одним-единственным женихом, и каждая старалась привлечь его внимание: ему стирали и гладили белье, прибирали в домике, носили вечером парное молоко от самой доброй коровы. Их заигрыванию не было конца, его постоянно приглашали в женское общежитие на вареники или отпить чаю с сибирскими шанежками.

Саша действительно был красавцем, в хромовых сапогах и офицерской гимнастерке, с баяном в руках, появлялся он в общежитии и садился к столу — девчонки боролись между собой за место рядом с ним.

Особенно старательно заботилась о нем одна из доярок, сбитая и крутобедрая Настя. Она каждую неделю мыла пол в его домике, меняла и стирала белье, носила из ручья воду для питья и все это делала с веселой улыбкой и шутками. Круглолицая и белобрысая, с вздернутым носом, она была старше Саши лет на пять, а то и на все десять, поэтому другие женщины его особенно к ней и не ревновали: «Неровня она ему».

Как-то однажды, когда Настя, согнувшись, мыла пол, он шутливо прихлопнул ее по округлому заду. Она распрямилась, заливаясь счастливой улыбкой, и замахнулась на Сашу мокрой тряпкой. Он поймал ее руку, и они оказались прижаты друг к другу, так что он ощутил мягкость и тепло ее больших грудей, и от этого по всему его телу побежало что-то давно и совсем забытое…

Когда они поднялись и Настя, улыбаясь, укладывала свои длинные рыжеватые волосы, Саша смотрел на ее пышущее здоровьем еще молодое лицо и думал: «А почему бы не она? Может быть, это и есть мое счастье, моя судьба?».

Так началась их любовь. Вначале никто ничего не замечал, и все продолжали наперебой ухаживать за Сашей, но Настя стала исчезать из общежития уже на всю ночь, и постепенно все привыкли, что он выбрал ее. Не то, чтобы она ему особенно полюбилась, а просто постепенно она вошла в его жизнь как что-то необходимое, доброе и приятное. О женитьбе вначале не было и речи, но Настя в глубине души надеялась, что Бог пошлет ей такое счастье — ее муж погиб на фронте в самом начале войны. Лежа в темноте рядом, она как-то сказала ему:

— Вот ведь у меня в Константиновке дом-то стоит пустым, и

корова есть, и поросята. Мать за ними смотрит, да разве ей одной со всем этим управиться…

Саша понимал это как приглашение начать беззаботную совместную и зажиточную жизнь в ее доме, на парном молоке со свежеиспеченным хлебом, но он не произнес в ответ ни слова, только обнял ее покрепче.

Все на ферме воспринимали их связь как вольный брак, каких во время войны возникало много. Бригадиру это тоже все нравилось, он надеялся, что получит Сашу навсегда. С хитрой улыбкой он шутил: «Свадьбу-то не зажуливайте!».

Когда они как-то вместе были в Константиновке, Настя познакомила его со своей мамой, такой же, как и Настя, крепкой и жизнерадостной и еще не старой женщиной. Происходили они из украинских переселенцев начала века, когда по реформе Столыпина в Сибири поселялись многие безземельные крестьяне. Дом на две комнаты был сложен из толстых бревен, все в доме сияло, всюду белый вышитый ситец и большая в углу икона — все ждало Сашу как нового хозяина, но он не шел, он не мог — он был в побеге.

Недели шли за неделями, приближалась осень, начался последний сенокос, и Саша работал на косилке от зари до темноты. В один из таких дней на ферму пожаловал участковый милиционер из Константиновки на своей конной бричке, узнать, все ли в порядке. Бригадир сразу же учуял опасность — спроси он Сашу про документы, и начнется канитель, так что он лишится этих золотых рук. Милиционер был ему хорошо знаком — вместе когда-то в тридцатые проходили действительную службу в армии, так до сих пор и остались на «ты».

Милиционер поинтересовался, не приняты ли новые люди на сенокос, надо бы проверить. На что бригадир сразу же заявил:

— Да, что их проверять-то, они все сейчас по степи разбросаны, да и я их всех уже проверил. Пойдем-ка сначала лучше в дом, там моя хозяйка уже, наверное, пельмени поставила.

По сибирским понятиям, слово пельмени уже как бы включает в себя и стакан водки. И засели два приятеля за эти пельмени, да так, что к вечеру участкового пришлось грузить в его бричку, да еще провожатого давать.

Бригадир после этого еще раз спросил Сашу о документах, и тот хмуро ответил:

— Уж два раза писал. Замотали, наверное. Осенью сам поеду пробивать.

Тревожное чувство не оставляло Сашу, он знал, что засиделся здесь слишком долго, пригрелся к Насте, привык к своей уютной

комнатке, к вышитым покрывалам. Работа его не тяготила — на работе он забывал обо всем. Полюбились ему и бархатные казахские степи с горьким ароматом полыни, и тихое озеро, в котором он часто ловил рыбу. Теперь все это нужно было бросить и бежать навстречу неизвестности.

Так уж получилось, что считали Настю и Сашу мужем и женой. Если бригадир что-то хотел передать Саше через Настю, то он говорил: «Передай мужу…». Да и Настя уже стала вести себя, как жена: брала его при всех под руку, поправляла на нем воротничок и даже целовала в губы. Все были уверены, что зимовать Саша будет в Настином доме, а там и свадьбу сыграют. Но Саша знал, что это невозможно, и эта мысль угнетала его.

Уже давно он стал замечать, что одна из доярок, самая молодая из всех, ей только шестнадцать лет исполнилось, как-то пристально и странно, без улыбки, всматривается в него. Звали ее Нина, и на ферме она была новенькой, так как, окончив школу, решила летом немного заработать денег, чтобы поддержать свою больную мать и иметь средства на поездку для поступления в институт. Была она высокой и хрупкой, с каштановой косой до пояса, и в отличие от других доярок, часто во время веселых вечеринок удалялась и читала книгу. Ей явно было здесь не по себе, она чувствовала себя одинокой, так как подруга на ферме для нее не находилась.

Однажды Саша решил посмотреть, что она там читает. Он подошел, и она сразу же встала: ее большие карие глаза выражали удивление. Он заметил, что уже через минуту щеки и уши ее подернулись румянцем. Книгой оказался томик стихов Сергея Есенина. Саша, чтобы прервать неловкую паузу, стал декламировать стихи наизусть — Есенин ему нравился:

> «Не жалею, не зову, не плачу,
> все пройдет, как с белых яблонь дым…»

Разговор не вязался, она отличалась ото всех, держалась без всякого кокетства и говорила даже как-то по-другому.

Из районной библиотеки привезли ей как-то две толстые книги, и Саша тут же поинтересовался, что она собирается читать. Это были романы Тургенева.

— А я ведь сочинение по «Дворянскому гнезду» в десятом писал, — сказал Саша.

— А я так и не успела его в школе прочесть, вот теперь догоняю…

Они сели на траву и стали беседовать о школе, о выпускных экзаменах, а потом снова о стихах. Оказалось, что Нина любит

Анну Ахматову, читала Бодлера, о котором Саша и представления не имел.

Руки ее были с тонкими, нежными пальцами, и трудно было себе представить, как она ими может четыре раза в день выдаивать свои восемь коров. Она рассказала, что будет осенью поступать в педагогический институт, так как хочет стать преподавателем литературы; у нее мама также учительница. Было видно, что внешняя хрупкость сочетается в ней с какой-то силой. Она бегала быстрее всех, была единственной на ферме, кто мог переплыть два раза озеро.

Как-то, рассказывая о войне, он заметил, что воевать — это большая честь для мужчины. И она перебила его: «Нет, война — это бесчестие, это убийство людей». Такой ход мыслей был совершенно не знаком Саше. Постепенно так получилось, что единственным интересным для него человеком на ферме стала Нина, и он, едва выпадала свободная минута, искал возможность с ней поговорить.

В солнечный воскресный день он, как обычно, рыбачил на озере. Вставать в эти дни он рано не любил, и поэтому лучшее время для лова было уже упущено — рыба не шла. Он расположился на маленьком зеленом мысе, окруженном камышами, забросил на глубину свои удочки и растянулся на ласковом солнце, наблюдая, как плывут облака. Райский покой царил на земле и в небе, но душа его была неспокойна. Особенно последние дни он чувствовал какую-то тревогу, что-то внутри подсказывало ему: «Ты должен отсюда бежать, и скорее!». Но куда бежать — там еще более опасно, ведь это счастливая случайность, что он смог затеряться в этой степи. Как найти хоть какие-нибудь документы? Кто ему их даст или продаст, да еще с его фотографией? Куда бы он ни пришел поступать на работу, всюду есть отделы кадров с хищными заведующими. Он слышал, что некоторым удается купить паспорт. Но где и как?

Путаясь в этих тревожных мыслях, он вдруг услышал плеск воды в озере, приподнялся и увидел, что кто-то плывет к середине. Он опять лег, закрыл глаза и расслабился: «Как все просто и чудесно в природе, и как сложно и мрачно в человеческой жизни», — философствовал он.

Вдруг солнце закрылось чем-то, и он почувствовал какую-то тень на себе. Приоткрыл глаза и увидел над собой стройные загорелые ноги, а еще выше лицо Нины с мокрыми разбросанными по плечам волосам. Она смотрела на него сверху и улыбалась. Это было для него удивительным, так как улыбалась она редко. Нина молча села рядом с ним, и они, не нарушая тишины, стали смотреть на гладь озера и птиц, летающих низко

над водой. Наконец, Саша, как бы продолжая свои мысли, произнес:

— А ты знаешь, для чего мы живем?

— Дорогой, мы живем для счастья.

Сегодня все было необычным: и то, что Нина улыбалась, и то, что она впервые так неожиданно и просто назвала его «дорогим». Саша опять лег, закрыл глаза и задумался, как вдруг какая-то тень снова закрыла его лицо — это была Нина, но теперь она медленно наклонялась над ним и тянулась к его губам. Саша почувствовал ее прикосновение, запах озерной воды от ее волос и на секунду замер. Потом также медленно и нежно обхватил ее, прижал к себе, поцеловал и почувствовал ее глубокое дыхание, как будто бы ей не хватало воздуха. Они поднялись, сели и снова молча стали смотреть на озеро.

Саша знал женщин — по крайней мере, ему так казалось. В них он видел объект наслаждения, подруг жизни и заботливых помощниц. Близкие отношения с ними возникали у него быстро и легко — он был хорош собой. Ему нравились крепкие женщины, с выраженными формами и решительным характером. Но сегодня он почувствовал совершенно новое для него чувство, чувство какой-то особой нежности и тепла к этой хрупкой девочке, которая сейчас сидела рядом с ним.

Это уже перестало быть для всех новостью, что Настя постоянно ночует в домике Саши, а ее кровать с расшитыми подушками так и стоит пустой в общежитии. Все были уверены, что свадьба близится, неуверен был в этом только Саша.

Он расширил в домике кровать, так что она стала действительно брачной постелью. Настя возвращалась после последней дойки поздно, когда было уже темно, и Саша, не гася керосиновую лампу, лежа ждал ее. Сначала она долго умывалась холодной водой, стоя на тростниковом коврике в сенях, потом в комнате долго расчесывала свои волосы и, наконец, прыгала к нему в постель, прижимаясь озябшим телом. От ее волос исходил запах парного молока, и это нравилось ему. Хотя до утренней дойки оставалось всего шесть часов, она еще долго играла с ним, то покрывая поцелуями, то массируя его спину своими крепкими руками. Засыпала она, прихватив его одной рукой, будто бы боялась, что он от нее уйдет. Утром Настя вставала еще затемно, целовала Сашу в плечо:

— Спи, мой сокол, тебе еще рано.

Затем она успевала поставить для него завтрак на стол: хлеб, густо намазанный маслом, сметану и молоко — все, чем богата была ферма, — и убегала на работу к своим коровам. Через минуту Саша тоже должен был вставать.

Днем Настя прибегала в домик, чтобы прибрать в нем и отдохнуть. Их разговоры крутились вокруг сплетен на ферме или воспоминаний о детстве. Иногда она затевала с ним игры: брызгала на него водой, и он ловил ее по всему домику, потом они боролись, и, наконец, начинались объятия и поцелуи. Саша любил смотреть на ее пышное тело, она знала это и старалась при каждом удобном случае показать ему его. Сашино тело она тоже хорошо изучила, но следов ранения так и не нашла. Он сначала отшучивался, что, мол, друзья-хирурги все так тонко зашили. Но это объяснение звучало наивно, Настя не верила, но и вопросов не задавала.

Поползли слухи среди доярок — кто-то видел его целующимся в тот день на озере. Начали девки подтрунивать над Настей: «Молодая-то, поди, повкуснее». Долго она не реагировала, все отшучивалась: «Пусть потешится — все равно мой останется!». Сашу же ни о чем не спрашивала. Однако женское сердце сразу же почувствовало, что он стал какой-то не такой, и как он ни старался быть нежным и внимательным, было заметно — подыгрывает. Умом он понимал, что Настя — его семья, тепло и защита, но что-то происходило в его душе помимо его воли, и он ничего не мог изменить в себе.

Он избегал встреч с Ниной, но чем больше он сдерживал себя, тем сильнее мечты о ней охватывали его и теперь уже ни на минуту не оставляли. Это не было то влечение к удовольствиям, которое Саша обычно испытывал, встречаясь с женщинами, это было другое, что волновало его душу. То и дело он вспоминал ее тонкие пальцы, широко открытые глаза, гибкость ее стройной спины, а главное, их беседы. «Наверное, это и есть та самая любовь, о которой пишут в романах», — думал он.

Теперь уже жаркие и уверенные объятия Насти начинали тяготить его, хотя он и старался убедить себя, что чувство его вернется. Он старался отвечать на ее ласки, однако и сам начинал замечать, что играет. Как-то поздно вечером, после обычных любовных игр Настя заметила, что он не спит, а смотрит в темноту. И вдруг у нее вырвалось:

— Ну что, все о ней думаешь?

Он ничего не ответил и продолжал молча лежать. Стена постепенно вырастала между ними.

Настя страдала, и от этого заботилась о нем еще нежнее: она стирала, убирала, стряпала, доставала различные лакомства для него и даже вино. Саша охотно стал пить его вместе с ней, чтобы как-то погасить свои дурные мысли. И они уходили: Настя снова становилась для него прежней, привлекательной. Часто тогда брал он баян, и они начинали тихо вместе петь на разные голоса.

Иногда их песни долетали и до женского общежития, где их воспринимали как песни семейного согласия. Однако наступало утро, и мысли снова начинали будоражить его.

Однажды бригадир попросил Сашу посмотреть сломавшуюся на сепараторе машину — механику так и не удалось ничего с ней сделать. После сепарирования большой процент сливок оставался в молоке, и эти потери начинали угрожать бригаде невыполнением плана по маслу. Саша рано утром направился на пункт, разобрал всю машину и стал испытывать фильтры, как вдруг он услышал щелканье косточек счетов в соседней комнате, там кто-то работал. Он продолжал возиться с машиной, однако дверь от сквозняка стала все больше приоткрываться, и он увидел спину стройной женщины в халате с белой повязкой на голове. Сомнений не было, это была Нина. Как самую грамотную на ферме бригадир просил ее составлять отчеты по молоку. У Саши на секунду остановилось дыхание, он уже две недели не видел ее. «Уйти незаметно», — начал командовать он сам себе. Но ведь срочная работа должна быть выполнена. Нина уже заметила его, она встала, поздоровалась и с широко раскрытыми глазами стала приближаться к нему. Наконец, она положила руки на его плечи и прижалась лицом к его груди:

— Милый, я так страдаю… — чуть слышно произнесла она.

Он обнял ее и стал целовать. Острое чувство нежности, которое он так долго старался заглушить в себе, вернулось. Ему вдруг стало ясно, что нет ничего на свете ближе и дороже этой девочки, которая, вся содрогаясь, плачет на его плече.

И вдруг он услышал:

— Милый, беги, беги скорее отсюда. Кто-то пустил слухи, что ты никакой не раненый, а дезертир!

Эти слова сразу вернули его в реальность, лихорадочно запрыгали мысли: «Неужели Настя что-то разболтала про мое ранение?».

В эту минуту кто-то громко кашлянул за спиной:

— Приветик, молодые! Как там дела с машиной?

Это был бригадир. Нина отпрянула.

— Еще час и начнет работать! — отрапортовал Саша.

Нина взяла бумаги и быстро вышла из помещения. Бригадир посмотрел ей вслед, потом бросил хитрый взгляд на Сашу:

— Как мужчина я тебя понимаю… — и потом уже серьезно добавил: — Заканчивай, заканчивай, все ждут.

Направился к двери и как бы про себя пробурчал слова популярной в то время песенки:

Первым делом, первым делом самолеты,

«Еще ничего не знает, — мелькнуло у Саши. — А то бы так не веселился».

Вечером Саша не выдержал:

— Зачем сплетни ты там пускаешь среди доярок, что я дезертир?!

— Боже меня упаси, — взмолилась Настя, — чтобы я такое говорила! Они сами сочиняют от зависти. Они меня уже давно доводят, что я с инвалидом живу. Я и сказала, что на тебе никаких ранений нету, все зашито, так что ищи, не найдешь. А про дезертира и речи не было!

Всю ночь мрачные мысли одолевали его: «Все это покатится дальше и рано или поздно дойдет до Константиновки. Конечно же, стукачи есть и на ферме. Если просто внезапно исчезнуть, то это как бы подтвердит слухи, пойдет облава по всей области. Нужно найти предлог, чтобы самому поехать в Константиновку. Но какой? Скажу, что ранение дает о себе знать, боли в животе, хочу врачам показаться. А потом из Константиновки уже сообщу, что направили на три дня в Акмолинск на обследование. По крайней мере, недели две выиграю…».

Утром Саша остался лежать в домике и Насте сказал, что начались боли. Но было видно, что она не верит, не верит, что Саша вообще был ранен. Теперь она его просто спасала, разнося по ферме, что рана у него заболела. Саша пошел к бригадиру и сообщил ему о своей беде: «Осколок там. Если через неделю не перестанет, нужно врачам показаться…».

— С чего бы это вдруг? — с нехорошим прищуром спросил бригадир. — Ну что ж, пойдет машина в город, на ней и поезжай.

Только теперь Саша заметил, что отношение бригадира к нему странно изменилось.

Он вернулся в домик и лег. «Теперь и до бригадира дошло». А ведь это он его без документов-то принял и участкового отвел. «Бежать сегодня же, бежать пешком или все же подождать до завтра машину? Один день — рискну!»

В дверь кто-то тихо постучал. На пороге стояла малознакомая ему молодая доярка и, не смотря на него, передала ему какую-то бумажку и сразу ушла. Бумага оказалась запиской от Нины:

«Милый, я люблю тебя и буду всегда-всегда любить, что бы с тобой ни случилось. Вот наш с мамой адрес. Где бы ты ни был, я буду всегда ждать вестей от тебя, а потом и тебя самого, чтобы быть навсегда вместе. Твоя, и навсегда твоя, Нина».

Саша сел и задумался: «Она тоже уверена, что я сейчас

должен бежать».

Он выучил адрес наизусть и разорвал записку.

Теперь и у Насти сон стал тревожным, появилось чувство надвигающийся беды, но она ни о чем не спрашивала.

Начинало светать, когда Саше послышалось, что какая-то автомашина проехала по участку фермы. Было воскресенье, и никто к ним в бригаду по этим дням приезжать не должен. Он тихо поднялся, чтобы не разбудить Настю, подошел к окну, отодвинул занавеску — у домика бригадира стояла легковая автомашина. «Может быть, заблудилась, и что-то спросить хотят», — успокаивал он сам себя, но тут же стал быстро одеваться. Походная сумка для побега уже была собрана с вечера.

Тут и Настя открыла глаза: «Что? Что?!» — увидела она уже одетого Сашу.

— Спи. Машина какая-то приехала, я хочу почту передать, — успокаивал он.

Еще раз выглянул в окно и отпрянул — к домику шли двое военных и один в штатском! Сомнений не было — за ним!

— Прощай, Настя! — прошептал он и бросился в кладовую, где было маленькое оконце, выходящее на обратную сторону дома.

В наружную дверь уже тихо стучали. Настя вскочила с постели, открыла дверь. В комнату быстро вошли двое, один в штатском остался снаружи:

— Где он?!

— Его здесь нет, — постаралась как можно спокойнее ответить Настя.

Саша уже выполз из окна и стал тихо удаляться к кустарникам около оврага.

Вдруг Настя слышит, что кто-то снаружи кричит: «Стой! Стреляю!», и через секунду раздался выстрел, а за ним еще один. Настя всем своим мощным телом отбросила военного, перекрывшего дверь, и буквально прыгнула со спины на шею штатского, повалив его на землю.

Двое военных тут же бросились преследовать убегающего Сашу, но он уже достиг линии кустов и теперь бежал по кромке крутого лога с каменистыми обрывами, на дне которого протекал ручей. Поднимающийся с долины туман укрывал его, но он то и дело спотыкался о камни и этот шум подсказывал преследователям направление его бега. Чутьем десантника он понимал, что он должен перепрыгнуть на другой берег, и тогда преследователям придется карабкаться по обрывистым стенкам оврага, а он выиграет время. Он бежал, и глазами все время искал место, где он смог бы перепрыгнуть на другой берег. Уже дважды

приостанавливался и прикидывал возможности, но не решался, да еще и сумка мешала, которую жалко было бросить.

«Вот здесь». Остановился он, примеряясь для прыжка. Закинул сумку за спину. «Теперь разбег», — командовал он сам себе. «Пошел!» Саша легко перелетел на другую сторону и уже встал на каменистой кромке, но из-под одной его ноги камень стал сползать в обрыв. Он зашатался, мешок перетягивал назад. Он согнулся и распластался по земле, но было уже поздно: за что бы он ни хватался, все ползло вместе с ним вниз. Ударяясь о камни, Саша кубарем покатился на дно оврага.

Когда он пришел в себя, его преследователей еще не было слышно. Он попытался встать, но резкая невыносимая боль в левой ноге снова уложила его. Он попытался еще раз, но почувствовал, что нога его не слушается.

«Неужели это все?». Он лежал ничком на речной гальке и ждал.

Ждать пришлось недолго.

* * *

Прошло несколько месяцев, и в нашем лагере почти все забыли об этом побеге. Большинство было уверено, что всем удалось скрыться.

Однако вскоре пошли слухи, что каких-то двоих привезли и содержат в изоляторе, в отдельной зоне. У лагерной охраны была традиция привозить напоказ пойманных беглецов, чтобы показать всем, что побег невозможен.

Я узнал, что беглецов водят порознь каждую неделю в нашу баню. Один из заключенных, работавший там, был мне хорошо знаком, и мы быстро столковались. Беглецами оказались Виктор и Саша. С Виктором мы были мало знакомы, однако когда произошла наша встреча, он сразу узнал меня и обрадовался. Был он совсем худым и бледным, взгляд потух, и как-то он весь съежился. Говорил он тихо и неохотно и только при нашей второй встрече немного оживился и стал рассказывать обо всех подробностях. На следствии его не били, после шести месяцев пребывания в госпитале он не мог даже сидеть на стуле у следователя — падал. Рана не заживала и гноилась.

Я принес ему гостинец, собранный ребятами: белые сухари и конфеты — в изоляторе его держали на четырехстах граммах хлеба. Затем он передал мне всяческие поручения к товарищам и адрес своей мамы, чтобы я ей написал обо всем.

С Сашей мы встречались в бане несколько раз, пока его вместе с Виктором не отправили на 35-е отделение, где была отдельная каторжная тюрьма, и на работу их водили в кандалах. Мы обнялись, как братья. Следствие длилось недолго, но КГБ выбивало из него новую версию: «Бежал, чтобы уйти на запад, в ЦРУ. Кто связным остался в Москве?».

Переломанная кость на левой его ноге срослась, и ходил он, не хромая. Потерял он примерно половину своего веса, глаза его глубоко запали, но взгляд продолжал оставаться бодрым и порой даже веселым. Здесь, в изоляторе, его навещал прокурор и с угрозами продолжал требовать, чтобы он «открыл московские связи». Мы видели, как этот прокурор, одетый в пальто с бобровым воротником и в шапке домиком, в сопровождении надзирателя направлялся с вахты в угол зоны к изолятору. У его ноги шел огромный дог, а во рту дымилась трубка. Ходили слухи, что был он главным военным прокурором советской зоны оккупированного Берлина и за что-то попал в немилость.

Сашу продержали еще три недели. Когда мы расставались, он

смотрел как-то отстраненно вдаль, и опять я услышал:

— Я здесь долго не задержусь!

* * *

Через несколько лет, уже в период «оттепели», при правлении Никиты Хрущева, когда прошли амнистии и начались частичные реабилитации, я получил письмо и от Саши — он был уже на воле. Вначале он писал о Викторе. Виктор после досрочного освобождения уехал на Урал, окончил техникум сталеваров и работал на одном из заводов.

Саша же считал себя «самым счастливым человеком на свете». Весь период его заключения Нина ждала и писала его матери, а та пересылала письма. Когда же он освободился, Нина приехала к нему под Москву в город Электросталь и они поженились. Под ее влиянием он оставил свою работу электромехаником и успешно сдал экзамены в институт автомобилестроения в Москве, а Нина уже оканчивала педагогический институт. Это была счастливая семья.

Мы звали его Алексис

Я даже не могу ясно припомнить, когда и как я познакомился с ним. Найти друга в десятитысячной толпе заключенных 12-го лагпункта ПЕСЧЛАГА не легко. Видимо, его выразительная внешность привлекла. Он так отличался ото всех, что не обратить на него внимание было просто невозможно. Слово за слово — и мы стали встречаться чуть ли не каждый день после работы. Нам с Павлом сразу почудилось нечто фантастическое в его рассказах о себе, но мы не перебивали и внимательно слушали.

Он сразу же объявил, что он — Алексей Николаевич Топорнин — профессор новой и новейшей истории на историческом факультете Московского педагогического института. Происходит из древнего русского дворянского рода, и большинство из его предков были или военными, или священниками. С виду ему было лет шестьдесят пять; дату и год своего рождения он сохранял для чего-то в тайне. Воспитание и начальное школьное образование получил он в своем родовом имении в Вятской губернии, затем был в кадетском корпусе, который так и не закончил, так как перешел в Московский университет.

В первую империалистическую войну он пошел добровольцем на фронт и на северном направлении получил подряд три

«Георгия», в том числе офицерский. Трудно было понять, при каких обстоятельствах, но перед Октябрьским переворотом он оказался в Париже. В начале Гражданской войны он отправился на Тибет и якобы жил и учился в буддийском монастыре среди монахов. Затем какой-то таинственный «Парижский комитет» посылает его с миссией, и, конечно же, с тайной, в армию генерала Колчака, где он, уже в чине штабс-капитана, принимает участие в боевых действиях Белой армии под Царицыном.

Мы так и не смогли уяснить, как удалось ему после службы у белых оказаться в Москве, да еще и на посту заведующего отделом Исторического Архива. Затем он женится (в который раз?) и у него появилась дочь. В тридцатые годы он «с головой уходит в науку», в результате чего сначала становится доцентом, а потом и профессором кафедры философии. Однако задержался на ней он недолго: перешел на кафедру новой и новейшей истории. Оставалось неясным, какие труды и где были им опубликованы и какие диссертации защищены. Но, судя по тому, что даже лагерные надзиратели с усмешкой называли его «профессор», создавалось впечатление, что это прозвище происходит, видимо, из его личных документов.

Однако независимо от того, был ли он настоящим профессором или нет, сомнений не оставалось — это был феноменально образованный и в высшей степени интеллигентный человек, обладающий необыкновенной памятью и научным темпераментом.

И все же я часто ловил себя на том, что вижу во внешнем его облике черты барона Мюнхгаузена — по известным иллюстрациям в детской книжке. Был он высок и худощав. Держался очень прямо, во всем чувствовалась выправка гвардейского офицера. Шел величаво, торжественно, как ходят командиры перед строем. При движении ноги его как-то забавно выбрасывались вперед, а руки удерживались у воображаемых лампасов. Создавалось впечатление, что он никуда не спешит. Шутовская лагерная форма с огромными нашитыми номерами нисколько не принижала его: она просто была на нем не заметна.

Его нордический череп, несколько расширяющийся кверху, и прямой нос делали его голову похожей на ожившую римскую скульптуру какого-то сенатора. Большие голубые глаза под густыми поседевшими бровями смотрели пронзительно, но добродушно. При этом имел он острый подбородок и несколько упрямо выдвинутую вперед челюсть.

Нас сначала смущала его манера по разным поводам пожимать людям руку, причем у него это выходило так торжественно, как будто бы он благодарил за службу своих

подчиненных.

Рассказывал он не много, но часто. До сплетен в своих рассказах он никогда не опускался, а если это были анекдоты — то политические. Выражение его лица, смотря по обстоятельствам, менялось весьма быстро. В кругу малоизвестных людей он сохранял торжественно-добродушную улыбку, хотя она порой и смахивала на снисходительность. Кто не знал его, думал, что он эгоцентрик. Но это было не так, он очень был чуток к людям, хотя внешне не умел это правильно выразить.

Когда он что-то рассказывал, лицо его преображалось, появлялись живая мимика и жесты. И нужно сказать, что жесты его были очень красноречивы: он по правилам римской риторики никогда не поднимал руки выше линии рта, и сами жесты его были лаконичны и следовали за фразой, а не до нее. Его руки были особенно выразительны: с длинными гибкими пальцами и заметным рисунком вен. Он как-то по-особому складывал их в момент размышления или вопрошающе протягивал к собеседнику при споре, но никогда не подпирал ими голову и не приглаживал в момент разговора волосы — воспитание чувствовалось во всем.

Свою выправку он получил в кадетском корпусе. Там ночью, например, по спальне ходил «дядька» и будил кадетов, если они спали, поджав ноги: подчиненные никогда не должны видеть своего офицера съежившимся.

Когда он находился в состоянии задумчивости, то часто складывал руки ладонями вместе и держал их около груди, так, что в эти минуты он походил на молящегося кардинала. Как только тема разговора переходила на философию, улыбка исчезала и весь его облик приобретал строгий вид. Веки чуть опускались, глаза устремлялись куда-то в бесконечность. И даже если он при этом смотрел на собеседника, то взгляд его как бы проходил насквозь и направлялся куда-то далеко вдаль.

Говорил он ясно и красиво, но не громко. Однако интонации его, как и некоторые слова, были для нас необычны, такой выговор мы слышали только в детстве у «бывших» людей, да еще с такими словечками, как «ежели», «третьего дня», «намедни». Очень часто в его жестах и фразах можно было почувствовать некоторую театральность, но, видимо, она так глубоко сидела в его натуре, что стала естественной. Так же естественными выглядели все его фантазии о себе, они сливались с его обликом. Конечно, он замечал, что ему не верят и над ним смеются, но выйти из этой роли он уже не мог. И, несмотря на все это, порой он был так убедителен, что слушатели переставали смеяться и постепенно втягивались в его игру. Нужно заметить, что его фантазии о себе никогда не были беспочвенны, в них всегда

можно было различить некоторую часть реальных событий, так что его жизнеописания нельзя было назвать ложью, и при этом он был не тщеславен, не корыстен.

Очень часто местом действия его рассказов почему-то становился Париж. Но об этом городе он избегал говорить при Николае Ивановиче Стахове, который там действительно долго жил и знал его. Их споры нас страшно занимали. Стахов был тоже незаурядной личностью. Он происходил из известного русского дворянского рода и был блестяще образован. Окончив университет в Москве, он попал на германский фронт в 1914 году офицером-кавалеристом. Уже при советской власти закончил сельскохозяйственную академию и был известным в стране ученым-коневодом. В тридцатых годах посчастливилось ему избежать ареста, когда в Комиссариате сельского хозяйства пересажали половину состава по так называемому делу Чаянова. Во время Второй мировой войны он оказался на Украине, занятой немецкими войсками, и вскоре переехал в Румынию, где нашел хорошую работу зоотехником-коневодом. Вскоре, после того, как он разыскал своих родственников в Париже, ему с женой удалось перебраться к ним. Однако жить там было трудно, и он решился снова на случайном пароходе вернуться в Румынию, снова найти ту же работу. Это и погубило его: он с женой попал в руки «СМЕРШа» наступающей Советской армии и за «измену Родине» был осужден на десять лет лагерей.

Так вот, Николай Иванович Стахов не давал покоя Топорнину, все время уличая его в выдумках то про Париж, то про Гражданскую войну. Например, только Топорнин удобно устроится и умчится в своих рассказах в свое «героическое прошлое», как идет к нему Стахов.

— Ну, вы его подержите, пока я закончу рассказ.

И мы его «держали», но Стахову то и дело удавалось вырваться от нас, и спор загорался вновь.

Как-то умчался Топорнин в своем рассказе в сладкое прошлое, когда ему посчастливилось лично встретиться с Его Императорским Величеством Николаем Вторым в Зимнем дворце. Будто бы его друг — приват-доцент русской истории — был учителем наследника престола и два раза в неделю давал уроки во дворце. Однажды Топорнин упросил взять его с собой на урок и тот, долго отнекиваясь, наконец, согласился. Прошли они через дверь левого крыла дворца и расположились в учебной комнате. Вдруг, во время занятий, дверь неожиданно растворилась, и на пороге появился сам император. Подает руку доценту, а затем и ему. Спрашивает: «Кем будете?». Он, конечно, представляется полным именем и званием. Император на секунду задумывается и

говорит: «Вспоминаю, что что-то слышал об одном из Топорниных, о его храбрости в Турецкую компанию».

— Так мы и познакомились, — заключил Алексей Николаевич. — Он, знаете ли, мал ростом и с голубыми глазами и…

И здесь его прервал Стахов:

— Когда это было?

— Не мешайте! — отбивается Топорнин. — Летом 16-го года.

— Этого никогда не могло быть: во-первых, вас никогда бы не пропустили во дворец без сопровождения, и, во-вторых, в это лето император был постоянно на фронте под Псковом.

— Верно, верно, — кивает Топорнин. — Но он приезжал, чтобы повидаться с семьей.

— Не приезжал! Доподлинно известно! — рубит Стахов.

— Так значит, получается, что я лгу! — встает Топорнин.

— Я этого не сказал, а только то, что так быть не могло!

— Если не могло, так, значит, это ложь?

— Ну, это уж как вам будет угодно.

— Нет, ну вы понимаете, — обращается к нам Топорнин, — я оказался лжецом! Я требую, чтобы вы сейчас же взяли свои слова обратно!

— Я ведь никаких таких слов не говорил. Слова произносили вы.

— Я требую ответа, милостивый государь! Или…

— Что или, Алексей Николаевич, что же или? — подтрунивает Стахов.

Здесь уж мы с Павлом встаем, рассаживаем их и не разрешаем говорить. Говорим теперь мы: мол, «Николай Иванович выразил только свои возражения, но никак не оскорбил Алексея Николаевича. Однако мы должны заметить, что Николай Иванович очень вызывающе вел спор и впредь должен от этого воздерживаться. То, что рассказывает нам Алексей Николаевич весьма интересно, и мы не хотим, чтобы его перебивали».

Топорнин на минуту притворяется обиженным:

— Нет, я просто никогда больше ничего не буду рассказывать, пока не получу мой архив из Парижа!

Об этом таинственном парижском архиве мы уже не раз слышали. Однако спор на этом прекращался, и они оба снова выглядели приятелями. Топорнин смягчался:

— Нет, я впрочем, отдаю должное Николаю Ивановичу. Он большой знаток нашей истории и очень начитан. А вот детали, краски, может знать не историк, а свидетель.

Роль «свидетеля» Топорнин оставлял всегда за собой.

Однажды в своих рассказах он, как обычно, опять коснулся

того же Парижа, где, как оказалось, однажды он в Парижской опере познакомился с американской писательницей Перл Бак. Павел так и подпрыгнул:

— С Перл Бак! Так ведь это классик американской литературы!

— Это уж вы лучше меня знаете. Она вскоре стала моей женой, — воодушевился Топорнин, — и мы вместе отправились с ней в Тибет.

— Но ведь в монастыри женщин не пускают.

— В монастыре я учился, конечно, один, а она в это время была в Калькутте, где писала и ждала меня.

— Как же она вас величала? Мистер Топорнин или Алеша?

— Называла она меня очень нежно, просто АЛЕКСИС.

И с этой минуты Алексей Николаевич для нас стал «Алексисом». А вот про Перл Бак он как-то больше не упоминал и отправил ее обратно в США. Сам же поспешил на защиту Родины от большевиков.

Иногда у нас возникали философские вечера. Он делился с нами своими «пролегоменами новой философской системы», которая, дескать, уже частично изложена им в его первом томе «Философии Небытия», а идеи второго тома он вынашивает сейчас в себе. Разобраться в его системе нам было не по силам, она нам представлялась какой-то смесью философии Бергсона и буддизма. Реальный мир, воспринимаемый человеком, был для него «иллюзией сознания». Как материя, так и сознание являются частями «глобальной памяти», и в этом смысле люди бессмертны, а точнее, только некоторые из них, так называемые «силло», которые обладают способностью воспроизводить в памяти эпизоды своих ранних ипостасей. Он, конечно же, относился к «силло» и поведал нам, что во времена императора Веспассиана был сначала ликтором, а потом римским сенатором. При смене власти он был коварно отравлен своим подкупленным слугой…

Все, что сейчас пытается открыть наша наука, было уже где-то и когда-то во вселенной известно, так как пульсирующие цивилизации на планетах в точности повторяют один и тот же цикл развития. Так что наука развивается не за счет последовательного изучения фактов, а путем всплесков озарения в сознаниях «силло». Эти «силло» способны и к предсказанию будущего человечества, а также и своей личной судьбы. Однажды он, находясь в плохом настроении, поведал нам:

— Современная фаза развития человечества не интересна и не достойна уважения. Я уйду от них…

И он назвал дату и год. Дату я забыл, а вот год запомнил — 1974.

Марксизм называл он «примитивным оптимизмом» и никогда не опускался до его критики. Свое понятие «небытие» он толковал как «выход» из нашей человеческой планетарной действительности.

Павел, окончивший Московский университет, тоже был историком. Но когда он как-то заговорил об истории, Алексис безапелляционно заявил:

— Никакой такой Истории нет!

Для него развитие существовало только в космосе. Развитие же человечества есть повторения, пульсации. Эти пульсации имеют периоды и фазы. Например, на нашей планете человечество вступило в свою конечную фазу — в фазу глобальной перенаселенности. Само же человечество не имеет никакой цели, как и отдельная личность. Всякое развитие цивилизации уже таит в себе зачатки своей гибели. Цивилизация сама по себе — большое несчастье для индивидуума. Она развивает все новые и новые потребности, удовлетворить которые общество для каждого своего члена не в состоянии, поэтому плодит все больше несчастных и недовольных, приводит к периодам самоуничтожения, к революциям.

— Ах, если бы мы смогли найти способ себя самоограничивать! Человечество смогло бы на многие тысячелетия продлить свое существование! — восклицал он. — Чем меньше мы имеем — тем более мы счастливы. Самоограничение — примат мудрости.

Когда дело касалось новейшей истории, свидетелями которой были мы все, он становился веселым и шутливым. Но получалось так, что каких бы событий мы ни коснулись, он оказывался их свидетелем или даже участником. В свое время Павлу посчастливилось прочитать изданный в 20-е годы и затем запрещенный дневник фрейлины императрицы, Вырубовой. Павел интересно рассказывал нам о разных любовных интригах этой дамы и когда он закончил, мы заметили, что Алексис как-то интригующие улыбается.

— Алексей Николаевич, видимо, вы еще что-то можете добавить?

И здесь после некоторой паузы он промолвил:

— А знаете ли вы, кто был тайным любовником Вырубовой?

Мы начали гадать: «Распутин… Граф Орлов…». Помедлив еще немного, он с вожделенно-сияющим лицом вдруг перебил нас:

— Нет, нет, и нет! Это был… — и после некоторой паузы: Ваш покорный слуга!

Мы, конечно, начали давиться от смеха, но ему не

возражали — театр есть театр.

Одним из бригадиров на нашем лагпункте был Владимир Алексеевич Богородский, бывший комдив Красной армии. Это был сухощавый, узколицый, пожилой человек, лет шестидесяти пяти. Несмотря на свой возраст, он держался «удалым казаком»: разнимал дерущихся, ходил «депутатом» от заключенных к начальству — это был командир по натуре. Он родился в Сибири в конце прошлого века, в период ссылки своих родителей — левых эсеров. В царской армии прошел путь от вольноопределяющегося до штабс-капитана. После Октябрьского переворота вступил в ряды Красной армии, сражался на Урале, а затем «ликвидировал банды басмачей» на юге Узбекистана под руководством Фрунзе. Награжден был орденом Красной Звезды и личным оружием. Затем учился в Москве в школе командного состава. Арестован в конце 1939 года по делу «правотроцкистского блока» за связи с Файзуллой Ходжаевым[16].

Но было видно, что он мало похож на большевика — был он начитан и интеллигентен, арест и суд отрезвили его — он стал ярым противником Советской власти и о большевиках высказывался с иронией. В противоположность этому свои доблестные военные успехи в рядах Красной армии он как-то отделял от всей советской истории и продолжал гордиться ими.

Мы знали, что он воевал за красных под Царицыном, и поэтому специально познакомили его с Алексисом, будучи уверены, что они найдут общие темы для воспоминаний. Он начал с экзамена для Топорнина.

— А за какие села вы там воевали? — домогался Богородский.

Топорнин сразу же назвал несколько.

— Ну, это вы могли и в учебнике истории прочитать. А вот кто был командиром вашего полка?

— Капелевского полка, — добавил Топорнин и, перехватив инициативу, начал с вопроса: А чем командовал у ваших красняков Колесников?

Пауза.

— Странно. Не знаете, — наступал Топорнин.

— Но я знаю, что мы там вам так дали, что вы катились до самого Урала!

— Вы нам дали?! А ну вспомните, как вы драпали без штанов ночью из-под села Мокрое!

— Это вы про вашу атаку-то? Так вы ведь были все пьяные…

— А вы, что, проверяли нас? Голодранцы!

— Кто голодранцы? Да, мы хромовых сапожек не имели. А вы трусы, вспомните, как вы бежали…

— Мы бежали?! — и Алексис вцепился в лацканы Богородского.

Тут мы начали их растаскивать. Беседа пришла к концу. Но у нас сложилось впечатление, что Топорнин под Царицыном все-таки был.

Утром же на разводе они встретились, обменялись рукопожатиями и выглядели, как друзья.

А вот за Стаховым нам приходилось присматривать, чтобы не получилось так, что их воспоминания о Париже будут проходить без нашего присутствия, тогда разнимать их будет некому. Однако Стахов нашел другой способ атаковать Топорнина. Поскольку он действительно долго жил у своих родственников в Париже, то французский был у него хорош. И это свое преимущество он пускал в ход, чтобы доказать, что Топорнин никогда не был в Париже.

Стахов однажды подошел к нему во дворе и, как само собой разумеющееся, обратился с длинной тирадой на французском. Было видно, что Алексису стоит больших усилий понять его, но он все же понял и отлично ответил парой фраз.

В другой раз Стахов уже атаковал его еще более сложными фразами, причем при этом убыстрял речь. Алексис продолжал честно бороться — он и на этот раз нашелся что ответить. Но Стахов на этом не успокаивался.

Однажды, встретив Алексиса с нами, он стал говорить на французском такой скороговоркой, что всем было ясно: он просто доводит его. И тут Алексис взорвался, он не стал ждать, пока тот закончит, а начал в том же ритме по слогам его перекрикивать по-русски:

— ИДИТЕ-КА К Е…… МАТЕРИ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК!

Стахов сдался, он стал хохотать вместе с нами. И мы все пришли к выводу, что экзамен по французскому Алексис выдержал.

Как и у каждого человека, были у Алексиса и свои слабости. Одну из них мы открыли у него совершенно случайно. Каждому из нас разрешалось иметь тетрадь и шариковую ручку, которые приказано хранить непременно в тумбочках около нар, и при каждом из очередных обысков тетрадь могли проверить. При таких условиях, конечно, никто из нас не решался что-то личное туда записывать.

Но вот однажды я заметил, что Алексис в свободные минуты сидит и что-то пишет в эту тетрадь. Да и тетрадь он раздобыл необыкновенно толстую с твердым переплетом. Все наши попытки проникнуть в тайны его писаний были безрезультатны — с какой-то женской застенчивостью он отказывался показать нам

свои записи.

Я был поражен, когда он как-то сам пожаловал в наш угол, неся в руках эту самую тетрадь.

— Вы, конечно, будете смеяться, но я разряжаю свою ностальгию по сладкому прошлому, — и он нежно погладил тетрадь.

— Мемуары! Наконец-то! — воскликнул Павел.

— Нет, не гадайте — не отгадаете. Собрание русского городского романса! — торжественно объявил он и с гордостью передал нам свои записи.

Чтобы бегло просмотреть эти примерно двести страниц, потребовалось полчаса. Мы не верили своим глазам: в тетради в определенном порядке были записаны и пронумерованы слова русских и цыганских городских романсов конца прошлого и начала нынешнего веков. Их было около двухсот. Я поднял на него глаза, и он, показав на свой большой лоб, добавил:

— И примерно столько же еще в голове — бумаги не хватило.

Как можно было все это понять: с одной стороны, философия Бергсона, с другой — ресторанные романсы. Но это было так. В глубине души своей Алексис был настоящим русским барином: «жить не можем мы без шампанского, да без табора, без цыганского».

— Да как же вы смогли это все так точно собрать в своей голове?

— Ах, да оно само вошло! Ведь в хорошие-то времена все дела решались в ресторанах, а возьмите вы первые граммофонные записи. Кто на них? Катюша Сорокина, Варя Панина. А, кроме того, господа, это же часть русской музыкальной культуры.

И чего только не было в этой тетради! Конечно же, весь дореволюционный Вертинский, Норовская, Плевицкая, Лев Доризо и песни городских цыган.

Он очень интересно нам объяснил, что такое поющие городские цыгане. Это обособленная группа цыганских артистов, давно вышедших из табора и осевших в столицах. Огромный успех и появление своих композиторов постепенно создали особый стиль песен и романсов. Главными эстрадами для них были рестораны, куда они привлекали публику, создавая особую атмосферу праздничной удали или романтической любви. Многие из них быстро разбогатели, наняли шикарные квартиры в центре города и даже держали свой выезд. Одеваться они стали по-другому: вместо таборных шаровар у мужчин или цветастых юбок у женщин — великолепные фраки или кружевные темные платья до пола с жемчугом. Своей лирической ритмикой и темповой прорисовкой цыганский романс оказал сильное влияние

и на русский классический романс, который стал теперь называться русским городским романсом. Гитара сменила рояль.

Эти две неразрывно связанные ветви музыкальной культуры обрели массу поклонников. Романсы пели на домашних вечерах, записывали на граммофонные пластинки, бесчисленные открытки с фотографиями певцов продавались во всех магазинах.

Но таборные цыганские хоры не сдавались — они обосновались в предместьях столицы, таких, как Стрельна, Озерки, Петергоф, и там, в небольших ресторанчиках, у них всегда была свои публика.

На нашем лагпункте отыскался и еще один старый любитель таких романсов, он не был таким знатоком, как Алексис, — он был частью той публики.

Александр Александрович Сабинин был маленького роста и как-то умудрился и в лагере сохранить небольшой животик, видимо, остаток того, солидного, который был на воле. На его круглом лице обращали на себя внимание большие, как бы удивленные глаза. Он появился среди нас как-то неожиданно и сразу же признал нас за своих. Нам не хотелось верить, что он был поручиком в Русской армии во время германской войны, уж слишком он смахивал на продавца из колбасной лавки. Алексис объяснил нам, что во время войны появлялись и такие офицеры. Происходил он из купеческого сословия и сам собирался заняться торговлей, да вот война помешала. После Октябрьского переворота эту мечту он почти осуществил во время НЭПа. Ему пришла в голову идея — совсем как Чичикову в поэме Гоголя «Мертвые души» — скупать то, что другим совсем не нужно. Он обратил внимание, что в промывных сточных водах заводов по производству крахмала большой процент этого продукта уходит в отстойники, где и оседает на дне выгребных ям, конечно же, вместе и с другими нечистотами. Наняв нескольких рабочих, Сабинин объезжал эти заводы и предлагал бесплатно очистить их выгребные отстойники, что, конечно, хотя и удивляло хозяев, но, в общем-то, было им выгодно. Эту «грязь» он свозил в бочках на свое маленькое предприятие, где производил очистку и отмывку этого «добра». В результате получался чистый крахмал, который после сушки и упаковки в пакеты со штампом санинспекции продавался на базарах по низким ценам как «картофельная мука». Никто, конечно, не знал происхождение этой муки.

Слушая все это, Топорнин морщился, и, наконец, его прорвало:

— Ну, слушайте, поручик, чтобы я в ваших помойках копался! Представляю, какая эта была вонь!

Но Сабинин даже не понимал, что это его унижало, видимо,

он так был воспитан. На этом деле он быстро разбогател, купил квартиру в центре Петрограда и даже заграничный автомобиль. Но радость была недолгой: НЭП продлился еще только два года, и потом частные предприятия стали конфисковывать, а владельцев арестовывать. Но Сабинину повезло, он просто бросил свой заводик на произвол судьбы и сбежал в Москву, где вскоре стал бухгалтером на чулочной фабрике.

Однако этот маленький и весьма практичный человечек имел слабость, но не столько к русскому городскому ресторанному романсу, сколько к самим ресторанам вообще. Любил он и цыганские хоры, да так, что еще перед Октябрьским переворотом женился на маленькой молодой цыганочке из хора. Варечке, которую поселил в своей квартире, приносил ей каждый вечер цветы, и она ему пела под гитару. Трудно сказать, что привлекло эту молодую девушку, но брак этот продолжался два года, пока Сабинин не стал замечать, что Варенька днем стала куда-то исчезать, а вечером от нее исходил запах дорогих духов и коньяка. Выяснить, что с Варенькой происходит, он сам не мог, он каждый день должен был являться в Красное Село, где стояла их воинская часть. В то время в России уже появились бюро частных детективов, по большинству занимающихся уличением супругов в неверности. Вот он и обратился в такое бюро. Не прошло и недели, как ему принесли фото, где его Варенька лежит на диване полураздетая в объятиях какого-то усатого господина в подтяжках.

Рассказывал он нам об этом без всякого юмора, как будто бы это произошло совсем недавно:

— В наш последний вечер я принес ей это пакостное фото, большой букет роз и сказал: «Варенька, вы внешне прекрасное, но внутренне растленное существо! Я люблю вас и в то же время ненавижу!».

В отличие от Топорнина он был знатоком оперы. Еще мальчишкой он с галерки прослушал все оперы Мариинского и Михайловского театров и, наконец, сам решился учиться петь. Его первым учителем стал знаменитый Талмазан, занимавшийся с Шаляпиным. «Он открыл во мне тенор!» — восклицал Сабинин. Но дальше дело не пошло — началась империалистическая война. Однако любовь к опере и вера в свою оперную карьеру не оставляли его до сих пор. Можно было видеть, как он ходит с постоянно меняющийся физиономией и двигает губами. Если в эти минуты обращались к нему, то он отвечал вам продолжением той арии, которую сейчас пел: «…у нас ведь было счастье!»[17].

Они с Топорниным сначала мирно вспоминали Петербург, а затем начинали неистово спорить. Один старался уличить

другого в некомпетентности. Если во время рассказов Сабинина Топорнин перебивал его, то тот его «наказывал»:

— Перебиваете!? Тогда быстро скажите при всех, где был ресторан «Братья Пивато»?

— Справа, не доходя арки Главного штаба, — выпаливал Топорнин.

Когда же ему никто не мешал и скромным слушателем был только я, он уносился в свои сладкие воспоминания, называя меня «Лёничкой».

— Вы понимаете, Лёничка, садитесь этак вы к извозчику в сани у Николаевского вокзала, а рядом с вами этакая милая девушка в капюшоне, с румяными щечками, и говорите вы вознице: «Гони на Елагин!». И понеслась его пара, а то и тройка, вдоль Невского прямиком на закат, к Адмиралтейскому шпилю. Газовые фонари только начинают разгораться, а по правой стороне уже начала течь гуляющая публика. На Елагине хороший деревянный ресторанчик был — «Дмитриев», так опрокинем там по стопочке ледяной водочки с икоркой, посидим, понежимся, да и назад на Невский. Дамам-то в солидных ресторанах пить водку не полагалось. Ну, куда дальше? «Кюба де Пари?» Тот, что на Малой Морской — отличная кухня, но туда уже не попадешь, если столик не заказан. К «Палкину» на второй этаж? Он рядом с «Кюба» на углу Невского — очень людно и света много, еще своих встретишь. Почти напротив немецкий «Лернер» и итальянский «Доминик», их окна смотрят на Казанский собор — так ведь там чиновная публика. Ну, конечно, к «Донону»! Вывертываем на Мойку по набережной, туда, не доезжая здания Хоровой капеллы. Такой проезд на саночках по тем временам 25 целковых стоил, это тебе жалование служащего. Ресторан «Донон»-то ведь сразу не увидишь, к нему подъезжаешь через ворота простого дома во двор, ну а там, в глубине-то — дворец с летним садом и мраморной лестницей. Официанты у «Донона» все из татар. О, это артисты — не замечаешь, как они тебя обслуживают. Если мясное блюдо угодно, то сам повар спешит: несет на деревянной доске куски сырого мяса из тонкого филея — «от которого отрезать и сколько?». А потом как приготовить: на углях ли или на жаровне, да еще какой соус подать. Румынский оркестр в углу на эстраде. Ну а если тебе шумно, иди садись в зимнем саду или в кабинетах на галереях. Чего и говорить, шампанское и устрицы были страшно дороги — за бутылку двадцать целковых, а за штуку рубль. Не все могли позволить, меня-то папа баловал. Попозднее так и орхидеи в кожаных футлярах подносят по 25 рублей. Никогда не брал — розами отделывался.

А знаете ли вы, кто такой был Доминик? Это был хитрый

итальянец, он на втором этаже напротив Казанского собора большой ресторан открыл, весь деревом отделал, большие венецианские окна соорудил. Публика особенно днем к нему валила — кухня очень дешевая была. И вот до чего додумался: студентов в долг годами кормил — «станешь инженером — расплатишься».

Представьте себе, как только первые телефонные аппараты в Петербурге появились, так владелец ресторана «Экспресс», тот, что в подвале неподалеку от храма Спаса-на-Крови, сразу же у себя на каждый столик отдельный телефон поставил. Выпили и друзьям звонить, мол, приезжайте — мы в «Экспрессе».

Ну, уж если кто очень большой гурман, то тому только у «Кюба» столик заказывать надо. Там замечательные французские пулярки, жаренные на вертеле, лангусты, луковый суп и что самое главное, так это трюфели: соус из трюфелей только у него можно было получить…

Вот такой был несостоявшийся певец и маленький поручик Александр Александрович Сабинин. Я слушал его, словно доброго сказочника, так как в мое время эти рестораны были уже превращены в склады унитазов, детские сады и конторы, хотя роскошные плафоны на потолках, мраморные марши лестниц, иногда витражи и части наборного паркета можно было еще заметить.

В нашем лагере все должны были работать, несмотря на возраст. Пожилого профессора тоже стали выгонять на работу, то в составе бригады каменщиков, то штукатуров — нигде он не подходил, все бригадиры держать его у себя отказывались, так как из-за него бригада теряла выработку. Наконец, ему придумали работу вполне индивидуальную, где он никому не мешал, — класть кафельные плитки в туалетах и ванных комнатах строящегося восьмиэтажного дома. Вначале все шло хорошо: надев очки и удобно расположившись на бетонном полу, он с некоторым увлечением накладывал цементную массу на тыльную сторону плиток и тщательно размазывал ее по поверхности, как масло на бутерброд, затем укладывал на пол. О нем как бы забыли, несколько дней он работал в полном одиночестве. После работы он выглядел совсем не усталым и даже довольным.

— Ну, как, Алексей Николаевич, работа?

— О, великолепно! Видите, дорогой, каждую, даже самую нелепую работу можно сделать творческой!

Меня несколько насторожила его последняя фраза, но я не придал ей особого значения. Прошло еще несколько дней, моя бригада вела кладку на чердаке дома, как вдруг я увидел, что

внизу около дома стоят кружком люди, размахивают руками и что-то возмущенно кричат друг другу. Но что меня сразу же встревожило, так это то, что в центре этого круга стоял Алексис. Я бросился вниз по лестнице, подбегаю и вижу главного прораба строительства, военного инженера, двух в интендантской форме (дом строило военное ведомство), видимо, подрядчики, и двух бригадиров из заключенных. В центре — Топорнин.

— Виноваты вы, — кричал на бригадиров прораб. — Вы должны были ежедневно принимать от него работу!

— Да кто же знал, что он идиот! — парирует бригадир.

— Молчать! Все снять за один день, счистить и положить новые полы! Все убытки пойдут за счет выработки бригады!

— Да это невозможно, цемент уже схватился. Тут на неделю…

— Молчать! За один день!.. Или вы уже не бригадир!

Двое военных с открытыми папками в руках молча, с любопытством, осматривали Топорнина. Он же стоял невозмутимый и глядел куда-то в сторону, как бы осматривая построенный дом. Стало ясно, он что-то натворил с кафельными плитками. Я побежал по этажам. На первых двух все было нормально. В чем же тогда скандал? Я поднялся выше, и тогда мне открылась вся картина. В ванной и туалете третьего этажа по центру пола маленькими черными плитками были оригинально выложены силуэты сидящего с расправленными крыльями орла, совсем такого, как на античных мозаиках. Бегу выше на четвертый — из тех же черных плиток в центре «SALVE» (приветствую) и под ним соединение двух рук. На пятом — египетский жук скарабей и по краям орнамент меандром. На шестом — две рыбы, встретившиеся нос к носу. Далее я не пошел, я бросился вниз. Алексис уже сидел один на груде кирпича и что-то чертил на земле.

— Алексей Николаевич, ну, что же вы, право! Весь дом из-за вас не приняли!

— Ну, я же не виноват, что у людей нет вкуса!

В карцер сажать его не стали, так как тогда нужно сажать и бригадира. Прораб решил замять дело на стройплощадке и не докладывать лагерному начальству. Уже через час на все этажи были брошены бригады каменщиков с тем, чтобы срочно сломать и очистить плитку. На следующий день должны были класть плитку снова. После окончания работы, когда бригады проходили через строительную вахту, чтобы погружаться в машины, я услышал, как вольный прораб кричит бригадиру, показывая на Алексиса:

— Только чтобы завтра я этого идиота на строительной

площадке не видел!

Так, пожалуй, навсегда и закончилась строительная карьера профессора Топорнина. Ему стали подыскивать работу на другом объекте.

Видимо, строить «здание социализма» Топорнину не очень-то хотелось. Он уже в бригаде сантехников обдумывал способ, как избавиться от стройки. Наконец, все заметили, что он время от времени вдруг ложится на землю и замирает. Дыхание в эти минуты у него как бы прекращалось, он бледнел, и глаза его становились стеклянными. Постепенно это дошло и до бригадира, который тут же поинтересовался, что это такое с ним происходит. На что последовал ответ:

— Этого вы не поймете, это особая болезнь. Не обращайте внимания.

Бригадир был заинтригован. Получалось, что Алексис не требует к себе никакого снисхождения и согласен, как прежде, продолжать работу. Однако бригадир стал уже побаиваться ставить его на высотные работы. «Припадочный», — подумал он. Но чтобы обезопасить себя от разных случайностей, он доложил об этом нарядчику лагеря. Врачей на нашем лагпункте не было — в лагере для особо опасных политических они не требовались. Был лишь фельдшер, который так же работал в простой бригаде и лишь иногда оказывал помощь при производственных травмах и имел для этого только медицинскую сумку.

Когда же Топорнина выгнали из бригады и встал вопрос, что с ним делать дальше, здесь нарядчик и вспомнил, что он «припадочный» и на строительные работы его нельзя — морока будет. Вызвали фельдшера, он подтвердил, что видел однажды эти «припадки», хотя причина ему не ясна. Тут вызван был и сам Топорнин:

— Да не обращайте внимания, гражданин начальник, это у меня с рождения, это неизлечимо, так как это «синдром Адамс-Стокса».

Никто, конечно, включая и фельдшера, ничего о такой болезни не слышал, да и спросить было не у кого, разве лишь у самого больного. Топорнин разъяснил:

— Да это вот такая очень редкая болезнь, когда время от времени сердце и дыхание останавливаются, и я как бы на время умираю. Я как бы ухожу в другой мир.

И после паузы добавил:

— И когда-нибудь уйду и не возвращусь. Но это не должно вас волновать, вы используйте меня на любых работах.

Вот эта-то готовность его всюду, куда ни поставят, работать и настораживала начальство, и снимала всякое подозрение, что он

симулянт. Алексис был тончайшим психологом, и начальству тягаться с ним было невозможно. В результате они решили, что для них будет спокойнее, если он станет в зоне убирать территорию. Профессора определили в бригаду стариков-подметал и оставили работать в зоне.

На следующий день вечером мы так чуть со смеху не упали, увидав его с огромной метлой и совковой лопатой в зоне. Он величественно вышагивал, неся лопату на плече, как винтовку, а метлу волок сбоку по земле, как саблю. Работал он с большой тщательностью, как будто убирает свой садик на даче, поэтому производительность была очень низкой, и остальные старики ворчали на него. Бригадир уборщиков стал докладывать надзирателю, но тот мер никаких не принимал, видимо, подумал: «Профессор, так он и есть профессор!».

Часто так случалось, что когда мы возвращались с работы, он еще возился с метлой на территории.

— Приветствуем тебя, учитель! Труд породил человека! — ехидно шутим мы. На что он отвечает с улыбкой:

— Знаем, слышали! Это на вашей марксистской кухне так, а у нас труд — это страшная кара человеку за его пренебрежение к Божеству. — Он всегда Бога называл Божеством и считал, что это не одно и то же. Потом, подойдя к нам, добавил:

— Это вы строите им дома! — Мы действительно в то время работали на постройке 24-квартирного дома для работников Горкома партии в Караганде. — А мы, — продолжал он, — больше не кладем ни одного кирпича в их здание!

Под «зданием» нужно было понимать «здание социализма».

— Я вот горд, — потряс он своей метлой, — что ухаживаю за своими товарищами и за вами тоже, господа!

Но, видимо, Божество действительно повернулось лицом к Алексею Николаевичу.

Несмотря на то, что заключенным разрешалось получать несколько продуктовых посылок в год, так как это было выгодно начальству и экономило продукты питания, книг же ни получать, ни иметь не разрешалось — это была идеологическая стерилизация. Но в посылках шли и шли книги, которые тут же отбирались и выбрасывались в огромную кучу в кладовой.

Трудно сказать, почему, но вдруг вышел приказ по начальству организовывать в лагере библиотеки для заключенных. Пришел огромный список книг — запрещенных, идеологически нейтральных и рекомендованных. Например, такие авторы, как Достоевский, Леонид Андреев, Бунин, хотя и издавались на воле, для заключенных считались «идеологически ущербными».

У начальства возникала проблема, кто же сможет разобраться

в этой дошедшей до потолка груде отобранных книг, чтобы создать из нее библиотеку. Вот тут-то и вспомнили о профессоре, который уже долго мозолил им глаза. Из четырех тысяч заключенных нашего лагпункта можно было бы набрать еще много разных профессоров и даже академиков, но Топорнина начальство уже хорошо приметило. Словом, приходит как-то он к нам в барак сияющим:

— Ну, вы только посмотрите! Вызывают они меня на вахту и предлагают возглавить библиотеку! Я отказываюсь, конечно. Нет, говорю, господа, я уже полюбил мою метлу и уже стал профессором уборки… А они — нет: «идите, мол, департаментом управлять»[18]. Стал отнекиваться я, для приличия, да и согласился. Теперь целую неделю мы вместе с господами надзирателями сортируем и составляем список этих книг.

Так и возникла библиотека профессора Топорнина. Бюрократом он оказался отменным. Составил карточки на каждую книгу, их оказалось более тысячи. Придумал и изготовил штемпель, которым метил все книги. В бетонной кладовой без окон он поставил вдоль стен стеллажи из досок, а на них рядами книги, разделенные лишь ему понятными закладками с шифрами. Затем он нашел где-то старый стол, изодранное кресло и два стула. По стенам развесил портреты писателей, списки рекомендованных книг, в банке на столе держал пучок свежей зелени. Он преобразился: сшил себе халат с нарукавниками, начищал до блеска лагерные ботинки и стал похож на чиновника царских времен.

— Теперь я буду создавать людей! Литература — это большая сила! — таинственно сообщил он нам.

В один прекрасный день все бараки были оповещены, что библиотека ждет читателей. Но читатель не шел. После 10-12-часовой изнуряющей работы никому не было дела до книг, они были нужны, пожалуй, лишь только как бумага для курева. Так что его библиотечный салон пустовал, и лишь только редкие любопытные, в большинстве своем из «придурков» — поваров, банщиков, дневальных — посещали его.

Когда мы впервые пришли в его салон, он восседал в своем кресле в задумчивой позе, с зеленой веточкой в нагрудном кармане и с Марком Аврелием в руках.

— Каким я был глупцом, — как бы продолжая свою мысль, заговорил он, — ведь для счастья человеку нужны только свежий воздух и книги…

— И еще интересная женщина, — банально сострил я.

— Ну, это всегда подразумевается, но не говорится! Садитесь, господа, речь сегодня пойдет о феномене счастья. Вы Баруха

Спинозу, надеюсь, в свое время хорошо усвоили…

И понеслось…

Постепенно и работяги стали заглядывать в его библиотеку: все же в лагере давался один свободный день в неделю, чтобы сводить всех в баню, остричь, обыскать, осмотреть. В эти дни, конечно, тоже покоя не было: травили клопов, вызывали к оперу, сажали, кто заслужил, в карцер. Но все же возникала и тяга к книге.

При появлении посетителя Алексис вставал, с сияющей улыбкой подавал ему руку и говорил при этом что-нибудь вроде:

— Я знал, что ты придешь! Садись!

Причем он точно определял, кого он должен называть на «вы», а кого на «ты», и никто при этом не обижался. Чтобы не упустить клиента, он давал ему вначале что-либо «интересненькое», например: «Собаку Баскервилей» Конан Дойля. И потом таинственно добавлял: «Прочтешь — побеседуем». Во второй приход он уже давал ему «Дуэль» или «Станционного смотрителя» Пушкина, а уже затем рассказы Куприна.

К нему стал наведываться мулла из Таджикистана, участник Дикой дивизии РОА. Он не мог читать по-русски, хотя и говорил. Книг для него, конечно же, не оказалось. Но Алексиса это не смущало. Они стали вести философские беседы об учении Магомета.

— Напомните-ка мне, в какой суре Корана Магомет учит о женщине.

Сначала мулла боялся вступать в беседу, так как мог оказаться пропагандистом магометанства, за что он собственно и сидел, но потом доверился Топорнину, и у них начались тайные беседы. Как-то однажды заходит он к нам в барак:

— Ах, как все это правильно, я ведь всегда учил, что Божество наше едино, только народы создали разные о нем учения.

Как-то я попросил маму выслать мне в посылке «Капитал» К. Маркса. Книга пришла и была сразу же передана в библиотеку к Топорнину. Он поставил на ней свой штемпель, а также мою фамилию. Удивлению его не было конца: я и «Капитал»!

Когда я явился к нему за книгой, он встретил меня с плутовской улыбкой, как будто дело шло об очень смешном.

— Вот ваша книга, — покрутил он ее в руках. Потом подошел ко мне вплотную, приблизил свое лицо к моему, так что чуть было наши носы не столкнулись, и впился молча в меня глазами. Затем, как будто бы что-то рассмотрев, добавил:

— А, понимаю. — И передал мне книгу, ни о чем больше не расспрашивая. И действительно, уже в это время в моей голове совершалась работа над впоследствии вышедшей за рубежом

книгой «Государственный капитализм», которая стала критикой тоталитарной ленинской экономики. Мне нужен был справочник — им-то и был «Капитал». Алексис сразу это учуял, хотя мыслями своими я в то время ни с кем не делился.

Ко мне относился он, как к сыну. Как-то, увидев, что я часто записываю что-то в блокнот, он сел рядом, подождал, пока я закончу, потом положил свою костлявую руку на мое плечо:

— Вы — молодой, и это очень, очень важно. Сейчас вы проходите через этот ад, как Овидий в «Божественной комедии» У Данте: вы все видите и все запоминаете… Потом вы непременно должны об этом написать.

— А почему не вы, Алексей Николаевич?

— Я не успею… — И после паузы: Дожить до рассвета.

«Салон Топорнина» становился все более популярен: к нему уже стали возникать очереди. Каждого своего читателя он уже хорошо знал. Читателей он делил на «уже зрелых» и «созревающих». Как ни зайдешь к нему, оба стула уже заняты — сидят и его слушают.

— Нет! — кричит он из-за стеллажей. — «Песнь о Нибелунгах» я тебе не дам, ты там ничего ровно еще не поймешь. А вот возьми-ка сначала «Отца Горио» Бальзака, да и поплачь, как следует!

Он часто вел беседы с читателями: очень деликатно расспрашивал, что кому понравилось в книге, и часто переводил разговор на их семьи, что остались на воле, пишут ли и что пишут. К нему стали приходить уже не за книгой, а за советом или просто душу отвести. Алексис не был этаким добрым дядюшкой-утешителем, он говорил все, что думал, прямо, и за это ценили его:

— Раз нашла другого, — покрикивал, утешая, он, — так забудь ее, стерву, вычеркни из памяти! Благодари Божество, что ее нутро для тебя открылось. Представь себе, если бы не этот лагерь, ты так бы и жил с ней и никогда бы не узнал, с кем ты живешь!

— Да не могу я забыть ее, столько вместе прожито, дети… Не будет у меня новой такой семьи…

— Нет, ну вы посмотрите, у такого молодца не будет другой любимой! Ты посмотри на себя: ты умен, молод, красив! Да ты же счастливейший человек! У тебя все впереди!

— Да ведь у мня двадцать пять лет лагерей еще!

— Не будешь сидеть! Не будешь! — почти кричит на него Алексис. — Еще два с половиной года только и все. Не спрашивай, почему я знаю, ты этого не поймешь! Но я знаю!

И они не спрашивали, они уходили от него обнадеженные и

успокоенные. Он вбивал в них надежду, и причем не напрасно, ведь именно через два года умер Сталин и пошли для всех амнистии.

Однажды к нему пришел морской офицер и принес письмо жены. Офицер был командиром эсминца в Балтийском море, два раза тонул и два раза выплыл, но последний раз на вражеский берег и попал в плен. В плену он занимался ремонтом немецких подводных лодок и за это после войны был приговорен к пятнадцати годам лагерей за «пособничество врагу». Его бывший друг, сокурсник по морскому училищу, соблазнил за это время его жену, убедив ее, что муж никогда не выйдет на свободу. Жена же поставила глупое условие, что выйдет за другого только тогда, когда сам муж ей напишет и разрешит. Друг и написал ему вызывающее письмо, от которого Алексис весь покраснел. В письме тот назвал капитана «врагом народа», обвинял его, что тот своим поступком вверг в несчастье свою жену и детей, хвалил справедливый советский суд и требовал, чтобы тот написал жене, разрешая ей выйти за него замуж. Он же идет на благородную жертву — берет ее в жены.

Топорнин посоветовал ему сразу не отвечать и принес это письмо нам, чтобы составить совместно ответ мерзавцу. Сели мы все писать «письмо турецкому султану», каждый свой вариант. А потом вместе с моряком сели и составили от его имени одно общее. Как нам казалось, письмо было гневным, но очень остроумным, мы издевались над негодяем, просидевшим в тыловом штабе всю войну. Жене была послана копия.

Результат был потрясающим: через два месяца он получил покаянный ответ от жены. Она прогнала от себя «демона» и стала «зрячей», просит прощения и ждет, любит и надеется. Капитан при нас плакал от счастья и благодарил. А еще через некоторое время пришла ему от нее продуктовая посылка. Так Алексис «делал людей».

Все сразу заметили, что на нашем лагпункте появился новый молодой надзиратель. По-видимому, это был начинающий практикант, стажер, так как чаще всего он ходил вместе со старшим, матерым надзирателем, и тот ему все показывал и объяснял. Было видно, что он из демобилизованных после войны сержантов. Смотрел он на нас всех с некоторым удивлением. Постепенно ему доверили вести самостоятельные дежурства по зоне.

Однажды он неожиданно появился в библиотеке:

— Ну, что тут у вас? — с деланной грубостью обратился он к Топорнину.

— Книги, гражданин начальник, книги и книги.

— Ну, что же это за книги? — сел на стул надзиратель.

— Разные. Все они отражают жизнь и душу человеческую, — начал свою проповедь Алексис.

— Вот ты, профессор, что ты мне порекомендуешь почитать?

— Врагам народа не положено рекомендовать начальству книги.

— Ну, оставь свою философию! Тогда просто найди что-либо почитать.

Топорнин набрал в легкие воздух, затем его выдохнул, приспустил веки и задумался.

— Толстой, несомненно, Толстой! — пробурчал он, как бы поставив трудный диагноз.

Затем он поднялся и пошел вдоль стеллажей, вынул книгу и положил на стол — это было «Воскресение» Л. Толстого.

— Сначала будет скучно, — предупредил он, как будто бы речь шла о горьком лекарстве. — Вы только поймите: она проститутка, а он дворянин-помещик. Вдруг он узнает в ней ту самую девочку, которую он соблазнил еще в ранней молодости, а потом и забыл об этом. Она убила в постели пьяного нахала купца, и теперь ее судят…

Глаза надзирателя уставились на Алексиса, затем он молча взял книгу и ушел.

Прошла примерно неделя, когда случайно на территории зоны они встретились. Топорнин, как положено по правилам, остановился, снял шапку и застыл. Надзиратель огляделся, подошел к нему и вдруг тихо спросил:

— А спасет он ее в конце?

— Их обоих спасет Бог, они станут новыми людьми, воскреснут — оттого и «Воскресение», — ответил Алексис.

Надзиратель молча удалился.

Еще через пару недель он пришел прямо в библиотеку.

— Скажи, вот этот тюремный надзиратель, который в книге описан, как ты его понимаешь?

— Понимаю как не погибшего человека, он тоже душой своей воскресает.

— Да, — задумчиво протянул надзиратель. — Хороший роман, душевный.

Когда Алексис рассказывал нам эту историю, то в конце добавил:

— Спас я вроде бы человека — для МВД он теперь мертвый.

И действительно, еще через неделю тот пришел к нему, принес книгу. Топорнин стал предлагать ему другие, но он отказался и, уходя, добавил:

— Я в деревню к себе уезжаю, хорошую работу там

трактористом мне предлагают. Я же ведь танкист. — И после паузы: — Спасибо вам. — И протянул руку. По этому «вам» и по протянутой руке было видно, что он действительно спасен.

Так библиотека Топорнина стала все больше походить на какой-то духовный центр, где учат, утешают и направляют на путь. Это стало обращать на себя внимание и, конечно, дошло и до оперуполномоченного КГБ. Он вызвал Топорнина к себе. После допроса Алексис пришел прямо к нам в барак:

— Это был, видимо, очень добрый и порядочный человек, но он лейтенант КГБ. Я как-то так все это ему и объяснил.

Это походило на правду — Алексис в серьезных случаях прекращал фантазировать.

Как и следовало предполагать, ему было запрещено вести беседы с людьми, писать для них письма. Он стал только выдавать и получать книги. Но его выбор книг для читателей, уже сам по себе учил многому.

В наш барак к Павлу довольно часто забегал посидеть и поболтать лысый, круглоголовый человек с одутловатым лицом и бегающими маленькими глазками. Несмотря на скудную лагерную пищу, он, как и Сабинин, сохранил животик. Фамилия его была Дунаевский, имя же не осталось в памяти. Это был тот самый первый секретарь горкома комсомола Москвы, которого в 30-е годы газета «Правда» объявила левым уклонистом, вредно влияющим на советскую молодежь. В то время он умел произносить пламенные речи, прославляя партию и Сталина, и призывал молодежь бросать институты и ехать на стройки в Сибирь, идти на заводы к рабочим. Видимо, ему казалось, чем «краснее» он станет, тем ближе будет к партии. Но тут он просчитался: партия в то время уже обюрократилась, уже не хотела, чтобы впереди нее к рабочим и на дальние стройки шли комсомольцы — она усматривала в этом признаки левого коммунизма, троцкизма. Газета «Правда» назвала это вредное движение комсомольцев «дунаевщиной». Сам Дунаевский был снят с поста и ожидал ареста. В это время кто-то посоветовал ему убежать из Москвы в провинцию и там затихнуть. Так он и поступил, заручившись справкой о тяжелой сердечной болезни, уехал к знакомым в Грузию. Говорили, что НКВД приходило за ним, но даже управдом не смог сказать, куда он точно уехал лечиться.

В Москве шли массовые аресты и процессы, но, видимо, бюрократическая машина НКВД была еще не так хорошо отлажена, и его бумаги затерялись в горах других, словом, о нем забыли. Лишь в начале войны появился Дунаевский снова в Москве и тут же был призван в армию. По сильной близорукости

ему удалось просидеть всю войну в тыловом штабе снабжения, хотя и там он сумел получить три медали и орден, но самое главное — ему удалось вступить в партию. Видимо, все это он счел достаточной защитой, чтобы снова открыто зажить в Москве. Но здесь он не оценил способности КГБ, где документы могут затеряться, но не потеряться. Он уже благополучно работал заместителем директора театра, когда за ним началась слежка. Конечно же, ничего не стоило найти пару свидетелей, которые подтвердили, что он критиковал партию и разделял взгляды левого коммунизма. Его арестовали, судили по статье УК 58–10, 11 и приговорили к десяти годам особых лагерей как «не разоружившегося старого врага».

Меня он сторонился, поэтому, когда прибегал к нам в барак, то обращался только к Павлу. В Павле он видел не только москвича, но и близкого ему по судьбе человека. Павел одно время тоже находился под влиянием левого коммунизма: был в «Бригаде по пропаганде Маяковского», помогал в литературном отделе «Театра Революции» и обожал его режиссера В. Э. Мейерхольда. Бригаду разогнали, а Павла в 1939 году судили на «антисоветскую пропаганду». Конечно же, Дунаевскому было невдомек, что Павел стоит сейчас совсем на других — демократических позициях, он обращался к нему, как к старому ветерану-коммунисту. Постепенно мы убедились, что Дунаевский никогда не был искренне преданным коммунизму человеком, он просто делал карьеру, играл, но вовремя не сориентировался в новом курсе партии и проиграл.

Павлу он приносил все время какие-нибудь газетные новости и вполголоса, чтобы я не услышал, рассказывал их:

— Ух, какую речь Иосиф Виссарионович на съезде произнес! Не слышали?

Речь шла о речи И. Сталина на 19-м Съезде КПСС. Или:

— Вы вот около Сталина этого молодого человека, Маленкова, не приметили? Ох, голова, умница!

Павел с иронией выслушивал все это, не обрывал его и переводил разговор на тему: что пишут из Москвы. В то время писем от матери он не получал и очень страдал от этого. Было странно, что Дунаевский до сих пор ощущал себя причастным к партийной кухне.

Если он приходил и видел, что мы не одни и с нами сидят или Топорнин или Стахов, то делал знаки Павлу издалека, мол, зайдет позднее. Однажды Павел при этом подошел к нему, взял за рукав и привел, как школьника, к нам в угол знакомиться. Дунаевский представлялся по фамилии, за что сразу же получил шутливую реплику Алексиса:

— Так это вы эти дурацкие песни сочиняете?

Как и всегда при Алексисе, разговор вскоре переходил на политические темы. И как только в разговоре появлялись слова вроде «Сталин» или «советская власть», Дунаевский вставал и, сославшись на какую-либо причину, исчезал из барака. Однажды речь зашла о созданном большевиками голоде на Украине в 30-е годы и Топорнин по ходу своего рассказа обратился к Дунаевскому как к одному из партийно-комсомольских лидеров тех годов:

— Так вот, когда вы эту коллективизацию придумали… Дунаевский тут же перешел к открытой защите:

— Давайте, товарищи, без личностей! И я теперь пошел… — Он встал, но Павел крепко схватил его за локоть и усадил обратно на место: «Коммунисты не должны отступать!». Маленькие глазки Дунаевского часто замигали:

— Тогда, если меня вызовут, я все расскажу!

Павел в ответ ему:

— Неисправим! Расскажите, расскажите, голубчик! — Начал поглаживать его по плечу. — И вместе с нами со всеми и срок добавочный получите.

На лбу у Дунаевского появилась испарина.

Мне он не был симпатичен, но было явно несправедливым смеяться над этим трусливым московским мещанином, прицепившимся к советской власти. Например, Стахов, завидев его стоящим во дворе на вечерней проверке, наезжал не него, начиная изображать локомотив, и при этом пел:

Наш паровоз, вперед лети,
в коммуне остановка…
…В руках у нас винтовка!

Как-то при всех разговор коснулся «вечной темы»: «За что все-таки сажали людей?». И тут, ко всеобщему удивлению, Дунаевский заявил:

— Я, например, сижу, потому что я еврей!

Все так и обомлели, возникла пауза. В то время в Москве начались процессы против «врачей-убийц», большинство из которых были евреями. Первым нашелся Топорнин:

— Ну, какой вы еврей? Вы ведь государственный еврей! Это совсем другое. Такими были Зиновьев, Троцкий, да почти половина всей этой банды!

— А вы антисемит, Алексей Николаевич! — нашелся Дунаевский.

— В этом смысле да, вы правы, я антисемит, я против

Троцкого. Но дело не в этом. Если в коммунистической карьере вам не повезло, то теперь вы хотите найти новое прикрытие — еврейскую национальность. Какое отношение вы имеете к еврейскому народу, который сейчас ведет войну в Палестине за свою независимость? Вы поедете туда сражаться? Конечно же, нет! Если же вам завтра снова предложат вернуться в Москву и занять какое-нибудь кресло в ЦК, вы с радостью согласитесь служить партии антисемитов, и будете заявлять с трибуны, что в СССР антисемитизма нет.

— Меня удивляет, как это вы еще дружите с Павлом, который тоже еврей! — нашел выход Дунаевский, пытаясь получить себе союзника.

— А вот этого ни я, ни он не замечаем! — продолжал Топорнин. — Для нас это совершенно все равно. Ни его, ни меня не волнует наше происхождение, мы оба российские, не русские, а российские интеллигенты!

Павел слушал этот диспут и улыбался.

— Вы в еврейском вопросе ничего не понимаете или не хотите понять, — не сдавался Дунаевский.

— А вы так стали понимать! Видимо, после того, как узнали из хода процесса, что есть международная организация евреев, которая помогает евреям. Вот вы и вспомнили, что вы еврей, так как поле для новой игры вдруг открылось. А когда вы сидели секретарем по идеологии в комсомоле, то, поди, библию поносили, а Герцеля и Жаботинского объявляли врагами еврейского народа[19].

Спор разгорался и переходил на личности. Здесь неожиданно встал Павел:

— Ну, вот что! — многозначительно произнес он и после паузы тихо добавил: — Поздно уже, скоро бараки закрывать будут!.

Все разошлись.

После этого Дунаевский уже не тревожил Павла «партийными новостями».

Чтобы закончить эту историю, нужно забежать вперед и рассказать о том времени, когда Алексея Николаевича Топорнина по прошествии еще нескольких лет выпустили, наконец, на свободу. Тогда шли годы «оттепели», в Кремле воцарился Никита Хрущев, и прошел тот самый разоблачительный XX съезд КПСС, начались частные амнистии и реабилитации для политических.

Павла хотя и освободили, но разрешили жить не ближе чем в 101-м километре от столицы. Он прописался в городе Клин, но подолгу нелегально пребывал у своей мамы в Москве. Я приехал к нему из Ленинграда разузнать об Алексее Николаевиче. Адресное

бюро сразу же выдало нам его адрес и телефон — он был уже в Москве!

Звоню:

— Алексей Николаевич, это вы?' В трубке знакомый голос:

— Ну, конечно же, я. Я уже с утра жду вашего звонка, так как уже вчера почувствовал, что вы меня ищете в Москве!..

Он остался тем же Алексисом!

Едем на такси к нему на Малую Басманную, отыскиваем в первом этаже небольшого дома его квартиру. Открывает он сам: прямой, с торжественной улыбкой.

Он почти не изменился. Жмет руки, обнимает, проводит в свою комнату. Что мне сразу там бросилось в глаза, так это длинные закрытые стеллажи вдоль стен. Книги? Откуда же уже столько?

— Алексей Николаевич, вы получили свой парижский архив?!

— О нет, нет еще. Однако я уже пишу и пишу…

— А что, если не секрет, пишете?

— О, разное. Приходится работать по 10 часов в день. Спешу: 1974 год не за горами.

— Ну, а все же, если не секрет?

— Ну, если хотите… — подошел он к стеллажам и открыл две дверцы, за которыми мы увидели ровно расставленные толстые цветные папки.

— Вот я пытаюсь закончить второй том, так и недописанный, «Философии Небытия», — провел он рукой по папкам.

Мы с Павлом смущенно переглянулись, и я заметил, что Павел недоверчиво почесал подбородок.

Алексис торжественно сел и, как бы радуясь тому, что наконец-то появилась аудитория, продолжал:

— Но больше всего я сейчас поглощен «Голубой Лилией» — это моя любовь еще с тех лет и большой долг перед другом…

— Так вы бы хоть нам рассказали, что это такое.

— Разве вы не помните этих строк у него: «И может быть, рукою мертвеца я Лилию добуду Голубую»?

— Так это же Николай Гумилев!

— Да, господа, — откинулся он на спинку кресла. — Теперь уже можно и об этом. Ведь с Колей мы были на «ты».

У Павла опять зачесался подбородок, а я, чтобы не спугнуть Алексиса, сделал удивленные глаза.

— Ведь я специально вернулся в двадцатом из Парижа, чтобы быть среди них…

— Среди кого же?

И здесь он, немного наклонившись, перешел на заговорщический тон:

— Среди Общества Освобождения России, организованного профессором Владимиром Таганцевым в Петербурге. Я приехал по чужому дипломатическому паспорту. Я привез им деньги и документы. Уже тогда мы знали, что их скоро схватят и они должны бежать.

Было видно, что Алексис «взял след» и быстро с него не сойдет.

— Таганцев, скажу я вам, был честный офицер, но никудышный руководитель. Он отговаривал их от побега. О заговоре уже знало ЧК, арест был вопросом времени. Тогда я стал уговаривать одного Колю бежать со мной. Как сейчас помню, мы стояли на гранитной набережной Невы, когда он тихо сказал мне: «Я знаю, что погибну, но бросить товарищей не могу». На следующий день он передал мне портфель с бумагами и сказал: «Алексей, тут есть кое-что, напиши о нас». Мы обнялись и больше уже не увиделись, вскоре они все были расстреляны ЧК. «Голубая Лилия» — это исследование, если хотите, песня о нем. Сейчас я над ней работаю по разным документам и воспоминаниям.

Он встал, распахнул окно, чтобы свежий воздух наполнил комнату, затем подошел к одному из стеллажей, раскрыл его и провел рукой по ряду действительно голубых папок.

— Не просите, — еще не готово.

Мы с вожделением и сомнением уставились на эти папки, и он закрыл дверцу.

— А как же портфель? — осмелился я его спросить.

— Он так и остался в Париже, нужно еще немного подождать, они обо мне уже знают.

О том, кто такие «они», мы спрашивать уже не решались.

— Расскажите же, Алексис, как вы познакомились с Гумилевым?

— Он был в Париже проездом в Африку…

Неожиданно его рассказ оказался прерван, так как в комнату с большим чайным подносом вошла невысокая, полная женщина с милой детской улыбкой.

— Познакомься, Надя, с моими друзьями! — обратился к ней Алексис. Это была его шестая жена, с которой он уже успел сойтись здесь, в Москве. Он нигде не работал, хотя и мог бы, но: «Моя работа — это мои книги!». Пенсию назначили ему небольшую, и мы даже стеснялись спросить его о ней.

В этот вечер мы вспоминали о том каторжном времени, шутили и много смеялись: мы были счастливы — мы все остались живы. «Лагерь уничтожения», как называли ПЕСЧЛАГ, нас не уничтожил.

Я жил в Ленинграде и занимался наукой, он — в Москве, мы

писали друг другу, и почти в каждом письме он писал что-либо о «Голубой Лилии» или о «Философии Небытия», но ни одного листа, я не говорю уже главы, я так и не получил. Когда я бывал в Москве, мы встречались, и при каждой нашей встрече он чем-нибудь поражал меня. Например, однажды застал я его очень печальным:

— Я всю ночь проплакал — я видел, как из всех европейских библиотек свозят книги на огромных самосвалах, чтобы освободить помещения, и сжигают в печах по приказу «Вей». Все белые европейцы уже давно перевезены в Скандинавию и Шотландию, где пребывают в резервациях, и восточного вида туристы из Европы посещают эти места, удивленно восклицая: «И эти белые обезьяны когда-то могли руководить всем нашим миром?!».

Это было его развитие идей «Заката Европы» Освальда Шпенглера, которого он очень ценил. «Вей» — это одновременно и название божества в новой мировой империи, возникшей на основе объединения азиатских стран, и одновременно имя верховного диктатора империи, которое передается от одного диктатора к другому. Так что он как бы бессмертен.

Пророчества его были всегда достаточно мрачны. Он уже тогда понимал, что демократическая система в условиях инфильтрации с Востока и из Африки уже изжила себя. Она слишком слаба и несовершенна, чтобы сдержать этот демографический натиск. Он также считал, что и гуманизм уже вреден, он в новых условиях не соединяет людей, а разъединяет — он называл его «социал-эксгибиционизмом». Спорам нашим, как всегда, не было конца.

Прошло еще несколько лет. Я получил письмо от Павла, в котором он мне сообщал, что жена Топорнина умерла. Павел посетил его. Алексис был, как всегда, бодр и держался молодцом, но было заметно, что что-то надорвалось в нем. Как всегда, он шутил и фантазировал, сидя вместе с Павлом на диване, но вдруг не выдержал, упал к нему на грудь и зарыдал. Как писал мне Павел: «Маска вдруг спала с него, и в моих руках лежал очень одинокий и слабый старик».

Но это была лишь минутная слабость: при нашей следующей встрече он, как и прежде, сиял и сыпал своими фантазиями. Мы удивились, что он одет в военный полковничий мундир без погон и с кантами на брюках, который ему очень шел.

— Что это? Расскажите, Алексис.

И тут он покаялся. Он женился в седьмой раз. Это была теперь вдова полковника — героя войны — Варвара Есперовна. Познакомился он с ней случайно в очереди за сосисками и сразу

же обольстил. Жила она в огромном комфортабельном доме для комсостава армии, в большой квартире в центре Москвы. Ей шел уже седьмой десяток, ему восьмой — они поженились. Быстро сориентировавшись в обстановке, он заявил ей, что тоже был полковником, участником Гражданской, а потом и Отечественной войны, служил все время в штабе дивизии, дошел до Эльбы, но там черт попутал его. Завел он флирт с машинисткой из штаба союзников, был арестован, но по недостатку фактов выпущен на свободу, хотя разжалован в лейтенанты. «Потому и пенсия такая маленькая», — объяснял он. Варвара Есперовна, наверное, очень хотела ему поверить, и ей это удалось.

В шкафах квартиры так и продолжали висеть мундиры героя-полковника с еще неспоротыми орденскими колодками. По счастливому совпадению все эти мундиры по размеру точно подходили и Алексису. Варвара Есперовна была счастлива, видя Топорнина в мундирах мужа, в ее жизни как бы ничего не переменилось. Алексис же придумал для этих нарядов и другое предназначение.

Посмотрев на себя в зеркало, он воскликнул: «Фронтовик — так фронтовик!».

Утром он стал обряжаться в мундир, направляясь в московские универмаги и гастрономы, где постоянно были огромные очереди за появившимися дефицитными продуктами: бананами, копченой колбасой, сосисками, курами. Он подходил к огромной очереди у дверей магазина со словами: «Давайте-ка установим порядочек, граждане!». И устанавливал, да так, что проход для него вовнутрь магазина оказывался свободным. Тогда он протискивался с такими же словами к прилавку, улыбаясь стоящим: «Всем достанется!», и просил продавца отвесить и ему пару килограммов. Весь его вид гипнотизировал толпу, стыдно было и подумать спросить его об удостоверении офицера в отставке, участника Отечественной войны, да еще многократно раненного. А вдруг покажет — позор! Толпа почтительно расступалась. А если и бывали случаи, что какой-нибудь нахал кричал: «Покажи удостоверение!», то в ответ летело: «Вот ты меня под Брестом бы спросил его!». И сомневающийся стихал.

Алексис так вошел в эту роль, что даже прогуливался вечером с Варварой Есперовной по улице Горького в мундире полковника, без погон, но при орденах, так что встречные военные порой отдавали ему честь.

Прошло еще несколько лет. Я неожиданно получил письмо от Варвары Есперовны: Алексей Николаевич Топорнин умер. Он уже давно стал готовить ее к своей скорой смерти, заранее утешая. Но в этот день под утро он тихо встал с кровати, не тревожа ее,

вышел из комнаты. Через час он не вернулся, и она пошла искать его — он лежал мертвым на полу в туалете.

Я сразу же приехал к ней, мы долго рассматривали его фотографии, читали письма. Наконец, я спросил о его архиве и набрался нахальства подойти к тем самым стеллажам, перевезенным из старой квартиры, и открыть дверцы одну за другой. Там продолжали стоять аккуратно подобранные цветные папки. А вот, наконец, и заветные — голубые. Я открываю их одну за другой, но из них вместо философских трудов вылетают вырезки из газет и журналов и много чистых листов бумаги. Я перехожу к другим папкам — там письма, фото и опять вырезки.

— Где же «Голубая Лилия» и «Философия Небытия»?! — почти кричу я.

Варвара Есперовна на минуту задумывается.

— Ах, да! Он мне сказал, что ему было приказано свыше уничтожить все его рукописи. Он их сжег в камине. — И потом, подумав, прибавила: — И еще он мне сказал, что теперь все его идеи переселены им в сознание других людей и будут там в них сами самостоятельно развиваться!

Я не удержался от улыбки: «Ах, Алексис, как это на тебя похоже — ты даже и после смерти остался верен себе!».

Потрясло меня и то, что он скончался в 1974 году, как и предсказывал нам уже давно. Совпадение? Возможно.

Будучи приверженцем учения о переселении душ, он как-то сказал нам, что следующая его ипостась, в которую он переселится после смерти, станет птицей буревестником. Буревестник — редкая птица. И теперь, когда я вижу буревестников, реющих над морем, я задумываюсь: а который из них Алексис?

Алексис, где ты?!

Степь, да степь кругом…

Ах, как же ты прекрасна, казахстанская степь, когда летним вечером, после знойного дня стихает ветер и огромный темно-багровый диск солнца трепещет в потоках воздуха, медленно уходя за горизонт. С долин начинает тянуть прохладой, и степь уже дышит горьковатым ароматом полыни. Гурты овец укладываются перед кошарами, и усталые после знойного дня чабаны разводят огонь в таганках, от которых вверх, в уже потемневшее небо, струится сизый кизячный дым. В наступившей тишине становится слышно, как лошади пощипывают траву и хлещут себя хвостами, отбиваясь от появившегося гнуса. Собаки заливаются бессмысленным лаем, как бы показывая, что и они уже заслужили свою еду.

Люди рассаживаются кружком у огня, вытаскивают из золы лепешки и кладут на круглый медный поднос. Крепкий чай уже готов, и его разливают в пиалы. Все говорят тихо, уважая это вечернее затишье. Спокойные, морщинистые от солнца лица чабанов обращены к огню: они как бы вслушиваются в степь и ведут тихую беседу.

Природа и люди — все здесь сливается в единый кочевой мир. Он существует сотни лет, неизменный и независимый. Но именно сюда, в эти необъятные степи, советская власть сослала целые неугодные ей народы: немцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев, крымских татар, греков и даже корейцев.

Снова клетка столыпинского вагона, и снова куда-то везут и ничего не говорят, куда. И только на следующий день поздно вечером заклокотал ключ в замке, и хмурый сержант в коридоре лениво скомандовал: «Выходи!».

Ба! Да ведь это же здание железнодорожной станции Кокчетав! Восемь лет назад, после суда, с этого перрона я был отправлен в Карагандинский лагерь. Круг замкнулся.

Но почему я снова здесь, а не на свободе: мой срок уже два месяца как окончился.

Примерно через час меня и еще пятерых выгрузили из милицейского «воронка» и заперли в камере областного КПЗ.

Лишь только утром стало все ясно.

Маленькая комната залита ярким весенним солнцем. Спиной к этому солнцу и лицом ко мне сидит за столом толстая рябая женщина в военной форме и держит в руках какую-то бумагу.

Я все-таки неисправимый оптимист! Мелькает мысль: меня привезли в город, где судили, чтобы выдать паспорт и освободить.

Наконец, эта бумага оказывается передо мной, и я должен ее прочитать и подписать. В верхней части листа бросился в глаза большой советский герб, и далее пошли стандартные слова: «На основании Указа Верховного Совета от…». Ах, нет терпения все это читать. Отыскиваю свою фамилию и на следующей строчке читаю:

«…Сослать навечно»

Боже мой, за что?! Я же отсидел, отработал, отстрадал свой срок заключения! Кто может теперь сослать меня без суда, да еще и «навечно»?

Советская власть все может, это власть особая, тоталитарная. Вместо того, чтобы для каждого освободившегося по особой политической статье снова тратить время на процесс суда, просто решили издать один Указ и всех таких ссылать без суда навечно. Прощайте, мои надежды, я никогда не окончу университет, никогда не буду жить в родном город! Я буду вечно гоним. По «Указу».

Морозный ветер обжигает лицо, не спасает и брезент, который нам бросили в кузов грузовой автомашины. Через окошко кабины я вижу, что там сидит вооруженный сержант МВД. Нас везут по заснеженной степи куда-то вдаль. То и дело колеса машины увязают в снегу, и водитель бросается с лопатой откапывать их, а мы в это время пытаемся как-то согреться, танцуя в кузове. Проезжаем какие-то деревни, замерзшие озера: и нет конца этой дороге. Лишь вечером, когда совсем стемнело, машина затормозила у двухэтажного деревянного здания и въехала во двор: «Выходи!». В конце коридора нас заперли в какой-то темной комнате. Но это уже не тюрьма, это просто комната с нарами. Лишь наутро стало ясно, что мы в районном селе Арык-Балык, по-казахски «Рыбная река». Двести пятьдесят километров на запад от железнодорожной станции, шестьсот на север и восемьсот на восток. Конец света.

Я сижу перед каким-то офицером МВД, которого здесь именуют «комендантом», и опять в руках у меня бумага с гербом: «Положение о ссыльнопоселенцах». Пахнуло лагерным режимом: хотя колючей проволоки здесь нет, но есть сотни «нельзя» и «ты обязан». Нельзя выходить за пределы поселка без письменного разрешения комендатуры: уйдешь — будешь посажен в карцер, а если попытаешься убежать, то дадут тебе двадцать пять лет лагерей за саботаж советской власти. Ты должен работать, и найти сам себе работу в течение месяца. Не найдешь — будешь послан на тяжелые работы для комендатуры: копать ямы, грузить

уголь, пилить дрова.

Никакого паспорта я, конечно, не получил, а только справку ссыльного. Первый месяц я должен ежедневно являться на отметку в комендатуру, расписываться в журнале в том, что я еще не убежал.

Наконец, нас выпустили в село. С крыльца комендатуры открылась красивая панорама: с одной стороны бесконечная заснеженная степь, с другой — высокие сопки, покрытые густым сосновым лесом, внизу озеро. Село можно различить только по заснеженным буграм крыш и дымкам, поднимающимся в морозное небо.

Лагерь приучил меня не заглядывать далеко вперед, а жить сегодняшним днем. Все-таки это уже какая-то свобода: я иду по улице, и за мной никто не идет с автоматом. Я могу свернуть налево, а могу и направо. Странное чувство! А иду я по этим заснеженным улочкам, чтобы найти себе жилье, или, по крайней мере, ночлег, а то опять нужно будет ночевать на нарах в комендатуре. Денег в комендатуре мне дали немного, как-то просуществовать месяц можно, а дальше сам должен зарабатывать.

В центре поселка дома сложены из солидных сосновых бревен, крыши под дранкой или шифером, большие дворы для скота, окна со ставнями и глухие заборы. В общем, сибирская деревня. Ох, и неприветливая она! Стучу в каждый двор, в ответ слышу свирепый лай собак. Люди здесь особые: редко встретишь приветливое лицо. Какая жизнь — такие и лица. Иной хозяин и ворот не отворяет, увидит из окна, что чужой что-то хочет, и машет, мол, проваливай. Наконец, какая-то старушка меня надоумила:

— Да, ты, сынок, не там квартиру себе ищешь. Тут челдоны живут, они ох как вашего брата не любят. Ты ищи в конце улиц, там ваши.

В конце улицы кончились деревянные дома и начались саманные мазанки, наполовину врытые в землю, с плоской глинобитной крышей. Тут живут ссыльные народы. Внутри домов земляной пол, вместо кроватей нары. Как бы снова лагерь.

Но мне повезло: какой-то старик на улице указал мне на большой деревянный дом в центре, где живет вдова с сыном. Муж ее, Красиков, бывший председатель райисполкома, погиб на фронте. В комнату, которую мне сдали, нужно было проходить через большую кухню, где постоянно толклась хозяйка, толстая баба лет пятидесяти, с обиженно-злым лицом. Условия, на которых она сдала мне комнату, были унизительными: она могла входить в эту комнату без стука, так как в ней оставались шкафы

с ее вещами, ничего в комнате я не мог менять и располагал только небольшим диваном, под которым и должен был хранить все свои вещи. Но после лагеря мне и эта комната показалась роскошным отелем. Единственным проявлением великодушия со стороны хозяйки было разрешение брать из самовара по утрам кипяток. Так началась моя «вольная» жизнь.

Ну, а теперь как можно скорей нужно искать работу. Профессий у меня накопилось много, но все они в этой глуши бесполезны. В селе есть большой совхоз, машино-тракторная станция, лесопильный завод и разные мастерские: все они не проявили ко мне никакого интереса. Наконец, кто-то узнал, что я ветеринарный фельдшер, и посоветовал обратиться в сельхозотдел райисполкома. Я с надеждой принял этот совет, но все мои попытки пробиться на прием к начальству оказались безуспешными: видимо, со мной, ссыльным, не хотели иметь дело. Я писал и отправлял туда свои заявления, убеждая, что в животноводстве я мастер на все руки.

Шли недели, и надежда угасала, как вдруг я получил повестку — прибыть в кабинет самого начальника. Ранним утром иду к большому зданию райисполкома, мороз не меньше 30 градусов, под ногами все хрустит. Безветрие, воздух перехватывает дыхание, и кристаллы инея оседают на ресницах. Перед зданием огромный Ленин, весь облепленный снегом, без него и здесь никак невозможно обойтись; его могущество распространяется и на эту глушь.

После мороза в жарко натопленном кабинете чувствуешь себя, как в бане. Начальник, толстый казах, сидит за огромным столом и никак не реагирует на мое появление: здороваться с ссыльными здесь не принято.

— Подойди поближе, — тихо пробурчал он с плохим русским выговором. — Зоотехником по птице работать можешь?

Пауза. Я раздумываю: если откажусь, то другой работы мне здесь не видать.

— Да. Я попробую.

— Тогда садись.

Несмотря на его деланно-сердитое лицо и показную важность, я почувствовал, что человек он не злой. Сажусь и сразу же замечаю, что в кабинете за моей спиной сидит еще один человек, одетый в синюю гимнастерку с широким ремнем, какие здесь носит начальство.

— Ну, что, товарищ Чечин, берешь его?

Торги состоялись без всяких вопросов о моей профессиональной пригодности.

«Товарищ Чечин» оказался пожилым сухощавым человеком с

редкими седыми волосами, зачесанными назад. Было видно, что по его лицу погуляли сибирские морозы, так что на коже отпечаталась вся карта Сибири. Уже по красному носу можно было догадаться, что от приглашения выпить он никогда не отказывался. После пары формальных вопросов, со словами «ну, пошли», повел он меня куда-то по главной улице, сохраняя при этом полное молчание. Идти пришлось недалеко, до районной столовой под вывеской «Ресторан сельхозкооперации». В главной комнате стояли несколько непокрытых столов с простыми стульями по сторонам. Мы сели, и стол сразу накрыли скатертью. По улыбке молодой официантки можно было понять, что Чечина здесь хорошо знают, поэтому и заказ его был очень краток: «Как всегда, Наташенька».

И первое, что появилось на столе, был графин с водкой: мой новый хозяин, по сибирской традиции, видимо, считал, что ни одно новое дело без этой жидкости начинаться не может. Я же опасливо смотрел на графин, так как запах водки за многие годы уже и забыл. Затем появилось жареное мясо с луком, сегодня это было единственным мясным блюдом в меню под названием «Бефстроганов».

Глаза моего собеседника заметно оживились, когда мы прошлись по первой, «за знакомство». Вторая рюмка была поднята «за новое дело», и далее пошло без официальных тостов. Видимо, мой новый хозяин заметил некоторое удивление на моем лице, когда он после пяти, уже без меня выпитых рюмок, стал выжимать капли из графина и посматривать в сторону официантки.

— Видишь ли, — обратился он ко мне уже на «ты», — я эту дрянь страшно пить не люблю. Но врачи… врачи, понимаешь, настоятельно рекомендуют. Спазмы сосудов лечу!

Расширение сосудов продолжалось до позднего вечера, так что, в конце концов, я должен был сопровождать его под руку до дома. Лишь на следующий день он смог мне внятно объяснить, в чем же будет заключаться моя работа.

— Ты понимаешь, есть решение Областного Комитета партии о развитии птицеводства в нашем районе.

Затем он приблизил ко мне свое лицо, как будто дело шло о каком-то большом секрете:

— Сюда, в Арык-Балык, будет доставлен из Москвы новейший советский инкубатор ВИР-10, получивший медаль на выставке ВДНХ. Партия меня с идеологической работы перебросила сюда, на этот ответственный участок. Ты зоотехник, ты должен знать, как все это правильно организовать нужно. Ну, что ты скажешь?

В глазах его я прочел некоторый страх, и этот страх стал

передаваться и мне: в птицеводстве и в технологии инкубатора я ничего не смыслил, но у меня выхода нет.

— Дело покажет. Не боги горшки обжигают, — стал я себя и его успокаивать.

В двух километрах от села уже было построено новое здание инкубаторно-птицеводческой станции, сокращенно ИПС. В штате появились два механика, которые знали только автодело, набирались другие работники, и завозилась мебель. Со дня на день ждали прибытия самой системы инкубатора и электростанции, которые нужно смонтировать за один месяц. Отступать было некуда, мне нужны были книги, за этот месяц я должен стать птицеводом!

Село Арык-Балык было ничем не примечательно, по сравнению с другими районными центрами области. Все улицы сходились к центральной площади, по сторонам которой стояли главные административные здания: райисполком, райком партии, универмаг, пожарная команда, ресторан и почта. На этой почте я получил от мамы первое письмо, в котором она мне сообщала, что произошло чудо: она выиграла по государственной облигации 25 тысяч рублей, сумму, равную почти двадцати средним зарплатам. Фортуна явно помогала мне, так как прошло уже два месяца, а зарплату мне еще и не начали платить. Питался я одним хлебом и молоком.

Пришел первый денежный перевод, и я решил отметить это чудо обедом в ресторане. Это было место, куда часто заглядывало районное начальство, чтобы поболтать о своих делах, а заодно и выпить. Меню день ото дня менялось, но неуклонно состояло из трех блюд, которые рассматривались как закуска к выпивке. Часто в ресторан заходили шоферы дальнего транспорта, у них деньги водились.

И, несмотря на то, что чад и запах из кухни валили прямо в зал, готовили там хорошо, и первый мой опыт с обедом мне понравился, так что я время от времени стал заходить туда. Официанткой была молодая сибирячка с кокетливой прической и ярко накрашенными губами, звали ее Наташей. Как обычно в провинции, слухи о таких ходили самые скверные: и что выпивает она с шоферами, и курит, и что перебывала уже со всем местным начальством.

Много лет я не видел женщину вблизи, так что теперь во время обеда я жадно всматривался в Наташу, пытаясь оценить все ее женские достоинства. Из дверей кухни то и дело выглядывала толстая повариха тетя Вера, чтобы посмотреть на новенького ссыльного. Ресторан весь день оставался почти пустым, и лишь к вечеру здесь появлялись усталые шоферы, приезжие председатели

колхозов или служащие райисполкома. Высшее же начальство вечерами предпочитало пить по домам, избегая показывать себя в «разобранном виде».

Я даже и не заметил, из какой двери она вышла в зал и остановилась совсем близко от моего столика. Взгляд мой от тарелки скользнул на пол и уткнулся в плотные женские ноги, обутые в хромовые сапожки. Выше шли узкая юбка и почти синий мужской пиджак, лацканы которого оттопыривались под напором пышных грудей. Я поднял глаза и вдруг услышал:

— Здравствуйте! Довольны ли вы нашим меню?

Ко мне обращалась молодая, статная, лет двадцати пяти женщина с округлыми карими глазами и выразительными сочными губами. Ее каштановые волосы, плотно охватывая голову, соединялись сзади в пучок. На меня смотрела русская красавица, сошедшая с картины Кустодиева. Это впечатление усиливалось еще от большой природной родинки на левой щеке.

Я поблагодарил и продолжал есть, но она не отводила от меня глаз, так что возникла натянутая пауза. Было видно, что она сама это почувствовала, но не может преодолеть своего любопытства. Наконец, я опять поднял на нее глаза, и мы почему-то оба улыбнулись друг другу.

Весь вечер и на следующий день я ловил себя на том, что то и дело вспоминаю ее лицо и сильную женскую фигуру. Ведь это был первый взгляд женщины за многие годы, обращенный непосредственно ко мне. В этом взгляде я улавливал и еще что-то, что нельзя назвать любопытством. Не знаю почему, но на следующий день я явился обедать в новом пиджаке из маминой посылки: я шел в женское общество.

Массивная дверь ресторана открывалась вовнутрь, и чтобы не хватать рукой обледеневшую ручку, я толкнул ее ногой. Но дверь приоткрылась лишь немного, и за ней послышался стон. Я кого-то сильно ушиб. Этим кем-то была она, как оказалось, заведующая рестораном. Она стояла, прижав руку к лицу: удар пришелся в лоб. Я застыл перед ней в растерянности и бормотал извинения. Но было уже поздно, синяк на лбу быстро багровел, и она побежала назад по лестнице. Я сел в зале и стал ждать, пока она выйдет из своей конторки. Ждать пришлось недолго, она стояла передо мной и улыбалась, а на лбу был приклеен большой пластырь. Так мы познакомились. Она села рядом, и я заказал ту самую розовую жидкость, которая в меню именовалась как красное вино. Пить она отказалась, — во время работы нельзя — хотя и чокнулась рюмкой в знак полного примирения. Я почувствовал себя с ней совсем легко, и мы стали рассказывать каждый о себе, как будто знали друг друга давно.

Раиса Ураева происходила из потомственных сибиряков, ее детство и школьные годы прошли в этом глухом селе. В Кокчетав она приехала уже восемнадцатилетней девушкой, чтобы учиться в торгово-финансовом техникуме, и затем работала у себя в селе простой продавщицей, помогая матери и сестре, так как отец погиб на фронте. Наконец, знакомый ее со школьной скамьи, секретарь комсомола, рекомендовал ее заведующей вновь открывшегося ресторана. Этот пост не сулил ей ничего хорошего, так как за такие злачные места нужно было платить местному начальству, таская им на дом сворованные в ресторане колбасу, водку и прочие деликатесы. Рая не видела в этом ничего особенного: все угождали начальству, то есть давали взятки. Стоит кому-нибудь не угодить, как накличешь лютую ревизию, а это всегда кончалось плохо.

О художественной литературе она знала ровно столько, сколько значилось в школьной программе. Так что самым выдающимся произведением советской литературы оказывался роман Н. Островского «Как закалялась сталь». Но видимо, есть в самой человеческой натуре какой-то детектор, который улавливал ложь советской пропаганды. Прочтет она передовую в «Правде» и тихо скажет: «Враки все это».

Единственным местом встречи молодежи был районный клуб. Хотя все вечера начинались с «мероприятий» — политических лекций, но зато заканчивались танцами под аккордеон. Там-то она и встретилась с одним из местных «королей», забиякой и драчуном Володькой. Все девчата завидовали ей, уж больно хорош он был собой. Но до свадьбы так и не дошло: он выпивал, и крепко; а когда выпьет, то пускает в ход кулаки по каждой мелочи. Синяки на ее лице вызывали насмешки, и ее гордость оказалась сильнее любовного чувства: они перестали встречаться, а затем его призвали в армию. Все бы на этом хорошо и кончилось, если бы не обнаруженная беременность. Брюхатая девка на селе — позор.

Родила Раиса мальчика, заботы о котором сразу же взяла на себя ее мать. Все ожидали, что теперь начнет она гулять, по мужикам шляться. Но этого не произошло, воспитана была она в строгих правилах, так что домогаться ее вскоре перестали. Лишь один человек в районе не хотел этого понять, им был всемогущий районный прокурор Дмитрий Асадчий. Стал часто наведываться он к ней в ресторан. Как придет, сядет в специальном, для начальства, закутке и попросит официантку Наташу, чтобы «сама», то есть Раиса, ему подавала. Попробуй, откажись! Бегает Рая с подносами: специальную, для начальства припасенную, кружевную скатерть на стол накрывает, водку со льдом, селедку

под шубой подает, лишь бы он доволен остался. И плата за все символическая, но все-таки плата, чтобы не сказали, что прокурор свое положение использует.

А уж как выпьет Асадчий, то и пошутить, побалагурить не прочь: то за бок ущипнет, то по заду похлопает. И должна она все это воспринимать как особое к ней расположение начальства и еще улыбаться в ответ. Но как оказалось, этого было мало: крепко положил на нее глаз районный прокурор, уж больно понравилась она ему.

В карьере Асадчего не было ничего особенного. На фронте служил он в войсках НКВД, в тех, что должны стрелять по своим при стихийном отступлении. Война закончилась для него благополучно: никаких ранений, и за каждый европейский город, где побывала его часть, выдавали ему боевую медаль. Чем уж он там начальству угодил, никто толком не знал; болтали, что после войны смертные приговоры в исполнение приводил, но только получил он повышение в чине и специальную характеристику, по которой был направлен без экзаменов в юридическое училище в Алма-Ату.

Вернулся он в Кокчетав в звании юридического советника третьего класса и был направлен на «трудный участок» — прокурором Арык-Балыкского района, где половина населения состоит из ссыльных. Прокурор в районе может никого не бояться: он государственная власть и подчинен лишь областной прокуратуре и обкому партии. Даже районный секретарь партии его побаивается, так как к прокурору стекаются все сведения о проступках местного начальства.

В Сибири вы редко услышите слова «жестокий человек», а чаще скажут о таком «крутой он». Это значит, что жалости, а порой и справедливости, от него не жди. И если уж он невзлюбит кого, то лучше тому бежать из района, чем ждать, пока на него в Уголовном кодексе статья отыщется.

По своему служебному положению причислялся Асадчий к местной интеллигенции, как и врач, директор школы, агроном, редактор газеты и инженер ИТС. И он этот имидж старался поддерживать. Если побывает в центре, в Кокчетаве, то непременно вернется оттуда со стопкой книг в красивых переплетах, да и на полки в своем кабинете выставит, рядом с собраниями Ленина и Маркса. Так что, если кто из местных руководителей к нему заглянет, пусть видит, что он человек читающий и обо всем свое суждение имеет. Конечно, читать все эти книги ему никогда и в голову не приходило, но цитаты вылавливать из них он умел.

Его особое положение, этакая независимость позволяли ему

одеваться по-особому, а не как все партийцы, в гимнастерки или сталинские френчи. Из книжных иллюстраций он составил себе представление, как одевалось благородное сословие в прежние времена, к которому в душе причислял он и себя. Частенько из поездок в столицу, город Алма-Ату, возвращался он в какой-нибудь тужурке с меховыми отворотами или в черном длинном пальто с капюшоном. В общем, хотел он быть не таким, как все, для чего и бакенбарды отпустил, трубку завел, табак к ней в лакированной старинной шкатулочке хранил. Достанет ее на каком-нибудь совещании в райкоме и во время разговора медленно начнет набивать табак в трубку.

— Что это у вас за табак такой пахучий?

— Да это же «Герцогине Флора». Кстати, Иосиф Виссарионович этот сорт особенно уважает.

Но вот беда, как только выпьет Асадчий, так этот лоск слетает — и превращается он опять в сержанта НКВД: блатной мат в ход пускает, а потом и кулаки.

Приглашали его на свадьбы, как в былые времена отставных генералов. А уж он умел мудреные речи произносить так, что все приходили в восхищение, хотя мало кому были понятны они. Посидит он еще с полчаса, для уважения, и затем на свадебных санях отвезут его домой. Не дай Бог, если останется сидеть дальше, да еще и выпьет: обязательно начнет куролесить. Все знали, что взыграет в нем зависть к жениху, и потянется он поздравлять невесту, взасос ее целовать и при всех за задницу мять. Чтобы такого не случилось, подсаживали к нему разбитную девку для отвлечения.

Или один плясать захочет. «А ну, брысь!» — распугает всех по сторонам. Встанет в центре и крикнет баянисту: «Давай яблочко!». А танцевать не умеет: раскинет руки, топнет лихо ногой, закинет голову и замрет. А уж если почувствует, что в глупом положении оказался, закричит на баяниста: «Играй, как следует!». А однажды так и баян вырвал из рук, растянул меха пару раз, да бросил с размаху на пол.

Жил он один в большом казенном доме, почти в центре села. Говорят, что фронтовая жена его не поехала с ним в Кокчетав, а осталась в Алма-Ате, так он ей до сих пор развода не дает. Все хозяйство в доме ведет пожилая женщина, бывшая уборщица райкома партии. Редко кому удавалось побывать в его хоромах, но говорили, что все комнаты немецкой трофейной мебелью обставлены, и по стенам тарелки из серебра и кабаньи головы развешаны. Как ему в чине сержанта удалось все это вывезти из Германии, через головы завистливого начальства, никто не знал. Там, в Германии, получил он большой вкус к лесной охоте. Его

специальная часть располагалась в одном охотничьем замке, среди заповедного леса в Тюрингии, где разводилась особая порода диких оленей. Этих-то оленей и начали они отстреливать, благо в замке большая коллекция старинных ружей оказалась. Утром офицеры на охоту в парк идут, а вечером сержантский состав. Всем хватало.

Мясо молодых животных жарили в камине, а у старых только рога на сувениры отпиливали. Эту страсть — убивать лесных животных — привез он и в сибирские леса, где водились лоси, косули и даже олени. Реликтовый лес в Арык-Балыкском районе был уникален и охранялся как заповедник. За браконьерство судили строго: косуля — штраф 1000 рублей, кабан — 2000, а за лося и оленя сроки до двух лет давали. Запрет на охоту был круглый год и никаких лицензий. Но как гласит римская поговорка: «То, что запрещено быку, разрешено Юпитеру». То и дело в лесу слышны были выстрелы: высокое начальство развлекалось, все это знали, но кому какое дело до зверей в лесу.

Районная прокуратура находилась в одном доме с районным судом, только прокурор занимал большую часть дома и вход к нему был с фасадного крыльца, а суд ютился во дворе. Штат прокуратуры был не велик, человек десять, и Асадчий все время отвоевывал для себя новые штаты. В области о работе прокурора судили по количеству созданных уголовных дел: чем больше их, тем успешнее идет борьба с преступностью. Существовала даже негласная норма уголовных дел в год, и если их не хватало, то их нужно было срочно отыскивать. Асадчий был большой мастер на такие дела. Вызовет к себе главного финансового ревизора, да и пошлет его в дальний колхоз со словами: «Есть данные о большой растрате и разбазаривании колхозного добра». А в каком же колхозе не отыщется обиженных на председателя людей или финансовых беспорядков?

Вот чего про него не скажешь, так взяток он не брал, ни деньгами, ни натурой. Все это знали, и от этого власть его над другими и независимость возрастали. Но свою выгоду он знал в другом — на него работали. Директор МТС посылал трактора на его огороды, за что он платил по государственным ценам, то есть копейки. Или стройотдел посылал плотников в его дом для реконструкции комнат, совхоз предоставлял ему катер и сети для отлова рыбы, а две ссыльные женщины солили ее на зиму в бочках. И за все то он платил, платил по государственным ценам. Попробуй прицепиться!

Но была у него и «ахиллесова пята» — женщины. Не то чтобы он очень влюбчивый был, а просто обладание новой женщиной служило доказательством его мужского совершенства. После

войны в сибирских селах число мужчин заметно поуменьшилось, а солдатские вдовы были еще в самом соку и, как говорится, «на все готовые». Но не они, столь доступные, интересовали Асадчего, а те молодые, вчерашние школьницы, которые краснели и отводили глаза, встретившись с ним взглядом. Они привлекали его, сельского Казакову, их застенчивость и неопытность будили в нем ретивого самца. Нет, не обладание их телом привлекало его, а сознание того, что они влюблены в него и готовы на все, дай он только знак, вызывало в нем радость, радость победителя. Не он за ними, а они за ним ходят, ждут, млеют, любовные письма в ящик прокуратуры подбрасывают, на которые он никогда не отвечал, чтобы не оставлять следов. Высмотрит в молодежном клубе или на массовых гуляньях молодую красавицу, встретится с ней многозначительным взглядом, так что она вздрогнет и начнет думать и мечтать об этом таинственном герое, пока он не подстроит с ней случайную встречу. Или вечером подъедет на свой автомашине на ее улицу, встанет на противоположной стороне и будет ждать в сумерках, пока она его не заметит, да тайком от родных не выскочит, набросив шубу на домашний халат, и не прибежит к нему в кабину. Но нет, нет, ее девственность он не украдет. И не только потому, что это может привести к краху его карьеры, ему достаточно той самовлюбленной радости, которую он испытает. Чувствовать, как она дрожит, жмется и тянется к нему, вызывает в нем блаженство. Были и такие обезумевшие, что летней ночью залезали к нему в спальню через окно. Но он только поиграет с ней и отвезет домой.

Слухи о его благородстве еще больше разжигали молодых девчат и делали его таинственным кумиром. Бывало, в воскресенье утром, когда все по домам еще сидят, возьмет он свою верховую лошадь, наденет охотничий кафтан, сшитый по его фантазии, надвинет до бровей мохнатую казачью папаху, закурит трубку и мелкой трусцой совершает прогулку по главным улицам, до озера и обратно. Едет и знает, что из всех-то окон на него любуются женщины: «Сам поехал!».

Красоты в нем никакой не было, внешность его заурядная. Среднего роста, коренаст, на коротких кривоватых ногах. Его испорченное оспой, плоское лицо с курносым носом и маленькими, глубоко вдавленными карими глазами, выражало этакое брезгливое высокомерие, смешанное с затаенной злобой на всех. Когда он говорил, во рту поблескивали металлические коронки, отчего впечатление злобности его натуры усиливалось. Взгляда его боялись, он это знал, и это доставляло ему особое удовольствие.

Его платонические игры с молодыми девчатами были обычно

лишь прелюдией к разрядкам его мужской похоти, которую он гасил уже на солдатских вдовах, что не приносило ему много забот. Любил он крепко сбитых, грудастых, розовощеких сибирячек с плотными икрами. Встретит такую в магазине, на базаре или прямо на улице, задаст какой-нибудь вопрос, обшарит бесстыжим лукавым взглядом, а потом наклонится и начнет шептать на ухо: «Приходи сегодня часов в одиннадцать, входная дверь не заперта будет». Не каждая придет, но приходят: голод по мужикам был велик, да и честь велика — сам прокурор возжелал ее.

И здесь его страсть с самовлюбленностью была перемешана. Поиграет вначале, а затем на пол положит и ногами топтать начнет, потом на кровати сам сверху сядет, да мять ее примется так, что та только стонет, а уже когда до «дела» дойдет, то она и забыла, зачем приходила. И любовь такая не более двух ночей длиться могла, затем пригрозит он ей, чтобы молчала, а то «далеко отсюда окажется».

Допьяна он никогда не пил, боялся глупостей натворить. Всех, кто как-то отличался от общей массы на селе, он ненавидел и при каждом удобном случае старался свое превосходство показать или запугать. На заседаниях бюро райкома он, как правило, многозначительно молчал, и создавалось впечатление, что все остальные находятся как бы под его наблюдением. А ведь так оно и было, ведь к нему же стекались все доносы на начальство. Жаловаться же на него в область не решались, знали, что там, в главных прокурорах, его фронтовой дружок, майор МВД, ходит.

Однако, как ни осторожен был Асадчий, и у него случались ошибки. Как-то однажды на свадьбе подсел он к понравившейся ему молодой девушке, потанцевал с ней, потом что-то еще долго на ухо нашептывал. Заколдовал. На следующий день появился он на танцах в клубе, отыскал ее глазами, подозвал знаком к себе. Позднее видели ее в служебной его машине. Ночевать домой она не пришла. Утром мать обнаружила на ее шее и плечах красные пятна от диких поцелуев и заподозрила, что дочь ее уже не девственница. Однако дочка отказалась что-либо рассказывать и даже грозилась убежать из дома, если ее не оставят в покое. Слухи о бесчестии облетели весь поселок, стали парни к ней, как к гулящей, приставать и оскорблять. И все обошлось бы, как и всегда, но отец ее оказался начальником милиции, фронтовым офицером, прошедшим всю войну. Как ни велик был на селе страх перед прокурором, но отец пошел с ним объясняться, честь дочери защищать. Принял Асадчий его в прихожей — «сейчас некогда» — и вместо того, чтобы успокоить отца и уладить дело,

бросил ему: «Цела-целехонька ваша дочь!». Разговора не получилось, и хотя начальник милиции был мужественным человеком, идти в бой против прокурора он не мог. На заседаниях партийного бюро они продолжали здороваться, но все знали, что теперь он прокурору лютый враг и не простит ему унижения никогда. Дочка же вынуждена была покинуть Арык-Балык и уехать учиться в Кокчетав: здесь, в селе, порядочных женихов для нее не найдется.

Однажды Асадчий завалился поздно в районный ресторан, и хотя гостей уже в зале не было, да и кухню уже погасили, приказал, чтобы для него мясо поджарили и огурцы с водкой подали. Стали снова разводить огонь и в углу накрывать для него стол. Подавать ему стала Наташа.

— А где Раиса?

— Уже домой ушла, — соврала официантка.

— А ведь еще время не вышло!

— Так у нее сынишка приболел, — опять соврала она и, увидев, что он намеревается встать и пойти ее искать, еще игриво добавила: — А чем я-то вам не нравлюсь?

— Нравишься, нравишься… — И он направился в контору заведующей. Раиса еще не успела уйти, хотя уже оделась. Глаза их встретились.

— Ну что, бежишь от меня? Подавать мне не хочешь?!

— Да если вам так нравится, сейчас я подам, — решила она избежать обострения.

— Ты мне нравишься! — преградил он ей дверь.

— А вы мне и еще того больше, — попыталась она отделаться шуткой, но тут же почувствовала, как он схватил ее за талию и прижал к себе. Он него пахло спиртным.

— Ну, полно, полно, люди кругом. Дайте-ка я вам ужин приготовлю…

Она еще не успела докончить, как он впился ей в губы поцелуем и стал сильно сгибать в талии, валя на диван.

— Наташа! — успела прокричать она.

В комнату вошли и увидели, что прокурор уже лежит на заведующей. Продолжать было невозможно, и он медленно поднялся, презрительно оглядел всех и прошипел:

— Брысь отсюда!

А затем поднял Раису и стал шептать ей на ухо:

— Приходи сейчас ко мне, я входную дверь нарочно закрывать не буду.

— Не приду, не ждите! — взорвалась Рая.

Не подходя к уже накрытому столу, Асадчий направился через зал к дверям, которые были уже заперты. Когда Раиса

подбежала, чтобы открыть их, то услышала:

— Смотри, девка, зорко, чтобы вся бухгалтерия у тебя сошлась!

Такая фраза в устах районного прокурора означала, что быть ей заведующей осталось совсем недолго, и должна она только молиться, чтобы срока большого не получить.

В политическом лагере ты чувствуешь себя под прессом строгого режима и тяжелой работы, но окружающие люди понимают тебя и ты их. Здесь же, в ссылке, ты как бы на свободе, но ты чужой и совсем один. Мысли текут по замкнутому кругу, и ни у кого ты не находишь участия. Каждый человек, с которым сводит тебя здесь судьба, будит в тебе надежду, что, наверно, этот тебе будет близок. Но тщетно, ты снова один.

Как только я появился опять в ресторане, Рая вскоре снова оказалась передо мной и начала сама меня обслуживать. А затем, когда я закончил со своей котлетой, она попросила разрешения присесть рядом, и мы начали болтать обо всем, что приходило в голову. Было видно по выражению ее лица, что ей все интересно и необычно. Мне же хотелось слушать ее, чтобы глубже проникнуть в незнакомый для меня мир этой глуши. Я не хотел ее нагружать своими мыслями о политике, вряд ли она поняла бы меня. Да и было это опасно: то и дело ссыльных арестовывали за «антисоветскую агитацию» и давали новые сроки. Однако так уж была устроена советская действительность, что каких вопросов ни коснись, все приводит к политическим и социальным проблемам. Как только разговор приближался к этому, я старался разговор перевести на какие-нибудь смешные пустяки нашей жизни. Иногда мне это удавалось, и она заливалась смехом, и как это часто делают деревенские девчата, закрывала при этом лицо ладонями. Смешного в нашей жизни было мало, но, видимо, в молодости смеются просто от переполнения чувств. Иногда она становилась серьезной и просила меня рассказать о той довоенной жизни Петербурга, о русском царе и почему его расстреляли. «Ведь в школе все нам врали», — поясняла она.

Я же слушал ее рассказы о сибирских обычаях, о праздниках и свадьбах. Слушая ее, я рассматривал ее лицо, чистые белые ряды зубов, румяные щеки и ловил себя на мысли, что она мне все больше и больше нравилась. Мы шли навстречу друг другу.

На трех грузовиках привезли, наконец, оборудование для инкубаторной станции. Огромные контейнеры были наполнены блоками электроснабжения, камерами, лотками, стенами и полами самого инкубатора. Новый инкубатор был по тем временам техническим чудом: уложи яйца в лотки, запусти автоматическую систему, и через 21 день из яиц выйдут

пушистые, пикающие комочки — цыплята.

Но вот вопрос, кто может в этой глуши смонтировать и запустить все это. Нужно было видеть лица наших механиков, смущенно рассматривающих незнакомые им предметы. Бессонные ночи для них начались, нужно было расшифровать запутанные схемы монтажа.

Чечин же, прежде всего, захватил в доме большую комнату себе под кабинет директора. Через некоторое время в ней появилась и старая мебель, купленная при ликвидации какой-то конторы. В углу оказался большой железный сейф, видимо, для наших мизерных зарплат, которые мы еще ни разу не получали. И, наконец, огромный портрет Ленина. Не доверяя никому, Чечин сам, забравшись на лестницу, прикрепил его к стене за столом. Теперь, под сенью своего хозяина, он чувствовал себя увереннее.

Ни для кого не секрет, что чтобы иметь цыплят, сначала нужно иметь яйца. Но где их взять в этом районе, если в колхозах кур не разводят? Если станция не соберет в срок достаточное количество яйца, то нас всех разгонят. Конечно же, не Чечин, а я должен искать яйца по району, а это значит — запрягай лошадь в сани и гоняй по всем колхозам. А район большой, от села до села, по меньшей мере, километров сорок, а до дальних колхозов и все семьдесят.

Появилась на ИПС и своя лошадка с санями, звали ее Монголка за ее глаза раскосые. Она была небольшая, с мохнатой шерстью и длинным хвостом, ну, словом, настоящая казахская лошадь. Двигаться она начинала только после третьего удара кнутом, да и то трусцой, вразвалочку. Когда запрягаешь, все время нужно быть настороже, зазеваешься — укусит. В общем, дружбы никакой с ней не получалось, даже хлеб она вначале не признавала, лишь потом распробовала. Дикая была.

При всей своей меланхолии умела она неожиданно лягаться, причем била сразу двумя ногами. Лишь потом я понял, что иначе тут лошади нельзя — загоняют. В работе она была медлительной, скорее пешком дойдешь. Зато бежит она по семьдесят километров в день и ни воды, ни корма не просит, вот за что их таких тут разводят.

Дали нам и еще одну лошадь, верхового серого мерина в яблоках. Какой-то партийный секретарь загнал его и опоил, так что суставы ног стали постоянно отечными. Видимо, чтобы дело замять, начальство его старому коммунисту Чечину на станцию и передало. А конь был статный, лихой, нетерпеливый. Так как Чечин уже был не всадник и почти всегда «под газом», то Дончак стал как бы моей верховой лошадью.

На поиски яиц нужно отправляться немедленно, до паводка,

пока дороги проходимы. Чечин обзвонил все колхозы, районный парторг разослал во все колхозы грозные бумаги, чтобы яйца собирали у колхозников, а не только искали в хозяйстве. Прежде всего, нужно было объехать крупные колхозы и заключить договора на поставку, так чтобы к апрелю, по меньшей мере, 20–30 тысяч яиц поступило, а что будет дальше, мы решили не думать.

Езда в одиночных санках по заснеженной степи — дело рискованное: бураны, морозы, бездорожье и даже волки. К обеду на дорогах колею накатывают и она видна, но к вечеру поземка все заносит, и тогда заблудиться в степи дело обычное. Просидеть на морозном ветру в санях можно, только надев на себя меховой жилет, полушубок и тулуп. Уже в первой поездке я попал в историю. Приспичило мне в дороге, как говорят в Сибири, «до ветру сходить». Отвел я Монголку на обочину и даже сена ей подкинул, чтобы стояла, а сам на несколько метров в сторону отошел. Вдруг слышу, как за спиной заскрипели полозья саней, оглянулся, а она по дороге дальше потащилась. Кричу ей: «Тпррр…», но она, как глухая, идет себе дальше. Я за ней. Бегу, тулуп по земле тащится, мешает. Как она увидела меня, ходу прибавила. Я тулуп скинул, бегу во всю прыть, и она начала бежать. Скидываю полушубок, бегу из последних сил, вижу, что она морду на бок косит, на меня смотрит и дает свою максимальную скорость. Ужас объял меня: если она уйдет, стемнеет в степи, не дойти мне 20 километров до поселка — замерзну. Но, видимо, Господь был на моей стороне, медленно стало сокращаться расстояние между нами. На последнем дыхании бухнулся я через задник саней, перевернулся через голову и замер. Тут и она остановилась, видимо, поняла, что гонку проиграла. Отдышался, подошел к ней. Сибиряки за такие «игры» хлещут кнутом, сколько силы есть, «учат». Я же был старым лагерником, и мне ее порыв к свободе показался оправданным. Погладил я ее, кусок хлеба дал: «Не убежать нам отсюда, Монголка!».

Еще задолго до того, как покажутся во мглистой дали дымки домов, уже слышен лай собак — они учуяли запах пота твоей уставшей лошади и сообщают об этом всей деревне. Но деревня уже спит, и никому нет дела, что ты приехал и ищешь колхозного бригадира, чтобы переночевать. Суровая жизнь воспитала осторожность в сибиряках, не больно-то они доверяют незнакомому пришельцу, не распахивают двери на твой стук, а просят в окно показаться. А к окну не подберешься, оно завалено снегом, так и перекликаешься с хозяевами через закрытую дверь.

— Не укажете ли, где бригадир живет?

— Да большой дом, что напротив Ивана Затонного.

— А где в темноте его отыщешь, может, покажете?

— Да мы уже раздевши. Езжай дальше до перекрестка.

И начинается мотание по темной деревне. Хорошо, если повезет, и бригадир из деревни не уехал. А то ведь не впустят, в санях ночевать будешь.

Наконец, я в бригадирском доме, он подносит мою бумагу к коптящей керосиновой лампе, но не читает, а спрашивает:

— А вы от кого будете?

Объясняю ему все по порядку. Садится на лавку и начинает недовольно почесываться:

— К кому тебя определить-то? У меня так детишек полно.

И вправду, пригляделся, весь пол спящими устелен. Недовольно охает бригадир, надевает на рубаху шубу, вставляет босые ноги в валенки, на голову малахай: «Пошлити!».

Как правило, тревожит он одиноких и пожилых крестьян.

— Марфа, к тебе постоялец на ночлег определен, устрой.

Я уже знаю, что ночевать мне придется на полу, в редкой избе есть свободные места. На пол кладется половичок, на него тулуп. Под голову еще один свернутый полушубок, запихнутый в мешок из-под муки, а накрыться — ватное одеяло, пахнущее крестьянской тоской. Не хочешь — накрывайся своей шубой.

Если поздно и ужин уже прошел, то поесть тебе с дороги ничего не предложат. Своим питаться будешь, хорошо, если кипяток в самоваре еще не остыл. Чаще все же хозяйка чай разогреет, а ты ее городской колбасой в ответ угостишь.

Но, прежде всего, лошадь. Ее нужно распрячь, завести в крытый двор и дать сначала только сена. Затем всю упряжь занести в сени, чтобы к утру просохла, иначе натрешь ей холку хомутом, и будете, она и ты, сидеть недели две дома. И уж когда она совсем остынет, можно напоить ее. Ведь завтра ей опять эти семьдесят километров мерить.

Утром в конторе развертываю свои договора перед председателем колхоза.

— Да, откуда его взять-то, кур-то в колхозе не осталось… — ворчит он, но подписывает договор: партийная дисциплина. Я и сам знаю, что не выполнить ему его, но отговаривать не могу: что соберет, то и хорошо.

Как только договор подписан, скорее в обратную дорогу, а через день — в другой колхоз. Так в разъездах прошел весь март.

Наконец, и сюда пришла весна: мартовское солнце плавило огромные пласты снега, покрывающие степь, вода текла отовсюду в низины, образуя бурные потоки, перерезая дороги и срывая мосты. Все отдаленные села оказались отрезанными от центра на

целый месяц. Ветер повалил телефонные столбы, и лишь радио напоминало, что власть в районе еще существует. Все ждали, когда опять откроются дороги и прибудут фургоны с продуктами, прежде всего с водкой, без которой местный житель существовать просто не мог. В эту пору начинались и весенние свадьбы: возвращались ребята из действительной службы в армии, да и местные парни были еще свободны, до той поры, пока не начнется посевная.

Как-то Раиса сказала мне, что ее двоюродная сестра выходит замуж за одного бригадира, и я мог бы посмотреть эту свадьбу. Так мы оказались вместе на краю огромного праздничного стола в просторной избе. Белые, расшитые красным узором скатерти, а на них, яблоку упасть негде, расставлены в судках и тарелках закуски: холодная печеная рыба, пироги с капустой и мясом, маринованные грибы с квашеной капустой, моченые яблоки и всякое другое. По центру вдоль всего стола шли строем бутылки водки и графины с красным вином.

Уже полчаса сидят за столом гости, не притрагиваясь к еде, ожидая молодых. По традиции, жених со своими дружками и баянистом должен приехать в родительский дом невесты и получить ее из рук отца и матери, а уже затем только ехать к гостям. Когда они появились за столом, было заметно, что жених успел выпить, лицо его было красным, и глаза блестели. После кратких приветствий раздались крики «горько», и традиционный поцелуй открыл праздник. Далее шли подарки гостей. Подносились они открыто, чтобы каждый мог оценить щедрость дарящего: отрезы шелка, хромовые сапоги, шторы на окна, посуда и даже котлы из чугуна. Мать жениха все быстро подхватывает и уносит в соседнюю комнату, где напоказ разложено приданое невесты: это белье, подушки, ковры, посуда, украшения. И чтобы не обидеть родителей невесты, вслух объявляется та часть приданого, которая поступит на двор к молодым: телка, поросенок, куры. Когда с подарками закончено, начинают обходить гостей с шапкой, в которую нужно класть деньги. Кто мало кладет — бросает незаметно, а кто много, так сначала в воздухе потрясет.

Начинаются тосты, и после каждой стопки шум за столом возрастает, и уже слов разобрать не удается. Еще не закончили гости закуску, как на столе появляются жареные поросята, разрубленные на куски, куры и гуси. Все это едят по-простому, руками, а кости сбрасывают в ведра под столом.

Раиса мне весь этот порядок объясняет: что после чего должно идти и кто здесь за столом главный гость, а кто так прибился, чтобы выпить на дармовщину. Вдруг шум за столом

неожиданно стих, все взоры направились куда-то за нашей спиной. Сзади нас вдоль стульев протискивался к молодым человек, одетый в черный пиджак и при галстуке. Засуетилась мать жениха, место рядом с молодыми освобождает, прибор новый подает. Раиса шепчет мне: «Еще не хватало, Асадчий!». Да, это был сам прокурор, во всех движениях его была какая-то театральность, он чувствовал, что он сейчас главный и на нем сосредоточено внимание всех. Стоя, поприветствовал он молодых, и те даже встали от прилива уважения, что делать на свадьбах им не полагалось.

Пропустил одну стопку, ему тут же налили вторую. Он взял ее двумя пальцами и поднялся с места. Все сразу затихло. Прокурор обвел всех присутствующих взглядом, слегка откашлялся и начал:

— Вот ты, Наталья, и ты, Иван, вступаете на большую дорогу совместной жизни, которую должны вы славно, рука об руку пройти, любя и уважая друг друга. Семейная жизнь прекрасна, но она и сложна…

И здесь он сделал многозначительную паузу, чтобы дать всем задуматься над этой мыслью.

— Много трудностей подкарауливает вас, много неожиданностей! Готовы ли вы к ним? Должны… должны быть готовы.

Со мной рядом сидящий начальник пожарной команды, уже хорошо поддавший, защелкал языком и закивал головой: «Как говорит! Как говорит, ну, как пишет!».

Асадчий продолжал напутствие:

— Вот положим ты, Иван, встретишь другую молодую женщину, и она тебе ох как понравится. Как ты должен поступить, а?

Иван поставил на стол уже поднятую стопку и наморщил лоб, как будто бы и впрямь хотел разрешить эту задачу. Асадчий же продолжал:

— Ты должен сказать себе: нет, нет и нет! Любовь — это одно, а желание — это другое! — Палец прокурора поднялся вверх, и в наступившей тишине было слышно, как кто-то с восторгом прошептал: «Вот ведь! Вот ведь!».

Речь длилась еще минут пять, и когда закончилась, послышался общий вздох облегчения, как будто бы все прокурором были помилованы.

Официальная часть была окончена, и в соседней комнате стали раздвигать мебель, освобождая место для танцев. Приглашенный баянист в гимнастерке, увешенной медалями, брал уже вступительные аккорды. Танцы должны начать молодые,

и все ждали их, толпясь у стен. Мы поднялись, и Раиса шепнула: «Пошли отсюда!» Но я не понимал, в чем дело, и просил ее еще побыть, пока не начнутся танцы. Тогда она взяла меня за руку и отвела в угол за дверью. Танцевали разное: и сельскую кадриль, и английский фокстрот, кто как мог. Многие были уже пьяны и продолжали сидеть за столом, пока не пройдет хмель. Кого-то уже погрузили в сани и отвозили домой. Исчезли со свадьбы жених и невеста: они должны уехать к себе или в родительский дом, чтобы «провести первую брачную ночь», будто бы они прежде никогда вместе не спали.

Я было уже собрался уходить, как вдруг почувствовал на себе тяжесть чьего-то взгляда: в противоположном углу от нас восседал прокурор, он не уехал. Лицо его застыло в пренебрежительной гримасе, а глаза направлены на нас. Раиса стиснула мне руку, призывая уйти. Но как только я стал пробираться через толпу к дверям, Асадчий тоже поднялся с места.

Раиса была уже одета, а я разыскивал свой полушубок в куче на полу, как вдруг увидел прокурора совсем рядом: он наблюдал, как мы одеваемся. И уже у дверей, за спиной я услышал его скрипучий голос: «Ну что, убегаете?». Я оглянулся, наши взоры встретились, ехидная улыбка на его лице выражала злобное торжество.

«Отвратительный, хитрый и подлый зверь», — мелькнуло у меня в голове.

Шли дни и недели, мы стали встречаться не только в ресторане, но по выходным дням и на улице, чтобы сходить в кино или прогуляться вдоль озера. Сплетни о нас уже неслись по поселку: «Наконец-то Райка нашла себе жениха». Но женихом ее я себя не чувствовал, хотя она все больше нравилась мне: долгие годы отчуждения что-то тормозили во мне. Иногда поздно вечером я провожал ее до дома, где жила она с матерью и сестрой. Видимо, приглашать в дом меня она стеснялась, да и следуя сибирским обычаям, приглашенный в дом — уже жених. Каждый раз при расставании она смотрела на меня несколько загадочным взглядом, будто что-то важное было еще не досказано. Я не лез к ней с поцелуями у ворот, как было здесь принято у гуляющих. Иногда среди разговора она вдруг останавливалась и как бы сама себе говорила: «Как с тобой хорошо и легко. Ты совсем другой».

Вечером, лежа на своем диванчике, я старался разобраться в своих чувствах. В то время голова моя была нафарширована идеями французских энциклопедистов, Жан Жак Руссо, Дидро, их взгляды на «натуральные ценности» привлекали меня. Выходило,

что она «дитя природы», не испорченное цивилизацией, ее прямота суждений, непосредственность чувств — все гармонировало этим идеям. Пример Достоевского, женившегося в ссылке на местной молодой вдове, также был созвучен моим мыслям. Но и, кроме того, она была привлекательной, полной чувств и энергии, красивой женщиной. Ее крепкая фигура чем-то напоминала скульптуры Аристида Майоля, от которых я был в восторге. Во всех ее движениях угадывались не только изящество и природная сила, но и женская чувственность. Мне грезилось, что она лежит рядом со мной и я ощущаю все формы ее тела и чувствую ее порывистое дыхание. Ну, в общем, я был влюблен.

Сибирская весна обманчива, вот уже стало тепло и солнечно, но подул ветер, и ты дрожишь от холода и проклинаешь себя, что снял шубу.

Как-то в конце марта вечером во время нашей прогулки подул ледяной ветер, и она так озябла, что я предложил ей заглянуть ко мне, чтобы надеть мой свитер. Хозяйки, к счастью, не оказалось дома, и мы прошли через кухню в комнату, не навлекая сплетен. Было уже поздно, и в комнате стоял полумрак. Я решил отыскать свитер, не зажигая лампы.

Узкий ворот свитера не хотел проходить через копну ее волос, и мне пришлось ей помогать. Наконец, он был надет, но тяжелая роговая заколка упала на пол и покатилась под большой стол. Мы оба оказались на четвереньках, и через минуту заколка была у нее в руках, но, поднимаясь, она сильно стукнулась о стол, так что застыла, прижав руку к затылку. Я обнял ее и поцеловал, и в эту минуту почувствовал, что и она крепко прижалась ко мне и ищет мои губы. Наступила какая-то разрядка: мы обнялись, и наши губы невозможно было оторвать. Я куда-то летел, чувства и желания дурманили меня. Наконец, она отстранилась и сдавленным голосом сказала: «Пошли, пошли отсюда!». Я тоже понимал, что сейчас придет хозяйка, и сплетни о нас станут «детально материализованными», но овладеть собой не мог.

— Ты хочешь, ты хочешь, чтобы я к тебе пришла?

Я не мог понять, что это означает, так как она уже была у меня, но стал твердить: «Да, да!».

Тогда она отстранилась, села на стул и стала стаскивать хромовые сапожки. Они упорно не хотели сниматься, и я присел рядом на пол и стал помогать ей. Затем полетели на стол кофта и юбка. Она встала, прижалась ко мне, и мы оказались на диване. Та невидимая последняя преграда, которая многие дни разделяла нас, была пройдена.

Когда мы оделись и стали пробираться через кухню, там уже восседала хозяйка. Сухо ответив на наши приветствия, она

испустила тяжелый многозначительный вздох. Ну, теперь понесет по всему селу! Но нам было уже все равно, мы были счастливы.

Мама приехала! Она преодолела это огромное расстояние в девять тысяч километров из Ленинграда, пересаживаясь из поезда в поезд, и, наконец, на попутной машине приехала в наше село. Сколько лет! Она совсем седая, много морщин на лице, хотя глаза все те же, добрые и веселые. Мы обнялись, не произнося ни единого слова, и, наконец, как бы утешая меня, она сказала: «Теперь будет все хорошо».

Среди ее вещей оказалась большая корзина, обвязанная шалью, и когда шаль была снята, из нее выскочил большой щенок с курносой мордой: эта была Гейша, пятимесячный боксер. «Я привезла тебе подругу», — пояснила она. Получить такой подарок мне никогда не приходило в голову. Видимо, Гейше страшно надоела эта бесконечная дорога, и, выскочив на свободу, она с веселым визгом кружила вокруг мамы.

Посмотрев, как я живу, мама заявила: «Нужно купить свой дом». Денег по облигации она выиграла достаточно. Уже на третий день мы дом нашли. Это была большая бревенчатая изба, с большой комнатой на три окна и кухней с русской печью. За домом большой участок земли под огород, а еще дальше простирался берег озера, с которого открывался красивый вид на сопки, покрытые сосновым лесом. Теперь я стал, как и все сибиряки, домохозяином. Приобрести примитивную мебель не представляло труда, и однажды вечером мы истопили русскую печь, зажарили куру и справили новоселье. Впервые за много лет я сидел у себя дома и со своей мамой.

Но счастье длилось недолго, быстро пробежали дни, и расставание близилось. Незадолго перед отъездом я договорился с заведующим клубом и привел маму в промерзший зал, чтобы услышать еще раз те звуки рояля, под которые я засыпал в детстве. Когда, освободив от лежащего на нем хлама и очистив пыль, заведующий открыл крышку рояля, оказалось, что он страшно расстроен, так как к нему, видимо, много лет никто не прикасался. Но вот полились звуки знакомых этюдов Шопена, и я увидел руки мамы на клавиатуре: забытое чувство вернулось ко мне, мост в детство был восстановлен, и от этого все окружающее стало еще более чужим и суровым.

Счастье длилось недолго: мама уехала, но со мной осталась Гейша, этот веселый щенок с уже обрезанными ушами и хвостом и с удивительно выразительными глазами. Она быстро освоилась в доме и почувствовала себя хозяйкой. Вечером Гейша прислушивалась к закрытым ставнями окнам и при каждом шорохе на улице угрожающе рычала. Мне стало ясно, что у нее

совсем другая собачья натура, не похожая на сибирских уличных шавок. Если лаяла она, то только по «делу» и басом. Ее тупая морда с выпученными глазами и широкая грудь вызывали удивление у соседей: «Ну, какая же это собака — это кабан!». И этот «кабан» первое время наводил ужас на окружающих, и когда я с ней прогуливался по улице, то дети на всякий случай прятались за воротами.

На удивление всем, к концу марта на нашу ИПС стали из колхозов поступать яйца — «государственная поставка пошла». Уже через две недели ящики с этим добром заполнили до потолка одно из помещений, нужно было спешить, яйца могли испортиться, но инкубатор все еще не был готов. Каждые три дня механики убеждались, что они соединили все не так, и начиналась разборка. Слава Богу, электростанция заработала, и все помещения залились ярким светом, мы стали походить на приличную фирму. Механики читают инструкции по монтажу, а я штудирую книги по инкубации и прикидываю, как все это должно произойти. А что если ничего такого не произойдет или яйцо окажется не оплодотворенным, или техническая система откажет?

И вот однажды к вечеру монтаж был закончен, и я вошел в этот огромный вагон инкубатора, чтобы посмотреть, как все там должно происходить. Ряды сетчатых лотков с двух сторон, кондиционеры нагнетают свежий воздух определенной температуры и влажности, нагревательные лампы то включаются, то гаснут, а вслед за ними поворачиваются и лотки с яйцами — все вроде бы как надо. Завтра загружаем инкубатор, пробную серию нет времени производить, сроки подпирают.

На следующий день работа закипела. Чечин, надев синий китель с планкой какого-то ордена, стоит в зале и наблюдает, как суетятся работницы около ящиков с яйцами, загружая их в лотки инкубатора. К вечеру я собираю всех в зал и подзываю к пульту Чечина, чтобы он как директор нажал кнопку пуска.

Зашумели моторы вентиляторов, загорелись контрольные лампы. Наш пароход отправился в плавание.

После того как все разошлись и остались одни дежурные, Чечин пригласил меня к себе в кабинет. Погрозив пальцем, он подошел к своему бронированному сейфу и достал оттуда бутылочку коньяка. Где он мог ее в этой глуши раздобыть? «Трофейный, английский, с войны храню!» — пояснил он. Неужели он может долгое время что-то спиртное хранить у себя? «Коньяк» оказался простым виски, но это было не так и важно. Он налил по стопке, подсел поближе ко мне и уставился своими серыми испитыми глазами: я прочел в них страх. Инкубаторная станция была действительно его последней картой. В течение

восьми лет до этого он восседал в кресле главного редактора местной газеты «Арык-Балыкская правда» и к тому же еще заведовал небольшой типографией. Все это называл он «идеологическим фронтом». Передовые редакционные статьи в газету писала для него тайно от всех его дочка, ученица десятого класса, и в райкоме все находили их «идейно выдержанными». Сам же он закончил только семь классов сельской школы и потом еще разные партийные курсы переподготовки редакторов. До той поры пока в кресле первого секретаря сидел его давний приятель, все шло хорошо, но после войны появился новый молодой секретарь, и начались неприятности. Вопиющее несоответствие человека и его должности стали очевидны. Вызовут его на идеологическое совещание в райком, а он только по заготовленной бумажке может читать свой доклад. А однажды, слушая чей-то доклад, уснул в кресле и стал храпеть, оказалось, что он «под газом». Не спасли его и партийные заслуги: грамоты за участие в Гражданской войне, за коллективизацию в Сибири. О своих заслугах того времени он мне рассказывал:

— Какая наша забота была? После того как Колчака потеснили, мы леса прочесывали: как только кого подозрительного найдем, вопросов не задаем, тут же в расход пускаем. Куда их в плен-то брать?

— Ну, а если кто-то из местных крестьян в лесу случайно оказался?

— Бывало, — улыбнулся он, обнажая ряд металлических зубов. — Однажды с одним мужиком только мы разобрались, как видим: неподалеку его саночки с дровами и парнишка лет восьми на них сидит. Местный, конечно, был. Так ведь без ошибок нельзя: лес рубят, щепки летят!

Было видно, что в своей основе он был неплохим человеком, но постепенно «большевизм» убил в нем все хорошее.

— Ты думаешь, легко было нам в коллективизацию-то людей раскулачивать? Своих-то старых знакомых. Как начнешь-то зимой детишек почти раздетых из дома на мороз выносить и в сани сажать, сердце кровью обливается. Да что поделаешь, такая задача партией была поставлена.

Конечно, ни в птицеводстве, ни в инкубаторной технике он ничего не понимал. Он следовал сталинскому принципу «кадры решают все». А значит, и отвечать за все должен не он, а мы, кадры.

— Вот видишь, я тебе все предоставил. Как думаешь, пойдет оно или нет? — с некоторым испугом посмотрел он на меня.

Что я мог ответить подвыпившему старику?

— Да пойдет, Иван Николаевич, пойдет! Не пойдет, так

потащим! — А про себя подумал: «…или нас всех потащат».

Прокурор Асадчий не успокаивался. Как-то поздно вечером он подкараулил Раису при выходе из ресторана:

— Ну, что? Может быть, в кино сходим?

— Некогда, Дмитрий Иванович, дома дела есть, — вежливо отнекивалась она.

— Для меня так некогда, а для других — всегда готовая! Пошли! — схватил он ее за руку. Раиса вырвала руку. Повернулась, чтобы уйти, и услышала за спиной:

— Ну, ты у меня нагуляешься с ссыльными!

Как оказалось, это была не просто угроза.

Каждую неделю я должен был приходить в районную комендатуру МВД и расписываться там в особом журнале. Дежурный по комендатуре обычно был со мной вежлив и добродушен, но на этот раз я почувствовал другое:

— Ну, как работа-то, зоотехник?

— Слава Богу, не жалуюсь.

— Говорят, ты жениться задумал.

— Да нет пока. Если буду, вас приглашу.

— Ты, вот что, — протянул он тихим угрожающим голосом, — к вольным девчатам приставать кончай!

— Это что же, приказ?

— Да нет. Пока совет. Но крепкий совет.

Мне сразу стало понятно, что Асадчий начал уже действовать через комендатуру. Война объявлена.

А любовь наша разгоралась все жарче. Но теперь нам уже никто не мешал — у меня был свой собственный дом с деревянными ставнями на железных засовах. Наша крепость. Счастью не было конца. Сначала мы купили большую железную кровать с большими блестящими шарами на спинках. Раиса принесла гору белья и развесила по окнам занавески с вышитыми петухами. На новоселье пришла мать Раи и напекла в моей печке большие пироги. Дом просыхал и становился уютным жильем. Теперь мы могли уже рано вечером забираться под ватное одеяло и чувствовать себя в полной безопасности до утра.

Однако, видимо, наш покой кому-то мешал на селе. Поздно вечером мы слышали, как похрустывал снег под окнами, и Гейша срезу же бросалась с рыком на подоконник, а утром были видны следы на снегу вокруг нашего дома: вероятно, кто-то пытался смотреть через ставни в комнату, но они были хорошо пригнаны.

Гейша моя быстро подрастала и уже через два месяца превратилась в большую собаку. Видимо, под влиянием сибирского климата шерсть на ней отросла, как у овчарки. Я учил ее каждый день по учебнику хорошему собачьему поведению.

Спала она на специальном деревянном помосте в прихожей, причем для большой ее морды была сшита специальная подушка с песком, на которую она клала морду во время сна.

Канитель с ней была большая, иногда я проклинал себя, что согласился взять такой подарок. Чтобы у нее не испортился экстерьер, нужно было кормить ее по определенной схеме, мыть, чесать, подрезать когти. Когда стали у нее прорезаться зубы, она рвала все, до чего могла дотянуться. Однажды я пришел поздно с работы и обнаружил, что она лежит среди комнаты на моем новом ленинградском пиджаке, причем в плечах он уже разорван и одну из прокладок она держит в зубах. Произошла немая сцена: я застыл от негодования, а она, почувствовав это, оставила пиджак и, крадучись, стала забираться под кровать. Виноват был я, так как оставил пиджак на стуле, и ей ничего не оставалось, как «лечить» им свои молодые зубы. Хотя я и не думал о ее наказании, она все поняла и позднее старалась не приближаться к этому пиджаку, где бы он ни лежал.

Чтобы не гулять с ней специально, я брал ее с собой на станцию, где ее все полюбили. Проходя по улицам, я замечал, что местные собаки воспринимают ее, как пришельца с другой планеты, и жмутся к воротам своих домов. На кур она не обращала никакого внимания, а вот гусей за их гоготанье ненавидела и сразу же бросалась на них в атаку, так что из домов выскакивали хозяева и вспыхивали скандалы. Она привлекала внимание всего поселка, где бы ни появлялась. И многие приводили своих детей ко мне в дом, чтобы показать это чудо.

Однажды я вел ее на поводке по главной улице и у здания районной прокуратуры нос к носу столкнулся с Асадчим, выходившим из дверей. Я поздоровался, но он не ответил. Злобно-презрительная улыбка играла на его лице — он смотрел на Гейшу. Как только мы прошли мимо, я услышал его шипение: «Троекуров!». Я про себя усмехнулся: подумать только, даже Пушкина читал.

Советская власть не лишала ссыльных избирательных прав, видимо, потому, что выборы были чистой формальностью. Получил и я повестку на выборы и решил их не бойкотировать, а в первый раз в жизни посмотреть, как эта машина здесь работает. Люди, получив избирательный бюллетень, несли его, не раскрывая, прямо к урне и бросали туда, тем самым отдавали свой голос за все кандидатуры, которые там были написаны. На пункте были построены и закрытые кабины для голосования, куда согласно «Положению» можно было войти, чтобы прочитать бюллетень и вынести свое решение. Но туда, конечно, заходить боялись, чтобы никто не подумал, что они там зачеркивают

фамилии кандидатов и голосуют против.

Уже с шести часов выстраивалась очередь у избирательного участка, столь велик был страх попасть в черные списки. Но избежать выборов на селе было просто невозможно, так как уже с утра по домам бегали активисты и выгоняли людей из домов на избирательный участок, а кто не мог идти, тому подносили специальную урну: «Получи бюллетень и брось вот сюда!» Так, что уже к обеду 90 % избирателей успевало проголосовать.

Выстояв небольшую очередь, я оказался перед столом комиссии, где выдавали бюллетени, и в эту минуту увидел сидящего там же за столом Асадчего, конечно же, он был председателем. «Вот возьму и покажу ему, как нужно выбирать согласно „Положению!“» — вскипело во мне. Получив бюллетень, я уверенно направился в кабину для голосования, но, проходя вблизи Асадчего, вдруг услышал:

— Не туда пошел, вот урна-то где!

Не обращая внимания, я прошел в кабину, развернул эти бумажки, вычеркнул тех, кто мне не понравился, и направился к урне. Не успел я запихать в щель урны свои бумажки, как опять слышу, теперь уже почти шепотом:

— Ну смотри, если антисоветские лозунги там обнаружим!

Жизненное пространство для ссыльного заканчивалось на границе села. Даже если он хотел навестить кого-либо из близких в соседнем селе, нужно было специальное разрешение. Это разрешение, с указанием цели и срока, выдавалось в комендатуре. Для получения его нужно было писать заявление, которое могло быть и не удовлетворено, если проситель чем-нибудь был неугоден начальству. Подписанное каждым ссыльным предупреждение обещало до двух лет лагерей за самовольный уход из села. Редко мы слышали о настоящих побегах: куда бежать, всюду в стране, как в ссылке. Бывали случаи, когда захмелевшие парни убегали к своим знакомым в соседнее село на свиданье без разрешения. Таких сажали в наказание в изолятор при комендатуре, но уголовных дел не заводили. Особенно трудно было получить разрешение на поездку в Кокчетав: местные начальники боялись, что люди ездят туда подавать на них жалобы.

Сам листок разрешения оставался в комендатуре, а уезжающим выдавался только корешок от него, который и служил пропуском, так как никаких паспортов не было. Потерять этот корешок было очень легко, так что я не брал его, а оставлял там же, в комендатуре. Все равно никто кроме комендатуры проверять меня в районе не будет.

Однажды получив разрешение на поездку в один из дальних

колхозов, я обратил внимание на подчеркнутую вежливость коменданта:

— Вы, конечно, хорошо ознакомлены с «Положением о ссыльнопоселенцах» и подписали предупреждение?

Зачем он мне все это повторяет, ведь он же знает, что я часто совершаю служебные поездки. Я стал корить себя, что и на этот раз не взял с собой корешок разрешения. Возвратиться? Начиналась легкая метель, дорогу становилось плохо видно, до совхоза еще сорок километров: возвращусь — не успею туда засветло. Да Бог с ним!

Это была моя ошибка. Через час езды я с удивлением заметил, что в снежной дымке стал виден силуэт всадника. За мной? Догоняют? Не может быть!

Оказалось, что может. Это был младший сержант, помощник коменданта, из местных, только что отслуживший в армии. Обогнав меня на верховой лошади, он остановился, преградив мне путь, и схватившись за кобуру, истошно заорал: «Стой!».

Я вышел из саней, а он слез с лошади и принялся обыскивать мои сани. Ничего в них не обнаружив, он металлическим голосом скомандовал:

— Покажите разрешение на выезд.

— Оно у вас в комендатуре.

— Никто разрешения вам не давал! Приказываю вернуться в комендатуру!

Лошадь моя с большой радостью лихо потрусила назад, а я погрузился в тревожные размышления. Было совершенно ясно, что разыгрывается провокация.

В комендатуре меня посадили как арестованного в угол комнаты, и сержант, не смотря мне в глаза, начал допрос. На мои возражения он заявил, что никакого разрешения комендатура мне не выдавала. Составили протокол о побеге, который я, конечно, отказался подписать. Затем меня отвели в изолятор, деревянную пристройку к дому комендатуры. Знакомые чувства подследственного посетили меня. «Какой же я наивный дурак!» — корил я себя.

Уже поздно вечером в коридоре изолятора около моей камеры я услышал сначала тихие шаги, затем шепот. Дверь растворилась, и я оказался в объятьях Раисы.

Так как все служащие комендатуры приходят выпить к ней в ресторан, то путь на свидание к любимому в изолятор для нее был открыт. Разговор был очень коротким:

— Это все Асадчий! Он давит на коменданта, чтобы тебя перевести в другой поселок. Жди меня, милый, я сейчас постараюсь… Мы с Валькой были подругами…

Что это должно обозначать, мне не было ясно, но с этими словами она скрылась.

Прошло еще пару часов, и дверь действительно опять растворилась:

— Держи и не потеряй! — Это была Рая. У меня в руках оказался тот самый синий корешок разрешения, который я при отъезде оставил в комендатуре! Это чудо. Она все может. Как только она скрылась, я начал стучать в дверь. Вскоре в окошечке появилось отекшее лицо сержанта, он был пьян.

— Чего тебе?

— Я нашел корешок разрешения, срочно сообщите об этом коменданту.

Прошло еще немного времени, и меня вывели из камеры. Комендант сидел и нервно курил, на лице его было написано недоумение: как корешок мог оказаться у меня?

— Я выражаю протест, — начал я, — на незаконное задержание. Вы же сами выдали мне разрешение сегодня утром. — И я помахал бумажкой.

Комендант был не глуп, его дело было проиграно. Спросить меня, как оказался у меня в руках корешок, он не мог. Он вздохнул и откинулся на спинку стула.

— Ты понимаешь, что получилось… — начал он свои сбивчивые объяснения.

В общем, выходило, что его заместитель ошибся, и так далее. Я ему был безразличен, он делал все это для Асадчего, но не прошло.

Лишь потом я узнал от Раисы, что она сразу же направилась к своей школьной подруге, которая была женой коменданта, и она тут же, опередив его, побежала в комендатуру искать в его столе корешок моего разрешения. В Сибири есть смелые и справедливые женщины.

По выходным дням я брал на станции верховую лошадь и совершал на ней прогулки по окрестному лесу. Есть же такие чудеса в казахстанской степи, когда вдруг возникает оазис: живописное озеро, окруженное горами, а на склонах лес из реликтовых сосен, утопающих в зарослях можжевельника. Полное безветрие, снег к концу зимы достиг метровой толщины, так что лошадь утопает в нем по брюхо. Вокруг на снегу бесчисленные следы зверей: зайцев, кабанов, волков и даже оленей. Их здесь много развелось: охота была строго запрещена.

В один такой солнечный мартовский день, во время верховой прогулки, я отчетливо услышал выстрелы. Кто-то охотился в заповеднике. В то время меня это особенно не тревожило, так как я чувствовал себя здесь временным гостем. Однако кто же это? Я

обогнул гору и обнаружил следы на снегу, которые вели к озеру. Человек был обут в валенки и курил хорошие столичные папиросы, а не махорку.

Следы были совсем свежими и свертывали от озера к каменистому склону, где и терялись. Создавалось впечатление, что охотник, почувствовав наше приближение, старается уйти незамеченным. Видеть меня он не мог — заросли были очень густыми. Гейша моя бежала рядом и уже изрядно устала, постоянно выкарабкиваясь из снежных ям. Темнело, я направился к поселку и стал звать Гейшу, которая отстала и с трудом пробиралась через кустарник.

Вдруг прозвучали еще два выстрела, уже совсем радом, где-то позади меня. Подождав еще немного, я двинулся назад искать Гейшу, она не приходила на мой зов.

Наконец, я ее увидел, она почему-то спряталась в кустах и лежала там, пригнув голову. Вид у нее был растерянный и испуганный. Когда я подошел к ней, то обнаружил, что под ней на снегу следы крови, а одну лапу она держит на весу. Осмотрев кожу, я заметил несколько маленьких ранок. В нее прицельно стреляли дробью! Слава Богу, что не повредили глаза.

Обнаружил я и место, где стоял стрелок. Он курил папиросы «Герцогине Флора»!

Ночью кто-то неистово стучит ко мне в окно: «Зоотехник, на станции авария!».

Это был ночной дежурный. Встал движок электростанции, и подача энергии в инкубатор прекратилась, он остывал.

Я послал посыльного поднимать механиков, а сам поспешил пешком на станцию. Дежурный механик уже копался в машине: виновато было плохое горючее — в мазуте было много минеральных примесей, они забили форсунки двигателей. Инкубатор и лежащие в нем яйца медленно остывали, температура снизилась до 18 градусов. Как может отразиться это на всем процессе, я не знал. На всякий случай я распорядился отапливать помещение дровами, чтобы температура не упала еще ниже.

Прошло несколько часов, шла разборка и прочистка машины. Стало уже светать. Появился и Чечин. Он был не один, с ним в санях сидел еще какой-то человек. Как оказалось, это был следователь прокуратуры. Трус Чечин, вместо того, чтобы сразу прибыть на станцию, бросился сначала в прокуратуру докладывать об аварии. Как же, ведь работают ссыльные, того гляди диверсию совершат!

Следователь сразу же ухватился за отстойники машины, где был осадок от мазута. Аккуратно переложив пробу в баночку, он

стал ходить вокруг и ложкой брать пробы песка из окружающей почвы. Легко было догадаться, что прорабатывается версия вредительства: «песок был брошен в топливо!».

Чечин разговаривает со мной почти шепотом, как будто бы случилась не авария, а произошел заговор.

— Нет ли каких-либо признаков проникновения посторонних лиц в помещение инкубатора?

— Нет.

— Не мешало бы опечатать все двери.

— Это невозможно, я должен наблюдать за процессом — там 20 тысяч яиц.

— Тогда это все вы берете на себя…

В эту минуту я заметил, что следователь уже усаживается в сани, чтобы ехать обратно. И здесь меня осенила мысль: он же ведь не взял пробы из запечатанной цистерны с мазутом! Ведь там же могут быть такие же примеси. Говорю это Чечину, а он мне:

— Да вы ему не мешайте, он знает сам, что делать.

Вот именно «знает»! Бегу к саням и пытаюсь все это объяснить следователю. Маленькие глазки на пухлом лице прищурились, моя активность казалась ему подозрительной. Однако, видимо, он сообразил, что может быть обвинен в некомпетентности. Он выходит из саней и идет брать пробу из новой, нераспечатанной цистерны. Я беру каплю мазута со дна и чувствую на пальцах твердые частицы. И тут же еще одна мысль возникла у меня:

— Удостоверьтесь, пожалуйста, что бочка не была распечатана.

Ну, а теперь пусть попробует начинать дело!

Вскоре вновь взревел движок электростанции и к инкубатору пошел ток. Ко мне подходит один из механиков и показывает какие-то бумажки со словами: «Нужно запасной двигатель вернуть». Всматриваюсь: это накладные на полученные для станции два двигателя, один из которых аварийный.

— Где же второй двигатель?

— Чечин в соседний колхоз отдал!

Я знал, что председатель этого колхоза дружок Чечина и снабжает его овощами на всю зиму. Хорош наш директор! Вхожу в его кабинет. Он сидит в кресле, важно надувшись:

— Ну, как теперь, думаешь, пойдет дальше работа? Не пострадало ли яйцо? Давай-ка составим протокол о случившемся.

— Протокол уже следователь составил, нам с вами незачем беспокоиться. Вот только забыл он одну бумажку к делу приложить, — я помахал в воздухе накладной на двигатели и

продолжал: — Уж я ее сам ему передам. Оказывается, на станцию поступил запасной аварийный двигатель, да только куда-то затерялся. Был бы он — никакой аварии не было бы. Уж не вредительство ли это?

Чечина просто откинуло на спинку кресла, он полез за какими-то таблетками в карман. Видно было, что он силится что-то сказать, но от шока не может. Боже мой! Я убил человека! Нет, он жив, манит меня пальцем подсесть поближе:

— Дай-ка, дорогой, мне эти бумаги. Я тебе потом все это расскажу.

Передаю ему накладные, все равно копии в бухгалтерии есть. Но как хитер старик!

— Ты понимаешь, его, то есть движок, в дороге уронили, так я его в один колхоз на ремонт отдал, там механик опытный.

— Понимаю. Странно только, что он там уже месяц как вовсю работает, а у нас авария. Да, впрочем, прокуратура разберется, мы мешать ей не будем.

Стало видно, как опять его охватила паника, и он неожиданно снова превратился в жалкого старика:

— Слушай, дорогой, нам с тобой надо во всем единое мнение иметь. Я буду тебе помогать. Вот скоро мы легковую машину получим, так я тебе ее отдам, будешь по всему району ездить, куда захочешь. А вот о двигателях, пообещай мне, что ты дело раздувать не будешь.

— Добро, Иван Николаевич, только вы мне пообещайте, что вы сегодня же пойдете к следователю, чтобы там с пробами полный порядок был. Если нет, то я беру свое обещание назад.

Я знал, что партийная братия покрывает друг друга. Так что он этот узел развяжет. Ворон ворону глаз не выклюет!

Дни шли, и напряжение росло: этот двадцать первый день уже наступил, когда должны появиться цыплята, но в инкубаторе была по-прежнему тишина. Дома мне уже не спалось, я соорудил постель прямо в цехе станции и находился там круглые сутки вместе с Гейшей. В соседних помещениях сооружали стеллажи для приемки цыплят, отваривали яйца, собирали желтки, запасали родниковую воду, а цыплята не хотели появляться. Они продолжали сидеть в своей скорлупе. Что-то не так или на них повлияло охлаждение при аварии?

На двадцать первый день первым пришел в панику директор Чечин:

— Ох, дорогой, смотри, все ли ты правильно сделал? — стал обращаться он ко мне на «ты», видимо, смирившись с мыслью, что сидеть нам придется вместе по одной и той же статье. Я же продолжал сопротивляться дурным мыслям:

— Если они живые и нормально развитые сидят в яйцах, значит, им все-таки когда-то захочется выйти из них.

На следующий день Чечин вообще не приехал на станцию и сказался больным. Но в этот день после обеда ко мне подбежала работница, радостно восклицая: «Два цыпленка на полу в инкубаторе бегают!». Вхожу в отсек — и правда, два пушистые серых шарика гуляют на полу — они выпали откуда-то сверху. Открываю лотки, а там их уже много, и большинство яиц проклюнуто. Выплод пошел!

Уже к концу первого дня приемное помещение заполнилось тысячью разноцветных шариков, активно снующих по отделению, топча своих соседей в поисках пищи и воды. Я стал вести подсчет, получалось, что почти семьдесят процентов от заложенных яиц превратились в цыплят — это уже близко к норме. Это уже успех!

На следующий день «выздоровел» и Чечин. Он появился на станции в новом кителе, с сияющим лицом и тыкался то в инкубатор, то к механикам. Мое предложение отпраздновать успех он отклонил:

— После приезда «самого». — «Сам» — это секретарь райкома по сельскому хозяйству, которому он, видимо, уже успел похвастаться.

И правда. Через час около станции затормозил зеленый джип, и из него медленно выползло что-то очень полное, одетое в кожаное пальто, со сталинской фуражкой на голове. Чечин выскочил навстречу и в благодарность получил вытянутую руку начальства. Секретарь тут же узнал меня, но руки не подал — партийная этика не позволяла. Важно переходя из одного помещения в другое, он время от времени задавал вопросы Чечину. Поле того как было доложено о семидесятипроцентном выходе цыплят, последовал вопрос: «А почему не все сто?». Чечин несколько опешил, так как получалось, что он что-то недовыполнил.

— Я слежу за порядком и дисциплиной, а за технологию несет ответственность наш зоотехник, — выскользнул директор. Маленькие глазки секретаря обратились ко мне: «Докладывайте!».

Я объяснил, что стопроцентной рождаемости быть не может, природа делает отбор, не позволяя явиться на свет неполноценным существам, кроме того, не все яйца оплодотворены. Лицо начальника стало печально недовольным, ему показалось, что его здесь чему-то учат. Вероятно, вспомнив фразы из недавнего семинара по теории Мичурина — Лысенко, он промолвил:

— Нужно бороться за все сто процентов, — и затем вставил сакраментальную мичуринскую фразу: — Нам нельзя ждать

милостей от природы, взять их — наша задача!

Чечин сдвинул брови, как бы запоминая эту великую мудрость, и покачал головой.

Мало ли, много ли, но цыплята пошли и пошли тысячами. Теперь все мы сидели по очереди у телефона и названивали в колхозы, чтобы они срочно присылали забирать цыплят. Великий кругооборот природы действовал: к нам везли яйца, а от нас цыплят. Когда их поступило в районы уже более десяти тысяч, Чечина вызвали в райком для поздравлений как главного организатора развития птицеводства в этом отдаленном районе. И все, казалось бы, шло хорошо, но вот беда: из колхозов посыпались сообщения о массовой гибели цыплят. Мне пришлось туда выезжать, чтобы установить на месте, в чем дело. Но многие колхозы были уже отрезаны от центра паводком, проехать в них можно было только верхом на лошади, преодолевая в брод бурные потоки. Купаться в ледяной воде и затем скакать на лошади совсем мокрым несколько километров — на это можно отважиться только в молодости.

Действительно, в некоторых колхозах погибли все цыплята. Причина была проста: в хозяйствах не было ни помещений, ни топлива для обогрева, ни корма для цыплят. Я был потрясен бедностью этих хозяйств, разоренных непосильными налогами. «У нас дети в избах замерзают!» — жаловался мне один бригадир. В другом хозяйстве нашелся мудрый председатель:

— Мы раздаем цыплят колхозникам из расчета, что половину выживших они оставят себе. У них на печках они выживут.

Когда он повел меня по избам показывать, открылась ужасная картина. В одном домике на печи, рядом с цыплятами, лежат трое детей школьного возраста. В школу они пойти не могут: есть только одна пара валенок, в которых они по очереди бегают в туалет на двор. Прямо в избе, за загородкой, хрюкает поросенок, а в сенях стоит телка. Вонь и грязь кругом. Хозяйка, вдова фронтовика, плачет: околела корова, семья кормится только гнилой картошкой, что осталась в погребе. На мольбы вдовы о помощи председатель огрызается:

— Я же тебе давеча дал четыре килограмма овса — вари кисель!

По дороге председатель рассказал мне, что вчера похоронили старика-колхозника, он жил один на окраине деревни, приболел и слег. Топить в избе было некому, и он просто замерз. Говорить после этого о здоровье цыплят было невозможно.

Метод раздачи цыплят колхозникам мне понравился, так хоть что-то будет спасено. Я и в других колхозах стал давать такие советы. Вернувшись, я предложил Чечину составить и утвердить

инструкцию для всех колхозов: в случае больших трудностей с содержанием раздавать цыплят колхозникам. Чечин покачал головой и погрозил мне пальцем.

На следующий день меня позвали к телефону. Говорил все тот же секретарь. Чечин уже донес ему.

— Разбазаривать колхозное добро не позволим!

А еще через неделю я получил выговор из райкома «за самоуправство и разбазаривание колхозной собственности».

— Ты умный человек, — утешал меня Чечин, — а политического чутья в тебе ну нисколько нет!

Что делать с теми яйцами, из которых не проклюнулись цыплята? Таких насчитывалось до десяти процентов. Цыплята в них были живыми, но слабыми и, видимо, недоразвитыми. Если их вынуть, обсушить и хорошо ухаживать, то вскоре они становились на ножки и принимались тоже клевать корм. Но нужно ли таких цыплят выращивать, не создадим ли мы неполноценное, генетически слабое, поголовье птицы в районе? Ведь мы вмешиваемся в естественный отбор. Никто мне на этот вопрос не мог дать ответа, инструкция молчала, молчали и книги. Я позвонил в Кокчетав главному зоотехнику по птице.

— Дело, конечно, это у нас новое. Конечно, яйцо с не проклюнувшимися цыплятами нужно уничтожать: цыплята ведь эти неполноценные.

— А не пришлете ли вы мне письменное указание по этому поводу?

— Сейчас нет времени, но позже пришлю.

— Слова к делу не пришьешь. Когда еще он пришлет? А что мне делать сейчас?

Конечно же, ни Чечин, ни районный отдел сельского хозяйства никаких мне указаний дать не могли. Да и боялись. Но яйца с не проклюнувшимися цыплятами накапливались, уже сотни таких лежали в корзинах и издавали отвратительный запах. Наконец я решился уничтожать эти яйца: ведь пришлет же он мне когда-нибудь свое письменное указание.

Во дворе была вырыта большая яма, выложена камнем, и к отверстию приделана деревянная крышка с замком на цепочке, чтобы лесные звери не добрались. Я дал указание работникам все яйца, оставшиеся в инкубаторе после 22-го дня, сбрасывать в этот могильник.

Первым узнал об этом Чечин и, следуя своему партийному чутью, сразу решил выразить сомнение: «А вдруг это хорошие цыплята будут, а мы их уничтожаем? Это ваше решение».

Дни шли, и как-то все об этом забыли, думали о живых цыплятах. Но однажды птичница сообщила мне, что замок на

могильнике сорван. Кому-то понадобилось посмотреть, что у нас в могильнике.

Через несколько дней с озабоченным лицом подходит ко мне Чечин:

— До райотдела дошли слухи, что цыплят у нас со станции воруют.

Мне это показалось маловероятным, в отделениях круглосуточно находились люди, кроме того, цыплята на третий день развозились по колхозам.

Опасность я почувствовал после того, как у нас на станции появился все тот же следователь. Сначала он сидел у Чечина. Затем Чечин нашел меня.

— Кто вам дал указание сбрасывать это яйцо в могильник?

— Главный зоотехник по птице.

— Есть письменное указание?

— Нет.

— Так вот это яйцо вынимают из могильника, достают оттуда живых цыплят и выращивают у себя на печке! — И не выслушав моих возражений, заявил: — Поступило заявление в прокуратуру, и следователь начал расследование! Я вас предупреждал!

Как стряпаются уголовные дела в этой глуши, я уже знал. Что-то стало неприятно сжиматься у меня внутри. Почему же до сих пор не высланы письменные указания? Ведь от слов он может отказаться!

Одна из птичниц шепотом мне сказала, что ее уже вызывали в прокуратуру и подробно расспрашивали о работе на станции и обо мне. Через день следователь опять появился на станции и в присутствии Чечина стал отбирать пробы из могильника.

Он брал выброшенные туда яйца, снимал скорлупу, вынимал мертвых цыплят и, сощурив глаза, подносил их к лицу Чечина, как будто бы обнаружил решающую улику. Чечин же согласно покачивал головой.

Наконец, и я получил повестку явиться в прокуратуру к следователю. За столом сидел все тот же толстый человек во френче министерства юстиции. Было видно, что он только что пообедал и принял свои «служебные сто граммов». Его лицо выражало сонливое безразличие, как будто ему было все равно, как пойдет это дело. После обычных формальностей он протянул мне для подписи постановление о начале следственного дела против меня за служебную халатность.

— Мы прочли ваше объяснение, но хотели бы знать, на основании какой инструкции вы действовали?

В общем-то, он был прав, это было моим личным решением, если не считать разговора с главным зоотехником. Но я все-таки

опять начал свои объяснения:

— Общая инструкция не дает никаких указаний на этот счет, и мне пришлось решать самому. В книгах по птицеводству сказано, что не вышедшие в срок из яиц цыплята являются неполноценными.

Я говорил медленно, и его, как видно, клонило в сон. Наконец, он поблагодарил меня и сказал, что если потребуются еще разъяснения, то меня вызовут. Я собрался уже уйти, как дверь в кабинет растворилась и на пороге появился прокурор Асадчий.

— От кого вы получили инструкции уничтожать живых цыплят?

— Вы хотели сказать, неполноценное яйцо с неразвитыми эмбрионами?

— Нет, я хотел сказать то, что я сказал!

— Тогда живых цыплят на ИПС никто и никогда не уничтожал.

У нас есть несколько протоколов допроса граждан, которые вынули ваше яйцо из могильника и уже вырастили отличных цыплят!

— Это цыплята неполноценные, они опасны для хозяйства, из них получится плохая птица.

— Получится! Получится! Скажите-ка лучше, почему вы вредите советской власти? Это что, месть?

— Вредительством бы было передавать этих цыплят в колхозы.

— Объяснять будете это не здесь! На вас открыто дело по статье 58—9 за вредительство и передано на рассмотрение в Областное КГБ!

Он вынул какую-то бумажку и развернул перед моим лицом. Я смог разобрать только слова: «В Областное Управление КГБ…». Подуло знакомым ветром. Я поднялся уходить, и уже в коридоре он мне бросил в спину: «Нагулялся!».

Лагерный опыт многих лет предсказывал мне беду. С «механикой» органов я был хорошо знаком и сразу ясно представил себе, по какому сценарию будут развиваться события. Чувство не страха, но тоски стало охватывать меня. Нет смысла жить, если все пойдет по второму кругу. Начала стучать мысль: «Покончить с этим раз и навсегда. Такая жизнь все равно не приносит радости».

«Навсегда уйти, но как это сделать? Чтобы без муки, без боли!» Я знал, что люди принимают снотворное и засыпают навсегда. Как это здорово! Но где я его достану?

Как только я вошел в свой дом, все там мне показалось чужим и нелепым. Я где-то слышал, что смерть в петле

мгновенна. И эта мысль заставила меня посмотреть на потолок в кухне, где вдоль всего помещения проходила огромная деревянная балка. Между ней и обшитым доской потолком было небольшое пространство. «Пропустить через него веревку, надеть петлю и прыгнуть с табуретки». Жаль, что у меня нет ружья, я где-то читал, что можно застрелить себя, поставив его на пол и направив себе в рот. Или вот еще: закрыть трубу в горящей печи, и тогда угарный газ тихо усыпит тебя. А если не усыпит, и тебя откачают? Нет, это не пойдет. И через секунду: «Какой кошмар! Что это я задумал?». Может быть, действительно, еще раз позвонить в Кокчетав и потребовать письменного указания? Он ведь обещал.

Этим вечером снова повалил снег, и стало сразу же сумеречно. Тоска еще больше стала давить. Не хочу больше жить среди этих волков! Даже если все это уладится, я ведь должен жить здесь вечно. Размышляя, я и не заметил, как в руках у меня оказалась длинная веревка, которую я использую во дворе для белья, и я уже связал на конце ее маленькую петлю. Затем пропустил свободный конец через нее, и получилась большая петля. «Попробую, как это выглядит». Я встал на табуретку и стал закидывать свободный конец в ту щель между потолком и балкой. Наконец, это удалось, и я привязал конец к балке. Подергал за петлю и как-то успокоился: как все это просто: «Уйти, уйти навсегда! И там уже отдохнуть, там их нет!».

Так стоял я на табурете с петлей в руках, держа ее, как свою майку, чтобы надеть ее на голову. Вдруг я услышал за моей спиной какие-то звуки. Оглянулся. Так ведь это же Гейша, я о ней-то совсем забыл. Она лежала, вытянув вперед свои лапы в белых перчатках, и удивленно смотрела на меня. На табурете в комнате я никогда не стоял, или она своим чутьем уловила мои намерения. «Черт с ней, не погибнет здесь без меня, есть ведь еще Рая». Я отвернулся, снова начал концентрировать свое внимание на петле. Но Гейша не отвязывалась: как только я отвертывался, она начинала ворчать, а потом подошла сзади и положила передние лапы на край табурета. Она явно что-то требовала. «О, Господи, надо запереть ее в сенях». Я спустился, но ее уже не было, она залезла далеко под кровать.

— Гейша, ко мне! — Никакой реакции, сидит. Ну, да Бог с ней, опять встал на табурет. И опять слышу угрожающий ее рык: «Рррру! Ррру!». Ах, вспомнил я, она же ведь голодная, с самого утра она ничего не получала. В печи должен быть большой, еще теплый котел с мясным супом для нас обоих, пойду, налью ей. Пошел, налил, поставил. Она вылезла из-под кровати и, не обращая внимания на еду, подошла ко мне, ткнула свой

холодный и мокрый нос в мою руку. «Она жалеет меня: я же ведь сейчас умру, а она останется одна». Мне ее стало страшно жаль, как это она без меня останется.

— Гейша, иди ешь! — указал я ей на миску, но она осталась на месте и стала внимательно смотреть на меня. Ее взгляд и запах вкусного супа вернули меня в реальность. «Ну, ладно, Гейша, я тоже буду есть суп», — взял и налил себе тарелку. Достал ложку и попробовал. Вкусно. Стал есть, смотрю: и Гейша начала лакать. Мы стали есть вместе, когда съели бульон, то на дне остались куски мяса. Я достал вилку, поймал кусок и посолил его. К водке я был почти равнодушен, а здесь почему-то пришла мысль, что к этому мясу нужно обязательно налить стопку. Порывшись в шкафу, я извлек оттуда недопитую бутылку «Московской». Налил, выпил, тепло стало распространяться по всему телу. Не помню что, но я стал что-то рассказывать Гейше. Наверно, жаловаться на мою судьбу.

Утром я проснулся лежащим во всей одежде на кровати. Странно, что голова не болела. Рядом со мной, а не на своем месте спала Гейша. Комната была залита солнечным светом, так как ставень вечером я не закрыл. Я продолжал лежать и рассматривать предметы в комнате. Что это вчера со мной было?

Боже, да сегодня же ведь на станции вы плод! Поспешно оделся, вышел в кухню и сразу не мог сообразить, почему посреди помещения стоит табуретка.

«Ах, да! Нет, так просто меня не возьмешь! Жизнь продолжается».

Я так был занят на станции, что мы встречались лишь вечером. В этот вечер я заметил, что Рая почти не разговаривает со мной, глаза печальные, и лицо совсем бледное. Что-то случилось у нее дома?

Ночью я почувствовал, что она толкает меня в бок:

— Дорогой, помоги мне, я боюсь встать. Сними со стола большую клеенку и помоги расстелить ее подо мной.

Может быть, все это говорит она во сне? Нет, глаза ее широко открыты. Когда я все сделал, она продолжала:

— Принеси мне две чистых простыни из комода и дай попить. — И после паузы: — Я сделала аборт. Когда к тебе пришла, лишь немного кровило, а теперь потекло…

Про ее беременность я ничего не знал. По сибирским понятиям, жена не должна ничего говорить мужу о беременности, пока не примет решения: оставлять или делать аборт. По понятиям православной церкви, аборт — большой грех. Но не только это заставляло держать аборты в тайне: советские законы карали за их производство как за «убийство будущего советского

гражданина», приговаривая к двум, а то и четырем годам лагерей. Все больницы и врачи обязаны были сразу же информировать органы прокуратуры о поступившей к ним больной. Сокрытие тоже было преступлением.

Раньше на Руси были повивальные бабки, мастерицы своего дела, которые владели народными методами изгнания плода. Теперь аборты делали себе женщины сами, как могли: распаривались в бане, глотали ртуть, пили разные отвары. Был и еще один радикальный способ.

Бралось большое гусиное перо, соскабливался весь пух с него. Затем его смачивали спиртом или водкой и поджигали — дезинфекция. Затем толстый конец погружался в горячее масло, отчего он становился эластичным как катетер. Этот-то «катетер» и вводила женщина себе с вечера и ложилась спать. Через некоторое время начинались кровотечение и схватки. Если повезет, то через час-два все будет закончено и плод вместе с плацентой выйдет. Но часто и не везло: выходил плод, но оставалась плацента, продолжалось сильное кровотечение, иногда такое, что к утру выносили труп. Вот подобное и происходило с Раисой.

Когда я вынес из-под нее первые два полотенца, то по их весу почувствовал, что положение угрожающее: в них, по меньшей мере, литр крови. Она лежала на спине, и можно было видеть, как мышцы движутся на ее лице от боли. Я посмотрел на часы, было уже четыре часа ночи. Кровотечение продолжалось. Нужно было решать, что делать дальше. Если отвезти в больницу, то кровотечение будет после выскабливания сразу же остановлено, но одновременно начнется против Раисы и уголовное дело. Ждать? Уже через два часа, если кровотечение не остановится, она может погибнуть.

Раиса еле слышным голосом отказывается ехать в больницу. Но ведь она не может оценить своего положения! Она теряет литр крови в час: ждать мы можем не более часа. Первый врач в больнице появится в шесть утра, до этого везти ее туда нет смысла — там дежурит только сестра.

Еще одна тяжелая от крови простыня выбрасывается в ведро. Ждать больше нельзя!

— Раиса, понимаешь ли ты меня? — И после того, как она кивнула в ответ: — Мы едем в больницу! Ты должна там говорить, что аборт наступил сам по себе, ты ничего не делала!

Она еще раз кивнула. Я поднял соседей, взял у них лошадь, и мы поехали.

Слава Богу, один хирург уже был на месте. Начали вводить раствор. С печальным лицом врач сказал мне, что обязан

сообщить о случившемся в прокуратуру. Кроме того, согласно закону до приезда следователя больная должна оставаться одна. Просить было бессмысленно. Я вышел на улицу и стал ходить кругами вокруг здания. Что происходило в больнице далее, я узнал лишь позднее от Раисы.

Врач еще готовился к операции, когда к больнице подъехала машина, из которой выскочили следователь и сам прокурор Асадчий, как будто бы он ждал этого случая.

Когда Раиса открыла глаза, она увидела чье-то лицо и услышала: «Наблядовалась?». Это был Асадчий. Он попросил врача и сестру выйти из палаты, а сам сел на стул против нее.

— Гражданка Ураева, — начал он допрос, — с вами разговаривает районный прокурор, вы должны отвечать только правду.

Сидящий у стола следователь водил рукой по листу бумаги — следствие началось.

— Кто толкнул вас сделать этот аборт?

Ответа не последовало.

— Кто помог вам сделать аборт?

Никакого ответа.

— От кого вы беременны?

Опять молчание. Асадчий встал, прошелся взад-вперед по палате, посмотрел на часы и продолжал:

— Если вы назовете имя, которое, кстати, нам уже известно, то ответственность лично с вас будет снята.

Наконец, она открыла глаза, пошевелила слипшимися губами, набрала воздух:

— Все произошло само, я ничего не делала.

— Гражданка Ураева, вы сейчас говорите неправду, врете.

И через минуту сам соврал:

— Нам все известно от врачей — аборт был вызван искусственно.

Раиса вновь закрыла глаза.

— Вы усугубляете свою ответственность.

Дверь в палату открылась, и появился врач:

— Вы обещали только пять минут. Больная не может больше ждать, положение критическое.

Асадчий вскочил со стула, глаза его бешено заблестели:

— Закрой дверь! — и затем тихо к следователю: — Этого не пиши.

Он закурил и, видимо, понял, что играет с огнем: если Раиса погибнет, его привлекут к ответу. Он сел на кровать напротив нее и, нагнувшись, начал шептать:

— Кого ты защищаешь? Вредителя советской власти. Скажи,

он тебе посоветовал сделать аборт? Пока не скажешь, врачей я сюда не пущу. — И затем в сторону следователя: — Это не пиши.

Раиса молчала. Наконец, он совсем потерял самообладание, и принялся трясти ее за плечи, повторяя: «Да или нет?».

Вдруг Раиса открыла глаза и стала медленно приподниматься на локтях, так что Асадчий отшатнулся и встал. Наступила тишина. И затем стало слышно, как она тихо произнесла:

— Пошел вон, подлец!

Видимо, за дверями подслушивали, и они в этом момент широко растворились. Появился врач, он был уже в халате с хирургической маской.

— Немедленно отдайте нам больную! — И вслед за этим в палату вошла с носилками сестра. Следствие с пристрастием закончилось.

В этот день неожиданно разгулялась мокрая метель, так что снег снова залепил желтую траву степи и сбивал с ног прохожих в поселке.

Умер Иосиф Виссарионович Сталин. Сразу понять это было многим невозможно, ни вольным, ни ссыльным. Казалось, все могло измениться в этой необыкновенной стране, но только не это. Он должен быть всегда, он ведь вечен. А он взял и умер и никому не поведал, как быть стране и народу далее без него. Ведь он же вел всех за собой! А теперь как без него?

Я услышал эту новость около полудня по своей местной трансляции, и сразу же какое-то новое чувство охватило меня: это начало! И что бы теперь ни произошло, все будет несколько по-другому. Конечно же, конечно же, «тысячелетний советский рейх» держался не только на этом имени, и новый класс советской элиты особенно окреп после победы. Но теперь они, сидящие там, в Кремле, должны будут решать, кто из них будет новым Сталиным. Тут без драки не обойдется, а уж она начнет расшатывать режим.

Наступил день его похорон, я шел обедать в ресторан. В зале никого не оказалось. С каким-то удивлением подошла ко мне официантка Наташа, приняла заказ и скрылась в кухне. Окна ресторана выходили на центральную площадь, в центре которой, как обычно, одиноко возвышался монумент вождя. Однако сегодня вокруг него толпились люди. Из громкоговорителей неслась трансляция похорон на Красной площади и звучала траурная музыка.

Смерть любого человека, даже такого преступного, как Сталин, — событие печальное. Можно много писать и обсуждать, как из этого мальчика из Гори развился беспощадный тиран. Возможно, в последние годы он чувствовал раскаяние,

спрятавшись на своей даче, мы этого никогда не узнаем.

А может быть, было все не так. Он был просто обыкновенный зверь, и человеческая мораль и жалость были ему чужды. Он до последней минуты верил, что создал великую страну и осчастливил миллионы людей.

Никто не знает, что это была за душа, если она вообще у него была.

Сейчас же я сидел и ел борщ, а на площади толпились на холодном ветру люди. Как я потом рассмотрел, это были вольные жители, члены партии, ветераны войны. Они кутались в меховые воротники от метели и ждали, пока гроб будет внесен в мавзолей. Среди них я заметил и Чечина: там, где партия, там и он. Почему они пришли сюда мерзнуть, когда можно все это слышать у себя дома? Демонстрация верности партии или чувства?

Чтобы согреться, я заказал стаканчик красного вина. Музыка стала еще громче. И вдруг все на площади сняли шапки и застыли. К моему удивлению, застыли и повариха с официанткой на кухне в ресторане. Это опускали ЕГО гроб. Здесь лишь до меня дошло, что ведь я-то в этот момент ем котлету и запиваю ее вином. Встать и мне? Но это будет глупо и подло. Нет уж, господа, по такому случаю я вставать не буду. Миллионы людей, замученных им в лагерях, разрешают мне не вставать. Я мысленно лучше чокнусь стаканом с красным вином о его красный гроб.

Видимо, стихийная панихида на площади была закончена, так как в ресторане появились люди в добротных шубах. Шумно задвигались стулья. Многие хмуро посматривали в мой угол. Стали носить и подавать закуску к водке, которая никогда здесь не переводилась. В этом обществе я почувствовал себя неуютно и поспешил уйти домой.

Через два дня во время работы подзывает меня к себе Чечин:

— Что ты наделал? Не мог у себя дома посидеть и выпить? Такую политическую демонстрацию учинил! Вчера в райкоме о тебе разговор был.

— Да уж какая разница, Иван Николаевич, я пил до панихиды, а вы пили после.

И действительно, после похорон такую пьянку начальство в ресторане учинило, что до полуночи многих бездыханными выносили и развозили по домам. Только дай повод, а выпить всегда найдется.

Дело о вредительстве на Арык-Балыкской ИПС развертывалось полным ходом: вызывались и допрашивались все работники, составлялись протоколы и отправлялись в Кокчетав. Я знал обо всем этом и пытался сопротивляться: делал выписки из

специальных учебников по птицеводству, составлял объяснения, и главное, звонил в Кокчетав и просил выслать письменную инструкцию. Говорили со мной спокойно, наверно, слух о «вредительстве» еще не докатился до них.

Напряжение росло. Однако смерь Сталина что-то изменила во всей атмосфере страны. Шли слухи, что в министерствах идут перестановки, Министерство ГБ стало снова только Комитетом. Моя мама, видимо, тоже почувствовала, что погода изменилась, и направилась опять в Москву. Там она добилась приема у Генерального Прокурора и получила заверение, что дело будет пересмотрено. Потом она побывала у всемогущего сына Сталина, генерала авиации Василия Сталина. Этот вельможа имел большое влияние на Кремль, хотя адвокат твердил маме, что он уже вне игры. В Кремле уже шла борьба за власть между Маленковым, Берия, Молотовым и Хрущевым.

Все это пока никак не отражалось на ситуации в нашей глуши. Власти на местах жили по-прежнему. С торжествующим лицом сержант комендатуры объявил мне, что разрешения на посещение колхозов мне «временно» выдаваться не будут. Это означало, что работать как зоотехник я больше не могу.

— Запутался ты! — пояснил мне комендант.

Однако, видимо, есть Бог на небесах. В один из майских дней засияло солнце над уставшей от морозов степью, расплавились остатки снега в долинах. Рано утром я был уже на станции и готовил помещения к приемке новой партии цыплят, как вдруг появился сияющий Чечин и протянул мне конверт. На нем стоял обратный адрес: Управление сельского хозяйства области. Еще не распечатывая, я понял, что в нем мое спасение — инструкция. Она гласила: «В целях позитивной селекции птицы яйцо с зародышами, не проклюнувшимися к 22-му дню, следует уничтожать и считать отходом производства».

Теперь посмеемся мы! Я сразу же помчался к секретарю райкома, снял копии и передал ему. Вероятно, эта бумага стразу же попала и в прокуратуру, так как запрет на мой выезд из поселка был снят.

В этот день вечером мы праздновали с Раисой победу: пили сначала красное, потом белое, понимай, водку, и, наконец, запели дуэтом: «Степь, да степь кругом». А Гейша в это время догладывала большую кость, принесенную для нее из ресторана, и с удивлением посматривала на нас: «Что за странные люди с ней проживают в одном доме?».

И, наконец, еще одна весенняя новость. Младшая сестра Раисы выходит замуж за вновь назначенного инспектора нашего лесного заповедника, молодого парня, только что закончившего

институт.

Свадьба шла целую неделю. Василий мне пришелся по душе: от него веяло какой-то свежестью, он еще не был втянут в провинциальный партийный клан, смотрел на все критически и горел желанием прекратить уничтожение ценных зверей в заповеднике. Права были даны ему большие, и подчинялся он только Главному управлению сельского хозяйства в Кокчетаве.

Прокурор Асадчий так и не пожаловал молодых своей напутственной речью, да его попросту и забыли пригласить.

Светило солнце. Я с Раей, ее сестра и Василий ехали на прогулку в лес на его джипе. Это была его регулярная инспекционная поездка. Тишина. Вечерело, и солнце, уходя за сопку, просвечивало сквозь молодую хвою. Вдруг прозвучал выстрел. Совсем близко. За ним другой. Стреляли пулями. Василий выругался, притормозил машину и выскочил наружу. Опять тишина.

— Сволочи! Я сейчас… — И с этими словами, выхватив ружье из-под сиденья, он исчез в направлении берега озера. С минуту подумав, я тоже выскочил из машины и подался вправо, вокруг озера. Выстрелы прозвучали там. Бежать было трудно, почти невозможно, то и дело ноги попадали в мшистые ямы, да и заросли здесь были густыми. Бегу и думаю: «Ведь я без ружья, если его встречу, как я могу сигнал дать? Уйдет». В приозерных зарослях стало уже темно, я шел наугад. Как здесь можно кого-то найти? Да и мог он уже услышать шум нашего мотора и скрыться. По моим расчетам я уже должен достичь место впадения небольшой речки в озеро, дальше шло болото. Вдруг где-то справа от меня послышалась команда: «Стой! Ложись!». Я повернул голову и увидел какую-то тень в кустах. Делать было нечего, я лег.

— Это ты, черт возьми! — услышал я голос Василия. В темноте он меня не узнал.

— Ты посмотри, что они здесь творят! — повел он меня ближе к берегу. Через несколько метров открылась площадка, на которой лежала большая лосиха. Она была уже мертва, и браконьер начал разделывать тушу. Рядом лежал охотничий нож с серебряной рукояткой филигранной работы. Видимо, браконьер в последнюю минуту заметил нас, так что побросал все на месте и скрылся.

— Да ты сюда посмотри! — И Василий показал в сторону. Там, за небольшим кустом, стоял маленький лосенок. Он был так мал, что убегать без матери боялся.

— Давай засядем где-нибудь здесь, он наверняка вернется. Нож уж больно красивый, — стал советовать я.

— Нет, не вернется. Он меня видел, конечно. Но он не мог далеко уйти.

И действительно, путь к его отступлению мог быть только вправо, к озеру. Слева путь ему был прегражден почти непроходимым болотом. Но Василий направился именно по этому пути, попросив меня быть на берегу и в случае чего крикнуть его.

Только я начал пробираться к озеру, как слышу шепот Василия:

— Подойди ко мне!

Он стоял, согнувшись, и показывал мне на влажную почву, на которой можно было отчетливо видеть следы чьих-то сапог. Василий стал искать продолжение следа, а потом стал, крадучись, двигаться в направлении болота. Стрелявший был или из местных и знал проходы, или это был обезумевший от страха приезжий браконьер. Мы преследовали его еще минут двадцать, следы становились отчетливее, так как начиналось болото. Впереди ничего нельзя было различить — он уходил быстрее нас. Наконец, Василий дал мне знак затихнуть и показал вперед. Я услышал отчетливые звуки чавканья по трясине. Он был где-то рядом.

Чтобы продвигаться, нужно было уже прыгать с кочки на кочку. Промахнешься — нога уйдет глубоко в воду. Так долго идти невозможно. Неужели он знает проход, если так смело идет в трясину?

Лес здесь кончился, и на болоте стало светлее.

— Смотри! — прошептал Василий и указал на тень впереди, скачущую от кочки к кочке. Это был человек, несомненно, он уже увидел нас. Василий, сняв с плеча ружье, продолжал преследование. Сопровождать его у меня сил уже не оставалось, и я медленно брел, вытаскивая ноги из трясины. Вдруг впереди я услышал голос Василия: «Стой, стрелять буду!» — и по болоту разлетелся звук от выстрела.

«Сумасшедший, — подумал я. — Неужели он стреляет в человека?». Я подошел ближе и увидел Василия, стоящего на кочке, а внизу возле него глубоко ушедшего в трясину человека.

— Возьми у него ружье! — скомандовал он мне.

Подойти к ним было очень трудно, здесь действительно начиналась уже топь. Человек оглянулся и сам протянул мне свое ружье.

Я узнал в нем прокурора Асадчего!

Все остальное происходило уже спокойно. Я шел с ружьем Асадчего впереди, а сзади Василий конвоировал прокурора. Когда мы, обогнув озеро, приблизились к автомашине, там женщины уже были в панике, они подумали, что стреляли в нас.

Могло ли такое быть, что Василий еще не успел

познакомиться с прокурором, ведь он уже месяц как у нас. Но это было так.

Тем временем Асадчий приходил в себя:

— За ваши действия вы понесете строгую ответственность! Я прокурор района!

А я инспектор государственного заповедника, и вы для меня сейчас злостный браконьер! Убили мать-лосиху с теленком!

— У меня есть на это лицензия!

— Для этого заповедника нет лицензий!

Вы меня не знаете, и я вам не советую долее меня здесь задерживать. Лучше разойтись по мирному.

— С браконьерами у меня мира не будет. Составим в милиции протокол и отпустим, все будет по закону, который вы призваны охранять.

— И здесь Асадчий увидел Раю, стоящую у автомашины.

— Раиса Михайловна, объясните же ему, кто я.

— Подлец ты, вот кто ты!

— Вот видишь, какая ты неблагодарная. Ведь в свое время я тебя от областной ревизии спас. Помнишь, какую недостачу у тебя нашли?

Его посадили в машину на переднее сидение, а сзади устроились мы трое.

Дежурный по милиции обомлел, когда увидел задержанного прокурора. Он стал сразу же названивать своему начальнику, тому самому, которого оскорбил в свое время Асадчий. Начальник милиции приехал, послал следователя и фотографа на место происшествия, а сам стал снимать допрос с прокурора: «Фамилия!.. Не расслышал, говори громче!». Теперь Асадчий был в его руках!

Куда девалась презрительная улыбка прокурора? Он стал бледным и печальным. Взгляд его остановился на мне:

— А ваше дело мы закрыли, так что гуляйте свободно!

— Да, сегодня вредителем советской власти оказались вы, господин прокурор. И это вам не цыплята, это огромный заповедный лось.

Конечно же, судить его не стали, хотя дело побывало в Областном суде: ворон ворону глаз не выклюет. Даже из партии его не исключили — такие там нужны, на все для нее готовые. Но, как видно, в стране все-таки стало что-то меняться: его сняли с должности и лишили звания советника юстиции.

Уже через месяц дошли до нас слухи, что подобрало его Министерство внутренних дел и направило служить в лагеря надзирателем. Откуда вышел — туда и вернулся.

После смерти Сталина многие почувствовали, что дальше так

жить нельзя, должно что-то произойти в этой отрезанной от всего мира стране с восемью миллионами заключенных ГУЛАГа. Драку в Кремле проиграл главный палач, Лаврентий Берия. По иронии судьбы теперь он был ложно обвинен в «шпионской деятельности в пользу США» и вскоре расстрелян. В роли Первого Секретаря появилась мало известная ранее личность — Никита Хрущев. Берия уже успел сфабриковать на него дело об измене Родины, но тот его опередил. Теперь шли чистки и перестановки на всех этажах власти. Карательная политика КГБ была объявлена ошибочной, начались пересмотры политических дел, амнистии, помилования, дабы разгрузить переполненные лагеря и смягчить критику со стороны Запада. Партия примеряла новый либеральный наряд.

Мне плохо спалось, я чувствовал, что что-то должно произойти и в моей судьбе. Раиса утром мне рассказывала, что я по ночам иногда произношу целые речи. Голова моя действительно раскалывалась от будоражащих мыслей и ощущения близящегося освобождения.

Предчувствия меня не обманули. Однажды почтальон вручил мне телеграмму от мамы. Как только я прочитал ее, все закружилось, и я сел прямо на землю, где стоял. В телеграмме я прочел: «дело пересмотрено верховным судом ты свободен целую мама».

Как все странно на этом свете устроено, ведь я же уже приготовился стать сибиряком, завести корову, большой огород и коротать свои дни в этой глуши, ведь я сослан сюда навечно. Я обошел вокруг дома, майское солнце слепило глаза, на моем невспаханном огороде топтались грачи, что-то отыскивая в земле, а далее шла гладь озера, недавно освободившегося ото льда. За ним большие сопки, покрытые лесом. Все, казалось бы, то же, что и всегда, но я уже смотрю на это другими глазами, глазами свободного человека, и только теперь чувствую, как здесь красиво.

Паспорт мне выдали через месяц, и мама ждала меня в Ленинграде. Украденных лет не вернуть, но я молод и должен учиться, должен поступить в университет. Экзамены в августе, нужно ехать и готовиться к ним. Нет терпения и времени продавать дом, его продаст Рая и затем приедет ко мне, чтобы поступить в финансовый институт.

С маленьким чемоданом в правой руке и с Гейшей на поводке в левой, я отправился в путь навстречу новой свободной жизни.

При пересадке в Москве свободных мест в поезде на Ленинград не оказалось, есть только случайные места в ночном экспрессе «Красная стрела», в котором тогда ездили только

советские чиновники. Простые смертные могли получить лишь случайно оставшееся место перед самым отходом поезда, и то по цене, равной их зарплате. На покупку этого билета ушла немалая часть оставшихся у меня денег.

После лагерных бараков и сибирских изб мягкий вагон «Красной стрелы» показался мне волшебным сказочным дворцом. В моем купе обитые плюшем стены, зеркала, ковры: все это стало давить на меня. Я сел и задумался: «Там за колючей проволокой изнемогают на тяжелых работах миллионы людей, а здесь, используя этот труд, в роскоши живет советская элита». И в эту минуту я почувствовал, что буду продолжать бороться против них, чего бы мне это ни стоило.

В купе постучали, и в дверях появился проводник, одетый в элегантную униформу.

— Чай желаете или кофе? Есть бутерброды с паюсной икрой, севрюгой, московской колбасой.

— Да несите все что есть, — ответил я в рассеянности.

И когда он уже повернулся выходить, шальная мысль ударила мне в голову:

— А шампанское у вас есть?

— Найду… — Он скрылся за дверью.

Гейша в отличие от меня сразу же освоилась с новой обстановкой, она развалилась в центре на ковре и задремала.

Вскоре бутылка «Советского шампанского» оказалась у меня в руках. Опыта открывать такие вещи у меня не было. Я долго возился с бутылкой, пока, наконец, фонтан пены не ударил мне прямо в лицо, брызги долетели до Гейши, так что она попятилась к дверям.

— За свободу! — поднял я бокал. — За нашу свободу! — сказал я Гейше и выпил его до дна.

Гейша этого явно не поняла, она смотрела на аппетитные бутерброды. От икры она отказалась, а вот московская колбаса пошла хорошо. В эту минуту поезд мягко затормозил, и в коридоре послышалось: «Бологое!». Единственная остановка поезда на всем его пути до Питера.

В моей охмелевшей голове мысли мешались: «А все-таки интересна жизнь в этой стране! Видимо, еще и потому, что она непредсказуема. Ведь страна-то необыкновенная!»

notes

Примечания

1

Спасибо.

2

«Земля и Воля» — политическая организация в России конца XIX века, проповедовавшая мирный путь демократического преобразования русской деревни путем широкой просветительской пропаганды среди наделения.

3

Имеется в виду взрыв бомбы на Екатерининском канале в Петербурге в 1881 году, организованный «Народной Волей», в результате которого был убит Император Александр Второй.

4

«Цветные» — слово из блатной «фени» (воровского жаргона, далее — «бф») 30–40 годов. «Цветные» — это «воры в законе», но только во время пребывания в лагерях, на воле такое обозначение не употреблялось.

5

«Пахан» (бф) — авторитет уголовного мира.

6

«Дружки» (бф) — малоупотребимое слово в жаргоне криминального мира юга России, обозначает приближенных «пахана».

«Малолетки» (бф) — малолетние воры, но еще не «в законе», обычно выполняющие разные поручения «пахана».

8

«Шестерки» (бф) — заключенные, не из блатного мира, обслуживающие блатной мир в заключении за различные подачи и льготы

9

«Бацилла» — продукты питания, такие, как масло, колбаса, сало.

10

«Капуста» — бумажные деньги.

11

Ордена раздавались массам рабочих, чтобы привлечь их к новой власти, а галоши уже было невозможно купить, кое у кого они сохранились еще со старых времен.

12

Ушаков был автором нашего учебника по родной речи.

13

«Наседка» (тюремный жаргон) — специально подсаженный в камеру человек для выведывания откровенных признаний.

14

«Насса» — жевательный табак казахов, состоящий из мелкого табака и золы. Щепотка «насса» закалывается под нижнюю губу. Кусочки табака засоряют зубы.

КВЧ — Культурно-воспитательная часть.

16

Файзулла Ходжаев — один из руководителей компартии Узбекистана.

17

Ария Хозе из оперы Дж. Верди «Кармен».

18

Фраза Хлестакова в комедии Н. Гоголя «Ревизор».

19

Герцель и Жаботинский — идеологи сионизма начала XX века, создатели идеи независимого еврейского государства.